

Иван Костыря

75-летию
Донецкой области
посвящается

ДУМЫ О ДОНБАССЕ

ЧП «ЦСО»
Донецк — 2007

Костыря И. С.

К72 Думы о Донбассе: В двух частях. — Донецк: ЧП «ЦСО», 2007. — 480 с.

ISBN 966-96444-7-X

Эту книгу известного современного писателя составили своеобразные документально-художественные произведения — «Думы о Диком Поле» и «Думы о Донецком кряже», в которых занимательно рассказывается о далеком прошлом и настоящем Донбасса, его заповедной природе и подземных сокровищах, о первопоселенцах и первооткрывателях и тех, кто впоследствии обживал некогда дикие степи и осваивал полезные ископаемые, кто из века в век оборонял Донецкий край от завоевателей и писал о нем с незапамятных времен.

В краеведческих познавательных думах множество легенд, преданий, шахтерских сказов, невероятных бывальщин и подлинных исторических событий, объединенных между собой личным авторским восприятием донецкой земли, с присущими ему лиризмом, искренностью и любовью.

Книга может служить уникальным подспорьем школьникам, учащимся профессионально-технических училищ и техникумов, студентам вузов — всем, которые изучают историю родного края, а равно и всей Украины.

ББК 84(4УКР=РУС)6

Цю книгу відомого сучасного письменника склали своєрідні документально-художні твори — «Думи про Дике Поле» і «Думи про Донецький кряж», в яких цікаво розповідається про далеке минуле і теперішнє Донбасу, його заповідну природу та підземні скарби, про першопоселенців та першовідкривачів і тих, хто згодом обживав колишні дикі степи і освоював корисні копалини, хто з віку у вік боронив Донецький край від завойовників і писав про нього з незапам'ятних часів.

В краєзнавчих пізнавальних думах безліч легенд, переказів, шахтарських оповідок, неймовірних бувальщин і дійсних історичних подій, котрі об'єднані між собою особистим авторським сприйняттям донецької землі, з притаманними йому ліризмом, ширістю та любов'ю.

Книга може бути унікальною підмогою для школярів, учнів професійно-технічних училищ і технікумів, студентів вузів — усіх, хто вивчає історію рідного краю, а також і всієї України.

© Костыря И. С.

© Шендель В. С., иллюстрации, 2007

© ЧП «ЦСО», 2007

ISBN 966-96444-7-X



**ДУМЫ
О
ДИКОМ ПОЛЕ**

Думи мої, думи мої,
Квіти мої, діти!
Виростав вас, доглядав вас —
Де ж мені вас діти?..
В Україну ідіть, діти!
В нашу Україну...

«Думи мої, думи мої...»

С.-Петербург. 1839

Тарас Шевченко

ДУМА О ДИКОМ ПОЛЕ

Земля, вольно разметнувшаяся между Днестром и Доном и от Северского Донца до Азовского моря, некогда называлась Диким Полем.

Поле это давно не дикое, оно усеяно заводами и шахтами, размежевано на огромные и крохотные уголья, обрамленные рукотворными лесозащитными полосами и лесами, по нему живительными артериями вьются водные каналы, голубыми глазами светятся на нем искусственные озера и моря...

Но среди новой природы, созданной и возлелеянной человеком, хранятся уголки, где и поныне царит древняя первозданность и веет былинностью. Любая пядь Донецкого кряжа с его дальними отрогами таит в себе глубокие корни славного прошлого Украины, тех незапамятных дней, когда зарождалась история этой неповторимой ее восточной окраины.

Донецкий край воспет в украинских народных думах и русских былинах, он щедр на живые и письменные предания, легенды, сказы, стародавние и современные были. Ими увиты седые вершины Саур-Могилы и Каменных Могил, они таятся в Золотом Колодызе и Великоанадольском лесу, бродят по Хомутовской степи и Кривой косе, живут в Святогорском монастыре и витают над Северским Донцом, к которому князь Игорь обращался в трудную годину битвы с половцами: «О, Донче! Не мало ти величия, лелеявшу князя на волнах, стлавшему ему зелену траву на своих сребреных брезгах, одевавшему его теплыми мглами под сению зелену древу; стрешаше его гоголем на воде, чайцами на струях, чернядьми на ветрах».

Казалось бы, привычны слуху и такие названия: Сухие и Мокрые Ялы, Сухой Торец, Казенный Торец, Голая Долина, Клепан-Бык, Бык, Бахмутка, Лугань, Волчья, Крынка, Грузской Еланчик, Кальчик, Калец, Самара, Соленая, Жеребец, Красная, Боровая, Миус и Кальмиус...

Вслух произношу:

— Каль... Ми-ус...

Извитой, как рог... И тонкий, как волос...

Перемешались и укоренились на донецкой земле славянские и тюркские названия, оставшиеся еще со времен набегов завоевателей.

В мелодии сих слов чудится таинственный отзвук древности, эхо ветра, странствовавшего в далекую, сивую старину по Дикому Полю, которое досталось нам в наследство от Бога и от предков.

1968

ДУМА О ПРАШУРАХ

Дикое Поле! Каким ты с виду только не было с незапамятных времен...

В доледниковый период, как сказывают ученые мужи, на всей твоей территории сплошь высились горы и шумели дремучие, девственные леса. Да ледник, надвинувшийся с севера, слизал их подчистую, оставив лишь возвышающийся над уровнем Азовского моря Донецкий кряж и пустынную равнину с торчащими по ней вразброс холмами. А когда в здешних краях после многолетнего таянья льдов и последующего стойкого потепления снова похолодало, донецкая степь обратилась в настоящую тундру, кое-где погорбленную буграми. И в ней уже обреталась наравне с давно прижившимися степными обитателями — дикими лошадьми, осликами, зубрами, сайгаками — также и северные песцы, мелкие грызуны-леменги, олени.

Но каким бы ни было в прошлом место нашего нынешнего обитания, оно для каждого из нас — искони нашенское, родное, как колыбель матери.

Дикое Поле! Как же только не называли тебя в старую старину...

И Киммерийской, и Скифской землей, и Сарматской, и Кипчакской, или Куманской, или Половецкой, Золотоордынской и Ногайской... На иноверческий манер, ибо при- шлые степняки волна за волной, из века в век кочевали по твоим вольным славянским просторам, присваивая все, чем ты было богато, вплоть до собственного имени.

Но это земля наших предков, которые издавна нарекали ее по-своему, по-нашему — Дикой степью.

Оттого мы и зовем тебя неизменно ласково — родным.

Да и как иначе, если мы и вправду Дажбожьи отпрыски, и это наша отчина?

Дикое Поле! И кто только не обживал тебя с тех же незапамятных времен...

Далекие иль близкие были нам по крови тутошние жители в стародавность, все равно они наши предшественники на донецкой земле, которая досталась нам от них в единонаследие. Считай, пращуры! И потому небезынтересны для потомков.

Но сквозь даль веков никаким сверхвоображением не вызвать воочию зримого их облика, не восстановить, не воскресить его в точности.

Можно лишь догадываться об их мыслях и чувствах, поскольку они тоже были земные, смертные люди, которых наверняка заботило в прадавние времена то же самое, что и нас, живущих на рубеже второго и третьего тысячелетий, заботит — как выжить в суровой природе, коль уж независимо от нашей воли и желания была свыше дадена жизнь, и при всегдашних непростых, уже зависящих от самих людей, отношений между собой.

Кто первым пришел сюда, в эту когдашнюю, за многие тысячи лет до рождения Христа, необжитую глухомань?

Пожалуй, одним только археологам и дано поведать о далеких наших пращурах. Да и то скупое и сбивчивое, поскольку века в недрах донецкой земли, как и в любой другой стороне, попроваливались друг в друга — новокаменный в среднекаменный, среднекаменный в древнекаменный, сме-

шали орудия людского труда и боевую амуницию ратников, из одних рук вложили в другие, так что и разобраться, кто когда жил и чем занимался, нелегко.

Благодаря их раскопкам и поискам стало достоверно известным лишь то, что на Диком Поле люди жили уже в III и во II тысячелетиях до нашей эры, еще в палеолите. Об этом засвидетельствовали найденные ими в бассейнах рек Волчьей и Сухих Ялов скребла для очистки звериных шкур и расщепленный для этой же цели и отточенный кремь, и дискообразные ядра с того же кремня; в прибрежье Крынки — сделанные из костей зубров метательные снаряды для охоты, зубило, а в Мыновском Яру Святогорья даже топоры. В 1860 году некий горный инженер наткнулся неподалеку от Бахмута на доисторические выработки медной руды, на шлаки, на использованный древесный и каменный уголь, в рудниках шахтеры находили каменные и бронзовые топоры.

Затем археологам удалось отыскать медные, золотые и неметаллические украшения в древних захоронениях, в которых покойников укладывали лицом к небу, а сверху зачем-то посыпали красной краской. Найдены были и гончарные изделия. Посуда с плоским дном, какая была тогда в обиходе.

Отсюда сам по себе напрашивается вывод, что древние вели оседлый образ жизни, ходили в одежде, сшитой из шкур, занимались скотоводством, владели навыками мотыжного и пашенного земледелия, обжигали глину и металл, изготавливали орудия труда, возы, ритуальные предметы и изделия на продажу в большие города на Днепре, которые были ближе всего к ним. А для местожительства избрали живописную местность от Северского Донца по Кальмиусу и близлежащим речкам до Азовского моря. Как и до Припяти. Вот в этих пределах и жили породненные племена, то бишь наши подлинные прашуры, стародавнее население нынешней Украины. Поначалу они объединены были так называемой ямной и срубной, а затем Донецко-Днепровской культурой.

В I тысячелетии до нашей эры в Приазовских степях появляются индо-иранские племена, которые сыграли видную роль в истории крупнейших цивилизаций древности — античной Греции, стран Малой Азии и Ближнего Востока. По

преданию, в их воинстве служили амазонки, которые носились на скакунах, метко стреляли из лука, не менее метко метали копья, для чего нужно было обладать ухватистой силой. А чтобы все жизненные соки собирались в правой руке, их матери выжигали дочерям правую грудь. Диву даешься их мужеству и воинственности!

В письменных древних источниках ираноязычные племена, жившие в наших степях, а это было за десять веков до рождения Христа, называются киммерийцами.

В последующих веках они совместно с фракийцами совершают походы в Малую Азию, ведут многочисленные войны со своими ближними и дальними соседями.

А в начале VII века до нашей эры киммерийцы терпят поражение от ассирийского царя Ассархадона; тем не менее, все же сохраняют свое историческое значение надолго.

Одно из самых крупных поселений киммерийцев археологи обнаружили вблизи Каменных Могил, в верховьях реки Каратыш.

Во второй половине того же VII века в Причерноморских и Приазовских степях объявляются скифы, которые сами себя называли скелотами. Они вытеснили киммерийцев и обосновались в этих местах на все пятьсот лет.

Но вот из-за Дона явились сарматы и осели в Приазовье и Причерноморье вплоть до III века нашей эры. Это от них, скорее всего, пошли названия больших рек — Дон, Днепр, Днестр, Дунай, так как на древнерусском «дана» означало — речка. Они же, не исключено, и предопределили название Русь — от сарматского племени роксоланов, то есть светлокудрых, светлолицых, светлооких.

Потом сарматов разгромили гунны и окончательно уничтожили готы...

Бог мой, какой замедленно-кровавый калейдоскоп истории! На временном отдалении все выглядит страшной сказкой, вовсе не былью.

...А вслед за тем сюда хлынули волна за волной азиатские кочевники — печенеги, торки, хазары. Их манили здешние вольные просторы, немеряные пастбища и выгулы беспредельные под открытым небом, водопой на степных реках с доброй водой.

В борьбе с ними исподволь происходило объединение прославянских племен. Именно упреждающие и отпорные боевые походы в эти пределы способствовали созданию союзов, получивших в VI—VII веках нашей эры общее название — Русь, а с тем и всего государства — Киевская Русь.

Хотя в «Повести временных лет» сказано: «В лето 6360 (852), когда начал царствовать в Греции Михаил, стала прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом. Вот с этой поры начнем и числа положим».

Что ж, можно довериться греческому летописцу, смотревшему на то, что деется в мире, из-за крепостной стены Царьграда и запомнившему одну свою беду, какую принесли им славяне в своем содружестве.

Но нам-то свое тоже дорого и близко, и виднее, стало быть.

Ведь до греков, болгар, хазар, печенегов, торков и половцев были еще и тюркоязычные авары, которые вторглись из Азии и которых летописец «Повести временных лет» называет обрами. И вторжение их случилось задолго до Царьграда. Еще тогда славяне, объединившись, дали им такой отпор, что от них и следа не осталось: «В те же времена были и обры. Эти обры воевали против славян и покорили дулебов, также славян. И творили обры много зла женам дулебским: если поедет куда обрин, то не давал запрячь ни коня, ни вола, но велел впрячь трех, четырех или пятерых жен в телегу и везти его — обрина. И так мучили дулебов. Были же обры телом велики и умом горды, и Бог истребил их, и умерли все, и не осталось ни единого обрина. И есть поговорка на Руси и до сего дня: "Погибли, как обры"».

Бог-то Бог, однако, как у нас говорят, на него надейся, а сам не плошай. И думается, обринов все же одолели сообща славяне, пусть и с божьей помощью.

Что же касаясь болгар и хазар, то им досталось от князя Святослава Игоревича. В походах «не имел он шатра, но спал подослав потник, с седлом в головах. А прежде посылал своих воинов в иные страны со словами: «Иду на вы».

Сказывают, что Святослав Игоревич, разгромив хазар и разрушив их город Саркел в устье Дона, основал на побережье моря, где-то близ нынешнего Мариуполя, новый город — Бел-город, который спустя много времени татары переименовали на свой лад — в Бело-сарай. Правда, нет ли, а песчаную косу, что поблизости того места, называют и доныне Белосарайской. Как отголосок минувшины!

Печенегов же, донимавших без конца Русь, усмирил в жестокой сечи Ярослав Мудрый.

А Владимир Мономах дал достойный отпор половцам, которые пришли в Приазовские степи в XI веке. На востоке их называли кипчаками, на западе — куманами, или половцами. Они-то, скорее всего, и понаставили на нашей земле своих идолов — каменных баб. Хотя многие историки называют их скифскими.

Если судить даже по числу оставленных рукотворных идолов в нашем крае (а их в недавнем прошлом до тысячи набиралось при беглом подсчете!), то центром половецкой земли была наша, донецкая земля.

На протяжении двух веков половцы совершали отсюда опустошительные набеги на Русские земли, в том числе и на Киевскую Русь, обирая города и села и угоняя в полон людей безвинных.

Князья Руси, вновь разобщенные к тому времени из-за бесконечных междоусобиц, не раз пытались отомстить кочевникам. Да зачастую их ратные походы заканчивались плачевно. И при битве на реке Каяла, и на Калке, которые находились в пределах тогдашнего Дикого Поля, «земли незнаемой». Ибо: «Из-за усобиц ведь стало насилие от земли Половецкой».

И вековым эхом доносится до нас плач Ярославны на стене Путивля-города: «О Днепр Славутич! Ты пробил каменные горы (то бишь пороги) сквозь землю Половецкую...» Опять же речь идет о нашей стороне.

Лишь в конце XII века набеги мало-помалу прекратились. Потому как стали половцы и русичи замиряться, в родство входить — киевские князья оживали своих сыновей на половчанках, а половцы отдавали дочерей к ним в замужество, и наоборот. Из супротивников обращаться в родичей.

Словом, не одной силой решались тогдашние территориальные проблемы и внутренний разброд с разладами да разногласиями, а уже как бы и удельно-племенная семейная политика зарождалась.

И вновь, и вновь — в который-то раз! — возобновилось проникновение славян в южные Приазовские степи.

Да тут, откуда ни возьмись, навалой обрушилось татаро-монгольское нашествие. И на этот раз были биты дружины русичей вместе с половецкими отрядами на той же реке Калка.

После завоевания киевских и русских княжеств хозяином Причерноморских и Приазовских степей надолго стала Золотая Орда, государство монголо-татар.

Чуть менее ста лет пребывали здешние степи в относительном покое. А затем снова всколыхнулись — уже от яростной битвы золотоордынского хана Мамай и его соплеменника, тоже хана, Тохтамыша. Разгромленный и посрамленный Мамай бежал в Крым. И оттуда то и дело пытался подхватить на летучее копьё своего бывшего соратника.

А как в XV веке Золотая Орда вовсе распалась, в Приазовских степях обосновались ногайцы, выходцы из Северного Кавказа. Тоже кочевники...

Дикое Поле! Сколь ж ты вытерпело всего, сколько вынесло и сколько видело, сколько слышало непотребного? В твоих ветрах и донине чудится отголосок, будто плач скорбный, той тревожной, кровавой, кочевой минувшины, когда ты переходило из рук в руки, из рук в руки...

И степи в водоразделе меж Днепром и Доном обезлюдели, пришли в запустение, одичали. Оттого-то и нарекли их так славяне — Дикое Поле.

И только в конце XV и в начале XVI веков на этих пустынных землях возникли постоянные людские жилища — первые хутора и слободы казаков — свободного вооруженного населения, умевшего, впрочем, и хорошо хозяйствовать; на них-то и было возложено Российской Империей защищать южные рубежи от набегов ногайцев и крымских татар. Вплоть до XVII века некоторые улусы Большой Ногайской Орды все еще кочевали по Кальмиусу, Бердам и Молочным водам,

продолжая с прежней прицепливостью и неугомонной люто-стью совершать набеги на соседние государства.

Войны в наших степях сникли лишь к началу восьмидесятих годов XVII века, когда было заключено перемирие с Турцией и Крымским ханством.

А в начале XVIII и в середине XIX веков, в особенности же после ликвидации Запорожской Сечи царским правительством, заопасавшимся ее неповиновения, Дикое Поле перешло в состав Российской империи, и самодержцы, дабы освоить благодатный край, богатый полезными ископаемыми, взялись наскоро заселять его греками, сербами, болгарами, венграми и другими выходцами из Балканских стран, бежавшими из-под турецкого ига в Австрию...

Какого только люда не перебывало на тебе, Дикое Поле! С незапамятных времен и по сию пору.

И какой только крови не подмешано в нашу, славянскую! Текут себе в одном русле, по временам, как недруги, то бунтуя, то усмиряясь, выказывая тот или иной норов, порой, казалось бы, ничуть не совместимый в одном и том же человеке.

Кого же в таком разе поминать доброй памятью? Кого проклинать? И кого из них, в конце концов, считать своими пращурами?

По мне, так — всех! Без разбору. Ведь они в большинстве своем стали прахом этой земли на веки вечные. А она для нас — роднее родной.

2000

ДУМА О РЕКЕ СЛАВЯНСКОЙ БЕДЫ

Ой ты гой еси, река половецкая Каяла! Река славянской беды, река скорби, гибели и плача всей древнерусской земли.

На самом ли деле ты протекала по Дикому Полю или вещей, то есть мудрый, пронизательный, обладающий даром предвидения Боян, повествуя о славном и горестном походе Игоревом, Игоря, сына Святослава, внука Олегова в «незнаемую страну», в «дикую степь», возвеличил все здешние реки

в поэтический символ, означающий не только поражение мужественного князя Игоря и других князей Киевской Руси, разобренных личными распрями и потому не стойких в отпоре половцам, а и символ порицания, попрека, каянья — каяти! — за это разобращение, за эту крамолу князей, как своих современников, так и их предков, чтобы призвать в дальнейшем к единению, сплочению против общего врага и предупредить от возможной еще большей беды, словно пророчествуя опустошительное в грядущем татаро-монгольское нашествие? Ведь летописец, то ли по аналогии, то ли в натуре, поминает и о другой Каяле в совершенно другом месте: «С той же Каялы Святополк прилеял отца своего между угорскими иноходцами ко святой Софии к Киеву». Да и о другом времени — в 1078 году в битве на Нежатиной ниве, что близ Чернигова, был убит киевский князь Изяслав Ярославич. С поля битвы Святополк Изяславич повез в Киев тело отца, по обычаю того времени, на носилках — «между угорскими иноходцами», прикрепив их шестью к двум коням, бегущим друг за другом.

Но автор «Слова...» все-таки указывает и на определенное местонахождение реки Каялы, на которой князь Игорь потерпел поражение: «Быть грому великому! Идти дождю стрелами с Дона великого! Тут копьям поломаться, тут саблям постучать о шлемы половецкие, на реке на Каяле, у Дона великого. О Русская земля, а ты уже скрылась за холмом!» И далее: «Вот ветры, Стрибожьи внуки, веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы. Земля гудит, реки мутно текут; пыль степь заносит; стяги весть подают — половцы идут от Дона и от моря; со всех сторон они русские полки обступили. Дети бесовы кликом степь перегородили, а храбрые русичи преградили степь червленными щитами».

Иного моря, нежели Азовское, иной реки, нежели прославленный тихий Дон, и иной степи, нежели дикопольской, а по теперешнему — донецкой, в здешних пределах не было по тем временам.

Снова и снова летописец возвращает нас к тому же: «С утра раннего до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, стучат сабли о шеломы, трещат копыя харалужные в степи

незнаемой, посреди земли Половецкой... Бились день, бились другой; на третий день к полудню пали стяги Игоревы. Тут разлучились братья на берегу быстрой Каялы; тут кровавого вина недостало; тут пир окончили храбрые русичи: сватов напоили, а сами полегли за землю Русскую. Никнет трава от жалости, деревья в горе к земле склонились... На реке на Каяле тьма свет покрыла: по Русской земле разбрелись половцы, как пардусов выводок».

Буде уточнять, что и «степь незнаема», и «земля Половецкая» и есть тогдашнее Дикое Pole.

Об этом же твердят и видный русский историк Татищев, и выдающийся литературовед, историк славянской культуры Лихачев.

Последний даже более адресен, что ли, в своем толковании древнерусского произведения.

«Весна 1185 года. Огромная, бескрайняя, поросшая буйной травой дикая степь. Бесконечные отлогие спуски к далеким рекам. Скрытые от глаз кустарники и рощи по оврагам. Со всех сторон опасность: степь принадлежит тем, кто в ней кочует, кто идет весной с юга от зимовий на богатые северные пастбища, на села и города русских, чтобы захватить детей, женщин, мужчин, поживиться золотом, мехами, тканями, оружием. Степняки объединены, сплочены, у них быстрые кони, осадные катапульты, чтобы брать города, огромные, передвигающиеся на великих возах самострелы, тетиву которых натягивают пятьдесят человек. Есть даже «греческий огонь». Они воюют и в Средней Азии и на Балканах. Именно в этот год они сражаются в Болгарии. Воюя, они движутся всем народом: их жены и дети — в походных войлочных домах на телегах. Это страшный враг, ужас и проклятие Руси — половцы.

Медленно движется в этой «незнаемой стране», в «диком поле» небольшое войско новгород-северского князя Игоря Святославича и его немногих союзников. Они идут уже давно, идут навстречу врагу... Каждый день пути увеличивает опасность.

Воины помнят о грозном предзнаменении — солнечном затмении 1 мая, застигшем их в самом начале похода у берегов

Оскола. Игорь Святославич сказал тогда боярам своим и дружине: «Видите ли, что есть знамение се?» Те опустили головы: «Княже! се есть не на добро знамение се». Игорь возразил: «Братья и дружино! Тайны божия никто же не весть, а затмению творец Бог и всему миру своему. А нам что створить Бог, — или на добро, или на наше зло, — а то же нам видети». Иными словами: мы сами увидим нашу судьбу, и нечего о ней думать раньше времени.

Тяжело было прощание с родиной, скрывшейся за пограничным холмом: «О русская земле! Уже за шеломянем еси!»

Это и был рубеж, за которым простиралось неведомое Дикое Поле.

Сколько прошел Игорев полк от слияния Оскола с Северским Донцом, устремляясь к Дону по нашей земле, никто не знает.

Каких только научных предположений и догадок, и вероятных небылиц не высказывалось на этот счет! Даже как-то краеведы, увлеченные поисками реки Каялы, совершили конный переход верхом по предполагаемому пути следования Игоревского войска, при этом засекая время и вымеряя расстояние в верстах. И сошлись на том, что 11 мая 1185 года половцы разбили русичей где-то над речкой Макатыхой, прозванной летописцем Каялой. Иные же, придерживаясь этимологии половецкой слова Каялы — «скалистая» — полагают, что это могла быть и речка Тор, и Кальмиус... Собственно, под эту версию подходит и Кальчик. Равно, как и в случае с рекой Калкой, которая тоже неведомо в точности, где находится на Диком Поле, лишь предположительно — в Приазовье, и на которой случилась позднее уже другая плачевная для русичей битва.

А может, и правда, что обе реки — символы гибели, скорби и плача для русичей?

Каждым верным сыном Донбасса, для которого не существует риторического вопроса «С чего начинается Родина?» — любовь к отчему порогу впитана с молоком матери. И для каждого из них бесценно дорог малейший новый штрих к истории земли донецкой.

Оригинальные предположения высказал еще в 1968 году на страницах еженедельника «Литературная Россия» известный казахский поэт, ученый, а теперь и политический деятель Олжас Сулейменов в статье «Где река Каялы?»

По его мнению, следы битвы Игоревой рати с половцами следует искать на донецкой земле там, где текут реки Сухие и Мокрые Ялы. На основе своих исследований тюркизмов в «Слове...» он сделал нижеследующий вывод:

«В течение полутора веков, со дня обнаружения поэмы, исследователей занимает вопрос: где текла река Каялы, вернее, под каким именем существует она теперь? Благодаря летописям и «Слову..» известен район — Приазовье.

Но на картах этого района река Каялы не значится.

Из этого обстоятельства вытекает вывод, ныне признанный всеми исследователями этого вопроса: кыпчакское (т. е. половецкое) название реки забыто русским населением, сошедшим в Дикое Поле после половецкой и татаро-монгольской эпох. Следовательно, установить точно конечный пункт маршрута войска Игорева невозможно.

Мне кажется, кыпчакское название реки не было забыто: оно прошло стадию русификации и живо в новом качестве на карте Приазовья.

Для того, чтобы узнать новое имя Каялы, мы должны понять основной принцип переименования иноязычных гидронимов на территориях с русским населением. Этимологический анализ помогает вскрыть принципы названия, которые подчас сами по себе указывают на языковую принадлежность. Так монгольские и тюркские образования строятся по схеме: «названия реки + детерминатив» в противоположность суффиксальному типу, обычному для славянской гидронимии.

Например, славяне называют Днепр без детерминатива «река, вода», но монголы и сегодня по традиции прибавляют детерминатив «гол» — река («Днепр-гол»), тюрки прибавляют «су» — «вода, река («Днепр-су» или «Су-Днепр»). Славянам была известна эта тюрко-монгольская традиция. На картах славянских земель до сих пор встречаются славянские названия рек с восточными детерминативами».

Ипатьевская летопись так описывает окончание битвы на реке Каялы: «И поиде каждо по своя вежа... Игоря ял торголове муж именем Чилбук...»

Одним из первых (в XVIII в.) попытался этимологизировать это слово Татищев. В своей «Истории Российской...» он так передает сообщение летописи: «Потом половцы разделили князей. Игоря взял торков воевода Чилбук». Схема толкования Татищева совершенно очевидна: «Тар-голове» — «Тар-воевода». Имя «Тар» он превратил в эпоним «торки» — так называлось одно из племен, населявших Дикое Поле.

Это типичный пример «народной» этимологизации.

Летописец же, видимо, хотел сказать другое: «Игоря взял муж именем Чилбук с реки Тора».

По сообщению же другого списка той же Ипатьевской летописи, Игорь был в плену на реке Тор. Это обстоятельство делает невозможным татищевское толкование и заставляет искать объяснение «голове» в другом направлении.

Один из первых притоков Днепра носит название «Лупоголова» и просто «Лупа». Это название отражено в Книге Большого Чертежа в форме «Лупоголова». Когда-то и Оку называли «Окаголова». Нам кажется, что «голова» — результат развития монгольского детерминатива «гол» (река), некогда широко распространенного в Южной и Средней Руси.

Восстановить прежнее звучание гидронима порой просто невозможно. Ибо восточные слова были вовлечены в славянскую фонетическую эволюцию, которая в значительной степени стерла прежние черты.

Детерминатив часто сам выступал в качестве названия: древние тюрко-монголы называли реку просто «река». (В Восточной России много рек с названием Узень, Узенькая и т. п. Это татарское слово «узень» — река.) Так монгольское «гол» становится основой для трогательных речных названий: Голая, Голенькая, Гольш, Голова и т. п. Рек с подобными именами десятки в бассейнах Днепра и Дона.

Таким образом, Игоря взял муж с именем Чилбук с реки Таргол.

Даже на этом небольшом примере видно, что русичи старались по возможности русифицировать каждое иноязычное наименование, приблизить его к своему пониманию.

Основной принцип переименования: чужие гидронимы превращались искусственно в русское слово. (Если, конечно, истинное его значение не было известно.)

Знание этой закономерности позволяет угадывать старые ориентализмы в славянских по внешности гидронимах и топонимах вообще.

Имя «реки половецкыя» Каялы не могло существовать без кыпчакского детерминатива «су» — вода, река, ибо ни один тюркский гидроним не обходился без него. Зачастую даже не тюркские названия рек снабжались детерминативом «су». Географы знают множество рек под именем Прут, Пруд, Прутка и тому подобное.

Но есть правый приток Днепра — река Супрута, есть Супруты в бассейне Оки и Супрут в бассейне Истры.

Как видим, тюркский детерминатив слился со славянским именем.

Но часто книжники понимали значение «су» и исключали его из названия, переводя детерминатив русским словом «река». Так в летописях из формы «Су Каялы» могла образоваться «река Каялы». Но в народной традиции, должно быть, оставалась полная половецкая форма, к тому же прошедшая, надо полагать, стадии вторичного переосмысления.

Ища современное название половецкой реки, ученые должны исходить из конструкции «Су Каялы».

В какое русское название могло превратиться половецкое «Сукаялы»? Горланное «К» может быть передано русскими звуками «Х» и «К» («Хаялы» и «Каялы»). Простейшая схема народной этимологизации: Сукаялы — Суха Ялы. Под влиянием окончания «ы», служащего в русском показателем множественного числа, конструкция подчинилась грамматической ситуации и «выровнялась»: Суха Ялы — СухЫ Ялы.

Современная форма — «Сухие Ялы».

Это пример частичной этимологизации, когда осмысливается одна часть слова.

Река под таким названием значится на картах Приазовья, в тупом углу, образуемом Доном и северо-западным побережьем Азовского моря.

Она сливается с другой рекой, которую естественно было

назвать Мокрые Ялы как противоположность Сухим. Хотя, надо заметить, что обе реки одинаково «мокрые» и в равной степени «сухие».

Кыпчаки называли словом «Сукаялы» не реку, а пространство между двумя сливающимися реками. Это слово сохраняется во многих тюрских наречиях и сегодня в этом значении. Фонетический вариант — «Сухаялы».

(Видимо, Игорь стал жертвой распространенного в середине века кыпчакского тактического приема: противник заманивался в междуречье, лишался маневра, и это решало зачастую исход битвы. Были известны в степи стратегические валы, построенные в виде римской буквы «V». Крылья этих валов тянулись на многие километры. В мирное время они служили для охоты. В эти углы загоняли стада диких лошадей и сайгаков. При нашествиях в них заманивались вражеские рати.)

Автор «Слова» воспринял летописную форму «река Каялы», и тот же закон ассимиляции заставил его (или переписчиков) поправить конструкцию. В данном случае грамматическая форма детерминатива повлияла на форму имени: река КаялЫ и река Каяла.

За восемь веков, прошедших со дня битвы Игоря с Кончаком, имя «Сукаялы» пережило этапы лексической и семантической истории и трансформировалось в «Сухие Ялы». Исследователи, не учтя закономерностей развития тюрских гидронимов в русскоязычной среде, искали на современных картах книжный вариант передачи половецкого названия.

Много лет назад, когда шли поиски рек с близкими названиями, впервые на Сухие Ялы указал Логинов, рассчитавший теоретически, что маршрут Игоря мог закончиться именно в этом месте. Но его доводы не были приняты во внимание современными исследователями, ибо лингвистически невозможно было доказать происхождение формы «ялы» из «Каялы». Считались более близкими названия рек Кагальник, Калала и др.

Мне кажется, если экспедиция общества «Боян» произведет раскопки в междуречье Сухие Ялы — Мокрые Ялы, могут обнаружиться следы этого сражения.

Может быть, именно там найдется место для памятника воинам Игоревой рати».

Что ж, есть надежда и вера, что этот взгляд обратит должное внимание на себя историков, археологов, краеведов, как опытных, так и юных, областного общества по охране памятников, управления культуры и всех тех лиц и организаций, от которых будут зависеть неизбежные и столь необходимые для исторической памяти поисковые экспедиции — ведь по инициативе организаторов донского общества «Боян» и тамошнего музея, посвященного «Слову о полке Игоре», предлагается воздвижение памятника воинам Игоревой рати на берегу Северского Донца, поскольку точно не установлено, где же произошла знаменитая битва русичей с кыпчаками.

И снова Боян обращает наши мысленные взоры на Дикое Pole, славя прошлое киевских князей и порицая нынешнее бесславление:

«Ведь те два храбрых Святославича, Игорь и Всеволод, зло пробудили, которое усыпил было грозою отец их Святослав грозный великий Киевский: прибил своими сильными полками и харалужскими мечами, наступил на землю Половецкую; притоптал холмы и овраги; замутил реки и озера, иссушил потоки и болота; а поганого Кобяка из лукоморья от железных великих полков половецких, как вихрь, вырвал, — и пал Кобяк в городе Киеве, в градище Святославоном. Тут немцы и венициане, тут греки и моравя поют славу Святославу, корят князя Игоря, что добычу утопил на дне Каялы, реки половецкой, золото свое рассыпал. Тут Игорь князь пересел с седла золотого, а в седло невольничье. Приуныли у городов стены, а веселье поникло».

Действительно, Святослав Всеволодович, двоюродный брат Игоря и Всеволода, а по положению нарекаемый отцом ихним, годом раньше в победоносном походе совместно с другими князьями на половцев, а именно в 1184 году, взял в плен половецкого хана Кобяка с сыновьями. И не где-нибудь, а в нашем Лукоморье, в приазовских степях. Так что было чем гордиться и по чем горевать ныне.

Вторит этому событию в своем плаче и Ярославна: «О Днепр Славутич! Ты пробил каменные горы сквозь землю

Половецкую. Ты лелеял на себе Святославовы челны до полку Кобякова. Прилелей же, господине, мою ладу ко мне, чтобы не слала я к нему слез на море рано!»

И опять поминается море. А другому тут не быть, окромя Азовского.

Но: «Вспенилось море в полночи; смерчи идут туманами. Игорю князю Бог путь кажет из земли Половецкой на землю русскую, к отчему столу золотому. Погасли вечерние зори. Игорь спит, Игорь не спит, Игорь мыслию степь мерит от великого Дону до малого Донца».

И когда с помощью половца Овлура князю Игорю удалось бежать из плена — «и побежал к лугу Донца, и полетел соколом под туманами», и «поскакал горностаем к камышу, пал белым гоголем на воду», а река Северская его укрыла, — Игорь обращается к ней с высокой и гордой благодарностью: «О Донец! Не мало тебе славы, что лелеял князя на волнах, стлал ему зеленую траву на своих серебряных берегах, одевал его теплыми туманами под сенью зеленого дерева, стерег его гоголем на воде, чайками на волнах, утками на ветрах».

Почти точно можно определить по этим словам, что битва Игорева полка была где-то совсем рядом, в этих пределах. Однако велико и широко, и неоглядно Дикое Поле! И где затерялась в нем половецкая река Каяла — один Бог ведает. Утешением же для нас является то, что битва на этой реке, по словам Бояна, выявила не только слабость разобщенных междоусобицами князей всей Руси, а откликнулась и в сердце Игоря, и в сердцах его содружников зовом к единству и грядущим победам, к пиру-битве. И оттого река Каялы вызывает не только скорбь, жалость и плач, а и чувство торжества от несгибаемого духа русичей, наших соплеменников.

И на Святых Горах в виду легендарного Донца, прикрывавшего побег Игоря, и посреди ковыльной, изрытой ярами и буераками донецкой степи, где разыгралась великая битва на реке Каялы, на высоких степных курганах, издревле прозванных Могилами, — повсюду тебя охватывает невольное ощущение физической причастности к давно прошедшим временам нашего края, отечественной истории, которая, чудится, и поныне живым эхом таится за каждым холмом, за

каждым камнем, за каждой былинкой, тенькает тонким свистом в каждом порыве вольного ветра. Стоит лишь, затаив дыхание, вслушаться в окрестные шорохи и звуки, и она воочию предстанет пред тобой и зримо явит все, что деялось на нашей земле в далеком-предалеком прошлом. Как бы приобщи́т тебя ко всему и сделает небезразличным соучастником. А равно поможет и осознать, какое великое, какое торжественно-печальное, какое неповторимое наследие досталось нам от предков, обживавших и боронивших этот край от завоевателей — из века в век.

Стоять же и нам на том довеку!

2000

ДУМА О БИТВЕ НА КАЛКЕ

Да вознесись мое сердце в даль поднебесную и окинь своим внутренним взором многострадальное Дикое Поле, сплошь погорбленное могилами отчаянных ратников — и славянских, и иноплеменных, усеянное при жестокой пахоте черепами и костями русичей, половцев и татар, узри бесстрашно окропленный кровавой росой, а теперь уж давным-давно повыцветший до сивины ковыль в степи Половецкой!

И не оброни себя с высоты от невысказанной, неизбежной тяжелой печали по сгинувшим здесь соотечественникам, не разбейся о Каменные Могилы, близ которых на закровавленных водах Калки были посрамлены разномолвные киевские и галицкие, и русские князья, кои, единясь с подступными половцами, нестройно выступили на их защиту против стремительной татарской навалы, хлынувшей, «как саранча, пожирающая траву», откуда-то с востока, из-за Дона. Хлынувшей на быстроногих скакунах, с гиком и улюлюканьем, бряцая железными щитами, сверкая ятаганами и раскосыми лютыми глазищами, наполняя попутный ветер пронзительным смертносным свистом разительных стрел с калеными наконечниками, тревожа целинную землю гулким топотом частых копыт, пугая птицу и зверя.

Вознесись же, сердце! Помоги моему горестному воображению, которое сминает разум, полня его голосом крови и туманя давнее зорище. И пари, пари, не огрузай до поры до времени под бременем потревоженной памяти и прозрения героической и плачевно-горькой минувшины моих далеких предков, не оброни себя бесследно в глубину бездонной истории.

А коль уж сорвешься с той выси, в которую вознесет тебя дух мой, дабы прошлое обратить в настоящее, беспамятство в памятность, кажущуюся небыль в быль подлинную, коль все же вдруг надорвешься ты под грузом узнанного и как бы заново познанного, то упади, сердце, в отчих пределах, среди родных полынных степей и курганов, и разбейся на мелкие осколки макового цвета или воронца, вечно трепещущие алыми лепестками в виду лазурных небес, вечно живые на ветровом раздолье, будто кровинки сынов славянских, павших на поле брани за волю и независимость нашего края с незапамятных времен, сроднись с землей предков и пламенной, пламенной довеку. И в этом я найду утеху.

Дикое Поле, простиравшееся от Днепра до самого Дона, к 1223 году считалось Половецкой землей. Половцы, кочевой тюркский народ, занимавший причерноморские степи от Дуная до Волги, надолго, почти на два века, обосновались в Приазовье. Отсюда по весне они не однажды делали набеги на разобщенных междоусобицей киевских и русских князей, зорили беззащитных крестьян, обирали их и уводили пленников. В этих же пределах Дикого Поля они и славного Игоря полк разгромили на реке Каяла.

Но забылось поругание, плач Ярославны в граде Киеве, и половцы начали свататься, родниться с русичами, мало-помалу наладился мир меж ними.

Но вот беда! Объявились невесть откуда, вроде бы из-за Дона, и невиданные доселе новые грозные кочевники. А вышли якобы аж из Етриевской пустыни, находящейся в восточно-северной Азии. Свидетельствовал об этом патарийский епископ Мефодий. Он говорил: «К скончанию времен появятся те, которых загнал Гедеон, и, выйдя оттуда, пленят всю землю от востока до Евфрата и от Тигра до Понтийского

моря, кроме Эфиопии». Как никто не ведал и того, кто они такие: одни называли их татарами, иные — монголами, третьи — таурменами, или печенегами. Ходили слухи, будто они уже пленили многие страны — Ясов, Обезов, Касогов...

Пали эти иноверцы и на неверных половцев, как Божья кара за причиненные беды и горе всей Руси! И погнали их до Половецкого вала, края земли Половецкой, что обрывался у Днепра близ Триполья.

Князь половецкий Котян с остатком разбитого войска подался в Галич к своему зятю князю Мстиславу Мстиславичу Галицкому на поклон и с мольбой о помощи. Новоявленный родич обратился к братьям-князьям со словами: «Поможем половцам; если мы им не поможем, то они перейдут на сторону татар, и у тех будет больше силы, и нам хуже будет от них». На что великий князь Мстислав Романович ответил поначалу: «Пока я нахожусь в Киеве — по эту сторону Яика, и Понтийского моря, и реки Дуная татарской сабле не махать». Другие же, небось, посчитали сию отповедь несколько залихватской, если не самонадеянной. И потому совет у них промеж собой затянулся. Долго князья, собравшись, судили-рядили, как быть да что делать. И в конце концов надумали помочь Котяну, выручить из беды перепуганных половцев.

А до того часа семьдесят русских богатырей, опасаясь, что они, служа разным князьям в разных княжествах, ведущих между собой бесконечные раздоры и истребительные междоусобные войны, ненароком перебьют друг друга, сговорились и решили идти в Киев, мать городов русских, и бить челом великому князю Мстиславу Романовичу, чтоб принял их в единое услужение. Что тот, на радость и гордость свою, и сделал.

И вот вместе с этими богатырями, среди которых был и былинный Алеша Попович, князья собрали воинов со всех своих вотчин: великий князь Мстислав Романович Киевский, внук Ростислава, и Мстислав Святославич Козельский, внук Всеволода Черниговского, и Мстислав Мстиславич Галицкий — эти за старших, а с ними и младшие: Даниил Романович, внук Мстислава, и князь Михаил Всеволодович Черниговский, и князь Всеволод Мстилавич, сын киевского

князя, и много других. Да еще и во Владимир, к великому князю Юрию Всеволодовичу, послали гонца за помощью, и тот отрядил к ним Василька Ростовского.

Могучую рать собрали! Кого только не было в их дружинах: и киевляне, и галичане, и волынцы, и путивличи, и черниговцы, и смоляне, и куряне...

Прознав про то, татары стали послов засылать, оговариваться: мол, мы не занимали ни земли вашей, ни городов, ни сел, и пришли воевать не вас, а половцев.

Русские князья тех послов порешили. Татары вновь прислали переговорщиков, но уже с обидой: дескать, за что учинили расправу над их посланниками. Ну, этих Князь Великий отпустил с Богом, в которого они не верили, а поклонялись, басурманы, солнцу, луне и огню. Сказал, что самолично при встрече будет вести переговоры.

А тем временем у Олешьи собрались войска половцев. Поджидали русичей.

Князьи войска уже спустились от Заруба к острову Варяжскому. Князь Мстислав Мстилавич Галицкий, перейдя вброд Днепр со своим полком, ударил по сторожевым постам татарским, приняв их за главные силы. Еще и кликнул, чтоб остальные князья не мешкали, побыстрее переправлялись на легких и скороходных ладьях.

Оставшиеся в живых татары со своим воеводой Гемябеком убежали на курган Половецкий и притаились там. А чтоб спасти воеводу от увязавшихся за ними половцев, присыпали его, живого, землей. Да половцам знакома была такая уловка, они вскорости отыскали его и прикончили. И тогда всем стало ясно, что открытой битвы с татарами теперь уж никак не миновать.

Гей, трепещи все живое в степи Половецкой! То не гроза надвигается, с громом да молниями, то не смерч вихревой вырывает траву с цепкими кореньями и возносит столбами к небу, и не землетрясение колышет землю, как плоскодонный челн, — то отважные русичи устремились навстречу своей победе или гибели.

Из-под копыт вырывались и взлетали выше крупов сочные травяные ошметки, земля, от веку не знавшая плуга, была

тугой и гудела, словно бубен, от горячего лошадиного храпа никли и враз увядали полевые цветы — и маки червонные, и воронец, а лазоревый петрив батиг стегал по запенным, со вздутыми жилами лошадиным брюхам и хрупал, вдавленный в копытные следы; в разные стороны сигналы с перепугу и волки, и лисицы, кувыркком выпрыгивали из-под самых ног земляные зайцы с длинными задними лапами; а над войском клубились тучами вспугнутые птицы; одни лишь орлы надменно взирали с недосыгаемой высоты на все, что деется на земле; майское солнца встало в зенит над беспредельными степными просторами, да поднятая конниками пыль застила его ясное око, и на благоухающую и цветущую весеннюю степь будто сумерки пали.

Восемь дней двигались русичи, пока не оказались в центре Половецкой земли, на берегах речки Калка.

Никто доподлинно никогда уж не узнает, на самом ли деле в то время так называлась река, у которой русичи сошлись в битве с татарами. Был ли это собирательный образ болотистой, топкой, с водой и тиной местности, или так был впоследствии обозначен черный, позорный день для русских князей. По-разному толкуют это слово этимологи и ономасты. Хотя на географических картах Донецкой области и по сию пору сохранились старинные названия явно тюркского происхождения: Калка, Кальчик, Западный Кальчик, Калец, тот же Кальмиус, который до XVII века нарекался Калой. А может, это был и Каратыш, омывающий с востока Каменные Могилы. Бог ведает...

Ученые мужи ломают словесные копыя, а о ту пору ломались копыя со стальными наконечниками о грудь богатырей.

Все замерло и затаилось в окрестностях, ровно чуя скорую и неминуемую беду. Ни голосов людских, ни лошадиного ржания, ни звериного рыка, ни кваканья лягушек в высоких камышах, ни стрекота кузнечиков в приречной лебедке, ни техканья соловьев в цветущих белыми облаками терновниках по балкам и ярам, ни жаворонка в лазоревом небе. Только вороны, точно в предчувствии поживы, уже пластались в низком полете над заречьем, пятная черными крыльями ясный свет майского солнца.

А волки, лисицы, зайцы, вспугнутые приближающимися татарами, бежали русичам встечь, из-под восходящего солнца. И это должно было бы насторожить их. Да где там! От воинского ража они совершенно ослепли.

Лишь после того, как татарский дозор, тайком подкравшись к лагерю русичей, убил нескольких человек, Мстислав Галицкий повелел Даниилу Романовичу со своим полком перейти Калку. И сам последовал вслед за ними, встал станом в ожидании нападения. Более того, вызвался самолично сходить в дозор. Завидя издали татар, приказал своим воинам немедленно изготовиться к бою. А остальным князьям, что остались по ту сторону Калки, то ли из тщеславия, дабы одному ему досталась победа, то ли из мести за прежние обиды, ничего не переказал.

И тут не татарва, а туча черная ринулась на них, круша все на своем пути и сметая.

Дрогнула земля под копытами, дрогнуло солнце в небе, и всю округу враз огласили гики, возгласы, теньканье стрел и звон щитов, крики и стоны, и неистовое ржание коней, вздыбленных поводьями; сорванные клубы пыли порошили глаза, забивали глотку, сшибались в единоборстве мечи и сабли, и от них, как быстротечные молнии, змеисто сигали искры, уже тлел и там, и сям прошлогодний сухой бурьян; дымилась степь, небо тоже затягивалось дымной мутью.

Храбро сражались русские богатыри локоть к локтю с русичами. Ратного духа им придавало еще и то, что молодой, едва вошедший в совершеннолетний возраст, князь Даниил Романович, будучи раненным копьем в грудь, не покинул поле брани, а, исполненный отваги и мужества, бился со всеми на равных, то и дело и по левому боку, и по правому отсекал басурманские головы с плеч. Всадники, вооруженные копьями, втыкались ими в супротивников и дыбили друг друга так, что кони садились на крупы, а тела их зависали в воздухе. А вокруг Алеши Поповича собралась целая стая татар, они набрасывались на него со всех сторон, как злые псы, — скалили зубы, что-то кричали на своем гортанном языке. Татарские стрелы отскакивали от его лат с подвывающим теньком. Он же, человек силы необыкновенной и

мужества, круто разворачивая коня то в одну, то в другую сторону, умудрялся достать мечем тех, кто к нему подсакивал поближе и ненароком попадал под руку. Обочь него уже лежали окровавленные тела нападавших в густом пырее, иных, не выпавших из стремян, кони волочили по степи, дико ощерясь и оглашая звуки боя тонким ржанием, которое, казалось, ввинчивается в само небо. Да и небо, затянутое пылевым маревом, наполнилось звоном лат и щитов, свистом стрел, и выглядело приспущенным, как если бы не на земле шло сражение, а переместилось из-за нехватки места и в него.

Подоспел и Ярун со своим половецким станом, но вскоре половцы, видя временный перевес татар, бросились вспять. И в слепом, паническом отступлении смяли находившиеся позади полки русичей, так и не успевших как следует вооружиться, встать неприступной стеной против неприятеля. Оттого и русичи попятнулись, а затем и в бегство обратились.

Татары, окрыленные заминкой и паникой в стане русичей, обходя стороной реку по левому побережью и каменистую возвышенность, в которой засели главные силы русичей, устремились, забирая много севернее, следом за отступающими.

Печальную, однако, должно быть, достоверную весть оставила для нас, далеких потомков русичей, Тверская летопись:

«Князь же великий Мстислав Романович Киевский, внук Ростислава, правнук Мстислава, который был сыном Владимира Мономаха, и князь Андрей, зять Мстислава, и Александр Дубровский, видя это несчастье, никуда не двинулись с места. Разбили они стан на горе над рекой Калкой, так как место было каменистое, и устроили они ограду из кольев. И сражались из-за этой ограды с татарами три дня. А татары наступали на русских князей и преследовали их, избивая, до Днепра».

Те же, что остались сторожить великого князя под предводительством воевод Чегирхана и Тешухана, пытались вначале пробиться к русичам, засевшим в скалистом возвышении, напрямки через Калку, соорудив наскоро бревенчатые плоты. Но едва высаживались и начинали взбираться по

крутому склону вверх, как на них обрушивался целый камнепад, и они скатывались назад в воду, какое-то время недвижно лежали вниз лицом близ берега, а потом течение медленно сносило их туда, куда и мчала свои воды река — на юг, к Азовскому морю.

Тщета усилий заставила татар прибегнуть к хитрости. Они подослали великому князю воеводу христианской веры Плоскиню, воевавшего на их стороне во главе бродников, людей вроде бы вольных, бродячих, ищущих по свету приключений себе же на голову. Плоскиня даже кресты на князьях целовал, заверяя, что если они добровольно сдадутся, то будет им помилование.

Похоже, никогда не изживутся среди славян ни предательство, ни детская доверчивость. Как ни горько это сознавать нам, их прямым потомкам.

Поверили князя Плоскине, сложили оружие, а тот вмиг их повязал и передал татарам. Остальных же, кто был в стане великого князя, перебили на месте.

Связанных князей уложили на землю, сверху придавили плотами, на которых переправлялись татары через Калку, сами уселись поверху, как на помосте, и принялись пировать победу.

О, то был кровавый пир, можно сказать, пир во время чумы! Татары, хмелея, торжествующе хохотали во все глотки, и эхо разносило их хохот далеко по степи, сплошь усеянной телами повергнутых в прах соплеменников — русичи-то, несмотря на поражение, показали свою удаль и перебили их великое множество. Смеялись залиvisto татары да время от времени с незатухающей злобой поглядывали на задыхающихся под ними князей, а то и плескали с ненавистью вином в изможденные жаждой, мученические лица, вызывая у сотрапезников очередные взрывы верескливого, напоминавшего лай лисиц, безудержного хохота.

Однако князя не молили о пощаде, изо всех сил старались сдерживать стоны, чтобы не доставлять лишнего удовольствия пирующим свою победу врагам. Сцепив зубы, превозмогая боль и муки, они глядели мимо татар — в небо, которое наверняка каждому из них казалось родным и зовущим их

души в свои пределы Господни. И невольные слезы наворачивались на глаза: не пристало княжей гордыне завершать житейский путь столь бесславно, столь унижительно, вовсе не княжеской смертью...

Полегли в этой битве и еще шесть князей. И все семьдесят богатырей, а с ними и Алеша Попович.

Только десятая часть войска русичей вернулась домой, в стольный град Киев. Добрался туда и раненый Даниил Романович.

Благополучно, совсем невредимым, удалось спастись бегством в отчий Галич одному лишь Мстиславу Мстиславичу Галицкому, зятю Котяна половецкого, с коего, собственно, и зачалась страшная беда с русичами. Переправившись через Днепр, он велел сжечь все ладьи, дабы не было погони.

Разгоряченные успехом татары, уже совместно с уцелевшими половцами и примкнувшими к ним, узрев, что князья за рекой и недосыгаемы, понеслись вдоль Десны на север и сожгли Новгород-Сиверский, жители которого, опять же по славянской доверчивости, вышли к ним навстречу с крестами, а их тут и посекали до единого.

Василько же Ростовский ринулся было к Чернигову, где собралось грозное войско русичей, чтоб дать достойную отповедь татарам и отомстить за неслыханное поругание, но убоился татар и подался окольными путями в Ростов.

Но и татары, завидя собранное черниговское войско, тоже не посмели приближаться и двинули обратно, пока головы целы. Ибо немногочисленны все же были преследователи, да и далековато забрались в чужие, неведомые даже половцам пределы.

Долго граяло жадное воронье над Половецкой степью, где отремела кровавая битва — им было чем поживиться и неделю спустя, и две, и три... Да орел-стервятник, широко распахнув огромные крылья и зорко поводя красными глазами, высматривал с высоты поживу и затем камнем падал вниз, распугивая воронов и всякую живую тварь. Волки, те поначалу набрасывались на убиенных, а когда от них веинуло смертным духом, разбрелись кто куда в поисках иных новых жертв.

Потом хлынули ливни, припекло солнце, задул с моря жаркий ветер, и на поле брани забелели кости да черепа человеческие. И в них закопошились змеи — играли свои змеиные свадьбы, свертываясь в нерасторжимые клубки.

А случилось это несчастье, как заверяет дотошный летописец, месяца мая в тридцатый день, на память святого мученика Ермия. Хотя по церковным календарям днем поминовения этого мученика числится и тринадцатое число июня. Иные же летописцы и другую дату указывают. Да вряд ли кто из них бывал тогда в той битве самолично. Скорее, со слов очевидцев записывали. А память людская не железная, в ней то и дело случаются провалы невосполнимые.

Прошло немного времени после битвы на реке Калка, и эту местность, будто по гневу Божьему, встряхнуло до глубокой дрожи землетрясение, пошел недород, а за ними — голод и мор, по прошествии еще некоторого времени опустошил ее Батый, и земля наша вновь обезлюдела, сделалась опять дикой, какой и была до тех давних пор. И впрямь Дикое Поле!

Битва та аукнулась великим плачем по всей земле русичей — плакали матери, плакали жены и сестры, плакали дети, горестный вопль стоял во всех городах и селах.

Оплачем же и мы, сердце, своих соплеменников, воинов Руси-Украины! А заодно выроним хотя бы скупую слезу и по неприятелям нашим, безрассудно отдавшим жизни невесть за что. Потому как заповедано же от сотворения мира и во имя того же мира меж людьми любить даже врага, яко ближнего своего... И помолчим, точно над могилой, в печальном раздумье: «Отчего же все неймется здравомыслящему люду? Отчего испокон веков враждуют меж собой и бьются насмерть отнюдь не боги бессмертные, а что ни на есть смертные люди, да еще на таком коротком веку, какой отведен свыше для радостей земных?»

Отец Всевышний, не отнимай у нас остаток разума!

Пусть и не видишь нашим грехопадениям конца-краю, все ж не отнимай. Авось образумимся.

ДУМА О КАМЕННЫХ МОГИЛАХ

Пари, пари, мое сердце! Не уставай созирать с высоты древний отчий край, его ковыльные и полынные просторы, по которым там и сям, то в одиночку, то сплошняком дыбятся прадавние могилы. Даже если тебе и почудится, что не природа вовсе их вздыбила над ветровым раздолем, над вольным степным пространством от Дона до Днепра, а сама Божья кара пала на землю за смертные грехи некогда обитавших здесь людей и могильно погорбатила ее, — все равно не отворачивайся и не утрачивай всеохватной и всепроникающей внутренней зоркости. Как бы ни было горько, как бы ты ни кручинилось, взглядишь в них — это наша отчина!

И не утомляйся, сердце, прозревать сивую старину, да, казалось бы, и совсем недавнюю минувшину, когда в здешних пределах сходились разноплеменные ратники на кровавые, смертельные сечи меж собой, как недруги, как смертные, довеку заклятые враги, или по временам и брат с братом схватывались — тоже не на живот, а на смерть. И повсюду, по всем всядам пустынная степь горбилась, горбилась и горбилась могильными холмами. Их размывали дожди, сносили паводковые воды. По весне же, едва наступали погожие деньки и все вокруг цвело и благоухало, а затем и лето красное являлось, и наставала удобная пора для ратных походов, могилы вновь возникали. Из года в год, из века в век, с незапамятных времен...

Не оттого ль и нарекли славяне все степные холмы и курганы на свой, близкий их народному духу и понятию, манер — могилами? Хоть древние русичи, хоть болгары, хоть сербы и хорваты, чехи и словаки. Для них это понятие было единым — могилы.

С высоты птичьего полета бывшее Дикое Поле и впрямь выглядит могильной землей! От края до края, из края в край.

На западе, в Запорожской стороне, считай, у самого левого Днепрового берега оно венчается Острой Могилой; почти сходная с ней, с таким же в точности названием вершит его и на востоке, почитай, в Донской стороне. А между ними на многие версты вразброс пораскиданы издалека видные ото-

всюду Могила Мечетная, Могилы Картушанские, Могилы Пяти Братьев, Передериева Могила, Саур-Могила, Корсак-Могила, Токмак-Могила, Бельмак-Могила, Кусунгур-Могила, Каменные Могилы. И чуть пониже первых, в том же Приазовье, — Капитан-Могила, Медведь-Могила, Дворянские Могилы, а много севернее — Могила Горелый Пень и Архангельская Могила.

А еще скифские могильники и Половецкий вал... А еще ведь и безымянные казачьи могилы-курганы, насыпанные, по поверьям, шапками побратимов, а теперь уж оплывшие от времени и пораспаханные всюду или превращенные в поднятые над землей водоемы для орошения полей современными неоглядными земледельцами, для которых, пожалуй, уж ничего святого не осталось в подлунном мире, окромя дохода.

А еще ведь и братские могилы гражданской войны и Великой Отечественной, которая чудовищно пропахала бомбами и снарядами донецкую землю вдоль и поперек, захватывая этой неслыханной пахотой ее от Северского Донца до Азовского моря, да так, что местами обнажила древнейшие кряжистые породы.

А еще и терриконы, старые и новые, побившие будто муравейники угольную землю нашу — они ведь тоже напоминают курганные могилы, символизируя не только о трудовой славе добытчиков подземного солнца, но как бы являются и памятниками тем, кто работал в земных недрах, что называется, глубже могил, и кто погиб в подземной стихии, заботясь не столько о хлебе насущном, сколько о благе землян...

Воистину могильная земля!

Однако она оживает, живет и будет вечно жить в легендах, преданиях, народных думах и былях об этих зримых и невидимых, стертых безжалостным временем, сотворенных Богом и природой, и рукотворных могилах человека, который, все больше неистовствуя, продолжает на стыке тысячелетий нынешних исступленно разделять меж собой и преобразовывать землю-кормилицу до неузнаваемости. Прости, Господи! Ибо мы и вправду не ведаем, что творим... Хотя вроде бы и не беспамятны. И покуда при своем уме.

Думы, легенды и были, словно отторгнувшись от нас, смертных, как дух, переживут и наш тлен.

Ими, будто венком бессмертия, увиты и Каменные Могилы на донецкой земле, когдашнем Диком Поле.

Из поднебесья Каменные Могилы кажутся то химерными, то величавыми средь бескрайней степи.

Откуда бы к ним не приближался — то ли с юго-востока, то ли с юго-запада, то ли с севера, — все окрест изрезано глубокими балками и оврагами, и буераками, забитыми непролазным терновником, подступы к ним выглядят каменистым плоскогорьем. Но с востока, где они омываются речкой Каратыш, Каменные Могилы предстают твоему взору неприступными, закрывая впереди чуть ли не полнеба.

А уж когда доберешься до них и ступишь на их замшелые камни, и вовсе покажутся обособленными горами, со своими грядами и ущельями, гротами, обрывами, крутыми голыми скальными отвесами. Из расщелин выбиваются наружу кусты кизильника, таволги и шиповника. Между грядами горными седловина вгибаются до самой долины, по дну которой пролегает русло давным-давно высохшей речки Каратюк. В вышине пять вершин макают свои верхотуры в небесную синь, а внизу — каменистая степь, покрытая сплошь голубым и желтым, и сиреневым: волнуются под ветром ковыль, папоротник, желтый тюльпан гранитный, ландыш, тысячелистник, пырей, кермек, гиацинты, адонис и горицвет, чабрец, шалфей, сон-трава свешивает долу сиренево-синие колокольчики, словно дремлет, — говорят, если положить их под голову на ночь, то увидишь будущее...

Прямо диковина: степная страна в горной! И многое из того, что произрастает здесь, — редкостное явление не в одном Донбассе, а и во всей Украине и занесено в Красную книгу как реликт.

Таков же диковинный и животный мир заповедника: чекан-каменка, сычи, горлицы, иволги, сорокопуть-жуланы; слепыш, заяц-русак, хорек, ласка, ежики ушастые; у подножий скал кишмя кишат ящерицы всех видов, степные гадюки, встречаются полозы и медянки.

И непрерывно дуют ветры над Могилами. Особенно же по осени, когда все окрест буреет, никнет под ненастьем.

Вслушиваешься в ветровой пронзительный свист, и в нем чудится эхо прошлого — отголоски тех битв, которые разыгрались на Диком Поле бог весть когда.

Неужто и есть это то самое «место каменистое», на котором ютился в осаде лагерь обреченного на позорную гибель киевского князя Мстислава Романовича? Когда, как сказано в Новгородской летописи, случилась «бысть на Калках брань великая...» И вся округа Каменных Могил стала тогда всеобщей могилой для славян и для кочевных иноверцев. И прикоснувшись к любому из их камней, не обагришь руку кровью? От такого наваждения, право, трудно отрешиться.

Ну никак не хочется сердцу соглашаться с доводами ученых умов, что Каменные Могилы — есть восточный край Азово-Подольского кристаллического массива, простирающегося с запада на восток и северо-восток вдоль побережья Азовского моря, а границами ему служат на западе река Молочная, на востоке — Кальмиус, северным же краем он соседствует с Донецким кряжем, а на юге — с Приазовской низменностью.

Или попросту — выходами гранитов. Якобы около двух миллиардов лет тому назад в результате тектонических процессов на поверхности земли появились граниты, которые в наше время принято называть Каменными Могилами. И раньше они имели такой вид: гранитное плато с двумя грядами возвышающихся скал. В центре этого урочища — четырехглавая гора высотой до двух тысяч метров, вершины которой прятались в вечно клубящихся темно-багровых облаках докемберийского неба. Плато в нескольких местах прорезали ручьи, из коих до настоящего времени сохранились Каратыш и Каратюк, да и то последний иссяк. Затем лишайники изменили граниты. Появились и папоротники. Вместе с формированием почвенного слоя на смену горному пришел горно-лесной и горно-луговой ландшафты...

Что спорить? Наверняка все так и было, наверняка все так и есть, как утверждают ученые мужи. А право же, как скучно!

Но коль так, то, быть может, граниты эти начинаются с Днепровых круч, со знаменитых каменных порогов близ запорожского острова Хортица? Там, где по свидетельству

летописца, «Днепр прорезал Половецкую землю», то бишь Дикое Поле.

Нет, сердцу все-таки куда милее живые легенды, предания, были и небыли, коими издавна увенчаны Каменные Могилы!

Если верить археологам, человек появился в здешних местах в эпоху палеолита, много тысяч лет назад, — их стоянки обнаружены сравнительно недавно и неподалеку от Каменных Могил.

И можно представить, какой священный трепет вызывали у древнего человека гранитные громады в степи! Им поклонялись, их обожествляли, использовали как культовое сооружение, созданное высшими таинственными силами. Даже считали местожительством богов.

А потом древние впали в иное суеверие. И одну гору считали Чудо-Юдом, другую — Бабой Ягой, третью — Слоном, полагая, что слоны уходят перед смертью в долину меж гор, прозванную Долиной Смерти, и это был их последний путь на склонах: дух еще не покинул животных, еще вел до последней жизненной черты, переставляя ноги, а остальной плотью они уже были там, за пределами жизни.

Думали и по-другому: убеждены были, что Каменные Могилы сотворил некий одноглазый великан-циклоп, который в незапамятные времена вырыл на этом месте для своих сородичей большие, соответственно их величине, могилы и прикрыл их преогромными камнями... Память далеких предков тутошних жителей, а затем и потомков, хранила и хранит предание об этом до нынешнего времени.

Со временем Долину Смерти стали называть Долиной Привидений, а еще позже — Долиной Масок.

Пять же вершин на двух грядках нарекли каждую по-своему.

Те, что неприступно нависают над Каратышем, прозвали Витязем и Панорамой. А которая чуть поодаль — Острой. Между Витязем и Панорамой находятся Ворота Солнца — ежеутренне солнце оттуда появляется, при этом Витязь покрывается дымкой или мглой, наподобие солнцезащитной накидки или вуали. Затем светило поднимается в зенит, освещает впадину меж горами, собственно Долину Привидений или Масок, и снова закатывается за скалы. Одна из них

именуется Лягушкой либо Жабой. А рядом — Медведица с маленьким Медвежонком, глядящим на запад. В то время как Лягушка устремила свой взор на восток, в сторону восходящего солнца. К подножию Острой идет Динозавр или Бегемот. На Острой обнаружены были вырезанные в камне надписи и тевтонский меч, но расшифровать, что сие означает не удалось и донныне.

Таят, таят в себе Каменные Могилы память о давнем прошлом! А ведь они были свидетелями многих драматических событий, разыгрывавшихся в их виду за много веков до наших дней. Но молчат камни — свидетели немые. И лишь легенды и предания, передаваемые из поколения в поколение, способны хоть отчасти утолить настырную, неодолимую, идущую из глубины сердца, словно зов предков, потребность как-то прозреть канувшее в лету и явственно представить его. Сердце готово уверовать в них, как в взаправдашние, принять их за бывальщины и были.

Ютится среди скал Скорбящая Вдова. А может, и не одна она была, да время не пощадило. Ибо сюда в 1223 году, после страшной битвы на Калке, устремились многие жены, матери, сестры, чтобы отыскать среди погибших своих близких русичей. Узрев неслыханное, никогда не виданное допрежь побоище, одна из жен, по преданию, так и окаменела на месте.

Еще раньше, когда шла нещадная война половцев с русскими князьями, супротивники послали, те — со своей стороны, а те — со своей, в разведку пронырливую Тыпчак, дочь половецкого хана, и храброго воина-русича по имени Ковыль. Ночью они чуть не столкнулись среди Каменных Могили. Озарил луна их ярким светом в тот миг. Девушку поразила сказочная красота молодого русича. И он тоже был пленен ее несказанным видом. Не смогли они убить друг друга. Как не могли и предать своих. Когда на землю пали первые лучи, их увидели вместе стоящими в горах.

— Измена! — закричали противоборствующие стороны.

С обеих станов полетели в них стрелы. Да высоко — не достать. Но и казнить их не успели.

Влюбленные бросились вниз с высокого камня и разбились насмерть.

Там, где упали капли их крови, выросли травы — низкий тыпчак и высокий ковыль. Природа же увековечила влюбленных в виде двух каменных тел, лежащих друг к другу головами.

Говорят, в XVIII веке стоял здесь город татарский, были мечети, развалины которых угадываются и до сих пор.

Так ли, нет, однако среди немцев-колонистов, что жили неподалеку в селе Грос-Вердер, и вправду из уст в уста передавалась легенда о том, что действительно на этом месте в старину находился прекрасный город с великолепными дворцами, в одном из которых жила молодая королева.

Никто не знал, отчего город превратился в каменные нагромождения, только поговаривали, что его можно восстановить из руин, для чего нужно отыскать неимоверно храброго юношу. В ночь с 23 на 24 июня в одиннадцать часов та королева появляется-де на самом высоком камне, а возле нее — чудесный цветок, якобы папоротник. Юноше надлежит взять этот цветок у королевы и принести в свое село. И тогда, мол, город вновь возродится. Да сделать желаемое неимоверно трудно. Потому как в то время, когда смельчак будет нести цветок, позади него раздастся страшный топот, крики, его станут преследовать привидения. Он же не должен ни оглядываться, ни проронить слова какого.

Колонисты рассказывали, что был у них в селе такой юноша, который никого и ничего не боялся.

Вот он в ту июньскую ночь и пошел в Каменные Могилы. И дождался таки: в одиннадцать часов увидел королеву на камне, а возле нее — желанный цветок. Но едва он намерился сорвать его, королева стала просить, чтоб он не трогал. Казалось, и каменное сердце расплавилось бы от ее уговоров. Однако юноша все же сорвал и понес в село. Когда он шел, то чудилось, будто все бесы вырвались на волю — такой гвалт позади поднялся. А земля прямо стонала от топота чьих-то ног. Да смельчак не оглядывался, одолевал свой путь.

Навстречу ему поспешил брат и попросил показать цветок диковинный.

— Смотри! — сказал юноша и дал ему в руки цветок.

И враз пропал и топот, и привидения, и сам цветок.

Во второй раз идти в Каменные Могилы юноша уж не осмелился.

Так и остался загадочный, зачарованный город, не спасенный никем по сию пору.

А легенда вместе с немцами-колонистами перекочевала в Германию и уже оттуда пришла к нам в начале XX века.

По весне в Каменных Могилах цветут терен и боярышник, они белыми облаками жмутся к подножиям скал. А в степной их юдоли, некогда юдоли печали и скорби, ярко-желто пламенеет, прямо золотится адонис, в просторечии — горицвет.

По осени же от созревающего шиповника горы будто кровинками усыпаны.

И невольно вспоминается легенда о прекрасной, но непродолжительной любви сказочно красивого сына царя Кипра Адониса и богини любви и красоты Афродиты. Однажды ночью Адонис охотился за большим вепрем и был ранен смертельно. Афродита пошла на его поиски. Острые камни, шипы терновника и шиповника ранили ноги и белоснежное тело богини. С тех пор шиповник, обогранный капельками ее крови, и алеет вечно. А в память о любимом Афродита попросила богов, чтобы из капелек его крови выросло растение. Горе ее растрогало властителя подземного царства теней и умерших, он стал каждую весну отпускать Адониса на землю в облике первоцвета — адониса.

Невозможно отрешиться от ощущения, что именно здесь, в этих донецких заповедных местах, как раз все и происходило. И сопричастным был ко всему здешний пособник подземного властелина, некий Слепош, самовозведенный в этот ранг из обыкновенного слепыша.

Воздух весной и летом полнится голосами сорок, славок, кукушек, жаворонков, по вечерам ухают совы, чертят притемневшее небо стрижи и шуры, гнездятся в близких камышах вдоль приречья Каратыша козодои и камышовки, чибисы, носится крылатый хищник лунь.

Над Каменными Могилами — высокое небо; пьянящая свежестью и первозданной чистотой лазурь струится на их вершины. И подувает непрерывный ветерок, под которым волнуются, уходят волнами к подножиям по предгорьям и

плату из донецкой степи травы, коих никогда не касался лемех плуга, и цветы самых разных колеров и оттенков.

— Музей творений из камня под открытым небом, — вздыхает, восхищенно блестя глазами и просияв лицом, Виктор Сиренко, главный хранитель и нынешний хозяин этого заповедника.

— Да, храм природы, — вторит ему жена Наталья.

Поселившись здесь по окончании института и вобрав трепетной душой все здешние легенды, предания и были, они уже сами стали как бы легендой этого края.

Да будут и нам, сердце, все эти правдоподобные легенды и легендарные были не только в утешение, а и в назидание. И для памяти. Дабы ненароком не стать Иваном, не помнящим родства.

2000

ДУМА О КРИВОЙ КОСЕ

Полная, как бы вызревшая луна зависла над успокоившимся к ночи Азовским морем, и по его бескрайней покойной глади, чуть посверкивая серебристо-неоновым магическим светом, протянулась длинная лунная дорожка. Она достигала пологого песчаного берега, на котором я стоял, и обрывалась прямо у моих босых ног, оплескивая их едва приметной тихой волной. Словно манила ступить на нее и невесомо, как в легенде, зашагать в померкнувшую даль — на поиски, что ли, скрывшегося с наступлением сумерек из виду, уже совсем незримого горизонта, до коего я засветло силился доплыть, поддавшись вдруг накотившему на меня безоглядному, залихватскому порыву.

Наконец-то улегся здешний разнообразный дневной шум и гам, отмеченный общей печатью деловой и праздной суеты: местные рыболовецкие суда, до того хоронившиеся от недавнего шторма в уютной гавани, спешно закончили свои приготовления для лова и встали в виду причала на якоря, чтоб с рассветом, не мешкая, отправиться в открытое море на выборочный летний промысел; сперва сникли, а вскорости

и вовсе пропали, должно быть, до утра, веселые возгласы отдыхающей на морском побережье публики, стихли беззаботный детский смех и вереск. А заодно оборвались пронзительные вскрики белокрылых чаек, которые до самого заката солнца размашисто и резво носились над водным простором, зорко высматривая добычу и затем стремглав падая на нее; перестал тревожно вопрошать пришлых людей, забредших в места его недавнего рискованного гнездовья вдоль кромки прибоя на почти голой ракушечно-песчаной полоске отмельной суши, хохлатый чибис: «Чьи-вы, чьи-вы?»

Лишь одни сверчки оживляли замирающую на ночь глядя жизнь — они до неба полнили огромное пространство подлунного побережья неумолчным, высоко звенящим миротворным стрекотом, отчего еще пуще усиливалось ощущение космической беспредельности вставшего над головой мироздания, собственной малости и неразрывного живого единства с ним.

Да где-то на юго-западной оконечности косы, на ее узкой стрелке, называемой местными жителями и Дзенщиком, и Косьем, и собственно Стрелкой, что при свете дня то ныряла, прерываемая мелководными солеными лагунами, так называемыми бакаями, то вновь выныривала, желтея островками и устремляясь все дальше на запад, пока не истончалась до предела и не исчезала в морской глубине насовсем, — в той стороне, за несколько миль отсюда, напряженно мигал красным глазом одинокий маяк. Как если бы он не предостерегал об отмелях и не указывал путь кораблям, держащим курс в Мариупольский порт, а в сгустившейся вокруг темени подавал сигналы о никогда, ни на какое время, не затухающей жизни на земле. У основания косы, в Кривокосском лимане тоже замерли все живые звуки — ни тебе беспокойного галдежа озерных чаек, слышного обычно далеко за пределами заказника, ни настороженного покряхтывания чутких к малейшим шорохам крякв, чьи гнезда, схожие на блюда, считай плавают на воде, ни гнусавого писка болотного луны, ни шипения белых лебедей, ни возни в камышовых заламах голенастых цаплей, ни бульканья красноголовых нырков и лысух, точно играющих в прятки, ни стремительных, как

росчерки пера на светлом небесном фоне, полетов темно-фиолетовых ласточек, прозванных береговушками из-за привязанности к крутым береговым обрывам, ни камышовок, ни погонышей, ни чомги, ни пастушка — весь разномастный и многоголосый птичий мир затаился в чуткой дреме.

Все замлело на Кривой Косе и в ее окрестностях, все опочило!

Ничто не мешало ни думать отрешенно, ни первозданно чувствовать. Напротив, уединенное одиночество и тишина обостряли мысли и память, усиливали воображение. И я словно бы очутился наедине с многовековым прошлым и настоящим этой полоски суши, по временам даже ощущал себя современником всех тех людей, которые когда-либо обретались в здешних краях и чьи судьбы были так или иначе причастны к ней.

История Кривой Косы неразрывно связана с историей Азовского моря.

Нынешнее название море получило от города Азова, основанного еще до нашей эры как греческая колония в устье Дона, или Танаиса по древнему. Эллинцы и римляне так и называли его Таной, по географическому имени реки.

Позже они нарекли его Меотидой, или Меотическим морем. Как прозывались и меоты — племена, жившие в I тысячелетии до нашей эры на восточном и юго-восточном побережьях от устья Дона до Кубани. Древние греки называли его еще и Меотийским озером (Майотис лиман), а римляне — Меотийским болотом (Палус Меотис), считая Азовское море широко разлившимся лиманом Дона, который непосредственно впадает в Черное море. Но этимологи заверяют, что слово «майотис» — иранского происхождения и означает «где совершаются случки». Стало быть, еще тогда люди ведали, что оба моря случаются через Керченский пролив, оттого-то одно из них так и прозывалось.

А еще оно именовалось Сурожским, то есть Синим, — по имени крымского города Сурожа, нынешнего Судака, одного из многих торговых центров средневековья. О нем упоминается в Воскресенской летописи 1319 года: «...на усть реки Дону, идеже течет в море Сурожское». Уже на славянский копыл.

Но потом турки и крымские татары переименовали его по-своему: захваченную ими крепость нарекли Азак, что означало «низкий, низкое место», да соответствовало и другому слову — «айак», что на местном диалекте значило «нога, конец, устье», а море — Азак-дензи и Азав-денгизи, где вторая составная часть сих слов переводится как «море». Оба эти варианта упоминаются в «Хождении Игнатия Смольянина» в Царьград и Палестину в 1389–1394 годах. Хотя в списках вышеупомянутой летописи наряду с Озачским (от Озак, Азак) поминается уже и Азовское, ославяненное на русский манер: «И проидохом устье Азовского моря и взидохом на великое море». То есть проплыли через Керченский пролив в Черное море.

А среди азовских поморян издавна бытуют о том же названии и свои легенды. Связаны они с именем дочери рыбака, некоей Азы.

По одной из легенд, Аза эта жила на самом берегу нашего моря со старым отцом. И была такой красивой, что все хлопцы не сводили с нее глаз. Она же ни на кого не обращала внимания, ибо, говорят, была слишком горда. Еще и, видите ли, похвалялась, что ей никто не нравится.

Вот все парни, что жили поблизости, уговорились и пришли гуртом к Азе и предложили ей выбрать среди них себе жениха. Красавица посмотрела на них, подумала-подумала, а потом и говорит:

— Будете соревноваться. Кто из вас своих товарищей поборет, тот и будет моим суженым.

И начали молодцы соревноваться. Один таки вышел из того соревнования победителем, но Аза отказала ему да еще и принялась насмехаться над хлопцами. Обманула соперников. Разгневались они на горячку, взяли и утопили ее в море.

До сих пор, когда подходит вода к берегу, из моря слышится то ли плач, то ли стон. Старые люди говорят, что это утопленная красавица Аза плачет о своем ненайденном суженом. И море якобы зовется от ее имени — Азовским...

По другой легенде Аза тоже жила на берегу нашего моря и тоже была неописуемой красоты, но, в отличие от первой, эта любила хорошего собой, прекрасного парня. Да настал

тревожный час, и Азин возлюбленный ушел на войну с турками. А перед походом он подарил девушке золотое кольцо, чтоб она ждала и не забывала своего милого. С приговором подарил:

— Если потеряешь это кольцо, я буду знать о твоей неверности.

Прошло несколько лет. Аза берегла подарок, как зеницу ока. И все ждала-выглядывала хлопца из похода, а он все не возвращался. И вот однажды случилась беда. Пошла девушка к морю стирать белье, задумалась да и уронила ненароком кольцо в воду. А тут откуда ни возьмись волна, замутила воду — и пропал подарок. Испугалась бедная Аза, бросилась в волны, чтобы достать свою дорогую утрату, да и утонула.

С тех пор, мол, и море зовется Азовским по имени бесталанной девушки, которая так и не дождалась своего милого из похода.

В третьей легенде рассказывается уже о двух сестрах.

Возле большой воды (то есть где-то возле нашего моря) жил когда-то, говорят, старый рыбак. Жена его давно померла, оставив горемыке двух дочек. Одну из них, старшую, звали Азой, а другую, меньшую, — Золотокосой Песчанкой. Сестры были настолько красивы, что кто бывало узрит их, тот с того момента и про сон забудет: все о них думает. А девушки искали своего счастья переборчиво, никто из местных парней не был мил их сердцу.

Аза каждодневно сидела на берегу моря, на высоком обрыве, да все выглядывала кого-то. Возможно, своего суженого, который поплыл в далекие чужие миры и там, как передавали люди, погиб от вражьей сабли.

А раз, когда девушка сидела в той же задумчивости, неожиданно задул сильный ветер-буран. На море поднялись высоченные волны. Они бежали к берегу, били в кручи и страшно стонали. Внезапно откололся от кручи большой участок земли и вместе с Азой обрушился в разбушевавшиеся волны. Увидела это Золотокосая Песчанка — и себе бросилась с горы в море, чтоб спасти старшую сестру. Да так и потонули обе...

Наутро следующего дня, когда море утихомирилось, вер-

нулся из гостей старый рыбак, вышел на берег моря и увидел, что нет его дочерей на круче, а на том месте, где любила сидеть Аза, — свежий обвал. Глянул отец вниз — а там, под самой кручей, такой золотистый песок искрится на солнце, что аж очи слепит! А море — тихое-тихое и такое ласковое, как его дети... И понял все несчастный и горько заплакал...

Вот с тех самых пор и море-де стали называть Азовским, ибо потонула ведь в нем красавица Аза. А длинных песчаных кос в этом море оттого столь много, что вместе с Азой утонула и ее младшая сестра — Золотокосая Песчанка.

Ничего не скажешь, правдоподобны предания старины глубокой. В них хочется верить. И не только потому, что они по-народному мудры, образны и поэтичны, а еще и потому, что в легендах все-таки улавливается отголосок тех или иных реальных событий давно минувших времен, изустно запечатленных и переданных из поколения в поколение народом-творцом как нетленная родовая память.

Впервые же Азовским оно названо в 1384 году летописцем Пименом.

За этой кажущейся чехардой в названиях одного и того же моря кроются великие вехи отечественной истории, к которой так или иначе был причастен и Донецкий край.

Перво-наперво следует помянуть об Азовском осадном сидении казаков в 1641 году, когда они четыре долгих месяца, отвергнув предложение турков сдать крепость, героически обороняли ее от во много раз превосходящих сил противника. Мощная Азовская крепость — важный опорный пункт турецких владений в Причерноморье — была захвачена ими еще в 1637 году без ведома и согласия русского правительства. О важности их действий говорится в «Повести об Азовском осадном сидении»: «Через тот разбой свой отделили вы государя царя турецкого от всей его орды крымской Азов-городом. А та крымская орда — оборона его на все стороны. Второе: отняли вы у него пристань корабельную. Затворили вы тем Азов-городом все море синее, не дали проходу по морю судам и кораблям ни в какое царство, в поморские города». Турки в конце концов сняли осаду. Однако Земский собор, собравшийся в январе 1642 года, опасаясь войны с

Турцией, отказался принять Азов в русское подданство, и летом того же года остатки казачьего войска покинули город.

В древней летописи говорится лишь о донских казаках. Но в украинских народных думах и легендах сохранилось свидетельство о том, что и запорожские казаки участвовали и в захвате крепости, и в обороне. И это было вполне оправданно, поскольку турки и татары крымские донимали в первую голову Запорожскую Сечь.

Дошло до нас с прошлых веков предание о взятии запорожцами Азова, который по ошибке сказитель назвал турецкой столицей. Запорожские казаки были горазды на военные уловки, часто брали не одной удалью врага, а и хитростью, сметкой. Так они и поступили с Азовом. Их атаман сказал:

— Знаете, браточки, что? Силой, может, и не возьмем, бо крепость большая, а хитростью скорее возьмем.

Понаделали казаки возов, положили в них ружья, принарядились чумаками, а атаман — купцом. И махнули. Когда стали уже подъезжать к Азову, тогда взяли и попрятались в возы по семь, по десять или и того больше казаков, а сверху возы обшили шкурами и — гайда.

Въехали на закате солнца в Азов и встали вдоль улиц. Вот самый богатый турецкий купец выходит к ним и спрашивает:

— Что, братия, продаете в возах?

— Продаем, — отвечают, — дорогой товар: и куницы, и лисицы, и черные соболя.

— Ну, — говорит, — подождите до утра. Я сам весь товар закуплю.

— Хорошо, — отвечают.

Улеглись турки спать. И тогда как повылазили все эти «куницы», «лисицы» и «черные соболя» из возов да как метнулись по городу — так он весь и дымом взялся. Турки бросились тушить — а тут и жгут, и режут. Они тогда давай удирать!

До восхода солнца орда убралась к бесовой матери в Турцию, а казакам достался город и все добро в нем.

За достоверность предания никто, понятно, ручаться не будет. И все же, все же... Короче, не бывает дыма без огня.

То же можно сказать и о думе «Про втечу трьох братів з

Азова, з турецької неволі». В ней прямо сказано, що браття бежали дикою степью, по Дикому Полю, заворачивали к Саур-могиле, дабы укрыться в лесах на ней, передохнуть и набраться сил, а далее плыли Волчьими Водами, то есть по реке Волчьей, до Самары, в запорожские вольности, вообще в христианский мир. Как тут не поверить в истинность происходившего?

Следующей по значимости исторической вехой можно, вне сомнения, считать Азовские походы 1695–1696 годов русских войск и флота под командованием Петра Первого, чтобы наконец-то взять Азов и через него открыть выходы в Азовское и Черное моря и оградить южные границы Российского государства от набегов турок и крымских татар; первый из них, как известно, был неудачным из-за плохой подготовки и отсутствия собственного флота, второй же увенчался успехом.

Эти походы совершались через бывшее Дикое Поле, и в них принимали непосредственное участие и запорожские казаки, оборонявшие наш край от кочевников по своим сторожам.

О тех событиях народная память сохранила не одно предание, не одну легенду, которые схожи на правду и подтверждаются многими географическими названиями, сохранившимися с давних пор. В большинстве из них присутствует Петр Первый. И то, как он останавливался со своим войском в одном из байраков на вершине Донецкого кряжа, а на них напали татары, которых они совместно с запорожцами разбили, — место это зовется и поныне Государевым Байраком, находится оно неподалеку от Горловки; и то, как наткнулись солдаты в степи на родник с несказанно вкусной водой, а Петр Первый, испробовав водицы, бросил в криничку золотую монету и нарек ее Золотым Колодызем; и то, как он навестил попутно Торские озера, где к тому времени уже велось кустарное солеварение: и то, как притащили к нему на привал «земляное уголье» и бросили его в костер, а оно, диковинное, загорелось, вспыхнуло жарким пламенем, и царь изрек: «Сей минерал если не нам, то нашим потомкам зело полезен будет...»

Не менее важным событием в истории Азовья было и создание Азовского военного постоянного флота взамен временного, сработанного для взятия Азова далеко от моря — в селе Преображенском под Москвой и в Воронеже и затем сплавленного по рекам и притокам в Дон... Правда, во время неудачного Прутского похода в 1711 году флотилия была уничтожена, и в первой русско-турецкой войне 1735–1739 годов на Азовском море действовала Донская флотилия. А уж в последующих войнах и Крымской кампании, и второй русско-турецкой 1877–1878 годов — вновь и вновь воссоздавались азовские флотилии, пополняемые местными жителями.

Все эти, последние по времени, эпохальные события не обходили стороной и Кривую Косу, поскольку она была заселена еще в 1750 году, когда на ней обосновались рыболовецкие станы запорожских и донских казаков, и волей-неволей вовлекалась во все, что происходило на море, омывающим ее.

Особо же ей досталось в середине XIX века во время Крымской войны.

Для переброски продовольствия русским войскам, оказавшимся в тяжелом положении, царское правительство и командование вынуждены были использовать близкое и доступное ему северное побережье Азовского моря. Но англо-французская эскадра перехватывала груженные довольствием транспортные суда, обстреливала и прибрежные села, население которых помогало снаряжать помощь воюющим соотечественникам. Подверглась обстрелу и Кривая Коса: 6 июля 1855 года к ней подошли на близкое расстояние семь неприятельских кораблей и открыли одновременно губительный огонь, круша все и поджигая. С неделю горел угольный склад. Английский военный корабль «Джаспер» обманулся, приняв его за сигнальный, поспешил к нему и сел на мель.

Этот эпизод вошел в эпопею «Севастопольская страда» в несколько измененном виде: по Сергееву-Ценскому, казаки наблюдали исподтишка за тем, как английские моряки на шлюпке промеряли дно и ставили вешки, обозначая глубину для прохода корабля, а ночью взяли да и переставили те

вешки. Поутру «Джаспер» двинулся было к берегу и угодил на мель. Да так, что подошедший другой корабль, как ни силился, не смог сдвинуть его с места. А тем временем по засеваемому на мели «Джасперу» начали палить русские и с моря, и с суши. Англичане обратились в бегство, бросив не только корабль, а и флаг корабля, что считалась самым последним делом. Снятые с пылающего вражеского борта два орудия в знак победного торжества отправили в Новочеркасск, где они стоят и поныне при входе в музей донского казачества.

За этот бой, длившийся один день, жители Кривой Косы здорово поплатились: вскоре подошли девять вражеских кораблей и дотла все разрушили прицельным огнем. А в начале осени еще и десант высадился, который разграбил поселение дочиста. Об этом событии свидетельствуют «Донские епархиальные ведомости»: «... вследствие таких разорений всемиростивейше пожаловано жителям этого поселения пособие в 6000 рублей». Об участии в тех войнах местных казаков тоже сохранились вещественные доказательства — памятные медали.

Не миновали беды Кривую Косу и в XX веке.

Чего стоил один врангелевский десант полковника Назарова?! Назаров был из местных. И когда на Кривую Косу прибыли из Таганрога председатель ревкома и из управления Первой конной армии представитель, чтобы заготовить для Красной Армии хлеб, Назаров тоже присутствовал на сходе, проходившем гладко, ибо казачки слишком охотно поддакивали, заверяя, что незамедлительно соберут нужный нуждающимся красноармейцам провиант и вывезут на Косу, откуда его и заберут-де судном. Назаров посмеивался в душе, слыша, как представитель Первой конной сомневался, полушепотом обращаясь к ревкомовцу: «Ох и не нравится мне это собрание...» А тот недоумевал: «А чего?» Фронтовик вздыхал: «Да слишком все хорошо идет». Подпоясанный захудалым ремешком, в рубахе навыпуск, ряженный под мужичка, Назаров не выдал себя. Он ждал корабль «Зоркий», который должен был прислать генерал Врангель за этим хлебом и сопроводить его на Керчь. Однако опасаясь разоблачения, он все же бежал

под пологом ночи на лодке, а спустя какое-то время выса-
дился десантом. Он надеялся увлечь за собой население
Кривой Косы и соседних хуторов. Ему помогал поп Федор
Зимовнов. В открытую призывал с амвона противостоять
Советам. Едва ли не каждую свою проповедь он начинал так:

— Это черти, которые не признают ни царя-батюшку, ни
самого господ Бога!..

Или примерно так:

— Это звери в образе человека!..

Довелось и ему отступать вместе с Врангелем — сначала
в Мариуполь, а потом на греческом судне в Турцию, далее —
в Софию. Говорят, что там нашли его в 1944 году особыты
и расстреляли...

А уж в Великую Отечественную войну и вовсе выпала
печальная доля Кривой Косе. В суровую зиму 1941–1942 го-
дов Таганрогский залив замерз основательно, что ранее слу-
чалось довольно редко. Преодолевая пешком десятки ледовых
километров, наши разведчики добирались из Ейска до Кри-
вой Косы, чтобы заполучить необходимые нашему командо-
ванию сведения. И многие из них гибли, ибо гитлеровцы
хватали всех, кто появлялся на этом берегу и не был местным
жителем. На одной лишь Косе, по свидетельству адмирала
Горшкова, было установлено восемнадцать виселиц!

Но и разведчики мстили врагу. В ночь с 22 на 23 февраля
группа полковника Старина атаковала вражескую часть на
Кривой Косе. Во время завязавшегося боя прямо в машине,
которая шла из Таганрога, был убит военный инженер и
захвачены разработки новых вражеских вооружений.

Быть может, былая казачья воинственность и удаль корен-
ных поселенцев Кривой Косы сказалась и на потомках. И по-
тому, видать, не случайно родился на ней и вырос Герой
Советского Союза генерал-полковник Иван Ильич Людник-
ков. В годы войны полковник Людников командовал диви-
зией, был участником Сталинградской битвы. В поселке
Баррикады установлен обелиск с надписью: «Здесь дивизия
под командованием полковника И. И. Людникова героически
защищала территорию, названную «Островом Людникова».

Так уроженец кривокосских мест, считай, своей кровью, породнил две своего рода огненные земли — Приволжскую, русскую, и Приазовскую, украинскую.

Как породнил их своей жизнью и своей смертью и другой выходец из Кривой Косы — Георгий Яковлевич Седов: великий мореплаватель, полярный исследователь, родившийся в 1877 году на юге Украины, навеки остался на далеком севере России.

В палатку, какую я со своими спутниками разбил на прибрежной полосе, возвращаться не хотелось. Я насобиравал на песчаных дюнах сухих стеблей колосняка и пырея, развел небольшой костерок и стал дожидаться рассвета. Хотелось еще раз посмотреть, как выкатывается на морскую равнину огромный солнечный шар и некоторое время будто катится по ней, а не сразу поднимается в небо.

Надо мной помигивали яркие звезды, которые с приближением утра, похоже, делались крупнее и ярче, как если бы оповещали нас, землян, о скором явлении дня.

Проводив задумчивым взглядом в крымскую сторону небесный, постепенно делавшийся все белесее и белесее, точно и впрямь был молочным или солевым, Чумацкий шлях, я отыскал на северном небосклоне Большую Медведицу и Полярную звезду. И невольно подумал, что звезды эти сияют как раз над могилой Седова, затерянной в Ледовитом океане, где-то на острове Рудольфа из архипелага Земля Франца-Иосифа. Мне, бывавшему в Арктике, легко было все это представить воочию. Отчего легким холодком обдало сердце.

Передо мной чуть причмокивало на прибое полусонное теплое Азовское море, из донецкой степи потягивало резковатым духом полыни, а душой и мысленным взором я был далеко-далеко отсюда, за Полярным кругом, и пытался проследить трагический путь знаменитого на весь мир нашего земляка.

С самого начала экспедиция Седова не заладилась: судовладелец буквально накануне отправления неожиданно отказался вести «Святого Фоку», сняв заодно почти всю свою команду, и Седову довелось в спешке отчаянной добирать новых матросов; какие-то купцы снабдили его солониной,

оказавшейся впоследствии порченной; другие продали ему заведомо негодных собак; с большими трудностями раздобыв радиотелеграфный аппарат, он так и не получил радиста.

Но тридцатипятилетний подвижник, до самоотречения одержимый идеей покорения Северного Полюса, не останавливается ни перед какими трудностями: 14 августа 1912 года экспедиция Седова все же вышла из Архангельска на Север, к полюсу.

Без малого через год — 18 июня 1913 года — особым приказом Седов подвел предварительные итоги вынужденной зимовки на северном мысе Новой Земли.

«Подвести итог, — писал он, — произведенной нами работы тем более приятно, что в ней сделаны некоторые открытия несогласия с существующими картами, и нам, участникам первой русской экспедиции к Северному полюсу, таким образом достался счастливый жребий внести исправления в существующую веками неверную карту Новой Земли.

Таким образом, наша экспедиция, не задаваясь будущим, уже сделала кое-что для науки. Впереди — поход к Северному полюсу. Это задача экспедиции вторая, задача, так сказать, идейная, связанная с именем русского человека и честью страны. Поэтому надеюсь, что мы и в этом походе покажем свое усердие, мужество и отвагу и так же, с победой, выйдем из него...»

И заключал: «Нет худа без добра. Мы зазимовали на Новой Земле и сделали большую научную работу по многим отраслям науки. Все очень усердно работали, начиная с меня и кончая последним матросом...»

После первой непредвиденной зимовки «Святой Фока» через три месяца, добравшись до высоких широт, снова зазимовал — уже на Земле Франца-Иосифа, в бухте Тихой, как назвал ее Седов. В дневнике полярник запишет: «Судно стало на зимовку на Земле Франца-Иосифа. Больших трудностей стоило старому, дряхлому судну добраться до этих широт, тем более что на пути в Баренцевом море встретилось столько льду, сколько ни одна экспедиция, кажется, не встречала его, а если прибавить сюда весьма ограниченный запас топлива и довольно малую скорость судна, то можно сказать

смело, что наша экспедиция поистине совершила подвиг. Здесь наш труд, здесь наш и отдых. Поход к полюсу — дело маленькое — дело подавно победимое...»

Видя, что судну его не пробиться в торосистых льдах, которые чем ближе к полюсу, тем становились и круче, и крепче, Седов решает далее пробираться на собаках. Надо было лишь дождаться полярного дня, чтоб было видно, куда и как держать путь не только по компасу.

Но вот незадача — Седов заболел. И хотя выход он запланировал на февраль, все складывалось не в его пользу. Из дневника видно, каких внутренних борений, отчаянья, отваги и сомнений, и обретения почти утрачиваемой по временам веры в успех предпринятого им дела, какого драматизма была преисполнена его душа!

10 декабря: «Среди команды и офицеров началась какая-то общая слабость и уныние. Я тоже это чувствую, имею на деснах несколько красноватых пятен, не зачатки ли цинги? Доктор смазал йодом. Приказал давать офицерам и команде моржа в пищу из собачьего запаса».

12 декабря: «Сегодня просил Владимира Юльевича Визе примириться с тем, что ему нельзя идти вместе со мной к полюсу, так как он нужен очень на судне для научных работ экспедиции. Он для пользы дела охотно согласился».

18 декабря: «В полдень я почувствовал сильную боль в ноге, едва могу наступать...»

20 декабря: «Совсем разбиты ноги ревматизмом. По определению врача — простуда. Слегка повышена температура и кашель...»

26 декабря: «Грустно на душе, а на дворе еще грустнее: ветер то наметет, то затихнет. Темно, беспросветно. Читаю Гюго «Отверженные». Переживаю страдания Жан-Вальжана. Здоровье мое ухудшилось...»

30 декабря: «Неужели я не выздоровею к походу к полюсу?.. Выступить нужно 1 февраля, т. е. через месяц. Лучше бы уж потом заболеть».

Настал и долгожданный час. В сопровождении матросов Линника и Пустошного, по всей видимости, если судить по фамилиям, своих земляков с Украины, Седов двинулся пеш-

ком на северную вершину земли. Вышли они 2 февраля 1914 года.

Что это было? Одержимость, фанатизм болезненный или все-таки преданность до последнего вздоха своей идее, высокое служение родине, завидный патриотизм?

На судне Седов оставил приказ, из которого становится ясным, что же двигало им в ту пору:

«Итак, сегодняшней день мы выступаем к полюсу: это событие и для нас, и для нашей родины. Об этом дне уже давно мечтали великие русские люди — Ломоносов, Менделеев и другие. На долю же нас, маленьких людей, выпала большая честь — осуществить их мечту и сделать посильное идейное и научное завоевание в полярном исследовании на гордость и на пользу нашего отечества».

В пути ему становилось все хуже и хуже. В последние дни жизни он не мог двигаться и сидел, привязанный к нартам, часто проваливался в забытие, а когда приходил в себя, то хватался за компас, чтобы уточнить, держат ли матросы курс на север, не повернули ли часом обратно?

И понуждал их продвигаться все дальше, дальше...

Походный его дневник обрывается записью: «Увидели выше гор впервые милое, родное солнце. Ах, как оно красиво и хорошо! При виде его в нас весь мир перевернулся. Привет тебе, чудеснейшее чудо природы. Посвети нашим близким на родине, как мы ютимся в палатке, как больные, удрученные под 82° широты».

Сделана она была 17 февраля.

Вскоре Седов умер. Матросы предали его земле на острове Рудольфа, а сами вернулись на судно.

Седов оказался таким же мучеником, как и святой мученик Фока, которым поименовано было судно его экспедиции. Злая ирония судьбы, не иначе!

В 1914 году, когда началась первая мировая война, «Святой Фока», истерзанный льдами Арктики, наполовину сожженный в собственной топке, вернулся в Архангельск. Экипаж, забытый всеми, не получал жалованья и голодал. Зато «комитет», опекавший экспедицию и чрезмерно шумевший вокруг нее в 1912 году, позаботился о том, чтобы в Санкт-

Петербург в сохранности были отправлены шкуры убитых белых медведей для сановных любителей экзотики. Да начальник Главного гидрографического управления сообщил в Главный морской штаб: «Исполняющий обязанности начальника экспедиции старшего лейтенанта Седова ветеринарный врач, коллежский асессор Кушаков всеподданнейше донес его императорскому величеству, что старший лейтенант Седов 20 февраля текущего года скончался и погребен на южной оконечности Земли кронпринца Рудольфа. О вышеизложенном Главное гидрографическое управление доводит до сведения Главного морского штаба».

И все! И весь сказ!

Лишь спустя какое-то время российская научная общественность, ровно опомнившись, заговорила о значении экспедиции Седова, а потом и могилу его кинулись искать. Но как ни старались, какие попытки ни предпринимали, останков великого полярника так и не нашли. Делали уйму предположений, однако ни к чему, что прояснило бы эту загадку, не пришли. Хотя место захоронения и было известно определленно.

Поговаривали, что около трех лет по прошествии трагедии видели близ острова Рудольфа собаку Седова, которая не оставила его могилы. Правда, нет ли, да только такой преданности поражаются все, кому об этом рассказывали. Поразился и я, когда впервые услышал от полярных моряков эту то ли быль, то ли легенду, схожую на бывальщину.

Прошли десятилетия, и поселок на Кривой Косе переименовали в его честь на Седово. Присвоили его имя и улице, на которой он родился, и Дому культуры, открыли музей, посвященный Георгию Яковлевичу.

Седову поставили памятник. Среди личных вещей я видел кортик его, книги, компас... Тот самый? Хотелось к нему прикоснуться. Да экспонат есть экспонат. Мало ли чего? Он священен, ибо на нем остались прикосновения великого полярного исследователя, сына этой приазовской земли, восславившего ее на века своим подвигом.

Костер мой пригас, в нем тлели лишь звездчатые жаринки. Я сидел на густом спорыше и глядел в просветлевающее море. И чувствовал родственное причастие и к этой земле, и к этому морю. Здесь родился Седов, ходил по этому берегу, учился

плавать в этом море. Для него это была незабвенная отчина, как сама Отчизна! Единственная, неповторимая во всем мире! Все равно что мать и отец...

На Азовском море великое множество песчаных кос: в Керченском проливе, между Черным и Азовским морями, ютится островок Тузла — бывшая оконечность одноименной косы, прорванной сильным штормом. Восточнее как бы образуют ворота Таманского залива две косы — Маркитанская и Рубанова. Севернее от мыса Ахиллеон в Керченский пролив, суживая его акваторию, уходит часто меняющая свои очертания коса Чушка. В Ахтарский лиман развернули веера своих островков косы Ачуевская и Ахтарская, Бейсугский лиман от моря защищает Ясенская, а Ейский — Глафировская и Ейская косы. Таганрогский залив отделяют стрелка Долгая и коса Камышеватая. На том же юго-восточном побережье выдаются в море небольшие мысы Чумбурский и Сазальник, а также Очаковская коса.

Для нас же, жителей Донбасса, более всего привлекательны те косы, что протянулись вдоль северного побережья от устья Дона до самого Сиваша: Беглицкая, Кривая, Белосарайская, Бердянская, Обиточная, Федорова. Даже остров Бирючий и Арабатская стрелка тоже, как и все остальные косы, веками намывались морскими волнами, подводным течением и стремительными и мощными потоками впадающих в самое маленькое, самое мелководное и самое рыбное Азовское море со всех сторон быстрых рек — Кубани и Дона, Миуса и Кальмиуса, Берды и Молочной...

А среди всех кос дороже и милее сердцу — Кривая. Своей исторической памятью.

Обживалась она еще в те времена, когда этому краю богатому без конца угрожали крымские ханы и татарские мурзы.

В сборнике Статистического комитета № 5 Области Войска Донского помечено, что хутор Седово-Васильевка принадлежал казакам Седовым — Якову, урядникам Федору и Ивану Ефимовичам. Им же принадлежал и хутор Витава. Упоминаются и хутора Павла и Ивана Седовых, которые тоже были расположены по речке Грузской Еланчик, немного выше хутора Ефима Седова.

Как видим, Георгий Седов родился в большом казачьем роду, который обосновался в здешних пределах бог весть когда. И Кривая Коса стала для него малой родиной, отчим порогом, от которого он шагнул в бессмертие.

Я и не опомнился, как взошло солнце. Находясь в отрешении, задумавшись об истории Кривой Косы и ее людях, я прозевал тот момент, когда солнце выкатывалось на морскую равнину. Глядь — а оно уже в небе с восточного края, в то время, как луна еще не зашла совсем, лишь клонилась к западному горизонту.

Пролетела первая чайка над морем, и крылья ее были окрашены в розовый цвет восходящего солнца. Она вскрикнула. И разом ожил весь птичий мир и на Косе, и на лимане Кривокосском. Солнечные лучи высветили и камыши, и тростник на баках, осоку, рогоз и сусак, засветились частуха и солянка, и без того уже обретающая от природного своего свойства красный, будто солнечный, цвет.

Солнце ровно вдохнуло новую жизнь в просыпающийся после короткой ночи мир.

И я мысленно повторил предпоследние слова из дневника Седова:

«Привет тебе, чудеснейшее чудо природы».

Невольно вздохнул, припомня разом все передраги, какие выпали на долю нашего земляка, великого полярника, представляя до болючих мелочей его самые последние дни и часы посреди торосящихся, горами встающих окрест льдов, воображение подкреплялось и усиливалось тем, что я и сам видел в Арктике, и оттого горестные картины и подробности были зримы, как наваждение. Мне почудилось в этот миг, что и море вздохнуло у кромки прибоя, хотя по нему уже вспыхивали на гребнях бирюзовых волн веселые солнечные блики, как если бы оно, печалась по сыну своему, одновременно и торжествовало, восхищенное его подвигом.

Единясь с морем и взглядом, и прихлынувшими чувствами и мыслями своими, я машинально, обращаясь к солнцу, повторил:

— Посвети нашим близким на родине...

Свети же, солнце!

ДУМА О ХОМУТОВСКОЙ СТЕПИ

До чего же легко, до чего же вольно и отрадно дышится в родной донецкой степи! Дышу и не надышусь... И не чую в себе по отдельности ни ног, ни рук, ни тела, будто весь растворился в тугих потоках свежего воздуха, чуть приправленного душистым полынком, что сизеет окрест по склонам балок, холмов и степных курганов; перед глазами зыбится знойная даль в текучем мареве под полуденным солнцем, она уплывает, уплывает от меня, и я словно бы тоже плыву — вслед за нею над всем привольем, обретя внезапно незримые крылья и став невесомым. Только наворачнувшись от счастья слеза солонит губы и возвращает в реальный мир.

Так уж устроен человек, что где бы он ни был, куда бы ни забрасывала его своенравная, зачастую непредсказуемая судьба и в какие житейские передряги он ни попадал, в его памяти, — да что там в памяти? — в самом сердце! — неизменно, до самого последнего предела теплится, как островок надежды на спасение и веры в лучшую участь, стойкое чувство малой родины. К ней, точно к матери, обращается он и в трудную годину, и в часы полного отчаянья, а равно и радости.

Ибо эта щемящая, с годами тревожно, почти ностальгически, если волею случая или обстоятельств оказался оторванным от родного порога, нарастающая привязанность к отчей земле дадена нам не свыше, а унаследована от отца с матерью и потому устойчиво, помимо нашей воли и желания, передается из поколения в поколение в твоём роду.

Должно быть, так же, как горец не мыслит своей жизни без гор, а помор — без моря, так и степняк не представляет своего существования без вольных степей.

Ну что ему, рожденному в степной стороне, до гор, пусть и неопикуемой красоты, увенчанных снежными вершинами и уходящими почитай в небо? Что ему до лесов, полных пускай заманчивых тайнств, с их смолистым сосновым и волглым дубовым духом, от коего так и приподнимает ощущение почти воздушной легкости во всем теле? И что ему до моря бескрайнего, маняще укатывающего за невидимый го-

ризонт белые буруны и как бы и тебя зовущего в эту неведомую даль?

Всюду степняк наверняка будет испытывать душой некое стеснение, скованность, тоску после первых же минут восхищения невидалью, и его взор исподволь, а затем все настойчивее, причем совершенно невольно, побуждаемый неясной внутренней потребностью вроде бы, будет искать открытого простора, где, казалось бы, не обо что и глазу споткнуться, где даль степная зримо перекачивается с холма на холм, с кургана на курган, подернутая зыбким маревом в знойную пору или сверкающая под сланцем в зиму ослепительными ровными снегами и видна во все концы света на многие километры. А по весне куполится над беспредельным простором бездонное небо, неумолчным колокольчиком виснет в нем жавронок, вызванивая свой радостный благовест проснувшейся после зимней спячки земле, которая и для него, как и для степняка, милее и роднее любой другой стороны; по всему окоему лазоревому и вдаль и вширь перекачиваются под ветерком ярко-зелеными волнами еще некошеные травы, по временам озаряясь то белым, то желтым, то красным, а то и синим, как само небо, от щедро рассыпанных по степи полевых цветов; где-то поблизости, схоронясь от недоброго глаза, настойчиво зовет тебя перепел, ровно путника, уставшего с дальней дороги, заодно радуясь твоему возвращению: «Пить пойдем! Пить пойдем!» Не иначе, как в соседнюю балочку или буерак с пробивающимся там наружу родником доброй воды...

Дух прямо захватывает! И сердце буквально заходится от вновь прихлынувшего и словно взрынувшего из твоего замаянного подспуда, а потому как бы и обновленного пронзительно-щемящего родства с этим окрестным миром степным.

Ну, здравствуй, степь! Да как же я мог жить без тебя?!

Благо на необозримых пространствах бывшего Дикого Поля, среди разбросанных по нему древних Могил-курганов и каменистых отрогов Донецкого кряжа остались с незапамятных времен заповедные степи: на северо-востоке нашего края — Стрельцовская, в центре — Провальская, а близ Азовского моря — Хомутовская. Да еще в том же первоздан-

ном виде, какими они были и десять, и более тысяч лет тому назад. И их точно такими видели наши далекие пращуры.

В глубокой, проникновенной тишине и покое, наедине с цветущей степью тебя по временам охватывает наваждение, будто это их прах или дух глядит на нас глазами цветов. Либо в том или ином глазастом цветке по каким-то немислимым кодовым или генным законам природы запечатлился и сохранился на века их взгляд. Наподобие того, как в радужке человеческого глаза сберегается накануне увиденное и после того, как померкнет навеки. И всякий раз, возрождаясь, цветы словно бы воскрешают, и их взгляды и глядят на нас глазами далеких потомков.

Поддаваясь нечаянному наваждению, мысленно вопрошаешь себя: не с укором ли глядят предки из-за того, как мы по-варварски, вовсе не по-сыновнему обходимся с оставленной ими нам в наследие отеческой землей? Или с невыразимым сочувствием и скорбью при виде наших бед и того, что мы по-прежнему, как и они в свое время, не можем нынче наладить на ней мирную и достойную человека жизнь? А быть может, они глядят с чувством вины, покаяния, с мольбой о прощении за былое осквернение здешних пределов подступными междуусобицами, войнами, кровью и насильственной смертью? И, помаргивая всеми цветами радуги, подают нам из прошедших веков упреждающие сигналы — зывают не повторять их роковых ошибок.

А и то! Цветы ведь бывают не только веселыми, а и грустными, не только окрашенными в цвет любви, а и разлуки, и не одного безмятежно-радужного колера, а и траурного.

Но в совокупности своей, в единстве и ярких, и неброских оттенков, цветущая степь — это все же гимн вечно обновляющейся, вечно торжествующей жизни на земле!

Степи Дикого Поля вдохновляли не одних своих степняков на труд и на ратный подвиг, они озаряли высоким вдохновением и великих художников прошлого, как вдохновляют и поныне уже наших современников.

Гениальный сын украинского народа Николай Васильевич Гоголь, прежде времени изведший себя в могилу мучительными поисками правдивого, верного и образного слова, писал:

«Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытапывали их. Ничего в природе не могло быть лучше, вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов... Черт вас возьми, степи, как вы хороши!»

И не было никакой гиперболы, никакого художественного преувеличения в описании гением тогдашних дикий растений и лошадей, поскольку по тем временам целинные просторы причерноморского и приазовского юга Украины действительно были покрыты буйной травой чуть ли не в рост человека, и в необжитых степях водились дикие низкорослые кони, прозванные кочевниками поначалу на свой татарский манер турпанами, а впоследствии ославяненными в тарпанов.

Пепельно-серые, с черной гривой и черным хвостом, с черной полосой по хребту и черными до колен тонкими ногами, они были быстры, ловки, свободолюбивы. И вольно разгуливали по огромной степной территории от низовьев Днестра до Северного Кавказа, а то и до самого Урала. И только волки и человек наводили на них страх и ужас. Даже малоприметная мышьяная масть не спасала.

Да и немудрено — истребили их повсеместно.

До нас дошли лишь предания о том, как пытались их приручить, беря в домашний табун какую-нибудь кобылку из них. Однако она, ожеребившись и в первый раз, и во второй, и в третий, в конце концов уходила в степь и уводила с собой жеребенка. И ее продолжали бездумно преследовать, упустив из виду, что степной простор, с его ветрами и высоким небом, с его вольницей — это вотчина тарпанов, отродясь привыкших жить необузданными.

Последних тарпанов якобы видели в начале уходящего века где-то близ Аскании-Новой, на Таврической целине... Вроде бы здесь, в этом единственном в Европе (да, пожалуй, и во всем мире) нераспаханном участке сухой типчаково-ковыльной степи нашли тарпаны свой последний приют на бывшем Диком Поле.

После Гоголя, чуть ли не полвека спустя, Антон Павлович Чехов посвящает нашим степям самое проникновенное, самое поэтическое произведение — повесть «Степь». В одном из писем своим коллегам, делясь творческими планами, сообщая о новой начатой им работе, писатель с присущей ему иронией называет ее «степной энциклопедией»: «И энциклопедия, авось, сгодится. Быть может, она раскроет глаза моим сверстникам и покажет им, какое богатство, какие залежи красоты остаются еще нетронутыми и как еще не тесно русскому художнику. Если моя повестушка напомнит моим коллегам о степи, которую забыли, если хоть один из слегка и сухо намеченных мною мотивов даст какому-нибудь поэтику случай призадуматься, то и на этом спасибо». И далее: «"Степь" — тема отчасти исключительная и специальная: если описывать ее не между прочим, а ради нее самой, то она прискучивает своею однотонностью и пейзажем».

Но где там сухо, где там скучно и однотонно! Уроженец близкого нам Таганрога, а еще и украинец по деду, в чем он сам признавался в письме к Горькому («Я хохол и страшно ленив потому»), Чехов исколесил донецкие степи вдоль и поперек и, будучи молодым, впитал их первозданный лик и дух настолько, что повествование вышло до того живописным, что от него оторваться невозможно, более того — ощущаешь себя участником неповторимого, захватывающего тебя всего в радостный, ликующий полон, путешествия по нашей степи:

«Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенности, которые теснятся вправо от дороги до самого горизонта и исчезают в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается и где кончается...

Едешь час-другой... Попадается на пути молчаливый старик курган или каменная баба, поставленная бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в

подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!»

Чехов сам оказался непревзойденным певцом степи. Но ему следуют и другие.

В начале XX века к степям бывшего Дикого Поля, к их прошлому обращает свой взор Алексей Николаевич Толстой:

«Плодородные степи Екатеринославщины, падающие к Черному и Азовскому морям, были новым краем. Это была та Дикая Степь, где в давние времена проносились на косматых лошадках, по плечи в траве, скифы, низенькие, жирные и длинноволосые; пробирались под надежной охраной греческие купцы — из Ольвии в Танаис; двигались со стадами рогатого скота готы, кочевавшие в огромных повозках между двумя морями; от северных границ Китая, подобно тучам саранчи, вторгались сюда многоязычные полчища гуннов, наводя столь великий ужас, что степи эти пустели на много столетий; раскидывали полосатые арамейские шатры хазары, идя от Дербента воевать днепровскую Русь; кочевали с бесчисленными табунами коней и верблюдов половцы в хорезмских шелковых халатах, доходя до степного вала Святослава; и позже топтали их легкоконные татарские орды, собираясь для набегов на Москву.

Людские волны прошли, оставив лишь курганы да кое-где на них каменных идолов с плоскими лицами и маленькими ручками, сложенными на животе. Екатеринославские степи стали заселяться хлеборобами — украинцами, русскими, казачьими выходцами с Дона и Кубани, немецкими колонистами. Новыми были в ней огромные села и бесчисленные хутора, без дедовских обычаев, без стародавних песен, без пышных садов и водных угодий. Здесь был край пшеницы...»

Обо всем этом думаю, все это вспоминаю, стоя на вершине кургана посреди Хомутовской заповедной степи, и сердце полнится гордостью оттого, что проникновенные слова великих мастеров относятся и к ней, а может, в первую очередь к ней, так как она и есть та историческая Первостепь, которая осталась от бывшего Дикого Поля и к которой были обращены их художнические взоры.

И чувства, и память обостряются оттого, что рядом со мной высится на кургане, а вернее, стоит, слегка наклонившись вперед, будто встречая пришельцев едва приметным поклоном, каменная баба. Хотя вид ее и неприветен: лицо насуплено, замшело до прозелени, как если бы она осердилась на кого-то — то ли на своих соплеменников, которые оставили ее вековать в этих некогда диких просторах, то ли на нас, пришельцев из нововременья, которые выставили ее напоказ приезжему люду. В руках она, правда, держит сосуд, в котором, как сказали мне сотрудники заповедника, некогда в дождливую пору даже собиралась вода, баба прижимает его скрещенными на животе ладонями, словно собирается угостить влагой любого скитальца, застигнутого жарой в степи. Сейчас самое начало июня, лето едва-едва зачалось, а зной уже с утра донимает. И я ловлю себя на мысли, что готов поверить во взаимность любой легенды, любого предания, любой росказни, объятый и как бы погруженный всеохватной тишиной первородной, первозданной степи в глущину минувших веков.

Для чего их ставили на курганах, этих каменных идолов? Были ли то прообразы тех, кто погребался в курганах? Или это обобщенный образ племени или божества, которому они поклонялись в дохристианскую эру и совершали подле него культовые обряды? Иные же склонны были считать их своеобразными древними верстовыми столбами, которыми метили кочевники путь своего продвижения в славянские вольные, необжитые о ту пору земли.

Современные киевские ученые, которые проводят в Хомутовском заповеднике многие месяцы, исследуя его растительный и животный мир, окрестили каменную бабу Прозерпиной, или Персофоной. И у римлян, и у древних греков это имя носила богиня, олицетворяющая силу земли.

Что ж, им виднее, ботаникам и зоологам, как сберечь эту заповедную землю, чтоб она не утратила своей изначальной, первородной силы. И подумалось, сколь применима и к земле-матушке упреждающая заповедь, с какой вступают молодые медики на порог медицины: «Прежде всего не вреди!»

Перед тем, как отправиться в Хомутовскую степь, я прочел немало научно-популярной литературы о заповедной природе Донбасса и соответствующий путеводитель, составленный Виталием Осычнюком и Анатолием Геновым.

Из последнего я первым делом узнал, что Хомутовская степь — центральное отделение Украинского государственного степного заповедника, включающего в себя еще три самостоятельных заповедника — Стрельцовскую степь, Каменные Могилы и Михайловскую целину, что на Сумщине. И что Хомутовская степь, как имеющая важнейшее научное значение, включена в специальный реестр Организации Объединенных Наций.

Сделал я и кое-какие выписки для памяти:

«Заповедники — живая лаборатория, дающая возможность наблюдать изменения природных условий под влиянием хозяйственной деятельности человека и выработать мероприятия по рациональному хозяйствованию, предвидеть будущее развитие растительного и животного мира, характер взаимодействия между составными частями природных комплексов. Уже сравнение простейших природных процессов, происходящих в заповедниках и на окружающих их полях, показывает, сколь велика почвозащитная и водорегулирующая роль природной степной растительности».

Вроде бы и общо, но далее приводится пример того, как сказалась на реке Грузской Еланчик, омывающей Хомутовскую степь с западной стороны, распашка склонов долины реки и многих открывающихся в нее балок: снос в речку дождевыми и тальми водами огромного количества плодородной почвы привел к тому, что Еланчик, в недавнем прошлом глубоководный, с бесчисленным числом чистейших плесов, до трех метров глубиной, заилился и стал во многих местах пересыхать в летнюю пору.

И еще одна выписка, казалось бы, общего толка:

«Заповедники являются также своеобразными центрами, где возможно воспроизводство ценных промысловых зверей и птиц, многие из которых стали уже редкими, а также уникальных видов растений».

Затем пошли более конкретные данные:

«На территории заповедника произрастает 559 видов растений, среди которых есть много ценных для науки и народного хозяйства. Общеизвестно значение степной растительности как важнейшего из звеньев кормовой базы животноводства. Так, костер безостый, пырей, люцерна румынская, эспарцет донской теперь широко используются в культуре. Не менее ценны также типчак и келерия стройная: довольно стойкие к вытаптыванию, хорошо укрепляют почву, защищая ее от эрозии...

Богата Хомутовская степь и лекарственными растениями. Такие как тысячелистник, зверобой, пижма лекарственная, желтушник сероватый довольно часто встречаются на территории всего Приазовья. Но некоторые уцелели только в заповеднике — к ним надо отнести девясил высокий, горицвет весенний, горицвет волжский, алтей лекарственный».

И тут же делается оговорка: «Конечно, заповедник не база, где можно заготавливать лекарственные и другие полезные растения, но он может стать поставщиком посевного или посадочного материала для введения в культуру того или иного вида полезных растений».

А уж в последующем сообщается о почти исчезнувших с лица земли растениях, эндемах, то есть обретающихся только в определенной географической области и занесенных на правах реликтов, сохранившихся как пережиток от древних эпох, в Красную книгу.

Это и калофака, или майкарган волжский, который нашел свой последний приют в Хомутовской и Провальской степях, в Каменных Могилах и Великоанадольском лесу, это и шафран сетчатый, и катран татарский, и воронец, а по-научному степной пион, встречающийся, правда, еще и в Стрельцовой степи, помимо Провальской, и солодка голая, или лакричник, и дельфиний пунцовый, и тюльпан Шренка, и ковыль Граффа...

Ковыль, трава степная! В наше сознание она вошла как поэтический образ, наравне с курганами, воспетыми во многих песнях. И отношение к нему особо трепетное.

Вон там, близ урочища Дальние терны, что обрываются на левом берегу Грузского Еланчика, стелется, переливается серебром под лучами восставшего над степью солнца, живой неоновой волной перекачивается этот, будто седой от времени, шелковистый ковыль. А их, ковылей, в заповеднике более десяти видов: ковыль Браунера, произрастающий на известняковых склонах тутошних балок, он встречается еще и в Крыму, и на Тарханкутском полуострове, ковыль шершавенький, реликтовый ковыль необыкновенный, известный пока лишь в Хомутовской степи, украинский и пушистостистый, занесенные тоже в Красную книгу.

Невольное чувство, что я пребываю своей плотью в до-исторических временах среди первобытной, первозданной, первородной степи, не проходило.

А тем более, что рядом стояла каменная баба — немой свидетель пронесшихся здесь тысячелетий. И я словно бы ее глазами безмолвно, лишь то ахая внутри от изумления пред увиденным, то замирая до холодных мурашек на спине, окидывал затуманенным, опрокидывающим меня в прошлое памятью взглядом все, что лежало ниже вершины кургана, и то, что виднелось вдаль.

Хомутовская степь разметнулась на водоразделе между Грузским Еланчиком и Сухим и Мокрым Еланчиками, в Лукоморье азовском. Ее плато изрезано балками Оболонской, Климушанской, Средней, Брандта и Красным яром. В них растут дикие яблони и груши, терны и шиповник. А на склонах, цепляясь за струящиеся потихоньку и уходящие из-под них осыпи, лепятся змеевик азовский, бородач азовский и ушанка азовская. На стыке же каменистой степи и обнажений сарматского известняка уцелела эфедра двухколосковая, так называемая кузьмичева трава, — покуда живой представитель вымерших миллионы лет тому назад флор. Тут же, как если бы продолжая неразрывную цепь времен, растут реликты уже иных веков — паранохия головчатая, истод сибирский, качим высокий, касатик черноморский. На изве-

сняжковых скалах, средь валунов, покрытых зеленой накипью лишайников, уютятся дрок скифский и карагана скифская, юриня короткоголовая, бедренец меловой, чабрец...

А по округе — курганы, курганы, курганы... Археологи доказали, что в них, судя по захоронениям, таится культура и ямников, и катакомбников, и срубщиков — в просторных подземных домовинах покоились воины, взнузданные лошади, амфоры, изделия из меди, бронзы, железа и золота, даже колесо с втулкой и спицами! Стало быть, в нашей степной стороне закладывались основы культуры еще в III тысячелетии до нашей эры, почти что пятьдесят веков тому назад. И колесо изобрели именно степняки, они же впоследствии и оседлали лошадей диких, чтобы не только облегчить свой быт, а и стать неуловимыми для неприятелей и внезапными в набегах против супротивников. Так что здесь, на этих равнинных просторах прошумела вместе с древними ветрами над ковыльными степями не одна цивилизация. Да и та же каменная баба, к которой я прикоснулся с невольным трепетом в сердце, — не что иное, как явственный прообраз современной — любой! — скульптуры.

Уже не одно мое естество опрокинулось в далекое-далекое прошлое родного края, а и ум вроде бы постигал его. Однако ему все же легче было постигать на так давно минувшее. И, естественно, настоящее.

Когда-то на Приазовской низменности казаки Области Войска Донского выпасали лошадей, выгуливали молодняк, и Хомутовская степь называлась Толокой, или Табунной. А с первой половины XIX века, когда наказной атаман Хомутов организовал по обе стороны Грузского Еланчика казачий хутор Хомутово, Толоку тоже прозвали Хомутовской. Так и пошло с тех пор: Хомутовская степь.

Но не одни дончаки-скакуны разгуливали по здешней степной округе, помимо воли, как травоядные животные, своеобразно регулируя травостой. В доисторические времена здесь обретались туры, тарпаны, куланы, сайгаки. Да с развитием цивилизации диких животных намного поубавилось, а некоторые и вовсе исчезли, как те же тарпаны. Стал исчезать и байбак, или сурок. Дошло до того, что его довелось

завозить сюда из Стрельцовой степи. По дороге на вершину хомутовского кургана я видел холмики вырытой рыжей земли — сурчины — и подспудно радовался при их виде. Как радовался и проскочившему по низине земляному зайцу, или тушканчику, и ласке, и лисе, чья рыжая спина промелькнула за пригорком, и темно-бурому, с желтыми пятнами по спине и белой полоской через лоб хорьку, отчего и прозвали его «перевязка», радовался спугнутой перепелке и куропатке, щеглам, сорокам, грачам, зависшему над степью жаворонку и плавно парящему ястребу в небесной синеве. И хотя опасался гадюк, все ж потеплел глазом, издали завидя желтобрюхого полоза, гревшего свои бока на солнышке, точно так же порадовала глаз и шустрая ящерица, прытко метнувшаяся буквально из-под ног и исчезающая в цветущих травах с быстротечным сухим шорохом.

Живет, живет первородная степь! Как и вся остальная наша земля, сколько бы мы ни замуровывали ее в бетон, не закатывали асфальтом и не травили ядохимикатами и ядерными выбросами. Спасибо Творцу, пусть подчас и забирающему у нас разум, что дал земле извечную способность к самовозрождению. Уйдем мы, но она, хоть и изувеченная, все-таки останется на веки вечные и восстанет, как феникс, буквально из пепла и руин, которыми люди укрыли ее к началу третьего тысячелетия.

Когда думал об исчезнувших или истребленных диких животных доисторических времен, у меня промелькнула ироничная мысль: «Мы их заменим! Одичаем полностью и заменим!» Однако, грустно усмехнувшись, и усомнился: «Да заменим ли?! Ведь дикие не притязали на сиюминутные удовольствия, а пеклись лишь о выживании и продлении своего рода, просто радовались отведенному им свыше сроку бытия. В отличие от человека нынешнего, перевернувшего все вверх на голову в своем обыденном существовании и предназначении».

Нечаянно в пути сбился на мимолетное, не ахти какой новизны философствование, хотя оно неизбежно накатывало всякий раз, едва я попадал в заповедные уголки Донбасса, где особо был зрим контраст первозданной природы и той, которую мы обжили неоглядно.

Так я и стоял, прислонясь уже к каменной бабе, Прозерпине, этой богине — хранительнице земной силы, и будто бы вместе с ней оглядывал степь во все концы, степь, которая пестрела, полыхала и благоухала буйноцветом. И представлял ее в разные времена года, в зависимости от которых она меняла и вид, и цвет, и аромат, и многоголосие.

По весне, едва сойдет снег, степь наверняка выглядит поначалу неприветливо — она бура от отмерших растений. Хотя, если развернуть стебли и проломника, и эрофилы, и типчака, тонконога, полыни австрийской, тысячелистника, можно увидеть зеленые листочки, проросшие еще с осени и благополучно перезимовавшие в уютном укрытии стебелька.

В конце марта — начале апреля над бурым ковром все отчетливее проступает зелень. То там проклюнутся веселым островком, то здесь и вероника ранняя, и репяшок прямой, и костенец зонтичный.

А первое всех зацветает шафран. Там, где его много, степь приобретает бело-розовый оттенок. Затем вкрапливаются желтые цветы лапчатки, одиночные голубые гиацинтки. А через каких-нибудь несколько дней склоны вспыхивают сплошной голубизной — вовсю уж цветет тот же гиацинт. Ровно соперничая с ним, золотисто-желтым полыхает горицвет по соседству, ничуть не смешиваясь, держась четкой границы. Там, где типчак и ковыль, все еще держится буровато-зеленый цвет. Тем временем и гусиный лук пробудился. И степь уже становится как бы трехцветной — буровато-желто-зеленой. Последний изо дня в день берет верх, пока полностью не превозобладает над остальными колерами. Под конец же апреля лапчатка вместе с горицветом и валерианой придают розово-белый вперемежку с желто-зеленым цвет окончательно проснувшейся степи. И она будто принарядилась повесеннему в ожидании майского праздничного цветения. А там уж и миндаль пошел по степи красно-розовыми всполохами, и воронец вспыхнул ярко-красным, оттеняя зелень, и светло-красными и желтыми чашами пьет солнце пион, и степной пион вкрапился в этот живой ковер, а терн степной белыми облачками за клубился по склонам балок.

Лишь вечерница грустная, с неказистыми скрученными

цветами коричневого цвета, казалось, весь день чему-то печалилась, не разделяя общего ликования. Но и она, и она, поторапливаемая весной, все-таки хоть под вечер, а распустила свои цветы и тоже привольно и облегченно дохнула тонким ароматом, поддавшись зову природы и всеобщему пробуждению. Вслед за ней и сон-трава проснулась. А в Дальних тернах всюю полыхает розово-белым боярышник, да так, что ветви от облепного цвета гнутся долу.

Все это я представляю воочию, загодя вычитав в путеводителе о постепенном и многоликом пробуждении степи после зимних холодов, воображение, слава Богу, рисует одну картину за другой, и вот уж они сливаются воедино, в распростертую окрест меня, стоящего на самой высокой точке Хомутовской степи рядом с Прозерпиной, богиней земной силы, живописную картину торжества жизненных соков и красок, вставших из-под земли под лазурным небом, которое тоже словно бы радуется этим переменам в степи и непрерывно шлет солнечное тепло, сияя и возносясь еще выше, чтобы степи было вольнее дышать и благоухать в виду ясного солнца.

Нынче начало июня, и в Хомутовской степи прямо буйноцвет! Ковыли наконец-то выколосились совсем, их длинные шелковистые, серебряного отлива пряди стелются на ветру по зелени, ослепительно вспыхивая под солнцем, а среди него синеют соцветия шалфея поникшего, на фоне сине-белосеребристом лиловеют астрагал австрийский и чабрец Маршалла, пестреют раскидистые кусты феопапуса, местами по широкой равнине разбросана небесная голубизна льна австрийского, хотя к полудню она, вспыхнув особенно ярко поутру, пригасает, венчики отцветают и опадают, чтоб назавтра, чуть свет, уступить место новонарожденным лепесткам. Ближе к балкам ковыльные куртины сменяются зарослями пырея и вейника, вики, подмаренника, пижмы, мятлика, дерезы, повсюду разбросаны цветы розовато-белого оттенка стройного, не гнущегося под ветром зопника, а ниже его как бы плывут над землей метелки типчака, напоминающие издали спелые колосья безостой пшеницы, розовеет вязель, ярко желтеют венцы гаглофила реснитчатого, василька вос-

точного, и пурпурные — василька стиснутого, розовые участки вновь сменяются желтыми из-за люцерны румынской и подмаренника русского, как перемежаются и ароматы — одни запахи, доносимые легким дуновением теплого ветерка, внезапно смешиваются с другими... И над всем многоцветьем душистым — неумолчный гул шмелей, мохнатых, позуживают осы и дикие пчелы, порхают пестрые бабочки, стремительно проносятся воздушнокрылые стрекозы. А высоко в небе все так же виснет колокольчиком жаворонок и сыплет, сыплет оттуда свой ликующий благовест на расцветшую землю.

Какой разлив, какое половодье, какое буйство красок! И какое пахучее, душистое смешение ароматов! И какое многоголосье в степи!

Похоже, на зеленом травянистом ковре рукой самого Создателя сотворено поминутно переливающимися цветами огромное живописное полотно, которое по его же воле вдруг ожило под высокими чистыми небесами, да еще и заблагоухало.

Запахом майского меда потягивало от катрана, молочно-белые шары которого были раскатаны по всей степи. И от них трудно было оторвать взгляд.

С детства меня волновала судьба гонимого ветром через опустевшие к осени, продувные, сквозные поля обыкновенного перекати-поля, называемого у нас еще и кураем. Его серые колючие клубки вспрыгивали на кочках, взлетали на воздух, перекатывались через бугры и балочки, иные зависали на кустах дикого терна и отчаянно трепыхались, как если бы норовили вырваться из нежданного плена и вновь пуститься в неведомые края. Куда их гонит ветер? Зачем? Ничто не страгивалось со своего облюбленного места — ни деревья, ни кустарники, ни высохшие и тенькающие на ветру сухими стеблями травы, а перекати-поле, как бездомные, срывались и стремглав неслись неведомо куда. Вид их навевал грусть.

И только в Хомутовской степи мне вдруг открылось, что перекати-полем неизбежно становятся в осеннюю пору и катран татарский, и качим метельчатый, и зопник колючий, и шалфей эфиопский, и котовник мелкоцветковый, и синеголовник полевой, и кермек татарский... Всех не перечесать!

Любопытно, что ко времени созревания семян у этих растений стебель близ корня делается рыхлым, ломким, отчего наземная половина, едва задуют прогонистые, по-осеннему напористые ветры, отламывается и пускается в странствия по степи, попутно рассеивая дозревшие к тому времени семена. Так что и смысл их бездомного кочевья мне открылся как бы заново. Оттого я и глядел на катран совсем иными глазами, нежели в далеком детстве. Тогда, помнится, мне хотелось и себе сорваться с места и бежать за перекасти-полем, бежать сколько сил хватит, чтобы узнать, куда же оно домчится, где приткнется и где, возможно, зазимует не по своей воле.

Нечто сходное испытывал я и сейчас, хотя до августа-сентября было еще нескоро. Но возникшее чувство подхлестывалось еще и легендой, которую узнал я о катране татарском.

Полонили как-то русичи татарчонка, оставшегося в живых после разгрома их улуса. Мальчонка обвыкся, вскоре и порусски лепетал не хуже славянских ребятишек, носился на скакунах по степи за стадами, которые он пас наравне со взрослыми. А как подрос и разузнал осознанно, каким образом он оказался в стане русских, он все чаще и чаще задерживался у цветущего катрана, вдыхал его медовый запах, а по осени, когда тот срывался и катился по степи, паренек увязывался за ним и мчал следом до самого горизонта, перескакивая через ровки и вспрыгивая, и гикая с присвистом удалым, точно он несся верхом на лихом коне, мчал, пока катран татарский, обратившийся в странствующее, бездомное вроде бы, перекасти-поле, не скрывался из виду, да и сам он маячил у горизонта едва приметной черноголовой макушкой. Затем возвращался и вновь бегом сопровождал уже другое перекасти-поле. Опять в ту даль восточную, куда преимущественно дули тогдашней осенью юго-западные приазовские ветры.

Словно взбунтовавшиеся верховые свежаки вспучили, взбодражили Азовское море, подняли на нем шторм и забили небо тучами, а потом перебросились и на сушу, сгоняя туда же всполошенных чаек, сорвали с насиженных мест чуть ли не все катраны. Парень еле успевал сопровождать каждого из

них. Глаза его блестели диким восторгом, и лицо озарялось потайной усмешкой. Должно быть, он прознал, что в той стороне, куда уносились заморожившие его катраны, находятся предки его племени. И потому однажды он скрылся за горизонтом навсегда. Не вернулся домой. И никто не знал, куда он подевался. А когда хватились, было уже поздно — ищи ветра в поле! Наверняка, как догадались потом потерявшие его русичи, ушел он в поисках своих соплеменников, своих сородичей. Не остановило его тяги и то, что уже и невесту ему подобрали русоволосую и стройную — одно загляденье! — да и он воспылал к ней юным сердцем. Зов предков оказался сильнее всего, взял над ним неодолимую власть. За что отходчивые славяне спустя какое-то время зауважали его еще больше и по-доброму, почти любяще приговаривали: «А может, это ему ихний бог Аллах так повелел, Катрану нашему, татарскому? Поди, послушайся!»

Порой я ловил себя на ощущении, что белые, напоминающие кучевые кочевные облака, купы татарского катрана, усмеваются мне усмешкой того, из легенды, татарчонка, вновь обретшего родину. И я мысленно в ответ тоже улыбался. И верил уже, что легенда могла ведь и былью бытовать в то далекое-предалекое время, когда степи наши были Диким Полем.

В Грузском Еланчике я со своими спутниками ловил на рассвете следующего дня плотву, красноперок, щук и линей, верховодок, над нами техкал соловей в приусадебных зарослях конторы заповедника, плакала иволга, где-то в камышах покрякивали дикие утки, перед глазами на обвислой ивовой ветке чуть раскачивалось гнездо ремеза, схожее на рукавичку, прощмыгнула на отдалении выпь и запоздало ревнула, как бугай, оттого и прозванная «бугаем», промелькнула лысуха, вспорхнула напуганно камышевка, когда пал стремительно на воду зимородок и миг выхватил рыбешку.

А как пригрело солнце и мы сварили уху, а затем и выпили по чарке на помин души всех тех людей, какие когда-либо были причастны к Хомутовской степи, и во здравие тех, кто ныне трудился в заповеднике не за страх, а за совесть, удалившись от мирской суеты и единясь с вечной приро-

дой, — отправились мы на южную окраину Хомутовской степи, где в Грузском Еланчике было самое глубокое плесо и где неподалеку журчал родник с вкуснейшей водой, а напротив высилась деревянная беседка, в которой в 1976 году отдыхала съемочная группа режиссера Сергея Бондарчука, снимавшего на этом месте первые кадры фильма «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Искушавшись, ободрившись, собрались в обратный путь — домой. И пока не скрылась из виду Хомутовская степь, я с непонятной грустью — от расставания, что ли? — повторял про себя гоголевские слова: «...степи, как вы хороши!»

Щемяще ощущал: и здесь, и здесь осталась какая-то частичка моего сердца. Будто приросла. Навечно.

То ли это очнулось дремавшее до поры чувство малой родины, заповеданное еще отцом-матерью? Как и у всякого коренного степняка. Чувство, без коего и жизнь не в радость, не говоря уж о смысле ее.

За окнами мелькали, ширясь и раздвигаясь по окоему полынные просторы донецких степей неоглядных. И на душе было покойно и благостно. Точно после причащения.

2000

ДУМА О ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКОМ ЛЕСЕ

Был непомерно знойным тот августовский день, когда я попал в Великоанадольский лес.

Шагнув в сень вязов и дубов, ощутил спасительную прохладу, которая буквально омывала всего, входила свежестью духовитой дубового листа в каждую клетку, полня здоровым духом и бодростью.

И тишина всеохватная, будто вселенская, внезапно зародившись на земле, в лесных чашах, встала до самого неба. Лишь по временам в ней проклевывался отдаленный петушинный голос из окрестных деревень. В полуденный зной залегли где-то в зарослях по своим лежкам и барсуки, и косули, и

енотовидные собаки. Даже птицы затаились в истомной дреме. Ни щеглов, ни соловьев, ни зябликов, ни славков, обитавших в этом лесу, я нигде не приметил, пока шел от лесного техникума Главной аллеей по мостку через Парковый пруд. Одна кукушка напоминала о себе, и то — приглушенно, вроде с неохотцей. Да неутомимый дятел постукивал то вслед за мной, то впереди, ровно указывая путь.

Сперва я шел между рядами могучих дубов, затем — черной сосны, лиственниц, граба и липы, а в подлеске росли клен татарский, жимолость, бересклет, бузина. По бокам мостика — в сторону Большого пруда, на северо-восток, и в сторону Большого Кашлагачского, на юго-запад, — тянулись осины, ивы. И первозданно ютились у их подножий шалфей, чабрец, типчак и клевер.

На подходе к лесхоззагу я приостановился.

И застыл у памятника Виктору Егоровичу Граффу, основателю Великоанадольского леса, открытого 30 сентября 1910 года Петербургским лесным обществом, в окружении прадавних каменных баб, некогда собранных им самим в донецкой степи, — стоял и вслушивался в спокойное молчание дубрав, величественно и мудро вознесших свои тенистые кроны в небесную лазурь, осиянную жарким солнцем, и думал о бренности и суетности нашего бытия.

И в самом-то деле, многие ли из нас, устанавливая дома новогоднюю елку, задумываются о том, кто и какими трудами ее вырастил, выпестовал, в какую непогоду и засуху лелеял, выхаживая, как дитя, сначала сеянцы, а потом саженцы?

Или кто из новоявленных предпринимателей и бизнесменов, по-современному обживая каждый свободный уголок бульваров и скверов, проходных дворов, лихорадочно, будто наперегонки, выстраивая там всевозможные кафе, бары, магазинчики, торговые киоски и для расчистки площадок спешно выкорчевывая мешающие им деревья, — кто из них задумывается над тем, что у каждого загубленного им дерева была до рокового часа своя, точно человеческая, как бы и его самого, судьба? Судьба, вобравшая судьбы тех людей, которые были причастны к сотворению каждого дерева — от семени до трехлетнего или пятилетнего возраста, когда его привезли в город нам на утеху и пользу.

Еще в «Начальной летописи», относящейся к XII веку, говорилось, что строящиеся вокруг Киева города и селения обносились тынами и обсаживались деревьями. И Ярослав Мудрый наказывал сыновьям беречь леса и следить за тем, чтобы вместо срубленных по какой-либо нужде деревьев высаживалось взаимобразно такое же количество. Бережно относились к лесам и в Запорожской Сечи, следя за вырубкой престарелых деревьев и посадкой молодых, ибо леса были для запорожцев подмогой не только в быте, а и в сражениях с турками и татарами — в них можно было и укрыться от погони, соорудить оборонительный вал или подкрасться незамеченным и неожиданно напасть на врага. Пекся о лесах, как известно, и Петр I. В особенности, что росли по Дону, Волге и Днепру, и по нашему Северскому Донцу. На этот счет издал специальный указ. И круто наказывал ослушавшихся за вольные вырубки, порчу и вообще за нехозяйственное отношение к богатым лесным массивам.

При нынешней экологии в нашем регионе, которая сродни Чернобыльской, властям всего Донбасса следовало бы тоже ввести жесткое правило: за каждое изведенное в черте городов дерево в обязательном порядке высаживать минимум два, а то и три новых! А иначе и документы не подписывать на ту или иную постройку, какой бы она ни была — маленькой ли, большой. И закрепить сие волеизъявление графой соответствующей в тех документах. Чтоб была конкретная ответственность.

Молчали окрест великоанадольские дубравы. Словно талили обиду за наше беспамятство и безоглядность.

Ну, зачем, зачем, скажите на милость, стольким жертвовал барон Графф, закладывая в 1843 году на южных отрогах Донецкого кряжа первое в Российской империи степное лесничество? Во имя чего ежедневно ходил по нескольким десяткам километров, поначалу живя в отдаленном селе Новотроицком, а затем и в землянке у истоков речки Кашлагач, где затеял степное разведение леса? Ради чего потерял здесь малолетнюю дочь, которая заболела и через постоянные нехватки и бедность не смогла одолеть недуга? И отчего Виктор Егорович добровольно подорвал себя самого, проведя в на-

ших степях чуть ли не четверть века, и ушел из жизни в каких-нибудь сорок восемь лет. Ведь мог, мог же, будучи бароном, совершенно безбедно и куда более благополучно устроить свою судьбу и судьбу всего семейства! Для этого были все основания: окончив в Петербурге лесной и межевой институты, он там же успешно сдает экзамены за офицерские классы лесного института и становится подпоручиком Корпуса лесничих и получает назначение в Екатеринославскую губернию, что совпадало с его желанием, ибо Украина была его родиной — родился-то он в Овруче на Волыни. И православным, хотя был сыном штабс-капитана, курляндского уроженца Латвии и матери-итальянки из рода Серпonti-де-Варенто и долгое время числился иностранцем, лишь на склоне лет, а точнее ввиду приближающейся кончины, принял присягу на русское подданство. Однако называл себя упорно «хохлою», то бишь украинцем. Ему бы пристроиться в каком-нибудь ухоженном лесничестве и зажить в свое удовольствие, теща сердце любимым, давно налаженным делом. Ан нет! По зову того же сердца он выбирает в Мариупольском уезде суховейные Великоанадольские казенные оброчные, малообжитые уголья и начинает на совершенно пустынном пространстве разводить лес садовым способом. И кладет на это, неслыханное дотоле во всей Европе дело лучшие свои годы. Вместе с ними делит все тяготы кочевой жизни и его супруга Елизавета Степановна — сестра поэтов Василия и Николая Курочкиных, членов тайного товарищества «Земля и воля».

Что тут сказать? Одержимость Граффа может вызвать только глубокое почтение и благодарное восхищение. Ведь не один Великоанадольский лес обязан ему своим появлением на свет божий, не одна лесная школа, выросшая впоследствии в крупный лесной техникум, не одни питомники для выращивания разных сортов деревьев на научной основе, а, по сути, и лесозащитные полосы, на которые нынче так богата донецкая суровая земля. Последние помогают хлебоборам бороться с засухами, сберегают влагу и защищают почву от водной и ветровой эрозий. Да и просто радуют глаз, а в страду спасают от зноя, спасают своей тенью — «холодком», как говорят у нас.

Тихо было в лесу. Тихо было и на сердце. И скорбно от этих непрощенных дум.

Да и неудивительно. Неласков бывает Донецкий кряж, родная наша отчина. И с ветрами, и с морозами по голой, потресканной земле от безводья. А мы еще и усугубляем климатические условия промышленной неразумной деятельностью. От вредных выбросов уже хронически больны почти все зеленые насаждения по донбасским городам и поселкам. Говорят, если из Донецка, шахтерской столицы, вывезти, допустим, на целые сутки все население, то деревья — все до одного! — в одночасье вымрут, поскольку люди фильтруют отравленный воздух своими легкими, очищают его, без меры загрязненный отходами разных мощных, да и не мощных производств. Так уж сложилась у нас взаимная жизнь с деревьями в насыщенном тяжелой индустрией крае. И следовало бы относиться к любому из них не как к живому памятнику, причем зачастую рукотворному, нами же созданному, а будто к своим братьям: им без нас не обойтись, а нам — без них! Ведь мы называем их не только защитными зонами от земных бурь, суховеев, не только хранителями влаги для полей, не только зелеными щитами городов, а и их легкими.

И снова я вчитывался в слова известных ученых, диорамой окаймлявшие памятник: «Это действительно наша гордость, потому что в Западной Европе ничего подобного вы не встретите»; «Только глубокая любовь к своей специальности, идеальное сознание гражданского долга и непоколебимая сила воли могла заставить В. Е. Граффа принести себя и свою семью в жертву степным невзгодам, чтобы этим достигнуть желанной цели».

Это тебе не сказки Венского леса, который вдохновлял своей величественной красотой великого Штрауса! Хотя австрийские лесоводы в конце XIX века уже стали выращивать и породы деревьев, которыми пользовался в степном лесоразведении Виктор Егорович фон Графф. Хоть чему-то да научили мы Европу!

До поры же и должного-то не отдавали подвижничеству Виктора Егоровича. Еще бы! Его фамилия и титул ассоцииро-

вались со всякими графьями и баронами, которых мы с революционной песней на устах обязались еще в начале XX века извести под корень... Благо, памятник был поставлен до революции. Да в Хомутовской степи осмелились назвать ковыль в его честь — ковыль Граффа. А десять лет тому назад Донецкий областной краеведческий музей открыл здесь свой филиал — Великоанадольский музей леса, единственный такого рода в Украине. Уж в нем-то с увлечением и знанием дела много кой-чего порасскажут вам о рукотворном памятнике, какой создали Графф и его помощник Барк, да еще их ученики — крестьянские подростки из окрестных сел Ольгинки и Новотроицкого, — об Анадольском лесе, его истории... Вплоть до того, что здание, в котором располагается уникальный музей, было построено в 1852 году и в нем по распоряжению брата Николая I была сооружена метеорологическая обсерватория по типу Магнитной обсерватории при горном институте в Санкт-Петербурге.

Стоит только диву даваться: царям, оказывается, и до этого было дело... В отличии от нас, нынешних.

И все-таки люди, связавшие свою судьбу со степным лесом, несмотря ни на какие трудности, хоть прошлые, хоть современные, продолжали и продолжают бессмертное дело Граффа.

Поначалу все тот же Барк, его верный помощник, который пришел к выводу, что главной породой в степи должен быть дуб, вслед за ним ученые Высоцкий и Дахнов, которые, основываясь на закономерностях тутошней природы, возвели степное лесоразведение в науку, их опыт создания леса в степи по древесно-кустарниковому и древесно-теневому типам в начале нынешнего века был взят повсеместно лесоводами далеко за пределами Донбасса. Их насаждения, как и некоторые виды, посаженные еще Граффом, растут и донныне.

Старинный домик, в котором в разное время жилали разные заведующие лесничеством, окружен липами, березами, пихтой и елью, можжевельником, рябиной и черемухой, кустами айвы японской, смородины альпийской, чебурашником, розами.

Если пойти от лесхозага Министерской просекой, то можно попасть на поляну Георгия Николаевича Высоцкого, где нетронутая целина и где в мае и в июне во всей своей красе неброской цветут степняки. Академик ставил здесь научные и важные опыты по интродукции травянистых растений, не утратившие и по сей час своей непреходящей научной и практической ценности для всех лесостепей Украины.

Великоанадольский лесхозаг объединяет вкуче с Великоанадольским лесничеством и еще три — Майорское, что в Великоновоселковском районе, Яльнское Марьинского района и Гранитное, или Малоянисольское на греческий манер, которое находится в Тельмановском районе. И является семенной базой почти для всего юга Украины. Как и Великоанадольский лес обогащает его и разнообразит новыми сортами полезных растений. Так что не столько рукотворный лес обратился в живой памятник своим создателям, не столько живым музеем для грядущих поколений, сколько насыщенной, действенной, основанной на многолетнем опыте и науке подмогой для всех, кто разводит леса, укрепляет грунт лесополосами, озеленяет и оздоравливает тем самым шахтерские и рабочие поселки и города по всем всюдам.

Чтобы лишний раз удостовериться в вышесказанном, я со своим спутником, молодым литератором, отправился в Мариупольскую опытную станцию, в одно из старейших научно-исследовательских учреждений страны, основанного в 1892 году как Великоанадольский участок руководимой знаменитым почвоведом и географом Докучаевым Василием Васильевичем «Особой экспедиции по испытанию и учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях России». Благо, она была неподалеку — в нескольких километрах на север.

Для чего и почему была организована эта экспедиция?

В том давнем году XIX века грозным предвестником надвигающихся последующих экологических катастроф явилась пыльная буря. И встал вопрос о спасении национального достояния — степной житницы. По документальным свидетельствам в одном только Мариупольском уезде из 57 тысяч

десятин, засеянных озимыми, внезапно нагрянувшая буря вынесла в тогдашнем засушливом апреле 30 тысяч, из 329 тысяч десятин ярового хлеба уничтожила 120 тысяч. А глубина срыва и выноса почвы превышала глубину закладки семян, даже подпочвы обнажились.

И лесоведам во главе с Докучаевым удалось выработать защитный комплекс мероприятий, который, по словам того же Докучаева, составил «меры цельные, систематические и последовательные, как сама природа», «меры отстранения и ослабления тех причин, которые подорвали наше земледелие, иссушили почвы, грунтовые воды и реки», «меры уничтожения зла стихийного и человеческого».

Как все по-современному звучит, не правда ли? Будто никакого столетия не минуло с тех пор.

Этим станция занимается и поныне. И ее программа, начатая сто лет тому назад, программа преобразования Донецкой степи не выполнена полностью по сию пору. Ибо на нашей уже памяти были пыльные страшные бури в 1969 году, а последняя — 1984 года... Вдобавок степь, ее организм живой подрывается техногенными и пестицидными загрязнениями, безграмотным применением химических мелиораторов и орошения.

Работа станции, основанная на гениальном предвидении Докучаева, способна помочь выстроить новые отношения человека и степной природы. Имеются в виду, конечно, разумные, экономически взаимовыгодные, а с помощью культуры — еще и морально ответственные со стороны людей отношения.

Обо всем этом мы говорили с директором Мариупольской лесной научно-исследовательской станции Василием Бородавкой, выкроившим, несмотря на воскресные хлопоты по личному хозяйству, для нас какое-то время. Как человек деловой, умеющий ценить каждую минуту, он сказал:

— Хорошо, полчаса я могу вам уделить.

И этим сразу вызвал доверие и уважение.

Под его опекой находится все небольшое, в одну улочку, селение Лесное, примыкающее в глубине леса к конторе станции. В нем 150 человек. Из них 60 работает у него в

подчинении. Научных сотрудников всего 4, инженерно-технических — 10. Да еще государственная охрана в лице трех человек. А дел у них невпроворот: и воспитание леса, и поддержание его жизнедеятельности, максимальной продолжительности жизни деревьев, выращивание высокопродуктивных и устойчивых насаждений, использование, переработка и реализация древесины от рубок ухода... Занимается станция и семеноводством сельскохозяйственных культур, выращиванием сельской продукции, изучением влияния лесных насаждений на урожайность полей. Но прибавились в последнее время и новые направления. Ведется, например, мониторинг лесов региона. Выбираются пробные участки в лесу и наблюдаются деревья в нем: как они себя чувствуют в тот или иной период года, как влияют вредные промышленные выбросы на них. А заодно ведется и разработка диагностики состояния насаждений в зонах интенсивной промышленной деятельности человека. А еще — облесение (покрытие лесом) нарушенных промышленностью земель, так называемая лесная рекультивация.

Директор доволен тем, как складываются у него деловые взаимоотношения с администрацией Новотроицкого рудоуправления. Станция помогает озеленить старые отвалы, заброшенные земли, для чего выращивает специально подходящие к таким условиям обитания породы деревьев, а вернее — их семена. Администрация же выделяет место и деньги для этого. Вот и получается не только экозащита, а и заработок для ухода за лесом, проведения научных опытов. Потому как государство свело на нет свою дотацию. И станция вынуждена до семидесяти процентов в своем лесном хозяйстве обходиться за счет собственных, заработанных средств.

— Не лучше обстоят дела и с другими станциями и лесничествами, — пожалел директор. — Года два назад лесники нашей области сажали до тысячи гектар новых насаждений. А теперь все сведено к нулю... — И вздохнул: — Председатель коллективного сельскохозяйственного предприятия из соседнего села Валерьяновки говорит мне: «Бросай без конца мерять-перемерять свой лес, иди к нам в хозяйство керувать...» Но как ты бросишь это сообщество земли и леса, если

оно и тобой укреплялось, стало сутью твоей жизни... Мы ведь с женой Еленой, как закончили в 1982 году Киевскую сельхоз-академию и приехали сюда по распределению, так и закоренились здесь.

И снова повторился, что еще и совестно перед великими предшественниками степного лесоразведения, такими как Графф, Докучаев, Высоцкий, считай, жизни положившие на дело всей своей мечты и намеченной житейской и научной цели, — вот перед ними, перед их памятью должен мучить стыд нас, их потомков, что далеко не всегда следуем их заветам, наследуем их подвижничество без должной самоотдачи и самопожертвования.

Директор показал нам и поля в лесозащитных полосах, где выращивает станция свеклу и картофель. Пожалел, что раньше здесь арнаутке отдавали предпочтение, и надо бы восстановить ее приоритет, вообще твердых пшениц.

— А вот наша нынешняя действительность своей оборотной стороной и к нам в лес забирается, — сказал он, показывая на убранное картофельное поле среди лесных массивов. Там копошился приезжий люд, довыбирал остатки клубней. — Одна женщина на костылях аж из Мариуполя все время ездит... Жалко смотреть!

И еще показал нам сосновый бор, который довелось спасти недавно от захирения — тоже за счет станции, ее собственных средств, заработанных и пиломатериалом, и продажей молодых елей, огромную плантацию которых мы увидели во время этой скоротечной экскурсии по угольям станции. Бор прямо сизел своими игольчатыми кронами под отвесными лучами жаркого солнца, дышал озоном, который и мы вдыхали и ощущали его животворное течение по всем нашим жилам и клеткам.

Привез директор нас и в лесистую дубраву. В ней было тихо-тихо, дубы высились на многие метры и закрывали своими кронами палящее солнце. Ни один лист не дрогнул под его обвальным ниспадающим светом, будто под жаром пышущими плитками. Да и безветрие стояло тоже обвальное. Ни слабого ветерка.

Директор рассказывал о том, что на протяжении столетнего существования станции установлено, как благодаря лесу сохраняется плодородие почвы, повышается биоклиматический потенциал всей окрестной территории, наращивается гумус, сберегаются родники... И о лесе собственно, его высокопродуктивности, при рачительном уходе и селекции, разумеется. И того же дуба, и граба, и клена, липы...

А я вновь, как и возле памятника основателю Великоанадольского леса Граффу Виктору Егоровичу, задумался о бренности и суетности нашего бытия, обидно кратковременного в сопоставлении с вечной Природой, и полнился гордостью оттого, что на донецкой земле, в ее засушливых, ветровых степях наши многотерпеливые, не щадившие себя ради дела вечного предшественники сотворили лесное чудо, как бы воссоздали первозданность той природы, какая была изначально, до ледникового периода, в этих наверняка безлюдных о ту пору пространствах.

Поистине Великое Анадолие!

Лесостепные дубравы... Что в их молчании было? Память о прошлом, укор нам или похвала? Знать бы.

1998

ДУМА О САУР-МОГИЛЕ

Едва показывается солнце над ширью донецкой степи, из белесой дымки медленно вырастает величественный курган, издавна прозванный Саур-могилой. Утренний туманец сползает с его склонов, покидая дубовый лес у подножия, тянется к Миус-реке, и уже на много верст окрест видна могила, вершина которой, кажется издали, уходит в самое небо.

Саур-могила объята думами и легендами. Молчалива, она стоит, как немой свидетель пронесшейся над нею вековой истории.

До слуха, обостренного воображением, исподволь доносятся храп и топот копыт, бряцают латы, звенят мечи: сошлись русичи и половцы в смертной схватке. А то вдруг, среди мертвой тишины, почудится последний вздох предводителя

турков — завоевателя Саура: не думалось, знать, ему, что у русских богатырей верный глаз и рука тяжела. Схлынет это наваждение, а на смену ему упадет с высоты и ударит колоколом в душу печальная дума о бесстрашном запорожском казаке Морозенко:

*Ой, під Савур-могилою,
На Савранському полю
Сталася січня славних
Козаченьків...*

Корни матерого дуба вцепились в каменистый Донецкий кряж. Да так, что не отторгнуть его от родимой земли никаким силам. А ствол у дуба крепкий, сутулый, в наростах-мозолях. А в окаменелой коре борозды — то следы от сабель турецких. Уж и погуляли они, потешились над казацким станом!..

У дуба ветви длинные и кривые, как руки от работы и сечи нелегкой. И шапка еще зеленая. И голос листвы гулкий:

*А погляньте, хлопці,
Річка й справді гнеться,
Як мій вус!*

— Мій вус! Мі-вус! Мі-ус! — повторяет эхо раскатисто над вьющейся живой лентой, взблескивающей под солнцем реки.

И вторит тому эху лошадиное ржание.

У Миус-реки кони воду пьют. Над Миус-рекою туман застыл. И не понять-изведать, по каким векам в белом мареве струятся тихие прохладные воды...

...какие ветры ласку ковылям шепчут...

...кому цвет-бессмертник поклон кладет.

Гуляют кони под кручей у самой дубравы. Пугливо прядают ушами на далекое бряцанье казацкой сбруи, цокот копыт стихает, а ранящие сердце звуки могучей кобзы полнят тебя.

Машут кони хвостами, хрустят белояром, копытами по росной траве переступают.

*Ой, біжи, біжи, вороний коню,
На Савур-могилу:
Ой, нехай же я там побачу,
Де я, молод, згину...*

Вороной конь, будто и впрямь услышал голос казака, заржал в ответ, застучал о землю кованым копытом и побежал прочь от табуна на Саур-могилу.

Замелькали промеж ног его серебряные лучи рассвета, радугой засверкала разбрызганная в пыль роса.

Бежит конь, карабкается по каменному склону, торопится на вырастающие слова песни. Блестят глаза вороного, красные в тревоге. Развеивается длинная грива. Копыта камни рушат. Взобрался конь на вершину. Стал, как вкопанный...

Храбры вольные казаки, но турков несметная сила. Гик, свист, ветер, набитый стрелами, пена комками срывается с боков коней, славянская и чужая речь, пыль над всем полем вокруг и над курганом, и небо серым от нее становится. И утро не стихает бой, и день, лишь к ночи глухой все затихло. То не роса червонная укрыла поле битвы, то на ковылях зацепились капли крови казачьей: вольнолюбцы из Сечи не привыкли сдаваться в плен... Хотя и сами погибли, но посекали-порубали турков втрое больше.

А Морозенко схватили. И просит он перед смертью об одном: позволить ему в последний раз взглянуть с вершины кургана на неньку свою Украину.

*Вони його не стріляли
І на часті не рубали,
Тільки з його, молодого,
Живцем серце відірвали.
Ой, винесли Морозенка
На Савур-могилу:
«Тепер дивись ти, Морозенку,
На свою та Україну».*

Этот былинный плач матери Морозенко из наваждения становится явью — он перерастает в плач уже другой матери и по другому сыну: медленно подымается к вершине могилы седовласая женщина, вся в черном... А рядом еще и еще, и еще... Их сыновья погибли на подступах к Саур-могиле в Великую Отечественную войну...

Седые головы матерей и седые головы ветеранов, взбирающихся к вершине могилы, на которой навеки застыл

бронзовый солдат, волнами колеблются, будто ковыль накатывается на склоны кургана. Тихо позвякивают медали, скрипят костыли.

Без малого два года создавались гитлеровцами глубокие рубежи обороны, которые начинались у Северского Донца, тянулись вдоль реки Миус и доходили до самого Таганрога. Гитлер надеялся, что здесь будет пролегать новая восточная граница Германии. Вместо армии генерала Паулюса, плененной в Сталинградской битве, была создана новая и названа тоже Шестой. Но отомстить, как надеялись фашисты, за разгром под Сталинградом им не удалось. Войска Южного и Юго-Западного фронтов прорвали вражескую оборону. Впереди — Саур-могила. Фашисты превратили подступы к ней и ее склоны в крепость... До тридцати огневых точек на квадратный километр укреплений. Бронированные колпаки. Заграждения из колючей проволоки. Минные двухсотметровые в ширину поля... Как говорится у нас в народе, черта лысого только и не хватало!

Все последующие поколения не смогут оплакать тех, кто пал на подступах к Саур-могиле, на ее склонах и вершине, пытаясь выбить оттуда врага и водрузить знамя победы... И по сей день там шагу нельзя сделать, чтоб не наступить на осколок или пулю...

Ежегодно, в сентябре, когда в Донбассе наступает бабье лето, с ясными, погожими деньками, с летящей паутиной и прощальными криками из поднебесья отлетающих на зимовье в южные страны журавлей, на Саур-могиле собираются бывшие воины, ветераны, вдовы, их дети и внуки, и правнуки... На праздник Освобождения.

Ребятишки пристают к ветеранам с расспросами о боях и подвигах. Те покручивают, собираясь с памятью, поределье усы, трясут белыми головами.

— Да, полегло здесь народа — тьма-тьмущая...

И никто из них и не заикнется, что можно было бы, наверно, и обойти курган с боков, не переть напролом... Разве ж приказы командиров обсуждались когда? Не положено по

уставу! Да и сердце солдатское рвалось к победе! И ненависть лютая была на врага. А он — рядом, на высоте. Куда уж тут до обходов?

— Скажите, — допытывались ребята, — а помнили вы тогда, что Саур-могила — это народная слава, памятник старины, героического украинского и русского эпоса, что когда-то на этом самом месте запорожцы с турками воевали за родную отчизну?

Ветеран придерживает пустой рукав, вздернутый ветром, отвечает со смущенной заминкой:

— Как вам сказать... Нет, наверно, не помнили. Именно тогда — не помнили. Внутри, конечно, все это было. Чувство гордости, славы... Но только глубоко внутри. Тогда другое на уме у нас крутилось: взять вот эту самую высоту 277,9. Ворота Донбасса. Разрушить хваленый немцами Миус-фронт. Добиться свободы, счастья краю нашему, сынам, внучатам... Вот вы сейчас, молодцы, все помните. Казаков запорожских, нас помните...

«Нас помнят... Нас помнят...» — пронесся шепот по склонам Саур-могилы. И ветерок подхватил его и понес в обозримую степную даль.

С Саур-могилы и вправду далеко видать!

Вьющийся Миус.

Табун лошадей.

Дубовая роща.

И в роще тот самый дуб, корни которого намертво вцепились в донецкую землю.

А у дуба ствол крепкий, как славянский стан.

А борозды в окаменелой коре — то следы от сабель турецких, от осколков немецких.

А ветки дуба к реке тянутся...

Над седыми материнскими головами и седыми головами ветеранов плывут белые облака, и ветер сплывает материнской думой, полной скорби и тревоги за будущее отчей земли, тихо ложится в окрестных полях.

ДУМА О СВЯТЫХ ГОРАХ

Донецкий кряж в своей северной оконечности, споткнувшись о водную препону Северского Донца, вздыбился диковинными горами. Белые, меловые, они почти отвесно высятся вдоль правого берега, укрывая его неизбывной тенью. Отсюда, от сумеречного побережья, карабкаются к солнцу заматерелые сосны и дубы, тянут-вытягивают из земли, будто жилы, длинные дебелые корни и, как на ходули, опираясь на них, преодолевая осыпи, стремятся в вышину, изо всей мочи противясь отталкивающей силе отвесов, чтобы не завалиться назад и не рухнуть замертво в речную стремнину. Сквозь заросли лип, осин, ясеней, кленов, вязов, лещины и скумпии просвечивают робкой белизной одинокие березы, разбросанные по крутым склонам наподобие свечей, и словно бы кажут упорным деревьям путь наверх.

В прадавнюю, незапамятную старину нарекли эти горы Святыми.

Облик их неповторим и притягателен в любую пору. Но осенью у них особое очарование. Сплошные зеленые вершины смешанного леса исподволь расцветчиваются в светло-желтые, золотистые, лиловые, фиолетовые, бурые оттенки, и вот уж каждая макушка живописно куполится по отдельности. Над белыми меловыми обрывами ярко вспыхивают багряные, с живой веселостью, далеко видные отовсюду листья сумаха. В подлесках, дозревая, холодно сизеет терновник. Крохотными красными огоньками зажигается на тернистых ветках глед. Алеют средь цепких колючек ягоды кустистого шиповника. Наливаются лимонным цветом терпкие дикие груши. И броско развешиваются там и сям огненные гроздья рябины. А в устоявшейся тишине время от времени шуршат, зарываясь в палую листву, невидимо скатывающиеся комочки мела, тихо шлепаются перезрелые кислицы, вырываются из лунок-укрытий последние лесные орехи, гулко стучат по сучкам срывающиеся с высоких крон юркие желуди — растеряв на лету матовые шляпки с хвостиками, они коричнево лоснятся, посверкивают отраженным солнечным светом.

Воздух настаивается сильным духом привядшего дубового листа и скипидарной хвои, полнит тебя головокружительной свежестью, пьянит.

С вершин Святых гор открывается зачарованному взору все раздольное заречье — с Дубовой рощей, с зеркально поблескивающими за ивами и белыми тополями Банным и Бездонным озерами, с еле угадываемым Панским полем — некогда просторное, вольное, глазело оно множеством озер, а теперь поросло кустарниками, камышом, кугой и луговой овсяницей, и по нему бродит стадо рябых коров; на отдалении уходят вширь и вглубь, в недостижимое глазу пространство густеющей тьмой хвойные леса.

У твоих ног виднеются угаснувшие к осени иссоп, спирея, дрок, и все еще цветет, все еще нежно голубеет знакомый с детства петрив батиг.

Мыслимо ли не умозрительно, а своей плотью одновременно пребывать в настоящем и прошлом? А тебя вот окружает флора сразу и доледниковой, и ледниковой, и послеледниковой геологических эпох! И ты ни жив ни мертв, ощутив, как подспудным ознобцем веинуло в душу от осознания этой вековой сопричастности.

По осени покидают здешние озера, рощи и леса многие перелетные птицы — и дикие утки, и голосистые соловьи и кукушки, скворцы, пустеют туристские тропы в ущельях и песчаные пляжи на реке, отдаляется и замирает глухим эхом людской гомон в окрестных полях, и на Святые горы ниспускается миротворная, всеохватная, какая-то вселенская тишь.

И тебя, объятого ею на вершинах гор, то ли рассветной, уже прохладной ранью, то ли ясным, все еще теплым днем, пребывающего в неге, вдруг охватывает тревожное ощущение некоего приближения к небесной тверди, крылатости, как если бы и ты, подобно птицам, вот-вот обрешь крылья и вознесешься ввысь, на райские небеса, навсегда покинув земную круговерть. Взгляд утопает в бездонном, втягивающем всего тебя своей пронзительной синью небе, а с губ само по себе срывается памятное с колыбели:

*Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокіл? Чому не літаю?
Чому мені, Боже, ти крилець не дав?
Я б землю покинув і в небо злітав...*

Слова эти, зародившиеся в пределах Святогорья в душе уроженца земли донецкой, до поры безвестного сына украинского народа Михаила Петренко и давным-давно ставшие народной песней, тоже будто крылатят тебя, поднимают в поднебесье.

Но и к вечеру, и ночью, когда поначалу пригасают, а вскоре и вовсе гаснут на мелких волнах Донца красноватые отблески закатного солнца, когда на зиму глядя, заблаговременно сворачиваются колючим перекасти-полем в теплых душистых убежищах ежи, еще совсем недавно вроде бы сердито пофыркивавшие любопытными черными носиками, когда улегаются спать прямо под высыпавшими крупными, яркими и оттого кажущимися близкими звездами и еноты, и зайцы, и лисицы, хоронятся в дупла сторожкие, с огнистыми хвостами белки и пестрые дятлы, куда-то прячутся грузноватые сойки и шустрые, со стальным отливом поползни, замолкают в дреме горластые серые вороны, перестают жалобно попискивать желтогрудые синицы, — и тогда, и тогда тебя не оставляет здесь, на святых вершинах, самоотрешенное чувство твоей неразделимости с мирозданьем, ровно горы, поднявшие тебя в мигающее призывными огнями небо, силятся, как живые, помочь хотя бы краешком глаза заглянуть за его таинственный полог, туда, где каждому праведному якобы уготовано царствие небесное. Что там? Как там? Не обман ли? И останется ли у отлетевшей души память о земной твоей жизни, муках и страданиях, скоротечных радостях и любви?

И тут на тебя, в противовес прежнему ощущению, внезапно падет смятение. Точно и впрямь подоспела пора неизбежного прощания с земной юдолью. Твоя заробевшая плоть уже не парит невозвратно, а тяготеет к отчей земле, к ее благодати. И тебя словно бы приспускают наземь вынырнувшие кстати из памяти чарующие строки, тоже зародившиеся в пределах Святогорья, только уже в душе сына русского народа Федора Тютчева:

*Тихо, мягко над Украиной
Обаятельною тайной
Ночь июльская лежит.
Небо так ушло глубоко.
Звезды светят так высоко.
И Донец во тьме блестит.*

Обжиты Святые горы с древних времен.

В огромной меловой скале, что встала неприступным утесом над рекой, зияют шуриными норами оконца древнейшего, выдолбленного в толще пород пещерного монастыря — с подземной церковью, кельями для иноков, трапезной, усыпальницей. С него-то, вероятнее всего, и зарождался наземный, редкой красоты монастырь, приютившийся на вроде бы маленьком, но уместном плато у подножия скалы, — с Успенским собором, Покровской церковью, кельями для монахов и иеромонахов, с хозяйственными Кузнями, гостиничным двором для паломников и приезжих господ...

Никто в доподлинности не ведает, как и когда возникли эти пещеры. То ли это были прибежища первобытных людей, а попросту дикарей, то ли гонимых иноверцами первых последователей Иисуса Христа после принятия в 988 году христианства на Киевской Руси, когда в потаенных пещерах, таких, скажем, как Киево-Печерская лавра, организовывались православные монастыри, то ли нашли здесь пристанище монахи и основали пустынножителство странствующие христиане, бежавши сюда во времена нашествия на Киев монголо-татар и разорения древнерусских земель ордами хана Батыея? А может, укрывались в тех пещерах и хазары, и печенеги...

На верхотуре утеса прилеплена Николаевская церквушка — памятник украинского зодчества XVII века. Белостенная, златоглавая и крохотная — как игрушка! По легенде ее возводили мастеровые втайне от паломников, за меловой грядой. А как завершили, гряде в полночь срубили, и наутро предстала миру готовенькая церковка. Точно по велению Божьему сотворилась.

Западнее мелового утеса, в роще Скит и доньне сохранились подземные кельи, в которых годами жили отшельники,

отрекшиеся от мирской суеты во имя искупления и своих, и чужих грехов.

Близ входа в тамошние пещеры был колодец, вода в котором считалась святой, — набирай и храни дома сколько тебе заблагорассудится, не протухнет. И рос неподалеку легендарный дуб, тоже объявленный святым. Его кору, насыщенную танином, жевали богомольцы, чтобы унять зубную боль. Ну, а уж отшельники, те из-за их самозаточения и самоотрешения и подавно считались святыми людьми. Оттого и место это было прозвано «с в я т ы м». И сюда валом валил верующих люд.

Пустуют нынче кельи, колодец засыпан, дуба нет и в помине. Относительно последнего местные воинствующие атеисты посмеивались: «Грызли его паломники, грызли, пока не усох». Но наверняка сами же, дабы отвадить их, выкурили сперва отшельников, а потом извели подчистую дуб и обрушили колодец... Новоявленные «паломники», устремляясь в святое место из праздного любопытства, порасписывали стены мученических келий навроде шутейными надписями, типа: «Гера и Владя — пришельцы из Макеевки», «Мила + Боб = сладкая парочка!» А в довершение всего забросали колодец походным мусором. Будто в пику предкам, упреждавшим: «Не плюй в колодец...» Святая, не святая, а все ж вода была добрая, из глубинных родников, способная утолить жажду не одному путнику, верующему и неверующему.

За всю долголетнюю историю Святогорский монастырь вкусил и славы, и бесславия, претерпел немало бедствий и унижений, служил поборником духа высокого и наводящим ужас глухим углом для ссылки и пыток раскольников, вообще инакомыслящих.

Служил он и оборонительной крепостью на южных границах Российской империи. Если верить преданиям, из пещер в утесе был прорыт на случай осады потайной ход к самому Донцу, чтоб можно было в безопасности брать питьевую воду, и даже под дном реки аж на противоположный берег — чтоб при необходимости обороняющиеся могли уйти за водный рубеж, в леса.

И приютом больным и раненым солдатам в русско-турецкую войну он служил.

А как границы империи с присоединением Крымского ханства отодвинулись далеко на юг и отпала необходимость в прежней линии сторож и крепостей, монастырь зажил мирным хозяйствованием — обзавелся водяными мельницами, выстроил кирпичный и свечной заводы, сукновальную фабрику, развел пасеку, высадил сады и виноградники, начал собирать урожаи хлеба на отведенных ему землях...

Беды же, как известно, не ходят поодиночке.

Сначала по монастырю мором прошла и опустошила все окрест чума. Затем, едва он поднялся на ноги, стали его то закрывать, то открывать в своих выгодах — первоначально самодержавные власти во главе с Екатериной II и Николаем I, вслед за ними — большевики и демократы...

Благо, хоть не разрушили, как повсеместно. Не успели. Или рука не поднялась на такую рукотворную красу.

В 1922 году в заброшенных монастырских зданиях разместился Вседонецкий дом отдыха для шахтеров, переименованный впоследствии в санаторий имени знаменитого донбасского большевика Артема. Эта уникальная в климатологическом и курортологическом отношении здравница приняла и избавила от всяческих хворей великое число недужных. А заодно и хранила, поддерживала старинные, взятые на учет государством как архитектурные памятники, строения бывшего монастыря.

С 1980 года, когда встал вопрос о реставрации исторических сооружений на территории санатория и понадобились дополнительные средства, сумма которых оказалась не под силу одним профсоюзам, здесь учредили историко-архитектурный заповедник. И уже в содружестве с ним начались восстановительные работы. Окрепшему со временем заповеднику выпало и другое: реставрировать пещеры и церкву внутри меловой скалы, Николаевскую церквушку на ней, оригинальный памятник Артему, выполненный в попранном советскими идеологами стиле кубизма, и как бы естественный, из дуба, — лейтенанту Камышеву, освобождавшему Святогорье от немецко-фашистских захватчиков и павшему смертью храбрых на одной из вершин...

А в 1992 году по указу украинского правительства о возврате бывших монастырей прежним законным хозяевам отдается духовенству и освящается Успенский собор, а на Покровской церкви устанавливается низвергнутый в двадцатые годы колокол. И теперь в соборе ведется церковная служба, а с колокольни разносится над Святыми горами призывный звон.

Других таких гор поискать!

Потому-то испокон и манили к себе Святые горы странников, пытливых ученых мужей, художников, писателей.

Всякий раз, взойдя на вершины гор, ловлю себя на неожиданной, однако постоянно возникающей мысли: «А вдруг я стою как раз на том самом месте, где князь Игорь, бежавший из половецкого плена, был объят тяжелой думой: «О Донче! Не мало ли тебе величия, лелеявшему князя на своих волнах...»? Или где раздумывал, лукаво щурясь, преследуемый светской и духовной властью странствующий украинский философ Григорий Сковорода? Где Репин высматривал натуру перед тем, как приняться за создание этюда «Вид Святогорского монастыря на Донце»? Где замирали в предчувствии творческого порыва оба великих поэта — Петренко и Тютчев? Или где стояли, застыв в изумлении, пораженные увиденным, Василий Немирович-Данченко, Чехов, Бунин, Горький, Марина Цветаева, Сергеев-Ценский, Мысык, Сосюра, Беспощадный, Ионов — соотечественники, современники, земляки, друзья?»

Ступить с ними — с каждым из них! — след в след, пусть и невидимый, лишь умозрительно проступивший, пускай и спустя десятилетия, сотни лет, и тем самым как бы приобщиться к тому, о чем они думали и что чувствовали на этих белых вершинах, в этом святом окраинном уголке донецкой земли, а затем спуститься с гор в прежнем, как ни в чем не бывало, неколебимом душевном равновесии, ни в чем не повиниться и не покаяться, ни о чем не посожалеть, не возрасти духом — да возможно ли такое?

А сюда нынче, на исходе XX века, прямо-таки вселюдное паломничество: и отдыхающие санатория «Святі гори», и экскурсанты заповедника, и паломники возрождаемого монастыря.

В который раз поражаюсь: какой же надо было обладать природной сметкой, народной осмотрительностью, дальностью, умом и наитием, чтобы так безошибочно выбрать место для святого приюта?! Горы защищают его от ветров, охватывая с трех сторон света — востока, юга и запада, — вставая затишной, продуваемой по ущельям огорожей, они придают ему вид приветного, с домашним уютом, подворья, солнце высвечивает его спозаранок и допоздна, смешанные леса, с могучими вековыми дубами и реликтовой меловой сосной, и близкая речка, ограждающая приют с севера, создали в нем редкий благотворный климат, с умеренной влажностью, напоенный до сизины кислородом, освященный вечным духом первородства и первозданности земного бытия.

— Не дураки были монахи — пожизненный курорт себе устроили! — в шутку приговаривали восхищенные туристы. — Курорт для верующих!

— Не глупа была и рабоче-крестьянская власть — вместо них поселила трудяг, и в первую очередь — шахтеров, которые днями не видят ни солнца, ни неба, — подхватывали другие. — Курорт для неверующих!

— Ну, а теперь, коль монастырь возрождается, курорт этот будет для тех и тех. Господь помирит их! — заключали третьи.

Я вслушивался в гулкие удары колокола, и мне чудилось, что над Святыми горами звучит общечеловеческий благовест, что он зовет сюда их всех, верующих и неверующих, призывая каждого к согласию, всепрощению и любви друг к другу.

Наваждение не казалось кошунственным. Уж больно истосковалось сердце по миру и благополучию на земле! А тем более, если у нас, как заверяют богословы, один праотец, одна праматерь, и мы все меж собой от начала сотворения мироздания и жизни в нем есть братья и сестры. Да и возникло-то оно под сенью Святых гор! Гор, переживших зряшную суету многих поколений. Как переживут они и нас, и наших потомков.

Не откажи, Небо, в здравом уповании и не лиши до времени сущей надежды!

ДУМА О ТОРСКИХ ОЗЕРАХ

Такого дива, сотворенного самой природой на севере Донецкого края, не то что в Украине, а, пожалуй, и во всем мире не сыщешь!

На огромном расстоянии от моря, среди пресных речек и естественных водоемов лежат соленые озера, именуемые по старинному Торскими, а по-нынешнему — Славянскими. Репное, Слепное, Вейсово, Кривое, Червленое... И более мелкие, безымянные, которые местные жители называют просто лиманами.

Озера приветливо-весело посверкивают своей гладью из зарослей камыша, тростника, рогозов. Но здесь встречаются и чисто морские растения — руппия, заннукелия. А кроме типичных луговых чины и алтея, прижились, как у себя дома, галодиты, любящие засоленную почву, солерос, солончаковая полынь и солончаковая астра, содник. Словно взяли и в одночасье переселились из какого-нибудь приморья в открытую степь. Собственно, и вода в озерах под стать морской.

Вокруг холмистое степное раздолье, изрезанное буераками, балками и оврагами с меловыми обрывами и осыпями, по буграм щетинится любящий зной полынок, подувает сухой, теплый ветерок, преимущественно с юго-востока. Ну, точь-в-точь, как на приморских прибрежьях.

Невидаль да и только!

Геологи уверяют, что в здешних пределах, еще в Пермский период Палеозойской эры, плескалось мелководное Пермское море. И что в конце мелового периода Мезозойской эры Донецкий край вообще представлял собою остров, омываемый и с юга, и с севера морями, а на суше водились гигантские ящероподобные динозавры. Страсть! Не сразу и поверишь. После чего, дескать, в толщах земли напластовались мощные слои каменной соли. Со временем же подземные воды выщелачивали их, образовались в результате этого процесса карстовые пустоты, и в них провалились породы, которые были сверху. Воронки заполнились рассолами, выпиравшими снизу, и тальми водами сверху. Вот и образовались озера.

Вроде бы доходчиво, понятно. Однако ведь и суховато, обыкновенно, заземленно, что ли. Хотя неудивительно — геологическая история Земли!

А все же куда милее сердцу, любопытнее и дороже человеческая, живая, связанная с нашими предками история, в которой нехитро, простонародно сплетены меж собой легенды и были, предания и бывальщины. Так переплетены, что порой еще большему диву даешься, нежели чудесам, какие вытворяет природа.

С вершины Карачун-горы, господствующей над всей славянской округой, прозванной в пору кочевников на Диком Поле по-тюркски Черной Смертью, поскольку она сторожила первых поселенцев от набегов половцев и татаро-монгольских орд, а затем служила запорожским казакам сторожей для казачьих дозоров, — с ее вершины вся окрестная местность виднеется, как на раскрытых ладонях. И выглядит долиной, выгнутой наподобие сложенного ковшиком двух ладоней. Говорят, эта просторная низменность зачинается у далеких Карпат и тянется аж до Волги.

По дну своеобразной природной пригоршни, то пропадая из поля зрения, то вновь возникая, текут Кривой и Сухой Торец, Казенный Торец, Макатиха, Бессарабка, Колонтаеевка, чуть дальше — Северский Донец. А между ними, на северо-восточной окраине Славянска, голубеют большушицами, чистыми глазами озера. Как глаза самой земли!

Издавна их называют Торскими — по племени торков, кочевавших наравне с хазарами, печенегами и половцами по здешнему краю. Как и реку Торец с ее притоками — Сухим и Кривым. Что означает в переводе на русский язык «быстрый», либо «источник».

Название это поминается еще в Ипатьевской летописи, поведавшей так же, как и Боян в «Слове о полке Игореве», о трагических событиях, какие разыгрались на Диком Поле еще в 1185 году, при битве на реке Каяла. Игорь попал в плен на реке Тор или был привезен сюда с более южной стороны. Об этом самом месте ведется речь в «Слове...»: «В полночь Овлур (половец, бежавший на Русь вместе с Игорем) свистнул коня за рекою; велит князю не дремать». А в летописи

уточняется: «... и послал Игорь Лаврове конюшного своего река ему переде на оноу сторону Тора с конем поводным...»

Более того, в той же летописи записано, что воины князя Игоря, сдерживая натиск врагов, изнывали от жажды, но не могли пить и поить лошадей, так как вода в реке была соленой. Та ли была это река, поименованная Каялой, или Макатиха, которая когда-то была бурной и полноводной, а теперь русло ее почти пересохло, или другая какая, но место пребывания Игоря в плену обозначено Тором. И стало быть, даже если он и был пленен в другом безлюдье дикой степи, то побег совершил именно отсюда. Однако ж соль в воде поминается. Значит, все наверняка так и происходило, из этих мест Игорь бежал на близкий Северский Донец, к которому впоследствии обращался с благодарными словами: «О, Донче!...»

В Книге Большого Чертежа, составленной в 1627 году для пользования первой картой России, указывались пути, ведущие к Перекопу через бескрайнее Дикое Поле, а заодно и описывались реки и озера, встречающиеся на пути. Река Тор упоминается в ней несколько раз: «А на леве от Волчьих Вод, к верху реке Тору, а река Тор пала в Донец». Поминаются и соленые озера: «А ниже Святых Гор, с Крымской стороны, пала в Донец река Тор от Святых Гор верст с 15, а в Большой Тор пала речка Торец, от Донца версты с 4, а на устье озера соленые...»

О каждой здешней речке, о каждом здешнем озере живут и поныне легенды, предания и были, тоже ставшие уже, по истечении времени, похожими на легенды.

Ну, во-первых, что касается их названий. Большой Тор — это Казенный нынче, поскольку протекал по казенным, то есть государственным землям. А относительно его притоков, Кривого и Сухого, тут и гадать нечего: первый так назван потому, что кривой, а второй — потому что в летнее время мелеет, пересыхает сильно. Бакай — «глубокая, болотистая яма» в переводе с татарского. На реке Бессарабке жили в петровские времена переселенцы из Бессарабии.

А вот Колонтаевка, что вытекает из безымянного соленого озера и впадает в Казенный торец, хранит особую память.

Однажды небольшой отряд татар напал на баб, которые полоскали в речке белье. Женщины не сплеховали и стали отбиваться мокрыми, тугими и тяжелыми вальками, хлестали их по наглым смеющимся рожам, колотили до тех пор, пока не подоспели казаки, боронившие эту местность от набегов крымских татар и Ногайской орды. И потом долго смеялись над тем, как они сообща иноверцев поколотили. Оттого и Колонтаева.

У озер, понятно, своя история. И не менее забавная.

Самое большое из них — Репное.

Как-то работные люди, добывавшие к тому времени соль на самодельных солеварнях, услышали страшный грохот. И на их глазах в разверзшуюся, треснувшую или по-украински «репнувшую» землю провалилась казарма с целой командой солдат. Даже свидетель конкретный этому ужасу отыскался — некто Виттих, которого из-за границы вытребовал Петр I для отечественного соляного промысла.

Хотя по другому преданию, сгинул в пучине разверзшейся земли и хлынувшего оттуда рассола солеварный заводик — весь с гамузом.

Как бы там ни было, а хлынувшая наружу вода грозила затопить варницы. По донесению о случившемся Петру I было ниспущено повеление: спустить вновь образовавшееся озеро в Торца. Но уровень Торца оказался выше, и вода стала еще больше затапливать окрестности. И тогда канал засыпали наглухо. За достоверность предания никто не может поручиться. Тем не менее, следы тогдашнего неудачного канала якобы просматриваются до сих пор и их нетрудно отыскать.

А озеро, возникшее на месте треснувшей, или «репнувшей», земли и последующего ее провала, прозывается и посейчас Репным.

Слепное озеро называлось и Косю-Слепное. Оттого, что в нем якобы утонула слепая лошадь — «кося сліпа», по-местному. Да и много было на нем слепней — оводов.

Озеро Вейсово связано с фамилией полковника Вейса, который занимался акцизным сбором пошлин. В 1832 году у него родился сын Иван, и в его честь озеро было названо Вейсовым. А до этого оно прозывалось на разные лады: и

Старо-Майданным, потому что в его стороне находилась площадь — майдан, где собирались на свои соборы казаки, должностные лица и выборные от солеварен для рассмотрения и разрешения тех или иных заминок в организации производства, службы и управления; именовалось оно и Маяцким, поскольку рядом пролегла дорога на бывший воинский сторожек Маяки, что в направлении к Святым Горам.

Кривое именовалось еще и так: Кривое-Левадное. Первая половина исходила от кривизны его береговой линии, а вторая — от находившихся поблизости сенокосных левад.

И наконец, поименованное Червлым. Оно же и Червонное, а попросту Червоне. Потому что по его берегам росла вроде бы странная на вид трава — красного, будто кровавого, цвета. Она и поныне тут растет, солончаковая, сочная, хрупкая и красная с виду — солянка, или солонка.

Безымянным же озерцам, именуемым и лиманами, и солонцами, и солончаками, несть числа.

Недаром и развернулись на здешней почве соляные промыслы бог весть когда.

Из названий озер бросается в глаза нечто общее: украинизмы. Стало быть, не одни казенные работные люди, присланные из России, обретались на солеварнях, а стекались сюда и беглые крестьяне-украинцы — от них-то и приняли наименования украинский оттенок. Да еще и украинские казаки с Днепра — «черкасы».

Самыми же первыми добытчиками соли на Торских озерах были, пожалуй, монахи из близлежащего монастыря, потому как основался он, по предположению академика Багалея, еще в XI или XIII веках: «Монастырь или церковь, правдоподобнее всего, был тут еще в домонгольский период нашей истории, потому что в XIV—XV вв. после татарского погрома хозяевами всей южной окраины сделались татары, между тем как до половины XIII в. здесь были оазисы русского населения».

Монахи слыли великими тружениками, обладали народной мудростью и природной сметкой. Так что вполне резонно считать их первооткрывателями соляных залежей в районе Торских озер.

Но письменным свидетельством, дошедшим до нас, являясь, как ни странно, протокол допроса беглого сына пушкаря из Рыльска. Он показал, что с 1619 года вместе с другими беглецами варил соль на Торе.

О том, что солеварение на Торах к середине XVII века шло уже полным ходом, засвидетельствовали сохранившиеся в отечественных архивах указы Великого князя Алексея Михайловича. В первом говорилось, чтобы из Чугуева воевода Хлопов посылал ежегодно на Торские озера дружину по 30 человек для защиты солеваров и солеварения. Ибо набеги кочевников не прекращались. Для этой же цели защитной, кроме Маяцкого острожка, вскорости по второму указанию соорудили и на соленых озерах Острожек, в котором службу несла стража из того же Чугуева.

А вскорости Богдан Хмельницкий жалобился царю: «Некнии воришки в Гадяче и Вспрыке и в иных городах вчали бунты и многие злости, и не хотят с ними вместе против государева неприятеля идти, бегают в украинские города и на Торские озера».

На что последовал незамедлительный указ Тишайшего: «В украинские города черкасов и никаких людей, которые придут из полков Богдана Хмельницкого или из Тора, или из иных городов, не принимать и в вечное житие их не ставить».

Не пройдет и четверти века, как все тот же царь вынужден будет из-за непрекращающихся набегов кочевников, которые по весеннему и летнему теплу чуть ли не ежегодно жгли солеварни, торгово-ремесленные посады, разоряли при случае Острожек, преобразованный к тому времени в Торскую крепостцу, — все тот же царь из вынужденной предосторожности обязан будет принять совершенно противоположный указ: «У тех соляных озер для опасения неприятельских людей построен город Тор и призваны на житье черкасы». То бишь заднепровские казаки с Черкасского острова. Они сноровисты были в ратном деле. А к тому и сельщина была им свычна. Да и в солеварении по житейской ухватистости быстро освоились. И их, вероятно, можно считать первыми оседлыми жителями Торских озер.

Торяне, выдвинувшиеся за пределы так называемой Бел-

городской черты, то есть ряда крепостей, выстроенных для охраны южно-русских границ от Ворсклы до Дона по Северскому Торцу, — находясь на передовом ее крае, торяне больше других терпели из-за набегов кочевников. Их сотнями угоняли в полон. И к концу XVII века Торская крепостца, по донесению чучуевского воеводы царю, «пришла к совершенному разорению».

Поэтому жители бросили соляные озера, и в 1700 году промыслы на Торах запустили. А тем временем в Бахмуте были открыты новые, куда и перебрались сотни торян.

А от Тора осталось только новоявленное название Соляной. Или Солёный. Он-то, собственно, и стал прообразом нынешнего Славянска. Тогда же его исключили из фортификационных сооружений. И определили ему статус уездного городка Екатеринославского наместничества и дали теперешнее имя.

Бог мой! Чего только не извели, чего только не видели-перевидели на своем тысячелетнем веку Торские озера! Чему только не стали безмолвными свидетелями...

В их виду наверняка бежал из половецкого плена князь Игорь, бессчетное количество раз сжигался дотла Острожек кочевниками, а жители угонялись в плен; в их виду приходили сюда на соляные промыслы люди из Царевборисова, Нового Оскола, Чугуева, Змиева, Острогжска, Ахтырки, ставили примитивные курени с соломенными тюфьями внутри для спанья, черпали рапу из озер ведрами, заливали в специально изготовленные котлы, напоминавшие сковороды, вмазанные в самодельные печи, пилили дрова, разжигали под ними костры и выпаривали соль, которую частично пускали на местные нужды, а остальную вывозили в Белгород — благо находились Торские озера на стыке Муравского и Изюмского, и Кальмиусского шляхов, хотя из-за этого в первую очередь и нападали татары, двигавшиеся с юга на север каждую весну этими, проторенными ими попервоначалу путями; были они, эти прадавние озера, свидетелями и тому, как торяне поддерживали восстание, которое возглавил атаман Алексей Хромой, соратник Степана Разина; немного позже торяне оказались в рядах взбунтовавшихся солеваров

Кондратия Булавина, вместе с возглавившим их его сподвижником Семеном Драным участвовали в «соляном бунте» и были погублены карателями в урочище Кривая Лука, неподалеку от тогдашнего Тора.

И не менее памятным было купание в их водах самого Петра Великого, завернувшего в мае 1709 года к ним по дороге из Таганрога и державшего путь на Маяки, Изюм и дальше на Полтаву, на битву со шведской армией Карла XII...

Кто знает, быть может, он вспомнил о них и своем купании, находясь затем на европейских курортах Аахена, Карлсбада, Примонта, Спаа. Ибо по возвращении тут же принялся за создание отечественных курортов.

С первой половины XIX века Торские озера зажили иной, курортной жизнью — не менее хлопотной, суетной, зато бойкой и веселой, даже праздной.

В 1827 году штабс-лекарь Яковлев, ознакомившись с лечением на Одесских лиманах, стал успешно применять купания в Репном озере и натирания грязью одного больных солдат. На подмогу его усилиям пришел и харьковский профессор Гордиенко, сделавший изначальные химические анализы и минеральных вод, и тех же грязей.

Слава о целебных свойствах славянских грязей и вод быстро разнеслась по окрестным селам и городам. И вот уж отовсюду ринулся сюда недужный люд — «слабогрудые», с кожными заболеваниями, с покрученными болезнями руками и ногами. И лечились кто как попало, невзирая на запреты местных властей.

Однако приток людей на самолечение не прекращался. А тем более, что с постройкой в 1867–1869 годах Курско-Харьковско-Азовской железной дороги вблизи Славянска, курорт и вовсе стал доступен многим желающим попасть на Торские озера уже и из более отдаленных краев.

Упорядочился приплыв лишь после того, как курорт был передан в собственность города и началось строительство частных санаториев.

Первым директором минеральных вод избрали городского врача Коссовского.

А к концу XIX века вышел царский указ о том, что

Славянские минеральные источники возведены в ранг общественно значимых. Не прошло и десяти лет, как на Международной бальнеологической выставке в бельгийском городе Спаа за высокое лечебное свойство представленных туда экспонатов торских грязей Славянский курорт был удостоен наивысшей награды — Большой Золотой Медали и премии Гран-при.

Вот тебе и Торские озера!

По утрам, перед восходом солнца зеркальная гладь Репного озера, главного в курортном лечении, становится ало-сиреневой. На ней восседают чайки белые, утки серые, дикие, остающиеся здесь и на зимовку, черные нырки и лысухи с белыми роговыми набалдашниками на клювах. Шустрые нырки без конца ныряют — то исчезают, то появляются на поверхности и там и сям, будто переныривают друг дружку. По ту сторону сизеет листьями маслина, а по эту, со стороны курортного парка, тянутся вдоль берега камыши, мочат в солоноватой воде свои пряди ивы, и далее идут кронистые вербы, осоки, тополя, акации, стройно высятся туя, ели, сосны, с полудня и до заката солнца хранят под собой прохладу вяза и липовая аллея, тихо, убаюкивающе и миротворяще журчит фонтан с Иван-царевичем посредине, в окружении цветочных клумб, засеянных львиным зевом, табачком, майорами; а еще и сосновая рощица, и дубы с пестрыми дятлами, клен канадский, ясень, каштан, и кукушка время от времени подает свой вещий голос, пострекотывают сороки, попискивают синицы, даже воробьи здесь выглядят не серыми или черными, как в центральных, угольных районах Донбасса, а пестрыми, с коричневыми подпалинами и светло-серыми вкраплениями перьев на крылышках; и скачет по низким веткам огненно-рыжий бельчонок, ничуть не боясь людей.

Тихо и покойно не только в парке, а и на душе. Благодать!

В августе 1999 года, когда было затмение солнца и все отдыхающие в санатории «Юбилейном», «Донбассе» и «Славянском», вооружившись закопченными стеклами, взирали на редкое явление природы, мне вдруг припомнилось «не на добро знамение се», какое узрели воины дружины князя

Игоря у берегов Оскола, когда окрестные дали померкли от затмения солнца.

И сами по себе вмиг связались в душе и минувшина, и настоящее меж собой в неразрывное, как бы единое время событий и явлений, полнили ее причастностью к тому, что деялось на нашей донецкой земле в старую старину и ныне деется, дурное и доброе.

Вплоть до судьбы писателя Николая Островского, который лечился на Славянском курорте и который призывал горячим, запальчивым молодым сердцем в своих книгах прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно, зря потраченные годы... Видимо, он имел в виду и сохранение в себе памяти о прошлом, и равнодушие к настоящему. Ведь сохранить в себе единство ощущения давно прошедшего твоих предков и ныне свершаемого тобой и твоим поколением — считай, ощутить бессмертие, пусть и временное, без веры в Царствие Небесное.

Вечной, въедливой соленой росой пали на здешнюю землю пронесшиеся над Торскими озерами грозовые столетия, у этого некогда самого южного рубежа славянской земли, опали соляными крупницами на людские судьбы, раны зримые и незримые, в одинаковой мере донимавшими славян. Как и на наше сердце — сердце далеких потомков.

Но не будем кручиниться, сердце! Еще раз окинем любящим взором прадавние Торские озера, возрадуемся тому, что посчастливилось на коротком веку приобщиться к их величественной и скромной одновременно, и вечной истории.

2000

ДУМА О ЗОЛОТОМ КОЛОДЯЗЕ

Правда, нет ли, но донецкие краеведы, эти дотошные и в то же время наделенные эмоционально-возвышенным мироощущением люди, упорно поговаривают, будто в старинной слободе Золотой Колодызь, которая ютится на северо-западе бывшего Дикого Поля, в том самом уголке его, что был впоследствии прозван на особицу Добрым Полем, а поэтами,

выходцами из тех краев, и вовсе умилительно-ласково — Добрым Полюшком, попросту же — Добропольем, давно уж, этак где-то с полвека, как перестали гнездиться белые аисты. И на то якобы есть какие-то особые причины. Однако доподлинно никому не известно, откуда взялась сия напасть. Разные предположения и догадки не утешают местных сельских жителей. Потому как не радуют больше глаз развесистые, подомашнему уютные и приветные гнезда этих птиц ни на крышах хат и современных домов, ни на деревьях высоких. А ведь некогда они словно бы парили, тоже по-птичьи, над всей слободой.

Старожилы, клочковато-седые, подслеповатые, совсем древние, привздыхают:

— Не иначе, як ото кимось пороблено за якісь наши грихы...

Отроду привыкшие винить во всех смертных грехах одних лишь самих себя, древние старцы, похоже, и мысли не допускают, что причиной этой незадачи могли стать и мы, их прямые потомки, — сыновья, внуки и правнуки, утратившие страх перед Богом и смалу переставшие ждать милостей от природы ради сиюминутного довольства и выгоды, к чему, собственно, и призывали нас великие ученые, имея в виду изначально не менее великие предначертания опять же великого государства по преобразованию и подчинению его и своей личной власти природной среды обитания.

И впрямь слобода как заговоренная! Ни одного гнездышка не видать!

Чего не достало аистам в этих местах? Они любят обитать там, где много воды. Здесь ее дополна — и в балках Самарской, Поповой, даже в солончаковой Неробленной, и в ставках, и в речушке Грущанке, впадающей в Казенный Торец, да к тому же и истоки Самары неподалеку, в каких-нибудь пятнадцати километрах.

Быть может, доброты людской не хватило им? Так вряд ли: люди здесь приветливы и добродушны. И наверняка ценили склонность аистов гнездиться в населенных пунктах, опекали их и покровительствовали всячески, как и было издавна заведено в народе, порой и отдельные столбы ставили

или приколачивали специальные крестовины на коньках крыш для раскидистых птичьих гнезд, сотворенных аистами из сучьев и палок и оттого тяжеловесных. И боже упаси, чтоб мальчишки деревенские когда-либо зорили их.

Представляю, как, бывало должно, раньше, по весне возвращались аисты домой, в Золотой Колодязь, из дальних странствий, из какой-нибудь Африки или Азии, где перебивали здешние холода, и показывались в родном небе из-за бугра Макурта, что в южной стороне от села, поначалу плавно парили, широко разбросив черные могучие крылья, ровно присматривались и узнавали отчие пределы — и балки, с проблескивающими небесной синью озерцами и бочажками, в которых плескались оголодавшие за зиму караси, вьюны, серые бубыри и явдошки, с лесочками по склонам в них из вековечного терна, гледа, шиповника, молодых кленов и дубков, и собственно леса — Кленовый, Дубнячок и Развилки, в которых водились лисы, зайцы, волки, с покуда голыми ветвями, но уже с набухающими почками, налитыми живительным вешним соком стволами берез, осин, дубов, ясеня, клена, вечнозеленых сосенок, с глазасто проклюнувшимися сквозь снежный наст у их подножий синими пролесками и разбросанные окрест деревеньки Грузскую, Оремивку, Кучеров Яр, вобравший со временем в себя крохотную Снигаривку. Все-все, что было дорого им и по чему они тосковали вдаль от Родины. А признав, аисты в радостном возбуждении закидывали назад головы и начинали громко трещать красными длинными клювами. И этот веселый стрекот полнил лазурные небеса, еще более высвеченные солнечными бликами, отраженными белыми перьями птиц, разносился далеко по всей округе и приветственным благовестом ниспадал на сельские подворья, где бережно хранились их гнезда до ихнего возвращения.

Воочию представляю все это, и сердце мое тоже заходится щемящей радостью, как если бы и я сам встречаю белых аистов из дальних кочевий по чужим странам и машинально говорю про себя: «С возвращением, родные!» И почему-то думаю, что самым приметным и желанным ориентиром для них была все-таки криница с ключевой водой, обрамленная

дубовым срубом, в коем бревна аж синели от студеных вод, которые бились, вырывались из-под земли с таким напором, что они взбулькивали и схвачивались поверху пузырьками, будто кипели.

Кто первым наткнулся на этот чудо-родник с доброй и полезной водой в Диком Поле? И когда?

Наверняка еще в доисторический период. Ибо не могло не обжиться первобытными людьми такое благодатное место.

До нас же дошло лишь предание, которому шесть столетий.

Говорят, что крымские татары, совершая опустошительные набеги в эту дикую до поры степь, по Муравскому шляху, который пролегал в сих пределах, не раз заваливали криницу камнями, чтобы славянский люд, пытавшийся оселиться здесь, помер от жажды.

Но ключ вновь и вновь пробивался сквозь камень и поил каждого-всякого, кто изнывал от жары в сухопутье при частых, свойственных продувным степям средь Донецкого Кряжа сухменям и суховеям.

Натыкались на этот ключ, видимо, и русичи, которые отражали кочевников-завоевателей. Не исключено, что и привал делали, томимые жаждой, а то и стан разбивали подле него.

А уж чумаки и подавно облюбовали его, когда пылили туда и обратно по чумацкому шляху, петлявшему водоразделом вблизи спасительного родника, распугивая птицу и зверя скрипом колес своих длиннуших возов-мажар, груженных дерюжными мешками с солью из Торских озер — везли ее либо в Запорожскую Сечь, либо в Азов, отвоеванный у турков донскими и запорожскими казаками в 1637 году, либо в Таганрог, основанный в 1698, уже после второго Азовского похода Петра Первого. Чумаки благодаря врожденной украинской, а по тогдашнему — хохляцкой, малороссийской и новороссийской, сметке и осмотрительности, и предосторожности, и хитромудрой уловке определенно примечали для себя — ставили какую-нибудь вешку или даже веху, чтоб и другие обозы заметили. Вода-то добрая на ничейней земле, стало быть, как бы для всех добрых людей — пей от пуза! А

еще по своей, прирожденной опять-таки, хозяйственности не могли не обустроить копанку, а то и криницу или колодец. И тогда любой, испивший хотя бы глоток влаги из этого ухоженного человеком родника, обязан был беречь его, как зеницу ока. А то как же? Святое дело!

Утоляли жажду из этого колодца и запорожские казаки, вне сомнения. Ибо как раз в этих местах они перетаскивали свои легкие челны волоком из Самары, а затем по Грущанке попадали сперва в Торец, потом в Северский Донец и, наконец, в Дон, когда шли воевать в содружестве с донскими казаками турка в Азове или когда спешили на помощь своим сотоварищам, находившимся в долговременном Азовском Сидении 1641 года при обороне Азова от наседавшего на него многотысячного турецкого войска.

Пивал из него и царь Петр Первый, возвращаясь из последнего, на сей раз удачного, победного, Азовского похода в 1696 году.

Об этом эпизоде пересказывают легенду всяк на свой лад вот уже три века с небольшим, и так, и этак приукрашивая ее соответственно собственному видению и пониманию. Однако, во всех вариантах ощущается достоверный исторический факт. Да и к тому времени здесь уже жили оседло люди, кои и стали невольными свидетелями происшедшего в то давнее время. И, скорее всего, сохранили легенду в первоизданном виде.

Возможно, солдаты и сами пили, и поили лошадей, дивясь неиссякаемости колодца, который был обихожен крестьянами помещика Левшина, поселившегося в этом благодатном месте со своей женой-полячкой еще в 1680 году. И солдаты не могли обнаружить колодец случайно в ивовых зарослях, не помчаться на радостях к царю, пусть и взъехавшего на самый высокий холм Макурт, с криками о необычайной находке, на что царь вроде бы мигом спустился вниз, чтоб самолично поглядеть на чудо-криницу.

Крестьяне, а может, и сам помещик, обрадованный несказанному гостю — как же, сам царь-батюшка преподжаловал в его поместье! — преподнесли Петру Первому самое дорогое, что у них было — чашу целебной воды. Ибо давным-давно

убедились в ее чудедействе — никто ни разу за все время пребывания здесь животом не маялся.

Выпил царь келех залпом и зажмурился от неожиданности — уж больно студеной, до ломоты в зубах, оказалась водица, аж дух перехватило. Но и вкуса была редкого, невероятно мягкая и чуть ли не сладкая, прямо сама пьется, сколько ни пей.

Наконец Петр протер по-щегоольски задиристые усы, распахнул во все зеньки свои большущие глазища и выказал белые крепкие зубы в предовольной, по-детски счастливой улыбке. И выдохнул:

— Ах, золотая водица!

Достал из подсумка талер золотой, монету немецкого производства, поскольку российских-то покуда не начеканил — царствовал всего десять лет каких-нибудь, да и то не один, а до нынешнего, победного и потому торжествующего его славу года вместе с братом Иваном V, — достал и бросил в криницу, громогласно приказав:

— Быть ему отныне Золотым Колодезем!

С тех пор так и прижилось это название — Золотой Колодезь. А со временем и на украинский манер — Золотый Колодязь, поскольку крестьяне у помещика были в большинстве своем украинцы. Он, правда, выменивал на борзых и поляков, дабы жена не так одиноко себя чувствовала на чужбине. Детей-то им Бог не дал. Барин же находил отраду в охоте, для коей вокруг было немеряное раздолье. По всей видимости, эта страсть и заманула его в эти глухоманные, да и рискованные из-за кочевников пределы. До перемирия с Турцией и Крымским ханством татары из Крыма продолжали свои разорительные, убийственные набеги и на Украину, и на Россию, и на Польшу — по всему Дикому Полю рыскали. Оттого, вполне вероятно, помещик Левшин развел огромную псарню не только для одной охоты, а и для какой-никакой самозащиты. Лишних же собак поменял на польских бедняков. До нынешней поры тут сохранились пришлые фамилии — Волосоюки, Боросоюки...

Судьба все же смилостивилась над его семьей — проезжие цыгане втихоря подкинули им девочку. Они обрадовались

подкидышу, окрестили на польский манер — паней Пьяньковшей, вероятно, по жениной родословной.

Мало-помалу помещичье селение разрасталось и стало слободой. И ей тоже досталось это как бы золотисто сверкающее и глубокое по смыслу, дарованное самим царем имя — Золотой Колодязь. Еще при жизни ее основателя — пана Левшина. А как он помер вслед за женой, их сменила пани Пьяньковша и построила вдобавок к церкви и церковноприходскую школу.

Местные жители считают Левшина основателем слободы. И поминают его и поныне добрым словом. В особенности же за то, что распорядился бог знает когда обладать криницу основательно — поставили по его воле дубовый сруб, размером четыре метра на четыре и в глубину метра полтора, чтоб никакая тварь — ни домашняя, ни дикая — не замарала в нем чистейшую воду. А после того, как царь бросил в него золотую монету и тем самым словно бы окрестил в прямом и переносном смысле, помещик наказывал оберегать его от всякой скверны и беречь, как святой.

Об истории слободы Золотой Колодязь, когдашних ее былях и легендах, и преданиях местные жители хранят и овеществленную память — создали при школе, в отдельном помещении, исторический музей, экспонатам которого может позавидовать любой иной, повыше рангом, — районный или городской. С помощью их прослежены все этапы жизни слободы и местности, на которой она находится, начиная с незапамятных времен и по сей день.

Киевские археологи докопались и вещественно доказали, что еще в XIII веке до нашей эры на территории нынешнего села жили племена срубной культуры — киммерийцы. А потом, в VII веке до нашей эры, их вытеснили в Малую Азию скифы — ираноязычное население, занимавшееся, по Геродоту, земледелием, скотоводством и оставившее после себя многочисленные курганы, которые возведены нами в археологические памятники. А потом, во II веке до нашей эры, скифские, а точнее исконно славянские здешние земли заняли кочевые племена сарматов, тоже ираноязычных. А потом, уже в III–IV веках нашей эры, сарматам нанесли

сокрушительный удар готы и гунны, и от сарматов остались лишь погребальные сооружения с богатым инвентарем; впоследствии гунны под предводительством Аттилы разгромили готов и заняли территорию от Дона до Карпат. А потом здесь кочевали тюрские племена — половцы, без конца ввязывавшиеся в битвы с князьями Киевской Руси, пока не выгнали их из Приазовских степей татаро-монголы из Золотой Орды. А потом, после распада Орды, донимали славянские тутошние поселения крымские татары... Они-то и заваливали камнями бьющий из-под земли ключ, прозванный в XVII веке Золотым Колодезем.

Так что кого только не поил он бог весть с каких пор, чье горло, горячее и пересохшее от жажды, только не смачивал своей спасительной влагой — и чужеземцев иноязычных, и своих, славянских, и чей только лик не отражался в его зеркальной воде!

Это же косвенно подтверждают и экспонаты сельского исторического музея: хранятся в нем найденные при раскопках на территории села и в его окрестностях и каменный топор, и рубило тогдашнее, и каменная ступа, в которой наверняка толкли зерно, выращенное на обжитом и возделанном хлебопашцами поле, и сосуд керамический, по всему вероятно, для содержания надоенного молока или той же драгоценной воды и свидетельствующий еще и о гончарском умельстве наших пращуров, и об уже тогда применяемом ими обжиге, и скифская каменная баба, и сработанные из железа ратные принадлежности то ли русичей, то ли кочевников — копье, наконечники для стрел, для изготовления которых, по всей видимости, использовался местный уголь, залегающий здесь всего в нескольких метрах от поверхности земли, а также жезл с шаровидным набалдашником, служивший, скорее всего, знаком гетманской власти в Украине и Польше, а может, и костоломным орудием — тоже вполне сгодилось бы для такой цели, если брать в расчет многогранность небольшой конечной булавы.

А еще ведь и окаменевшие и сохранившие свою изначальную текстуру дерева, и морская большая ракушка, найденная в песчанике. Значит, и леса дремучие росли в этих

пределах в незапамятные времена, и море плескалось. Оттого, должно быть, тут все и перемешалось столь причудливо, как и повсюду в Донбассе: и песок золотистый, сыпучий есть, и каолиновые глины, и источники с минеральной водой, а на глубине ста метров залегает угольный пласт толщиной, или мощностью, как говорят горняки, до двух метров... Тот же уголь, что находится неглубоко и маломощен — едва наберется тридцать пять сантиметров, — местные мужики добывали самостоятельно и до войны, и в послевоенные трудные и голодные годы — отапливали им школу, участковую больницу. Вскрывали пласт по небольшому наклону и, лежа на боку, если удавалось повернуться в узкой щели, а то и ниц, долбили обушками, которые раздобыли у подельчивых шахтеров из настоящих добропольских шахт, затем, как встарь, грузили на деревянные сани, а наверх их тащил конь через приспособленный коловорот, будто из колодца. Тех самодельных шахтенок-нор давным-давно и в помине нету, но памятное событие из жизни сельчан прижилось в повседневном быту и обиходе.

Ежели, допустим, человек пошел в ту сторону, то есть на север от села, здесь говорят: «Пошел за шахты». Ежели на юг, где сельское кладбище — погост: «Пошел за кладбище». Или: «...за Макурт». А в середину села — «Пошел на слободу».

Такие вот у них доморощенные ориентиры. О собственно Колодызе и не поминают... В то время, как самой осевой, что ли, исторической и легендарной достопримечательностью во всей многовековой истории здешней округи и самой слободы, насчитывающей от своего рождения свыше трех столетий, а равно и всего Донбасса, был и остается источник Золотой Колодызь.

По славянской нерасторопности, надо полагать, только в 1950 году был сделан химический анализ воды в колодце и установлено, что она лечебно-столовая минеральная. Хотя местные жители догадывались о ее целебных свойствах чуть ли не с основания слободы, когда стали замечать, что с животами у них все в порядке, какую бы грубую пищу они не употребляли, — стоило лишь запить этой водичкой, и все как рукой снимало. Теперь же — наконец-то! — определили

и химический состав ее, и минерализацию. В нее входят хлориды, гидрокарбонат, сульфаты, магний, натрий и кальций в оптимальном соотношении меж собой. И показана она как лечебное средство, при хронических гастритах, неосложненных язвенных болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических колитах и энтероколитах, хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей, нарушениях обмена веществ, хронических болезнях почек и мочевыводящих протоков... Бог мой, как же можно было находиться в неведении столько-то лет относительно чудодейственных свойств этой и впрямь золотой, бесценной водицы? Уму непостижимо!

Более того, под слободой, говорят, оказалось ее целое озеро. Ибо трубы бурильной установки, оставленные без присмотра во время обследования этих водно-минеральных залежей, за одну ночь ушли под земли и утонули. Их так и не достали потом, как ни силились.

Казалось бы, сельчанам надо было радоваться такой неопишуемой, неслышанной доселе находке. Но в том-то и беда...

Вскорости знаменитый дубовый сруб разобрали, а поверх колодца водрузили из несокрушимых бетонных плит водокачку, чем-то схожую с саркофагом или, по крайней мере, с родовым склепом, и стали гнать насосами воду по разным водоводным трубным веткам в Доброполье и Белозерск. А ко всему еще и заводик соорудили, чтоб разливать по стеклянным бутылкам и продавать с тем же, заполученным напрокат, историческим именем «Золотой Колодязь». Нынешнее ж акционерное общество закрытого типа и вовсе преуспело, поскольку на этикетках, наклеенных на стандартных пластиковых емкостях, красуются оттиски двух золотых медалей с надписями: «FRANCE, 98» и «INTERNATIONAL PROGRAMME PARTNERSHIP FOR THE SAKE OF PROGRESS». Последняя окольцовывает какую-то птицу. Похоже, царского орла — отнюдь не аиста.

Что ж, худа никакого нет во всем этом: и то нужно людям, и другое, и третье.

Однако до самого Золотого Колодязя в селе как символа исторической памяти всего Донбасса, его неисчислимых минеральных богатств и дела вроде бы никому нет. Ни сруба тебе, ни колодезного журавля с прицепленным для путников железным или деревянным ведром. Ровно похоронили под бетоном. Чтоб и следа не осталось. Кроме, понятно, легенд, преданий и былей о нем. Их-то не захоронишь! И они будут жить и передаваться от уходящего поколения к подрастающему, от старшего к младшему — как укор тем, кто не пощадил вещественного символа.

Мне показали то место, где был Золотой Колодязь со своим знаменитым срубом, — оно хоронилось под «саркофагом» водокачки. И попить дали. Правда, из наружного крана, неказистого, одиноко торчащего у забора внутри двора водокачки и изогнутого буквой «Г».

Когда я отправлялся в Добропольский район, я надеялся увидеть нечто особенное, может, и замшелое от стародавности, а испив глоток воды, словно бы и нутром приобщусь к великому прошлому родной земли, воспетому во многих древних летописях и сказаниях, в народных украинских думах. А оказалось, попал на новоявленный могильник Золотого Колодязя как такового, будто венком бессмертия, увитого легендами.

Ошарашенный увиденным, я растерянно оглянулся. Ко мне прямил мужчина. На хорошем подпитии. Издали он спросил бойко:

— Что за шум, а драки нет?

— Да вот не пойму, как вы теперь воду колодезную пьете? Покупаете?

— Чудак-человек! Зачем она нам? Мы на сивуху налегаем!

И вдруг спросил:

— А вы кто, собственно говоря?

Я назвался.

Он вмиг преобразился и свирепо сказал:

— А, писатель! Когда вы, писатели, власть эту поменяете?

— Я не политик, чтоб менять ее, — попробовал я оправдаться, как если бы и в самом деле от меня что-либо зависело и я в чем-то был виноват перед этим мужчиной, остограмившемся или хорошенько остаканившимся по случаю

воскресного, выходного дня. — Но что вы сами, примером, сделали, чтоб не закрыли наглухо Золотого Колодязя? Протестовали, сидячую забастовку устроили или пикеты вокруг него выставили? А то и «сухую» голодовку объявили в знак протеста?

Он уставился на меня, как на новые ворота. И не сразу выговорил с тем же сердитым тоном:

— Здрате! Тут жизнь вся пропала, а он о колодызе жалкует... Бо воры кругом позасели! Вор на воре сидит и вор погоняет — вон в чем суть насущного вопроса!

Сплюнул на сторону в сердцах и удалился скорым шагом, обдав меня на прощанье жженным духом бурячного самогона. Он, конечно, по-своему был прав. Но это касалось немногих олигархов, по чьей вине обнищал народ. А такие вот выпивохи раньше, при коллективном хозяйствовании, сплошь воровали общее добро. Сейчас же не разгонишься...

И снова я обратил внимание на сооружение из бетонных плит, схожее на саркофаг, под которым был упрятан святой колодец.

«А может, и вправду белые аисты не прилетают больше сюда и не гнездятся в слободе из-за того, что их лишили главного ориентира — Золотого Колодязя с дубовым срубом?» — неожиданно подумалось мне. Я вдруг усомнился, что это всего-навсего легенда, поведенная мне донецкими краеведами, когда я им похвалился о своем намерении осуществить давно задуманную поездку в село Золотой Колодязь. Быть может, все так и есть на самом деле. И они меня не разыграли по-дружески. Неужто правда?

С затеплившейся в сердце надеждой я не спеша осмотрелся вокруг — гнезд поблизости нигде не было видно. И сердце будто оборвалось.

На обратном пути, по дороге домой я купил пластмассовую бутылку воды с надписью: «Золотой Колодец». На красочной этикетке был изображен Петр Первый в седле на белом коне, гордо улыбающийся, в обрамляющей его стихотворной надписи: «Освятит царь воду эту, опустив в нее монету. Стал колодец не простым, стал колодец Золотым».

А рядом — золотистого цвета деревянный сруб и коловорот с опущенной в колодец цепью.

«Наверно, только на этикетках ты и остался, Золотой Колодызь», — сожалеюще вздохнув, подумал я о колодце, как о живом существе.

Ночью мне привиделся страшноватый сон. Похожий на современную легенду.

Будто бы в одну из осенних ветреных донбасских ночей разом сорвались с бетонных пьедесталов все красноклювые, голенастые железные аисты, которые стояли до этой поры подле криниц и колодцев у больших дорог, протянувшихся из края в край по всему Донбассу, и устремились на северо-запад бывшего Дикого Поля, прозванного по местному Добрым Полем, искать по тамошним городам и поселкам ту голову, которой взбрело стереть с лика земли их извечный ориентир — Золотой Колодызь. Как если бы они и были те самые, что перестали из-за этой путеводной утраты возвращаться в родное село. И с отчаянья и горя очугунели.

И странно, мирные ведь птицы, а норовят клонуть длинным, почти в пол-аршина, клювом всех без разбора, кто ни попадется им на пути. Попробуй разберись в предрассветных сумерках, кто виноват, кто нет? Да в темя, в самое темечко! Именно туда, где когда-то, еще в раннем детстве, был мягкий, не заросший до поры до времени, не заострившийся родничок, в коем под тоненькой кожей пульсировало отродясь закодированное сознание о былом. И тем самым как бы пытаются помочь проклонуться и возродиться захиревшему роднику той родовой памяти, что была дадена каждому человеку от его роду-племени.

Клунет и, запрокинув голову, протрещит клювом то ли торжествующе-мстительно, то ли милосердно.

А мне в том непонятном треске порой чудился человеческий голос. Тюк — и: «Помни о прошлом!» Тюк — и: «Не забывай того, без чего не может быть благополучного будущего! Ни у тебя, ни у твоих детей, ни у твоих внуков и правнуков...» Тюк — и: «Памятуй о добре на Добром Поле, а о зле забывай! Это духовное завещание кровных предков!» Тюк — и: «Иначе

тебе помянут потомки! Отомстят забвением тебя самого...»

Люди в панике мечутся, призывают неизвестно кого на помощь, воздев к просветлевающему небу закровавленные лица. А железные птицы насадают и насадают, все долбят-додалбливают, пробиваясь к истокам захиревшей человеческой памяти, все ищут наугад того беспамятного, который порушил их ориентирный, хорошо заметный на местности неподвижный колодец со срубом, помогавший им определять направление движения всей стаи при возвращении из далеких стран на свою отчину.

Проснулся я от страха за людей и за птиц, ожесточившихся друг против друга. И подивился: «Неужели такое может случиться взаправду?»

А затем, постепенно успокаиваясь после диковинного и страшноватого видения, утешился мыслью, что все это лишь химерический сон. Пускай и подобный новоявленной, со страшилками и подспудными намеками, с неизбежными междусобными разборками и кровопролитием, совершенно современной легенде. Беды мало!

Но и нестерпимую жажду я ощутил, очнувшись ото сна. Вроде все мое нутро свело ею, выжало до капельки всю влагу из всех клеток, сохранив одну только крохотную лужицу, в которой барахталось изведенное жутким сновидением сердце. Словно в пустыне очутился по непонятной причине и непонятным образом.

Как здорово было бы припасть сейчас к студеной, ключевой воде Золотого Колодезя! И не только мне одному, а чтобы могли это сделать и случайные путники, и туристы, и экскурсанты — любители природы и знатоки истории родного края.

Чтоб всем нам возможно было беспрепятственно, в любой момент поглядеть на первозданную — не попанную! — святыню Доброго Поля и утолить жажду не столько тела, сколько души.

ДУМА О СУХОДОЛЕ

Правобережье Волчьей горбится буграми, а меж ними — сухие балки, лощины и опять бугры, уголья, кое-где, правда, встречаются низы, но и те покрыты рапной изморозью — даже соль выступила от безводья. Хотя нет-нет да и пробиваются из-под глинистых обрывов все еще живые, едва теплящиеся родники с доброй водой. По левому же берегу — равнина и равнина, однако тоже суходольная, в зной вся потресканная, в зияющих расщелинах. И звонкая, как бубен.

Все здесь вроде бы уныло, неласково. Но это мое родное, отчее суходолье, и я все чаще и чаще возвращаюсь сюда из ближних и дальних дорог.

Вот эта самая земля, простирающаяся вдоль левобережья, от того места, где Мокрые Ялы впадают в Волчью, и до крутой ее излучины близ бывшей помещицы Андреевки-Клевцовой, когда-то называлась Таврической целиной. Екатерина Вторая, переселив сначала сюда греков из Крыма, великодушно раздавала потом в здешних пределах делянки богатым из той же Таврии. Оттого и целина — Таврическая. А заодно — и болгарам, итальянцам, немцам... И те земледельничали, выращивали перец, помидоры, лук, баклажаны, растили хлеба. А рабочую силу нанимали в слободе Ивановке, что по ту сторону Волчьей. Слобода была заселена в основном голотой из поруганной царицей Запорожской Сечи. Казакам, некогда оборонявшим этот край от татар и турок и клавшим за него живот, довелось впоследствии работать по найму на этой же, кровью ими политой земле!

Через Первый и Второй броды приходили сюда и их потомки, продавали свою силу, здесь они седали, старели, их спины гнул каторжный подневольный труд, все гнул и гнул — до тех пор, пока сами не становились землею. Как они тосковали по дому, по слободе! Словно попадали на чужбину. Они и песню об этом, будучи еще молодыми-здоровыми, сложили:

*Ой, не видно Іванівки,
Тільки видно сіни.
Уже ж мої родителі
Вечеряти сіли.
Ой, не видно Іванівки,
Тільки видно хати.
Уже ж мої родителі
Полягали спати.
Ой, не видно Іванівки,
Тільки видно верби.
Туди ж мою головоньку
Щовечора верне.
Ой, не видно Іванівки,
Тільки видно грушу.
Туди ж мою щовечора
Пориває душу.*

Нанимали на работы и здешние помещики Клевцов, Однокиз, Мумжа, Инджижик, как называли местные жители грека Инжечека. И боже упаси было хотя бы ступить на их земли без позволения, не то что тронуть стебелек какой — люто расправлялись!

Наживали на той паншине горбы и прадед мой, и дед, на этой же, чужой до поры земле сызмалу надрывался и мой отец.

И мне бы в самый раз проклинать это суходолье, а я возвращаюсь и возвращаюсь к нему, будто намагниченный, и каждый раз чувствую в сердце нарастающую с годами тоску по земле моего детства и неясную тревогу. Опасаюсь, что ли, что она не признает меня за кровного потомка, за сына своего?

А потом бедняки отобрали у богатеев земли, расселились на них и стали вдыхать новую жизнь в этот суходол. Неподалеку от Греческих хуторов возникли хутора Новохатский, Товстый, Грушевский, Запорожский. Ярмарочное село Андреевку-Клевцову переименовали поначалу в Андреевку, а позже — в Искру. А из выселков Петровских на месте помещичьей экономии, куда ходила работать по найму ивановская казачья голода, чуть ли не само по себе образовалось похожее на степной городок село Зеленый Гай.

И тут в трудные тридцатые годы уже совсем иные песни пели:

*Ой, за гаєм, гаєм,
Гаєм зелененьким,
Там орали комунари
Трактором новеньким.
Орали, орали,
Стали засівати
Та з панами, куркулями
Стали воювати.
Куркуль землю криє,
Не хоче віддати
І радвладу ззаду
Хоче підірвати.
Ой, куркуле, куркуле,
Ось на тобі дулю —
Поки вмреш,
Не згризеш
Молоду комуну!*

Лихо, конечно! Но кто о ту пору из певших, опьяненных переустройством закоснелого миропорядка на свой, по первоначальному замыслу якобы справедливый манер и устремленных безоглядно в замаячившее, как смутный горизонт под едва забрезжившим восходом солнца, светлое будущее, — кто из них, большей частью полуграмотных, мог предугадать, что их напевные заверения, вырвавшиеся из ликующей души от заманчивой свободы, кажущегося равенства и братства, окажутся самоуверенными, если не наивными? Коммуны, в отличие от монастырей, где тоже исповедовалось равенство и братство и монахи тоже начисто отказывались от личной собственности, вскоре бесславно рухнули и распались... Быть может, у затворников вера в Царствие Небесное была куда посильнее, чем вера коммунаров в Светлое Будущее? Кто знает. Ведь во все века последним судией было само Время.

Для своих поездок в родительские места я, как правило, выбираю такое время, когда после страдных работ пустеют поля, за облетевшими посадками открывается во все стороны света ясный простор, на Зареченских озерах угомонится пти-

чий грай перед отлетом диких уток и гусей в теплые края на долгую зиму — крик их вызывает чувство покинутости, сиротства, хотя ты и знаешь, и веришь, что они вернуться, — но все ли? Над еще не остывшей землей, посверкивая на солнце, летят в неведомую даль на своих тонких, зыбких паутинках перелетные паучки, кое-где уже срывается с насиженного места курай, скачет по обезлюдившим полям, перекачивается через горбы и балки, опять же навевая невольные мысли о сиротской доле, независимо от того, что все эти перелеты, все эти кочевья, казалось бы, бесприютные устремления — не что иное, как движение будущей жизни...

И тогда — в который раз! — я вновь и вновь ощущаю, как дорого для меня, и понимаю, как прекрасно оно, отчее суходолье.

Мне теперь, при желании, дано взглянуть на него и с поднебесья. Самолет, обыкновенная двукрылка, набирает очередной груз «подкормки» и то и дело взлетает с колхозного или совхозного аэродромчика и парит, парит над гонами — по-хозяйски основательно, даже, кажется, неторопливо высеивает соли, витамины — подкармливает отплодоносившую, усталую землю. А под крылом знакомо высятся одинокие казачьи могилы среди ярких густых озимых всходов, румяно взблескивают под не по-осеннему теплым солнышком почти голые ветки в садах, блестят асфальтовые дороги, что, как ремни, натянулись от села к селу, от хутора к хутору, а по их обочинам, точно ковыль, белеет выгоревшая на солнце седая полынь вперемешку с овсюгом.

Изредка по зеленым желтыми языками вытягиваются давние, невесть откуда взявшиеся пески. Помнится, была здесь до войны известная на всю округу бахча и вырастали на ней арбузы-кавуны не хуже херсонских, с тыкву добрую, но сколько той бахчи было, да и родило не всякий год, так что радость была изменчива — от случая к случаю.

И тут я увидел, что на тех песках, которые поближе к Волчьей, свежо зеленеет сосновая роща. Совсем молодая. Но она вписалась в неброский пейзаж! И как, по всему видно, привольно сосенкам, домоседно, что я даже невольно подивился, отчего бы им тут самим было не взойти, природа ведь

словно по заказу позыбила песками открытую и ветрам и солнцу приречную долину.

Донбасс совсем не богат естественными лесами. И я порадовался этой рукотворной рощице куда больше, чем когда-то, в малолетстве, радовался здоровенным полосатым арбузам, выращенным на тех песках.

И не мог избавиться от впечатления, будто сосняк появился вмиг, в один день.

И тот суходол, и не тот... Совсем не тот!

На этот раз я добрался сюда не с севера, как обычно, — по железной дороге до станции Межевая, а потом автобусом на слободу Ивановку и затем уж — по Первому или Второму броду через Волчью, на ее левый берег, а с юга, где пролегает асфальтированная трасса Донецк-Запорожье.

Эта трасса, грохоча мостами над балками и степными речками, враз лишила прежней сути понятия «глубинка».

Все до единого хутора, все, какие ни на есть, села попризывались к ней своими дорогами и зажили той же бойкой жизнью, что и город.

В том-то и отличие нашего, донецкого села. Оно тоже стало как бы индустриальным.

И его надо принимать как есть, и любить таким, будь ты и приверженец нетронутых поселков, большаков — курных, битых, торных шляхов, по которым иной раз ни с того ни с сего затоскует сердце.

Но ты должен видеть дальше собственного сердца. И тогда и оно найдет утеху. В том же причудливом сочетании старины и нови. Как же радуют глаз раскидистые гнезда по-прежнему верных человеку аистов! Хотя гнезда эти уже не на соломенных или камышовых крышах, а на специально приколоченных поверх черепицы, жести и шифера поперечных деревянных прутьях, неподалеку от телевизионных и радиоантенн.

Чем же они взяли, земляки мои? Ведь суходол-то, суходол... С него, как говорится, и взятки гладки. Но, поверьте, от яблок здесь, когда они в ночной тиши срываются с веток, гулом полнится земля. А аромат, а вкус! Может, оттого такие, что выращивать их на суходоле и впрямь нелегко.

Главный агроном совхоза, уроженец этих мест, так и сказал:

— Лучше наших яблок не бывает. Хоть всю землю обойди — не сыщешь. На суходоле потому!

Я ему поверил. Но и проверил. Точно! И детям своим по возвращении дал попробовать земляцких гостинцев. И они в один голос:

— Как ананасы!

На что мой отец, отроду недоверчивый, немало повидавший и познавший в этом мире, и которому хорошо были известны те земли — куда уж лучше! — и тот, надкусив яблоко, блаженно зажмурился, понюхал, еще раз откусил и с подозрительностью, чуть отстранив, повращал перед удивленно расширенными глазами янтарно-розовые яблочные бока, с непонятным сожалением вздохнул:

— Надо же... Яке чудо сотворылы люды! — И, немного поразмыслив, добавил: — А у нас в слободе не завэдэно было сажать сады. Чи дурни булы?

Ну, ему, выбившемуся из подпасков хозяйского помещичьего выпаса на Заречье в сельские учителя и посадившему не один сад на пришкольных участках в Донбассе, сетовать было излишне. Да и в самой Ивановке, откуда он был родом, со временем зашумели, заплодоносили приусадебные сады, и сейчас там сплошная крона над слободой из вишен и черешен, абрикосов, слив, яблонь и груш.

А поди ж ты, пожалел отец, что не он собственноручно вырастил такие дивные яблоки. С ревностью пожалел.

И когда я сказал, что в совхозе тамошнем нынче все делается по наипервейшей науке, отец быстро согласился:

— А, тогда понятно.

Сады они перевели на промышленную основу — меня еще поразило такое вроде бы не сочетаемое сочетание: «промышленные сады». И пошли на предельное обрезание кроны. Не сук ли рубят? Тот, на котором сидят. Яблоко-то, известно, на ветках и рождается, и висит, зреет. А тут — обрезать их, да еще так сильно...

Но смысл прост: фундамент должен быть прочнее здания, корневая система — мощнее надземной части дерева. Иначе может получиться, как у неразумного семьянина: завел кучу детей, а силы и возможности, чтобы довести их до ума-разума, не рассчитал.

Дереву присуще воспроизводить себе подобных. Остальные его усилия идут на рост, плодоношение. И бывает так, что само дерево гибнет, а потомство свое спасает, отдает ему последние силы.

И главная благодарность человека за такое самопожертвование — его труд: надо помочь дереву восполнить силы. А как? Помощь может оказаться и вредной. У природы живой организм, с ним требуется обходительным быть, чутким, внимательным и знающим.

С удобрением полей мы уже переусердствовали: лесные полезательные полосы забиты павшими воробьями, сороками, галками... Не могу представить, что когда-нибудь землероб не услышит над собой извечный голос веселящего душу жаворонка. Не увидит и не услышит. А без птиц — небо мертво! Как вселенский, обманчиво чистый бездонный саркофаг!

По пути от трассы до центра Зеленого Гая я видел эти сады. В них тишина. Черный пар в междурядьях. Лежат вывернутые с корнями старые разносортные яблони, а между ними уже поднялись трехлетки и пятилетки: люди ждали, пока молодая поросль заплодоносит, и лишь после этого принялись выкорчевывать прежний сад. А кора на них под осенним, все еще ласковым солнцем выглядела младенчески нежной, румяной, соковитой. И стройными-престройными рядами выровнялись. Так что их можно будет и обрезать механически, а то и убирать урожай с помощью все тех же механизмов. Вот они и есть, те самые заветные, интенсивные, промышленные сады!

В садоводстве не бывает передышки даже зимой. Снегами да морозами, допустим, и не пахнет, а уже пора думать об утеплении, обвязке яблонь. И обрезка подоспела. Да и собранный урожай, тот что остался в хранилищах, надо неотложно сортировать и отправлять потребителям, то есть нам. И чтоб все было непременно первосортное.

Вот написал «первосортное», и мысль споткнулась. Как мы порой бываем чересчур привередливы — и то не так, и это. Платим-то, мол, кровные, честно заработанные денежки. И будь добр, подавай нам положенное, лучшее из лучшего, из самого отборного — самое-самое что ни на есть отборное... И так без конца! Да еще и подешевле, чуть ли не задаром.

Знать бы, помнить, с какими трудами все добывается на земле сельскими жителями, подверженными постоянным стихийным бедствиям, хоть малым, хоть большим, возможно, и поскромнее были бы в своих притязаниях, посовестливее. А впрочем, и в этой, в общем-то не так уж и опасной, привередливости нашей можно при желании разглядеть, как день ото дня прозреваем мы...

Главное же, чего нужно, по-моему, побаиваться, так это того, чтобы, случаем, не разучиться удивляться сущему миру. Удивляться и тому прекрасному, что сами же творим на земле.

Коренные жители Зеленого Гая — мои земляки. Но и здесь, и здесь, в таком далеком от промышленных центров, от новых донбасских городков, где население столь подвижно, переменчиво от добровольной миграции, — и в этом уголке донецкой земли привычно содружествуют в труде, добрососедствуют и украинцы, и русские, и белорусы, армяне, греки, молдаване, татары... Это содружество различных наций стало настолько само собой разумеющимся, что воспринимается как нечто обычное, едва ли не явившееся ниоткуда, а то и Богом данное. А ведь за него было пролито столько крови, отдано столько жизней! И поэтому беречь его следует всем гуртом и каждому в отдельности. Тем, для кого украинская здешняя земля и была родной матерью, и тем, для кого она стала второй родиной. Делить нам нечего, ибо все мы — дети вечной, единой природы и гости в этом вечном подлунном мире.

Не узнать родного суходола!

Я вслушивался в знакомые по слободе Ивановке и другим окрестным селам имена и фамилии земляков моих отца-матери, и в сердце возрастала сыновняя гордость за дела и помыслы потомков тех бедолаг, которые когда-то ходили сюда работать по найму, отдавали последние силы и никак не могли выбиться из нужды.

Как обидно, что человеку не дано хотя бы на миг взглянуть из прошлого на родную землю, окинуть ее беглым взглядом и поразиться делам своих детей, своих внуков, своих правнуков.

ДУМА О ДОБРОЙ ВОДЕ

Перелетные птицы уже оттрубили гомонливое лето, и над притихшей землей свободно высилось и светилось неброской голубизной просторное небо. Сады в Межевой, полыхавшие желтым, багряным, оранжевым, наполовину облетели, через них засквозили ясные дали. На ветках кое-где еще держались поздние яблоки, перезрелая темно-синяя слива венгерка, подернутая сизиной. Да гулко в устоявшемся безветрии шелкались об асфальтовые тротуарчики крупные грецкие орехи, что росли по-над оградами.

Миротворная осенняя теплынь окутывала меня благоственным, целебным покоем.

Стоял я возле надгробных памятников — розовато-белых, из выцветшей мраморной крошки, у отца его венчала звезда пятиконечная, а у матери — крест, глядел на фотографии, где они были засняты молодыми, уверенными, бодрыми, и в который раз сомневался, что их нет на этом свете. Ведь я столько обращался к ним в мыслях, разговаривал, как с живыми, спрашивал совета. Что-то нерасторжимое и неуловимое оставалось между нами и сейчас, хотя мы и находились в разных мирах. И все винился в душе, что так непростительно долго, пусть и не по своей воле, не навещал их.

А потом дальний родственник повез меня в хутор, где я родился. На дорогу он запасся флягой воды. Я еще подивился:

— Зачем? Там же в каждой балке родники с доброй водой! Пей — не напьешься...

Родственник только зыркнул на меня исподлобья. Вообще он был немногословен, и как нельзя кстати, ибо я хотел побыть наедине со своим детством.

Поехали мы проселками, через многоверстную Ивановскую степь, простирающуюся от Донецкой железной дороги до реки Волчьей.

Наша легковушка то ныряла в балки, поросшие конским бурым щавелем и белесым татарником, с едва теплящимися по дну ручейками, ископыченными у редких водопойных

плесиков, то взбегала по укатанному, блестящему грейдеру на бугры, с которых открывалась ширь окрестных полей, захвативших почитай всю целину в низинах, хранившуюся прежде для выпасов. Всюду царила дремотная тишь. Чернели свежие пары, а над ними зыбились, поигрывая серебром, летящие паутинки, ярко зеленели едва выткнувшиеся озимые, обрамленные пестрыми лесозащитными полосами, поодаль маячили и источали желтоватый свет одинокие соломенные скирды. И сердце обрывалось, будто в воздушную яму.

До чего же щемяща память детства!

Вот в эту балку раздольную, по которой давным-давно текла речка Каменка, водили мы в ночное лошадей. Озоруя, обгоняли друг друга, припускали их галопом. А кони были неоседланные, и мы так разбивали седалища, что ходили потом раскорякой, пытаясь сохранить на лице бравый вид.

Дальше тянулась балка помельче — ее отрог. В ней муравьями копошились родники с доброй водой. Осенью, такой же теплой и сухой, как нынче, мы, досыта наевшись в посадках боярышника и маслин, от которых еле ворочался язык, скованный терпкостью, стремглав бежали к тем родникам, плюхались рядом на живот и, обжигая холодом нутро, пили мягкую, почти сладкую воду. Прямо из лунок. Или копытных следов. Напоследок набирали в горсти и, фыркая, брызгались, окунали замурзанные, разгоряченные, счастливые лица. Благодать. И окружающий мир опять полнился манящей тайной, а мы — неотвязной жадой познать ее.

А на том вон рыжем косогоре отыскивали в полузасыпанных окопах военные трофеи после того, как советские солдаты освободили наш хутор от немецких оккупантов. Немного севернее, в открытом поле, долгие дни стоял подбитый фашистский танк, и мы его помаленьку растаскивали для мальчишеских нужд — кому гайку для грузила на удочку, кому медную гибкую проволоку для самодельных цепочек-украшений... Позже, спустя год, и два, и три года, по тем же

косогорам и полям собирали колоски, чтоб не умереть с голоду, и нас гоняли верховые объездчики — зерно надлежало сдавать государству...

Врезалось в память, как деду Кондрату грозил уполномоченный из района наганом. Тяжело поводя стволом перед его лицом, грохая рукояткой по столу, он требовал сдачи сухих вишен и призывал к ответу за самоуправство. Накануне дед, горя, сокрушаясь, выкорчевал с моей посильной помощью весь вишневый сад. Надеялся хоть в малом избавиться от повальной налоговой напасти. А получилось еще хуже...

Да что ж не вспоминается радостное? Было же ведь, было!

И первые застенчивые свидания лунными вечерами. Уединяясь, мы просиживали на бревенчатых, вытертых до лоска лавках иной раз и за полночь, изредка лишь роняя несмелые, неловкие слова и сдержанно посмеиваясь, точно боялись нарушить всеохватную, целомудренную тишину, вставшую во все звездное, осиянное полнолунием небо над маленьким, затерянным в степи хуторком. Поблескивали среди темных листьев сочные, налитые жгуче-красным соком вишни, никли золотистые шапки подсолнухов, поигрывали росными боками огромные желтолобые тыквы на огородах. Взблескивали потаенно и наши глаза, пересыхали губы...

А деревенские потехи! Вырезали в вычищенной через узкое отверстие тыкве глазные проемы, рот, натыкали в него из палочек редких зубов — этакую страхолюдную рожу мастерили, внутри укрепляли зажженную свечу и носились с ощеренным, огнедышащим драконом по хуторским улочкам и переулкам в густых сумерках, пугали девчонок, а они, к нашему удовольствию неопишущему, верещали так, что уши закладывало.

По тем суровым временам, в лихолетье, мы выросли раньше обычного. И все-таки детство в нас не смогли убить ни война, ни бедность, ни голод...

В хуторе Федоровке, где я родился, никак не мог найти на опрятном, каком-то сиротливом из-за своей малости и простоты кладбище могилу моей бабушки.

Безымянная, она отличалась самым высоким крестом, благодаря чему старожилы и помогли ее отыскать. Правда, не сразу. Поначалу ошиблись — крест-то, как выяснили они меж собой, не деревянный у нее, а железный, в точности такой же высоты, еще отец мой ставил. И я положил было на чужую могилу донецкие бессмертники — эти полевые цветы, если не изменяет память, бабушка Лукия любила больше всего.

Постоял затем у порога хаты, которую мы сами выстроили из самана и в которую переселились от деда, приютившего нас с матерью во время фашистской оккупации. Хата уже была перекрыта шифером вместо камыша, вокруг нее росли новые деревья. Из прежних уцелело одно — осокорь. С обломленной верхушкой, он, словно страж, возвышался над калиткой.

Я пристально глядел на избитый порог. Неужто это тот самый, о который и я спотыкался в малолетстве? И который когда-то, покидая отчий кров, перешагнул в последний раз. Думал, небось, воротиться, а вышло — навсегда...

Глаза мои затуманились, а сердце будто иглой кто торкнул.

Что же здесь, за этим порогом, осталось, без чего я тоскую вдалеке и чего мне всю жизнь не хватает, как воздуха? И почему все мои сверстники так рвались из хутора? Что нас влекло? Или гнало?

Детям нашим еще известно, что мы родом из сельщины, а внукам уж, боюсь, и представить это будет трудно...

Так я и ходил по родному хутору — с защемившим сердцем.

Парк близ братской могилы, который, помнится, еще мы, школяры, сажали, почти весь выродился, поодиночке торчали, ровно после пожара, голые стволы раин.

И одноэтажная краснокирпичная школа-четырёхлетка, расположившаяся через дорогу напротив (ее и я заканчивал), стояла посреди заглохшего, поросшего бурьяном подворья. Окна были крест-накрест заколочены почерневшими досками. Земляки посетовали: детей не набирается для всех четырех классов — молодняк, как на погибель, рвался сплошня-

ком в город, поближе к цивилизации, и горстку ребятишек ежедневно возят учиться в другое село за несколько километров.

Не было в хуторе ни ветряка, ни дедовой хаты. Его двор и огород, покато сбегающий в мелкую Кобчикову балку, пустовали. Над глинистым холмом, оставшимся от хаты, росла груша бергамот. Неужели та самая? Я дотянулся через ветхую изгородь, сорвал спрятанную под листьями небольшую твердую грушу лимонного цвета, осторожно надкусил. И зажмурился. По виду вроде бы и не она, а и запах, и вкус те же, памятные с детства! Похоже, с тех пор я ничего вкуснее не пробовал, куда бы ни забрасывала судьба. И никогда мне не было отраднее и горше, чем теперь...

У хозяйских ворот вдоль улицы рядком стояли по два-три порожних ведра — люди, оказывается, ждали привоза питьевой воды из районного центра.

Я так поразился этому, что сперва и слова не мог вымолвить.

На моей памяти добрую воду в хуторе брали на его восточном крае, из глубокого, выложенного диким камнем колодца, ревностно хранимого и оберегаемого всеми хуторянами, как если бы он был святой. В остальных же — вода была горькой, соленой и жесткой, непригодной ни для питья, ни для варева. Что же с ним случилось, с заветным колодцем?

— А пропал... Нитраты задушили, — сказал бывший мой сосед.

И сказал как о чем-то обыденном, с чем сельчане, должно быть, стерпелись и не считали большой бедой.

В далеком-далеком детстве мы с соседом бегали туда по воду. Силенок было маловато, и мы набирали ведра неполные. Прикрывали, как водилось, лопухами, чтоб не расплескивать по дороге. Узкие коромысла больно въедались в худые, костистые плечи, натирали волдыри и свозили кожу. Зато когда притащишь, удовлетворение собой не покидало тебя весь день. Еще бы — взрослую работу одолел!

А какую радость доставляло носить воду во время жатвы! Привозили ее конягой, в округлом кленовом бочонке, мес-

тами разошедшемся, с наспех законопаченными зеленой травой щелями и тугим чепом на торце. А набирали все из того же хуторского колодца. Раскаленное солнце над головой, земля пышет зноем, тонко посвистывают ременные кнуты и раздается утробное гиканье, понукающее лошадей, впряженных в косилки и грабли, пот заливает глаза, а ты, водонос, бежишь босиком по колкой стерне с ведром и железной кружкой вдогонку, норovia на ходу попоить жнецов. И они, хватая пересохшими, потресканными губами край кружки, цокая зубами, жадно пьют, кадыки перекатываются по жилистым, запыленным шеям, а глаза обращены в небо. Наконец шумно выдыхают:

— Хух! Ох и добра ж...

Еще и прискажут, торопливо трогая лошадей с места:

— Спасибо! Расти большой да ума набирайся!

И ты чувствуешь, как твои щеки неудержимо расплзаются в стороны от несдерживаемой улыбки. Нет, ты не случайный на этой земле, не бог знает кто, а нужный всем этим взрослым людям, захваченным хлопотной, веселой страдой, и мало чем отличаешься от великовозрастных парней и мужиков, ты тоже сельский труженик!

На хуторе издавна принято было, угощая водой прохожих, даже чужих, проговаривать:

— На здоровье!

И говорилось это душевно, с ласковым подбадривающим взглядом. Знали хуторяне цену глотку, утоляющему жажду!

«А как же с доброй водой по соседним балкам? — испугался я. — В тамошних криницах, копанках, родниках... Не отравлена ли и там?»

В хуторе как раз готовились к свадьбе. И это утешало: значит, земляки продолжали корениться на этой хлебной, многострадальной, дорогой моему сердцу земле, укрепляли родословное древо...

Звали и нас, но нам надо было засветло добраться до Ивановки, а там через брод — в заречанский Зеленый Гай.

На прощанье нас одарили полосатыми арбузами, духовитыми дынями и яблоками. А попить на дорогу я постеснялся. А может, и душа запротестовала?

Дальний родственник успокоил:

— У нас вон фляга непочатая! Хватит на всю оставшуюся жизнь...

Я вымученно усмехнулся.

Уже стоя на Ивановской горе и окидывая узнающим, восторженным взглядом Волчью, реку моих пращуров, беленькие хаты по ее правому берегу, Первый и Второй броды, заречное приволье с ярко-зелеными озерами и светлыми, отливающими слабой синью капустными грядками меж ними, радуясь юному хвойному лесу, высаженному, к сожалению, не при мне и уже изрядно поднявшемся на глинистых, песчаных и каменистых склонах у самых ног, я вновь, как и на хуторе, ощутил тревожное, бередящее душу, чуть было не утраченное с детством родство отеческой земли. Даже дыхание перехватило.

Внизу, у подножия горы, по крохотным погостам, что разбросаны вдоль слободы, покоились кровные предки нашего рода — выходцы из Запорожской Сечи. Лежали там и родные, и двоюродные братья моего отца. И мои. Нас разделяло лишь случайное временное пространство...

Снова и снова я возвращался потревоженной памятью к доброй воде моего детства.

Не исчезнет ли она с родной земли совсем? Останется ли спасительный глоток для потомков?

Я не знал, кому и как молиться за них.

1990

ДУМА О ЧУМАЦКОМ ШЛЯХЕ

В ясные летние ночи земля моей матери молчалива. Деревья, весь день метавшиеся на ветру, стоят в немой задумчивости. Должно быть, прислушиваются к вздохам земли. А она рассказывает им о своих болях и тревогах. Луна в безмолвии окидывает всеобъемлющим взглядом поля, доли и реки, задернутые легким туманом.

Порой мне кажется, что земля мертва. Я падаю на твердую, словно камень, дорогу, прижимаюсь к ней и лежу теплым комочком посреди пустынного шляха, прислушиваюсь.

Ты дышишь, земля? Ты слышишь меня, земля?

Сердце мое стучит все громче и громче, и я уже не понимаю, бьется ль оно в моей груди или в тебе, я уже не знаю, кто дышит: я или ты, земля?

Дорога подо мной скрипит тележными колесами, стонет протяжным воловьим стоном.

Ленивый взмах бича и ровное размеренное:

— Гей, гей! Гей, гей!

Я ощущаю ровное шекотное дыхание и влажные ворсистые губы кряжистых животных, вижу упавшие на обочину корнеподобные тени от покрученных древних рогов. Я слышу шорох соли, которая просыпается на дорогу при встрясках чумацких возов. Каждая крупинка искрится едва приметной звездой. Я поднимаю голову и замечаю в небе отраженье этой дороги в соляных россыпях, этого извечного путеводного шляха. Мои глаза тянутся за ним, а он уходит на юг, и там, где-то над Крымом, блеск звездных крупниц сливается, отчего шлях становится белесым.

Сколько же глаз, наивных и верующих, смотрело на тебя, небесный шлях? Те глаза давно закрылись, навсегда унеся дивный отблеск твоих звезд. Те глаза отмучились и отстрадали. Предки мои, чьи судьбы безвестны, как неизвестны дороги, которыми они добирались в Крым за солью, знали, что вкус пота, слез и крови так же солон, как вкус той соли, которую они привозили мучительно долгими шляхами. Ох, как же не сладко, как солоно оно доставалось им!

Быть может, потому щепотка соли на земле моей матери издавна служит людям каплей крови, которая роднит их.

Быть может, потому на земле моей матери доброго гостя встречают хлебом-солью и привечают словами:

— Хлеб да соль!

Без соли ни слова, ни беседы, даже стол считался кривым без соли.

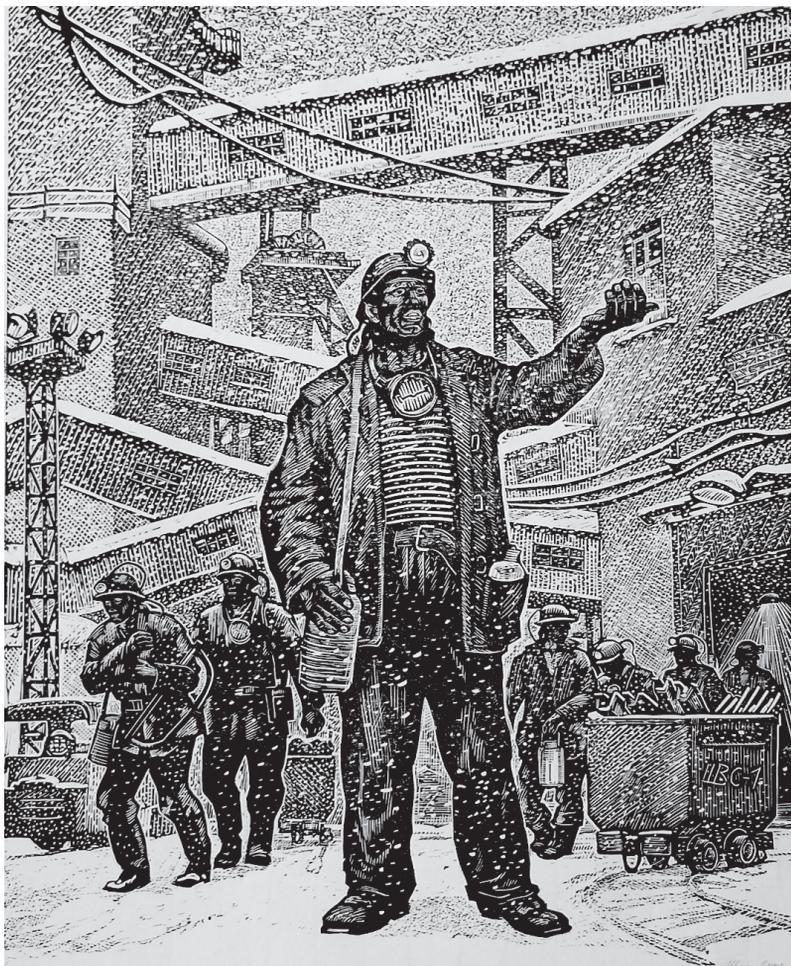
Затерялись, стерлись давным-давно и поросли травой шляхи чумаков на земле моей матери, осталось лишь отражение в небе, так и прозванное Чумацким шляхом.

По небосводам Финляндии, Прибалтики, Белоруссии и России еще тянется Млечный путь, а уже над Украиной — до самого Черного моря — Чумацкий шлях.

Вглядишься иной раз попристальней, до наплывающей слезы, и зримым станет: не звезды то, а рассыпанные блестящие крупички чумацкой соли.

Мир тебе, солёный путь моих предков!

1961



**ДУМЫ
О
ДОНЕЦКОМ КРЯЖЕ**

Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Ту ю славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ні же тії коми,
Все розберіть...
...Не дуріте самі себе,
Учитесь, читайте
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.

«І мертвим, і живим, і ненародженим
землякам моїм в Україні і не в Україні
моє дружнєє посланіє».

В'юнища. 14 грудня 1845

Тарас Шевченко

ДУМА О ДОНЕЦКОМ КРЯЖЕ

Да что ж это за сила такая притягательная в отчем крае, без которого и жизнь немислима? Будь он и кряжем степным, с виду суровым и неласковым, и даже сплошь задымленным заводскими трубами и терриконами шахт... Воистину: «И дым отечества нам сладок и приятен!»

Привольные, неоглядные просторы Дикого Поля, по которым в сивую старину, когда оно еще называлось просто дикой степью, а еще раньше либо Скифией, либо Половецкой землей, из века в век свершалось великое кочевье разномольных народов — ираноязычных киммерийцев, скифов, сарматов, германоязычных готов, азиатских гуннов, тюркоязычных печенегов, хазар, торков, половцев, монголо-татар — и на которых разыгрывалось немало исторических сражений, кровавых битв и мелких стычек, как промеж собой поначалу, так впоследствии и с русичами, исконными, от рожденья, хозяевами этих беспредельных просторов, и которые не раз становились для многих пришлых племен кочевников и коренных славянских ратников не только полем славы и победы, а и полем бесславия и смерти, и на которых перехлестывалось бесчисленное количество торных степных дорог — татарских сакм, чумацких шляхов, казачьих «волоков», торговых, «соляных» и «угольных» путей, и самый страшный из них — Муравский шлях, ведущий от сивашского Перекопа вглубь Руси, по коему без конца устремлялись из Крымского ханства татары и ногайцы с опустошительными набегами, — вот эти самые безлесные равнинные просторы, беспрепятственно пластаясь от порожистого Днепра в украинской стороне до тихого Дона в русских пределах, походя вбирали в себя и Донецкий кряж.

Кряж, что вздымался поперек вольного, необозримо просторного дикополья невысокими холмами, там и сям разбросанными курганами-могилами, сгрудившимися по отдельности гребнями и увалами, предлинным водоразделом.

Кряж, что был вдоль и поперек изрезан глубокими оврагами и балками с крутоярами, испятнан множеством буераков (а по местному — байраками), забитыми непролазными зарослями терновника и дерезы, дубовыми и ясеновыми лесочками, покрытыми на откосах пижмой, неопалимой купиной и седыми ковылями.

Кряж, что, наконец, залегал как бы и препоной степному раздолью между обрывистым крутым правобережьем Северского Донца и пологим Азовским побережьем, на сотни метров поднявшись над уровнем моря.

Донецкий кряж и впрямь, будто распорка в три клина, воткнулся меж вековыми водными рубежами!

Западный его склон, постепенно понижаясь, протянулся почитай на двести километров, вплоть до самого Днепра-Славутича. Он лишь временами выказывал себя то на мелководной Каменке в виде Панского водопоя, каменисто перехлестнувшего с берега на берег и по дну эту речушку близ Дибривского леса, то на Волчьей, в том же лесу, между Черным и Красным борами, в виде Писаревых, Левковых и Марушкиных скал, да на холмогорьях неподалеку от Самары и Быка, а то и вытыкался осыпями и каменными глыбами над их водами, отчего они, стиснутые с обеих сторон, убыстряли свой бег и выглядели в этих местах горными реками.

Северный склон, в отличие от предыдущего, куда короче. Он внезапно обрывается над Донцом меловыми кручами, издавна называемыми в народе горами — Святыми, Соколовыми, или Сокольими, Двумя Сестрами...

Юго-восточный склон, как и западный, тоже простирается на многие десятки километров. В южной стороне, вроде бы незаметно и попутно прихватив у лукоморья Великоанадольский лес, он чуть западнее исподволь переходит в Приазовскую возвышенность с ее приметными на всю дальнюю округу Каменными Могилами, а напрямиком — в Азовскую низменность. Последняя ниспадает к морю где обрывистыми берегами, поросшими божьим деревом, где песчаными зо-

лотистыми косами, средь которых наиболее длинные, к тому же заповедные, Белосарайская и Кривая, где белесыми солончаками и лиманами, на которых, как, примером, на Кривокосском лимане, в зарослях камыша и рогоза водится уйма пернатой дичи. Восточнее же склон кряжа, не раз прервавшись на Кальмиусе каменными обрывами, упирается скрытно в Хомутовскую степь, некогда казачью Табунную Толоку. А повыше нее он снова выныривает из-под земли на скалистых берегах Крынки и Миуса, восстает Передериевой Могилой и еще дальше — цепью гряд и гривок, обособленных собственным именем — кряжем Нагольным, в котором явно обозначены свойственные для всего Донецкого кряжа округлые четкие возвышенности — купола, так называемые гора Грибоваха, Острый Бугор, Дьяковский. Много севернее кряжный склон, поначалу возвысаясь над всей округой Острой Могилой, опять перепадает степью — на этот раз Провальской. И уж далее на восток, устремляясь едва ли не до самого Дона-батюшки, спотыкается одним из своих отрогов о речку Кундрючью и встает при ее впадении в Донец правдами Оленьими горами.

Самой же высокой точкой Донецкого кряжа является Могила Мечетная — триста шестьдесят семь метров над уровнем моря! А потом уж, вслед за нею, идут могилы чутко пониже — Картушанские, Пяти Братьев и легендарная Саурмогила... А округу стелются неохватные глазом степные дали, с перелесками и урочищами, дубравами и байрачными лесами, кринищами и родниками доброй воды.

Благодатный край!

Особенно вешней порой, когда оттаивает после зимней спячки земля и глазают в лазурное небо разноцветными глазами полевых цветов, а из поднебесья сыплется на нее веселый звон жаворонка, взбудораженный гогот диких гусей, возвращающихся из далеких странствий по чужим странам, — они словно оповещают сельских жителей: «Домой, домой мы возвратились, на свою отчину! Воротились целыми и невредимыми». И аисты отыскивают над хатами оставленные развесистые гнезда, а найдя, в радости запрокидывают головы и довольно-торжествующе изо всей мочи трещат длинными красными клювами. До того же, как проклюнуться первоцветам, теплый пар зыбился над землей и сплывал в лесополосы,

и отдаленно, будто чудился, пофыркивал выехавший на поле первый трактор.

Не менее красочен лик земли и в разгар лета, когда воздух полнится духом созревающего хлеба и горизонты желтеют сперва пшеницей, потом жнивьем, светятся солнцеподобными шапками подсолнухов.

Да и ранней осенью, когда все вокруг переливается и зеленым, и медным, и ярко-золотым на трепетной листве берез, кленов, дубов, душисто пахнет разнотравьем и тонким ароматом увядания. И подымается суетливый птичий грай перед сборами в далекую небесную дорогу.

Порой тебе даже становится жалко перелетных птиц, коим доводится, пусть и на время, покидать обжитый край. Край, который тебе люб в любое время года.

И все же глубокой осенью, когда кряж оголяется и рыжеет повсюду угрюмыми буграми, когда проваливается в безлиственные буераки и змеистые овраги, земля эта, продуваемая сквозными ненасытными ветрами, выглядит неприветливой и неприютной. Ко всему еще и по опустевшим полям скачет, гонимое ветродуем, неприкаянное перекаати-поле, навевая грустные мысли. Вдруг и тебя вот так же сорвет судьба с корня родового и понесет бог знает куда из отчего края — «світ за очі», как у нас молвится?! А как ударят лютые морозы по совершенно голой земле, и она потрескается повсеместно, в такую пору Донецкий кряж и вовсе покажется нелюдимым.

Но тогда-то все складки и складочки земные откроют твоему сердцу, если оно не зачерствело, потаенное, что сокрыто в отчине, в ее минувшине: они выглядят морщинами на многострадальном лике Земли, которая в неимоверных муках, на протяжении многих миллионов лет нарождала неповторимый, единственный в мире и своим обликом, и своей сутью Донецкий кряж.

Донецкий кряж! Бог ли, природа сотворили тебя и даровали нам на веки вечные, а мы, их дети, которых ты приютил, обжили, сделали родным домом. Оттого, знать, и неистребимо наше сыновнее любопытство, наша привязанность и любовь, оттого непреходящ наш интерес к твоему прошлому, к тому, откуда что взялось и во внешнем обличье, и в тебе самом? Как если бы не узнав всего этого доподлинно, ни за что не познаем и самих себя.

ДУМА О ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯХ

В смятении принимаюсь за эту думу, не ведая, как и с чего ее начать! И сподоблюсь ли обрести такие первоначальные первослова, чтобы вовсе не буднично поведать о первооткрывателях Донецкого края, его несметных полезных ископаемых, а спеть им достойную осанну?

Вроде бы и не первоуток берусь прокладывать, и сам никакой не перводока или, того пуще, опять же скажем по-старинному, первоосуший литератор, да и предстоит торить шлях не по белому первопутью в отечественном краеведении, однако ж дума сия оказалась для меня словно бы перводелем.

Кого без обиды для других, не порушив исторической и житейской справедливости, назвать первым из первых, первоначально обратившего свой пытливый взор на познание извечных тайн первородного Донецкого края, кого особо отметить за его усердие и подвижничество и непременно выделить среди многих первопутчиков, первопроходцев, коим по тем временам давнишним в дикой степи было все внове, пугало неизвестностью, первозданной дикостью, но кои, тем не менее, заради первоуспеха не щадили ни сил, ни живота своего, а кого лишь помянуть попутно, коль уж они так или иначе очутились в пределах бывшего Дикого Поля и, пусть и помимо их воли, пусть лишь касательно, были все же вовлечены в разведывание нашего края и тоже, пускай как бы и случайно, стали причастными к первооткрывателям?

Тут, пожалуй, необходимо не упускать из виду, что на великих открытиях вообще лежит, как правило, печать случайности. Еще со школьной скамьи на памяти предания или были об английском физике, механике, астрономе и математике Ньютоне, которому удалось найти самую совершенную формулировку закона всемирного тяготения только якобы благодаря невзначай увиденному им падающему яблоку — на его глазах, когда он отдыхал, сорвалось с ветки и полетело не куда-нибудь в небо, а шлепнулось наземь. Мы его попросту называли законом земного притяжения. И о том же Архимеде, древнегреческом физике, механике и математике,

который залез в ванную и будто бы ненароком заметил, что вытесненная им вода равна объему его тела... Еще мы, шалопаи, и бездумно пошучивали: «По закону Архимеда — отдохнуть после обеда!» Мол, на сколько налопался, на столько и утяжелел для домашней работы или обязательных занятий.

Сходные байки ходили меж нами и о Рентгене, и об Эйнштейне, о Дарвине, Эдисоне, Попове, Павлове... Бывало, и сами придумывали — по молодости были горазды на такие придумки!

И, наконец, как быть с теми, имена и фамилии которых не сохранили ни история, ни народная память? Ведь все — первостатейны! Ибо первооткрыватель, как известно, — это тот человек, который п е р в ы м открыл что-нибудь — неведомые земли, страны, местность, упрятанные в земных глубинах, нужные человеку, чтоб облегчить жизнь, полезные ископаемые, или явился, как Гагарин, первооткрывателем космоса, хотя ему предшествовали поиски и Жуковского, и Королева. Их-то, забытых, как обозначить?

Можно было бы положить себе за правило вести отчет первооткрывателям Донецкого кряжа только с тех людей, которые сделали эти открытия не одному себе во благо, не только для родных и близких, а и для всего рода людского, и прежде всего — для своей Родины. В чем, пожалуй, и кроется главный, великий смысл первооткрывательства.

Быть может, какой-нибудь первопоселенец в Донецкой степи глухотой наткнулся в буреке на теплившийся из-под обрыва родник или обнаружил в балке на осыпях крутоярных выткнувшийся пласт угля, который осыпался и в суховея сам по себе загорелся вместе с бурьяном, да и пользовался втихаря и родниковой водой, и «земляным камнем», способным гореть и давать неслыханное тепло. Его-то, этого отшельника, вряд ли назовешь первооткрывателем. Как и того, кто первым обнаружил соль и пустил ее одному себе на потребу. И того, кому посчастливилось дознаться, что дикорастущая в степи пшеница пригодна для еды, и втихомолку собирал ее, не делаясь со своими братьями по роду-племени.

Хотя, с другой стороны, трудно представить, чтобы они попирали первочеловечный закон природы и обитания в ней: делись огнем, водой, солью и хлебом!

И еще небольшая закавыка: великие открытия привязывались ко Вселенной, к мировым масштабам, ко всему человечеству. У нас же все было замкнуто на определенной территории — Донецком кряже, им и ограничивалось. Хотя, говорят, в его недрах упрятана вся таблица Менделеева.

Чего только не нашли в нем первые изыскатели! И строительный камень, и кремний, и флюсовые известняки, огнеупорные и каолиновые глины, и кварцевые пески, и огромные месторождения мела и гипса, розового гранита; вермикулит, графит, базальт, диабаз, доломит, фосфорит, ртуть, мрамор; железные руды, медные, цинк, свинец, алюминий, сланцы, песчаники; и даже самоцветы... Всего не перечесть!

Главное же достояние Донецкого кряжа — уголь и соль! Таких запасов, как здесь, поискать во всем мире!

Бог знает, чему отдать предпочтение? С какого открытия начинать? И с кого?

Сижу над чистым листом вот уж который час, а стронуться не могу. Точно предо мной необозримое, спокон веку не паханое поле, и я застыл в нерешительности и растерянности, как перед покуда еще непочатыми дальними гонами, которые и манят, и пугают. Уже и первовесение минуло, пора прокладывать первую борозду, я же ну никак не сдвинусь с места. Хотя подспудно и чувствую некое вешнее брожение...

Эх, первопашка ты моя, первопашенка! Да поможет мне первоединый благодетель! И тот, что в небе, и тот, которого величаю Вдохновением. Без глубокого почтения к ним обоим, как и без любви в сердце к отчему краю, нельзя начинать такое кропотливое, столь необходимое для установления истины, можно даже сказать, богоугодное дело.

Думается, первооткрывателями Донецкого кряжа, его природных богатств, следует считать всех наших пращуров — первых поселенцев в диких степях задолго до того, как стали они опустошенным войнами Диким Полем.

Всех тех, кто изначально обживал этот нелюдимый, однако приманчивый край, — по нему под южными теплыми ветрами колосились на целинных землях сочные травы, здесь брали начало в бесчисленных родниках с ключевой доброй водой быстрые реки, полные рыбы и всякой пернатой дичи, здесь простирались вольные степи с родючим черноземом,

здесь был солнечный юг и близкое Азовское море, с которого ветры приносили влагу и рассеивали ее по рощам и буеракам, полнившимся пением разноголосых непуганых птиц.

Первопоселенцы занимались земледелием, рыболовством и скотоводством. И для хозяйственных нужд им требовались и соль в еду, и каменные жернова, чтоб перемалывать дикую пшеницу, и глина для посуды, и железные руды, и уголь, чтоб изготовить простейшие орудия труда, а из металла еще и ратные принадлежности — для охоты и для отражения недобрых кочевых людей. Судя по археологическим находкам у них уже в то время было все это.

Более того, к первооткрывателям можно отнести и первобытного человека, стоянку которого обнаружили археологи на Крынке близ Амвросиевки. Из хозяйственной утвари попались там зубило, вытесанное из донецкого дикого камня, а также метательные охотничьи снаряды из костей зубра; на Волновaxe и Самаре — скребла для чистки шкур; на Северском Донце — каменный топор для рубки леса; близ Бахмута обнаружены кремневые и опять же каменные орудия труда. И все это относится ко II и III тысячелетиям до нашей эры. Вон еще когда зарождалось могущество нынешнего Донбасса! И вообще его прогресс. Как тут не причислить к первооткрывателям Донецкого края тех первобытных и древних людей, чьи нехитрые приспособления для охотничьего промысла и для рыбачества и скотоводчества были добыты и сотворены из окружающей их первозданной природы на Донцеком крае?

И все-таки... И все-таки не может того быть, чтобы им, первобытным и древним людям, не сделали какой-либо подсазки, намека, не надумили своими повадками и поведением дикие звери. Ведь животные чутьем брали сверхчеловеческим — они и пили, и ели, и выбирали места для своего обитания не случайно и не что попало и где попало. Вот первобытные и древние наверняка и приглядывались к ним, а потом и сами поступали соответственно.

Припоминается такая легенда.

Гадючий вырей, загадочный их край или земной рай — не то, что птичий. Птичий где-то на теплых водах, за пущами и за богатырями, а гадючий — в Русской земле. Вот что про него рассказывают старые люди.

Пошла немощная девка в лес и провалилась в этот вырей. Провалилась, упала на дно, а гадюки как зашипят. А самая большая и, должно быть, самая мудрая из них, как зашипит на них — они все и замолкли. Сами же квелые, еле ползают.

И лежал там особняком серый камень. Вот какая гадюка ни подберется к нему, то и лизнет, и лизнет тот камень. И тут же убегает в сторону, да куда прворнее, чем подходила.

А та, старшая, возле той дивчины так и вьется да кланяется, кивком головы показывает, чтоб и она тот камень лизнула.

— Я, — рассказывала потом дивчина, — долг-о-о крепилась: аж девять дней! А потом и сама лизнула. И враз оклемалась и голод пропал — даже есть не хочется.

А как пришло время гадюкам вылазить, все поразлазились кто куда. Старшая же встала дугой, а дивчина — на нее, да и выбралась наружу.

Кто знает, возможно, серый камень и был первообразом того «лизунца», который делается из каменной соли для животных и поныне.

Змеи — они, известно, мудры! Не зря же в народе издавна бытует присловье: «Мудрый, как змея».

Не исключено, что первобытные и древние уже тогда догадывались о пользе соли и употребляли ее. Или инстинктивно чуяли, перенимая повадки зверей.

Неведомыми лишь остались для нас, далеких потомков, и первооткрыватель тогдашний, и точная дата открытия этого полезного минерала, на какой так богат Донецкий кряж. Известно лишь из пересказов, что солеварением занимались на речке Тор еще в XIII веке. А в XVI веке, при царе Иване Грозном, якобы объявились первые поселенцы-солевары и на реке Бахмутке.

Первопоселенцы, понятно, жили и в древнем каменном веке, или палеолите. Но попробуй, прозрей этакое временное пространство даже летучим, скорым воображением!

Благо, археологи помогают нам обозреть минувшину и более-менее верно расположить все по полочкам нашего смутного представления о прошлом.

Так, еще в начале XX века выдающийся русский археолог В. А. Городцов раскопал в Изюмском и Бахмутском уездах

до ста курганов, этих древнейших архитектурных сооружений прошлого, и открыл в них свыше двухсот погребений. Что это дало нашим современникам? Ну, во-первых, он впервые выделил культуры, какие зарождались в нашем крае, — ямную, катакомбную, срубную, а заодно исследовал погребения скифов, сармат, печенегов, торков, половцев. И для последующих поколений археологов оставил девиз: «Народы, с глубокой древности населявшие и посещавшие богатый Бахмутский край, стремились увековечить свою память в истории вещественными памятниками».

И усилиями многих последователей было доказано, что еще в VI–V тысячелетиях до нашей эры в нашем крае, помимо скотоводства, рыбной ловли, охоты, разведения культурных злаков, делания глиняной посуды, шлифовки и оттачивания для топоров и ножей кремния, уже велись горные, железоплавильные и медеплавильные производства, для которых использовался уголь. Близ того же Бахмута были обнаружены старинные домницы, древнейшая шахта, кирка из ребер крупных животных.

Горный инженер-поручик Александр Амнеподистович Носов, проводя здесь в середине XIX века поиски угля, медных и железных руд, наткнулся на древние выработки, собственно добычи угля, а также обнаружил следы плавок в виде ошлакованных горшков, медные шлаки, слитки, угольную золу.

Любопытно, что медеплавильные печи-горны делались и по ямному типу, и в виде каменных, а возможно, и в горшках под горящими угольными кучугурами. Встречаются изделия из керамики, полученные путем выжига, и кувалды, и молоты кузнечные.

Так что на донецкой земле уже всю и соль вываривали в ту давнюю пору, и сковородки для этого железные подогревали и чинили, даже металл плавил, для чего требовались не один древесный уголь, а и горючее земляное камень — каменный уголь, — это наверняка доказано.

Уж кто-кто, а дотошные археологи, опирающиеся в своих умовыводах на осязаемые вещи, откопали немало тому вещественных доказательств. И доказали первостатейное для нас: руды железные, соль, уголь не откуда-то со стороны привозились все время, а преимущественно отыскивались на мес-

те — в колодцах и копанках, когда их копали, добираясь до питьевой воды, по окраинным балкам и оврагам, в крутоярах с осыпями, где ветер и паводковые воды обнажали древнейшие горные породы, а нередко и готовенькие полезные ископаемые — минералы и строительный камень.

По сию пору среди местных жителей бытует множество легенд и преданий о том, как здешние крестьяне, из тех первопоселенцев, что осваивали дикую степь, наткнулись на крутых обрывах на наружные выходы угольных пластов и пользовались диковинным, способным возгораться и давать сильный жар «земляным каменным уголем», или как лисы, роая себе норы, невольно помогали им в этих удивительных, поражающих крестьянский ум находках...

Но археологические раскопки засвидетельствовали, что еще пришедшие кочевые племена юго-востока Украины, то есть в первую очередь дикопольного Донецкого кряжа, ведали об угле и пользовались им.

Спору нет, они привнесли из других стран в наш дикий край много нового, вплоть до «греческого огня»...

Однако эти же воинственные племена и мешали славянам вести на тогдашнем Диком Поле оседлый образ жизни, основательно обживать и осваивать все его богатства, как наземные, так и подземные.

И долго еще потом, вслед за половцами, и татары, и ногайцы внезапно нападали на них, рушили все и разоряли, а людей угоняли в полон для продажи туркам на галеры и в гаремы, тем самым не давая возможности не то что обжить донецкие земли, а и мало-мальски укрепиться на них, не говоря уж о том, чтобы как следует разведать, изучить и освоить нутряные их богатства.

Столько раз сжигались одни только Торские соляные промыслы!

А ведь на устье Тора и Торских соляных озерах соледобыча велась бог знает с каких пор!

В особенности же оживилось здесь солеварение в XVII веке, когда у соляных озер были построены «для опасения от неприятельских людей» городище с острожком Тор и призваны сюда на жительство и для обороны черкасы, заднепровские казаки с Черкасского острова, расположенно-

го между реками Тяжином и Ирденью, которые впадают в Днепр. Черкасы служили тогда в Белгородском и Изюмском полках, несли сторожевую службу в ранее организованной для той же оборонительной цели Маяцкой стороже.

Но кто же все-таки впервые открыл соль в донецкой земле? Из тех, чьи имена и фамилии остались бы в отечественной истории или хотя бы в памяти людей, населяющих наш край.

Не-ве-до-мо! Возможно, это и монахи были из соседнего Святогорского монастыря, которые жили еще в его пещерном первообразии? И соль стала их первоначитым добром. Как и тамошняя родниковая добрая вода...

Приходится утешиться тем, что соль, и Торская, и в особенности Бахмутская, где с 1701 года возник новый оживленный солепромысел и затем была выстроена основательная, взамен прежней сторожи, крепость Бахмут, послужила ускорению преднамеренных поисков угольных кладов. Поскольку на солеварение, на подогрев большого количества огромных железных сковород требовалась пропасть дров, для чего чуть ли не подчистую изводились окрестные девственные леса, а Донецкий кряж оголялся, хирели его родники и малые реки.

В связи с этим царское правительство России строго-настрого запретило повальную вырубку лесов в здешних местах.

Поиску полезных ископаемых на Донецком кряже способствовал и указ Петра Первого от 10 декабря 1719 года, названный Горной регалией или Берг-привилегией, по которому Берг-коллегия обрела право центрального ведомства над всем рудным делом в стране. В нем говорилось:

«Соизволяется всем и каждому дается воля, какого б чина и достоинства ни был, во всех местах, как на собственных, так и на чужих землях, искать, копать, плавить, варить и чистить всякие металлы, сиречь: золото, серебро, медь, олово, свинец, железо, також и минералы, яко селитра, сера, купорос, квасцы, и всяких красок потребные земли и каменя...

...А тем, которые изобретенные руды утаят и доносить не будут... объявляется наш жестокий гнев, неотложное телесное наказание и смертная казнь».

Подобное наказание ждало и за безоглядную порубку лесов.

Все упиралось в неотложную необходимость заменить дрова углем. Царский же указ ровно подстегнул его изыскания.

И вот в 1921 году управляющий Бахмутским солепромыслом Никита Вепрейский и надзиратель Бахмутской крепости капитан Семен Чирков, понаслышке зная о наличии в окрестной местности «земляного угля», способного «загораться и давать сильный жар», отправились на поиски его, дабы заменить им дрова. Самовольным поисковикам повезло: неподалеку в балке Скелеватой (очевидно, от украинского слова «скеля», то есть скала) они наткнулись на искомый уголь. Привезли в Бахмут, опробовали в казенных кузницах. Сначала в смеси с древесным углем, а затем и отдельно — каменный уголь запылал в горне, который раздувался кузнечными мехами, от него пошел нестерпимый на близком расстоянии жар. И тогда Вепрейский и Чирков отправили в конце того же 1921 года в Петербург в Камор-коллегию три бочонка с углем и другими рудами. А оттуда они были переправлены в начале января 1722 года в государственную Берг-коллегию — центральное ведомство по управлению горнорудной промышленностью России, где надлежало специалистам определить их качество. Факт этот документально зарегистрирован. Так что первооткрыватели угля в Донецком кряже, тогда еще и не носившего этого имени, нам теперь известны! В отличие от соли и других полезных ископаемых...

Другое дело, что находке не сразу дали ход. А в это время и Григорий Капустин, подьячий, тоже не профессиональный рудознатец, хотя и обладающий сметкой и природным умом, посылается сперва руководителем команды рудознатцев Василием Лодыгиным, имевшим «железный» завод при слиянии Хопра и Дона, в Белогорье, скорее, в Лодыгинских личных целях. Там Капустин отыскал руды серебряные и золотые. О чем 13 ноября 1722 года и доложил, и доставил найденное в Берг-коллегию сам Лодыгин. Но об этих ископаемых было известно еще в 1709 году — серебряную руду тогда нашли на речке Кундрючей. Туда же посылались рудных дел мастера Иоганн Блиер и подьячий приказа рудных дел Иван Косоков. А вот угля все не было... Хотя люди и поговаривали, что мол,

видели либо там, либо там, при этом чаще всего поминались опять же берега Кундрючьей.

Отчего Берг-коллегия не откликнулась сразу на найденный Никитой Вепрейским и Семеном Чирковым и опробованный на Бахмутских кузнях уголь, а лишь зарегистрировала его, очевидно, так и останется загадкой...

Но эта находка, вероятнее всего, и подтолкнула Берг-коллегию уже официально, правда, после императорского указа от 27 декабря 1722 года, принять 28 декабря того же года, буквально на следующий день такое решение:

«... послать из Берг-коллегии на те места, на которых Ладыгин объявил каменное уголье и руду, подъячего, который был посылаем от него, Ладыгина, Григория Капустина и с ним солдата, а именно: на Дон, в казачьи городки близ Кундрючьия городка в Оленьих горах да в Воронежскую губернию близ города Середы под село Белогородье (нынешнее село Белогорье на Дону в документах Берг-коллегии часто называлось Белогородьем. — *И. К.*) и велеть ему в тех местах того камня и руд копать в глубину сажени три и более и, накопив пудов по пяти, привести к Москве на ямских, а ежи ямских нет, на наемных...»

И хотя в этом предписании Григорию Капустину, не состоявшему в штате рудознатцев, а потому и обойденному в итоге средствами на эту поездку, о чем он впоследствии жаловался, требуя своего, положенного по настоящим расходам, — хотя и называются определенно казачьи городки на речке Кундрючьей, где-то близ Оленьих гор, надо полагать при ее впадении в Северский Донец, то есть на самых дальних северо-восточных отрогах Донецкого кряжа, все-таки упоминается и город Середя, то есть Осередя, где еще в 1708 году руководитель команды рудознатцев Василий Лодыгин вместе с капралом Герасимом Воронцовым на речке Медведице «позади новопостроенного города Осередя в Козловском уезде построил железный завод». И берет, естественно, сомнение: не учитывался ль подспудно и в этой, второй поездке Капустина, личный интерес владельца завода Лодыгина? Как и в первую посылку Капустина.

Сам Капустин о начале этой поездки так писал: «В нынешнем 1723 году генваря в день... по е. и. в. указу из Берг-коллегии

ездил я для выкапывания и взятия каменного угля и руды в донецкие городки с солдатом Никитой Столбовым...»

Поскольку пробы, чинимые иностранцами, были отрицательны, то и Капустину отказали в выплате вознаграждения по Берг-коллегии, да и жалованья-то у него не было, ведь он, повторимся, не состоял в штате, а был лишь конторским служащим и самоучкой-рудознатцем, которых в народе называют самородками. Кончилось для него тогдашнее радение так: «В городках я без жалованья пришел во всеконечную скудость и разорение». Впоследствии, после его жалобы, справедливость все же была восстановлена, и он продолжил более успешные поиски в той же, донской, стороне.

В 1723 году, в самом конце, готовилась новая экспедиция, уже с иностранными мастерами, такими как англичанин Никсон. И Капустин был повышен в чине — из подьячих переведен в подканцеляристы, с годовым жалованьем в «осемнадцать рублей», да еще и хлеб, и мука...

А тем временем Никита Вепрейский и Семен Чирков из Бахмута, окрыленные первым успехом, отправляются во вторую поисковую поездку и открывают еще одно угольное «месторождение» — на этот раз на речке Беленькой, притоке Лугани. Они организовали и в Скелеватой балке, и на речке Беленькой добычу и последующее практическое его применение в Бахмутских кузницах, а заодно отправили пробы угля и найденных других руд в столицу, вдобавок, не дождавшись ответа, еще и письмо написали на имя Петра I. В результате Берг-коллегия наконец-то повелела: «Прислать из Белгородской провинции в Бахмут к соляному правлению работных людей сколько надлежит».

Однако набег кочевых племен из Крыма и Причерноморских степей вновь после булавинских казаков и изюмских солдат, дотла разрушивших Бахмут, надолго задержали промышленную разработку каменных углей. А также и соли.

Лишь в 1739 году, после подписания Россией нового мирного договора с Турцией, так называемого Белгородского соглашения, на Донецком кряже вновь возобновляются прежние поиски.

Ну, с первооткрытиями, хотя бы угля, так или иначе, а все же удалось определиться.

Правда, и со своими, даже со своими, официально, с указанием имярек, первооткрывателями вышла накладка: почитай на протяжении полутора веков эту роль приписывали исключительно одному Григорию Капустину, а на поверку вышло, что на Донетчине, по сути в Украине, ими были Никита Вепрейский и Семен Чирков. Об этом доказательно, с приведением уймы документов тогдашнего времени, повествует в своей книге «Открытие Донбасса» известный краевед Владимир Подов. Можно бы после всего этого и его причислить к первооткрывателям первоистины в истории освоения Донецкого края.

А пока долг перед первооткрывателями, пусть и запоздалое возблагодарение и воздаяние им должной памяти и славы, обязывают вновь обратиться к давнему прошлому.

В немыслимую даль минувших веков уходят первооткрытия на первообразном Донецком крае!

Археологи, вновь оговорюсь, установили, что еще первобытный человек, неандерталец, осваивал его.

Но вот подле села Зеленый Гай в Тельмановском районе, на стоянке древнего человека, найден был и остродонный горшок, в отличие от плоскодонных, дату изготовления коего относят к III тысячелетию до нашей эры. А на нем — какие-то загадочные знаки, схожие на первообразцы древней письменности. Жаль только, что их никому не удалось разгадать. Быть может, нам бы и посчастливилось установить имена тех первооткрывателей.

До нас дошли, хоть и скудные, зато ценные сведения от Геродота, Страбона, Гомера, Диодора Сицилийского, Гиппократ, ассирийских клинописцев — о народах, которые еще до нашей эры обитали на Донецком крае и, естественно, осваивали его, пусть и себе лишь на пользу.

Конечно, общепринято, что первооткрыватель — это тот, кто открывает что-либо на пользу всего человеческого рода. И тем не менее, тем не менее...

Скифы, к примеру, занимались не только земледелием, а и выплавкой железа. Археологи нашли даже золотой скифский шлем. Так что они осваивали не только железорудные, а и золотоносные жилы. А стало быть, и уголь. Помимо того, в своих захоронениях использовали охру — окрашивали ею

изнутри «усыпальницы» или «домовины». А сарматы, вытеснившие скифов, еще и украшали себя золотыми и серебряными изделиями. В их эпоху из каолина и мела делалась белая краска, желтая — из железняка. А главное — добывалась киноварь и отправлялась в Грецию для приготовления предпочитаемой ими и необходимой для первобытных обычаев, то есть прадедовских, праплеменных, красной краски. Скифы вроде бы даже торговали ею с Древней Грецией и Римом.

Ну, если уж говорить о первооткрытии золота в нашем крае, то не лишне упомянуть и о том, что не зря, не зря, видать, в названиях рек Донецкого края и Кальчика, и Калки, и Кальца, и самого Кальмиуса содержится это «каль», что, вдобавок к множеству толкований этимологами этих рек, означает в переводе с татарского еще и «золото». Хотя перводелателей украшений из него теперь уж не установить. И ничего тут не поделаешь.

А относительно киновари, главной руды, из которой производится ртуть и крупнейшие залежи которой были открыты на Донецком краю, издавна существует легенда. Может быть, она была рождена древними первопоселенцами нашего края, еще до сарматов, наткнувшихся на эту диковину. И незамысловата по своему содержанию, в чем-то перекликается со старыми украинскими и русскими сказками, а все ж свидетель о безымянных первооткрывателях, открывших в Донецком краю этот бесценный минерал.

Кто его знает, когда это было, может, тысячу лет тому назад, может, две, а может, и больше.

В уютной долине быстротечного ручья, под высокой горой стояло на отшибе одинокое приземистое жилище, будто вросшее в землю. В нем жила вдова, и у нее был сын, молодой здоровяк по имени Здолань. Отчего его звали на украинский манер, а не на русский — Одоленем, все преодолевающим, можно только догадываться...

Был тот юноша из себя — что ясный месяц, такой красивой «вроды», как дуб крепкий, смелый, как орел, быстрый, как лань, а работающий — натуральная тебе пчела неусыпная. Мать любовалась им да радовалась на него, заботилась с любовью о нем, он же за материнскую ласку платил ей сторицей.

Как-то через леса дремучие и степи неоглядные, через высокие горы и доли широчайшие, через реки безбрежные и яры глубокие дошла, докатилась, долетела к ним молва недобрая: якобы объявился в их малолюдном крае страшный, ненасытный дракон трехглавый. И не стало вроде от него никому житья — ни людям, ни зверям.

Услышал эту весть Здолань и опечалился. Весь день просидел на круче да все поглядывал на восток, туда, откуда донеслась молва о трехглавом драконе.

Назавтра с утра он отправился к местному кузнецу. Три дня тот ковал для него меч, три дня острил его, а по окончании Здолань, поблагодорив кузнеца, попрощался с матерью и пошел супротив восхода солнца. Долго смотрела загореванная мать вослед своему перводану, одинаку — перводанному и единственному сыну, подумки, то есть мысленно, молилась, чтоб он живым-невредимым возвратился к дому родному.

Долго ль шел Здолань, про то никому неведомо. Может, и перевозимье миновало, и первовесенье, и перволетье, кто знает. Словом, не одни сутки он провел в пути. А кругом глухоманная степь, безлюдная, зубры взрыкивают, да волки воют, да лают лисицы в первовечерние сумерки. А Здолань один-одним, один-одинешенек в этом, считай, первобытном мире, как первобытный, еще не впавший в первородный грех человек.

Но вот перед его глазами вырос лес дремучий, а рядом — болото непролазное. Тем временем черные тучи стали заволакивать небо, и на землю пала темень. А навстречу ему из того леса прожогом ринулись зайцы, олени, бобры и куницы, лисы и волки, медведи и лоси — зверье лесное словно от страшного пожара спасается, хотя вокруг все мраком покрыто, ни проблеска.

Догадался Здолань, что это их выгнал из лесу страх: где-то, видать, затаился первовиновник бедствия, о котором дошла до них с матерью в их дальнюю сторонку сбивчивая молва, — зверь тот самый о трех головах, что истреблял и людей, и зверей.

Глядь — а из-за необхватных деревьев чудище выползает встречь ему — преогромное, прямо исполинское и, ни дать ни взять, при трех головах со светящимися глазами. И всеми

тремя грозно шерится. И из каждой пасти зубы торчат. Не зубы — мечи настоящие!

Увидел и змей смельчака, закачал всеми головами в разные стороны и прошипел:

— С-счас я тебе первогостки устрою! Первое гощенье, раз уж препожаловал в мои владения.

Все ближе, ближе подползает тварь эдакая.

Поднял бесстрашный юноша меч острый и двинулся ему навстречу.

А дракон как дохнет — так огнем и обдаст всего его, как ударит хвостом по столетнему дереву — ровно стебелек какой мигом срубит!

Да не робкого десятка был юноша. Бросился к нему, взмахнул мечом — и покатилась голова змея в травы высокие, зашелестела в них буреломно.

Ух, взвился дракон от боли и от люти, зашипел что есть мочи по-змеиному, аж с придыхом нутряным. А кровь из него летучая брызгами крупными рванулась ввысь, а потом тяжелыми сгустками упала на землю, но едва ударилась, вновь сделалась, как живая, забегала разнокапельно из стороны в сторону и тут же впиталась ею, даже следа не осталось. Дракон же отряхнулся, рана на одной из его шей вмиг затянулась намертво, как если бы головы и вовсе не было. Худо было бы, вырасти вместо нее новая. Да, по всей видимости, первовиновник бытия — Создатель, Бог! — все ж учел это, хотя с тремя головами явно переусердствовал или недоглядел. И уже снова готов к схватке дракон, быстро отошел от оторопи.

Ну, и юноша лишь подивился его крови, которая живучими каплями в земле бесследно пропала, а сам зорко стережет каждое движение супротивника коварного, который норовит и этаким боком, и переэтаким макарном изловчиться и хватануть его какой-нибудь из уцелевших пастей зубастых — только щелк, щелк, да все мимо, все с промахом. Ловким и увертливым оказался юноша. Не по зубам дракону — и все тут!

Долго они бились. Вкруг них от леса только щепки лежали. И земля была вся в глубоких выбоинах.

Вот Здолань выбрал подходящий момент, изловчился и подпрыгнул к самой пасти да мечом — бах! И покатилаь вторая голова, разбрызгивая живую кровь по земле, которая ее моментально и вбирала в себя, как желанную влагу.

Устал хлопец до смерти, чует, по ногам дрожь от слабости пробежала. А змей лютует, еще пуще, одноголовый, беснуется. Того и гляди, хапнет его в свою бездонную, ненасытную пасть.

Вспомнил хлопец о матери, которая его ждет-не дождется, глаза уж наверняка повыглядела и слезы все выплакала, припомнил и то, как напугала всех в их округе весть о трехглавом людоеде и зверееде, мыслию обратился к первотцу своему, праотцу всего их рода, о коем столько понарасказывала ему еще бабка, всякий раз припоминая его в бесконечных рассказах о том, как двинулся он в рогожных постолах от самого Днепра на восток — обживать дикие степи — и вскоре сделался переводомцем — лучшим из лучших хозяев, — и от всего этого, внезапно прихлынувшего к нему, у молодца силы воспрянули, махонул он мечом изо всей мочи — и бултыхнулась в болото последняя драконова голова, только кровавые бульбашки поскакали по его чавкой зелени и опять же пропали, как и предыдущие, в его мертвой пучине без следа и признака на поверхности. Канули, как там и были!

А вконец выморенный Здолань плюхнулся на вытолоченную с корнями траву и провалился в сон без сновидений, прямо мертвецкий.

Когда он проснулся, из-за темных туч, которые, едва он глянул на них, начали расходиться, проглянуло солнце, высветило поляны в лесу. То здесь, то там стали появляться звери из недавнего сумрака, весело защebetали птицы. И лес будто облегченно вздохнул утренним туманцем — сизым воздухом свежим так и обдало молодца, бодря его и восстанавливая утраченные силы.

...Много ли, мало утекло с тех пор времени, может, и целая вечность, об этом известно, видимо, одному Богу.

Как-то в той местности, где когда-то одолел Здолань дракона, объявились первые рудознатцы, знающие толк в рудах, спрятанных в Донецком кряже и по другим всядам, и стали искать в земных недрах загустелые брызги драконовой крови. И нашли-таки белые твердые породы искомые, а в

них — зернистые вкрапины червонного колера, схожие на капли отвердевшей крови.

Это была киноварь — очень ценная руда для изготовления столь необходимой людям ртути. А по научному рудознаты прозвали ее греческим словом «киннабери», что означало — драконова кровь.

Легенда легендой, а некое подобие ртутного рудника на Донецком кряже впервые было заложено в 1879 году. И связывают его с именем перво-наперво русского горного инженера А. В. Миненкова.

А заложен был рудник неподалеку от тогдашнего села Никитовки, возникшего из слобожан Зайцево, запорожского поселения еще 1776 года, благодаря усердию и радениям Никиты Яковлевича Девятилова, в честь которого и названо это село.

В здешних окрестностях, в мало обжитой степи, как раз и наткнулся Миненков на необычные камни с ярко-красными вкраплениями — породу с содержанием киновари. Кстати, это слово и с арабского «кинабарис» тоже переводится как «кровь дракона», не только с греческого. Миненков приложил немало усилий и для разведки, и для разработки найденного им месторождения. И он, конечно же, первооткрыватель! А потом к нему присоединился другой горный инженер, вроде бы немец, некто А. А. Ауэрбах, на капитал которого и был выстроен в 1885 году на землях зайцевских крестьян уже настоящий, мощный ртутный рудник. Его-то и считают первым в Донбассе.

По значимости, по ценности для человека капля ртути может сравниться, пожалуй, с каплей крови. Не драконовской, разумеется, а человеческой! А тем более, что капля ртути, как говорится об этом и пишется, содержит в себе и блага цивилизации, и ее историю.

К слову будет сказано, государственные крестьяне из того же Зайцево, из села Железного (недаром, ох недаром так оно названо спокон веку — по руде железной!) и Щербиновских близлежащих хуторов еще в 1806 году добывали уголь для своих нужд из пластов, выходявших наружу на обрывах в балках и ярах. Собирались человек по десять-двенадцать сообща, брали лопаты, кайла, молотки, металлические кли-

нья, балды, веревки, деревянные бады для подъема угля и руды и всю зиму, до весенних работ в поле, долбили уголек себе на потребу, а то и какой-никакой сбыт, если оставались лишки.

В эти же места в 1867 году пришли изыскатели и строители Курско-Харьковско-Азовской железной дороги под руководством известного предпринимателя Самуила Полякова. Работами же на земле руководил непосредственно горный инженер божьей милостью Петр Горлов. Он-то и обнаружил в здешних местах, в самом центре Донецкого кряжа, преогромные залежи угольных пластов и стал пионером в их промышленной разработке.

Как тут не отнести к первооткрывателям и первопроходцам и Полякова, и Горлова?

Да и того же Джона Юза, прибывшего из Англии в наш край, построившего на Кальмиусе металлургический завод и в самом начале 1872 года выплавившего, а попросту «сварившего», первый чугун на донецкой земле.

А все — благодаря углю! Углю, без которого, как и без соли, нельзя никак обойтись — ни в жизни, ни в нашей отечественной, донецко-кряжистой истории.

И как тут не припомнить среди первооткрывателей Евграфа Ковалевского, создавшего первую геологическую карту Донбасса?

В 1838 году в помещенной горным журналом статье «Исторические и статистические сведения о Славянских и Бахмутских соляных варницах» он писал:

«Что касается собственно каменного угля, то изобильные источники оного в Донецком кряже могут довольствоваться сим минералом не только Новороссийский край, но и другие губернии.

Когда узнают в полной мере цену каменного угля... тогда исполнятся пророческие слова Петра Великого: «Сей минерал если не нам, то нашим потомкам будет весьма полезен».

Похоже, нам доведется и Петра Первого относить к неким первооткрывателям Донецкого кряжа, коль скоро он несколько раз пересек бывшее Дикое Поле, совершая походы на Азов — туда и обратно, и вошел в предания нашего края, в которых так либо этак оказался причастным к первооткрыти-

ям. И в предание об «уголье земляном», которым якобы его солдаты обложили для затишка костер на привале, а оно вдруг запылало, после чего царь и изрек знаменитые слова о невиданном доселе минерале: «... зело полезен будет». И о Золотом Колодызе, тоже обнаруженном вроде бы солдатами, в который он бросил монету и нарек его таким именем из-за вкуснейшей в степном безводье родниковой воды. И Государев Байрак, нареченный в его честь после стычки с кочевниками, и Торские озера, в которых, по преданию, царь купался, и Северский Донец, на котором он, в общем-то, положил начало судоходству... Всего и не перечить, что связано с именем Петра Первого в нашей стороне! Он же и мастеров горного дела затребовал из-за рубежа, чтобы чинили пробы рудам, найденным на Донецком кряже, и своим повелением высочайшим не одного рудознатца сюда посылал... При всей своей жесткости и властности он все-таки способствовал нынешнему прогрессу нашего края.

Ехал, говорят, царь Петр со своим войском из Азова в свою столицу. И путь держал напрямки, через дикую степь в Диком Поле, то есть по водораздолью на Донецком кряже.

Глянул царь, а у коня подкова отпала и где-то затерялась. Надобно новую прибавать. Но где ее взять? А тут неподалеку, версты две или три впереди, показалась маленькая, всего в несколько хат, деревушка. И на ее окраине, как водится, считай у самого шляха, — кузня.

Кузнец узрел — царь подъехал. Вышел навстречу и, по заведенному свыше порядку, поклонился.

— А ну, сермяжник, подкуй мне коня. Да хорошую подкову сделай! И — не мешкай!

Взял кузнец кусок железа отборного и принялся ковать. Что ж тут поделаешь? Велено! И кем? Самим царем!

А когда закончил, царь велел подать ему подкову, чтоб поглядеть на нее. Взял царь ту подкову в обе руки, напряжился, да и переломил ее пополам. Здоровье-то у него, молодого, рослого, широкоплечего, было — не занимать!

— Слабоватые подковы мастеришь, — криво усмехнулся он. — В моей великой державе нужно иметь хорошие подковы. Готовь другию, мужик!

Кузнец, конечно, понял, что царь хотел показать свою силу молодецкую, покрасоваться перед солдатами. А что поделаешь? Стал новую делать.

Когда же он в конце концов подковал коня, царь вынул большой медный пятак, подал кузнецу. А пятак по тем временам, как-никак, был в цене.

Кузнец взял тот пятак промеж трех пальцев, нажал. И сотворил из него нечто подобное наперстку.

— Слабоватые деньги делаете, Ваше Величество, — при-молвил. — В нашей могучей державе следовало б получше иметь...

Царь зыркнул на кузнеца-смельчака своим ярым взглядом, вынул серебряный рубль и протянул ему со словами, снисходительно ухмыльнувшись:

— Нашла коса на камень.

Вроде бы просто забавное предание. Но в нем подспудно проступает свидетельство относительно наличия и освоения железных руд в нашем крае, выплавленного из них металла для всевозможных хозяйственных нужд в еще допетровские времена. Как говорится, мал золотник, да дорог!

Впору и чумаков назвать первооткрывателями. Ведь они, перевозя крымскую соль, азовскую и черноморскую рыбу и другие товары на далекие расстояния от Днепра до Дона, от Азовского и Черного морей до самой Москвы, первоначально прокладывали бесконечные дороги-шляхи и по Дикому Полю, через Донецкий кряж, нередко не только обозначая путь теми или иными естественными вехами — лесами, курганами-могилами, ярами, бродами, речками, а и давая им имена собственные, которые сохранились и доныне.

А зародилось чумачество задолго до возникновения казачества, как запорожского, так и донского.

Что же касается самого слова «чумак», то здесь существует несколько предположений ученых. Одни из них считают, что оно пошло от татарского «чум» или «чюм», означавшего «ковш» для питья воды в дальних переездах, а еще и «извозчик»; другие трактуют его в переводе с персидского как «кий», «ломака», то есть палка или дубина, да еще и с набалдашником, которая надобилась чумакам для самообороны, если вдруг нападут на них либо разбойники, либо татары и ногай-

цы: они быстро распрягали волов и устанавливали возы — а их бывало и по десять, и по сто в одном обозе — таким образом, чтобы дышла торчали вверх сплошным непреступным частоколом и стан с людьми и тягловой силой внутри был защищен со всех сторон, да и задавали жару неприятелям; и, наконец, третьи, пожалуй, наиболее правдоподобно, предполагают, что слово «чумак» пошло от болезни чумы, которой заражались возчики-торговцы в далеких краях, ибо болезнь эта часто свирепствовала по тем временам, потому что чумаки, отправляясь в дорогу, вымазывали себя с ног до головы дегтем, дабы не пристала зараза, из-за чего о них говорили: «Як чума, чорний!»

О пребывании в нашем крае чумаков сохранила народная память и легенды, и предания, и песни.

В балочке по-над Донским шляхом жил один запорожский ватажок с целой ватагой братчиков. На могиле, бывало, попеременно стоит то один, то другой казак. Как заметит издали обоз чумаков, сразу же — на дорогу и втыкает в землю древко. Возле древка на кошму кладет ломоть хлеба, вяленую рыбу, щепотку соли, пшена горсть, лук и всякое другое, чего им требуется. Положит — и айда в терновник к ватаге...

Сидят братчики и смотрят. Подъезжает чумак к древку и тпррр-р-у!.. Кто кладет на кошму хлеб, кто рыбу, кто лук, кто сало, кто сыплет пшена, муки, соли. Накладут харчей сиромомах — да и с Богом... А почему бы и не дать?!

Тогда чумацкий обозы были на сто, двести, триста пар волов!.. По горсти муки с воза, по ломтю хлеба, сала — вон сколько выйдет!..

Запорожцы, бывало, никогда не трогают чумаков, а скорее выручали от всяческой напасти в глухой степи.

Но не одни эти как бы дружеские поборы донимали чумаков.

Эти-то были вроде бы свойскими. И для защитного покровительства.

А вот кочевники — те и впрямь были сущей бедой для них. Об этом и во многих украинских народных песнях пелось.

*Ой, в неділеньку рано-пораненьку,
Як стало світати,
Стала орда чорная
З-під моря вставати.*

Стали німці-компанійці
 Чумака збувати:
 «Годі, годі, чумаченьки,
 В Криму солі брати,
 Запрягайте вози, воли —
 За бапти втікати!»
 Ой, хвалився Довгоруц,
 Що не зніме орда рук, —
 Орда руки ізняла,
 Чумаченьків заняла.
 Ой, зайняла та погнала
 Різними шляхами:
 На Нікополь, на Азов,
 На третій город Козлов...

Последним был нынешний город Евпатория, где тогда находилось татарское укрепление Гезлов, завоеванное русскими войсками в крымском походе 1771–1773 годов.

Да и все остальное в этой песне — доподлинная историческая правда: и насчет немцев-компанейцев, служивших в русской армии по найму, и насчет обманчивых заверений генерала Е. Долгорукова-Крымского, и насчет подступной Татарской орды...

А еще ведь и ногайцы донимали. Они явились откуда-то из Заволжья поначалу в межречье Дона и Кубани, со временем переместились дальше на запад, в пределы Дикого Поля, и рыскали сперва по Приазовью и Причерноморью, а потом и по левобережью Северского Донца, где обосновались, вытесненные впоследствии крымскими татарами.

Чумаки возили свой товар по всем-всюдам, в том числе и на Дон. Тут-то ногайцы и подстерегали чумаков.

Чумацкими шляхами были исхлестаны водоразделы Донецкого кряжа вдоль и поперек. Под тем же именем — Чумацкие — они вошли и в фольклор. Да и в историческую картографию нашего края. А еще их в те времена и сакмами порой называли, потому как местами изначально протапывались в густорослых травах конными отрядами завоевателей во время их набегов — всеми тюркоязычными кочевниками, иноверцами-басурманами, которые обозначали свои пути особыми метинами — сакмами.

У чумаков, повторяюсь, были доморощенные приметы — курганы-могилы, то ли природой разбросанные по Донецкому кряжу, то ли специально насыпанные, и каменные бабы, или каменные девки, как они их по-молодечески называли меж собою, либо каменные болваны и истуканы, прозываемые ими так в насмешку, — оставили же их то ли скифы, то ли сарматы, бог весть когда кочевавшие в этих пределах; служили ориентирами и реки, и буераки, с крутоярами и лесочками в них, и большие леса... Называли они их на свой лад, в народном духе, а заодно и первооткрывали для нас дикую отчину.

Короче говоря, дорог тех было тут немало. Дело в том, что пространство между Днепром и Доном когда-то считалось Воротной Страной, соединявшей интересы Азии и Европы. Сюда на всевозможные торжища и базары-ярмарки свозились продукты земледелия, звероловных и рыболовных промыслов всей Северной Скифии и Сибири, товары Иверии, Персии, Индии, Малой Азии и Греции.

По территории нынешнего Большого Донбаса одним из первых в прошлом далеком был проложен караванный шлях от аланской крепости Саркел близ устья Дона по возвышенной степи Донецкого кряжа в межречье Дона и Северского Донца до самого Суздаля и Мурома и так называемого Казанского перевоза. В зависимости от того, кто кого одолевал и кто над кем брал верх в те годы, он и поименовывался соответственно — то аланским, то сарматским. И первоначально считался военным шляхом.

Но самым знаменитым в нашем крае был Муравский, или Черный шлях, используемый крымскими татарами для набегов вглубь Руси. Пользовались им и чумаки. Начинался он у Перекопа, являвшего собой в ту пору глубокий и длинный ров, выкопанный поперек пути на Сиваш, или Гнилое море, и далее — на Крымский полуостров. Оттуда шлях тянулся к верховьям Молочных Вод, затем Конских Вод, от которых остались названия Конка и Конские Раздоры, дальше забирал к Волчьим Водам, проходил в межречье Быка, Самары и Торца и устремлялся на север по гористой, оттого и безводной, беспрепятственной местности кряжа до города Ливны в Орловской губернии и последующей Тулы, в Московское государство.

У реки Молочные Воды отделялся от Муравского шляха Кальмиусский, или Крюковский, поскольку давал большой крюк, потянувшись сначала на восток по дальним просторам Азовского побережья, потом достигал истоков Кальмиуса и Беленькой, прямил по извилам Бахмутки до Северского Донца, перебирался по Боровскому перелазу на левый берег, сворачивал к речке Боровой и Красной, опять перебирался — уже через Тихую Сосну по Каменному броду — и в конце концов снова вбирался Муравским шляхом.

И еще один шлях был проложен по нашему Донецкому кряжу — Изюмский, или Украинский. В Книге Большого Чертежа, впервые, еще в 1627 году описавшей все шляхи бывшего Дикого Поля, говорится: «От Муравской дороги налево от Семских Котлубанов, из-под Савинского Пузацкого лесу Изюмская дорога, а по леву Изюмская дороги лес Юшковы баяраки. От Изюмския дороги на леве, из Юшковых баяраков вышла речка Дубянка и пала в Оскол, ниже города Оскола». Попервоначально его торили татары, поскольку по Муравскому шляху в этих местах вскоре для защиты от их набегов были возведены сторожевые посты царских войск.

Пролегал по Дикому полю и чисто славянский шлях, ведший чуть ли не от самого Киева к Азовскому северному побережью и далее — на полуостров Тамань, в Тмутаракань, где правили киевские князья в то время, — Залозный шлях, прозванный так из-за того, что на первых порах-верстах пробирался по бесконечным лозам в лукообразном левобережно-восточном изгибе Днепра.

Не его ли продолжением тогдашним, а со временем прерывистым остатком, был Павлоградский Косой шлях? Шлях, хлестнувший длинным батогом наискось через все Межевские степи? А далее перебрался он речку Соленую по Казачьему броду близ того места, где она чуть ли не одновременно с Мокрыми Ялами впадает с разных берегов в Волчью, образуя так называемые, по местному, «штаны», что, собственно, очень похоже, и где на соседней Ивановской горе находился издавна дозор запорожских казаков. И не дальние ли обрывки Залозного — Мариупольский и Таганрогский шляхи?.. В совокупности они как раз и прямил в бывшую Тмутаракань.

Помнится, мама моя рассказывала, как по Павлоградскому Косому шляху в ее бытность привозили в здешние поселения товары. На этом ее память обрывалась, не подкрепленная рассказами ни отца-матери, которых у нее рано не стало, как и деда с бабушкой. Быть может, Павлоградский шлях и был некогда при отходе от Самары тем Залозным шляхом в прошлом, его каким-то путевым отрезком. С ему созвучными названиями вон сколько рек осталось по западному склону Донецкого края!

Приметы приметами, однако чумаки ориентировались преимущественно по звездам в небе, когда ехали «по холодку», едва спадал летний зной. Там для них были и свой Чумацкий шлях, который, заметим, только над Украиной считается таковым, ибо словно отражением кажется земного шляха чумаков, с просыпанной звездчато чумацкой солью, да и тянется небесный прямохонько с севера на юг, в крымскую сторону, в остальных же краях его именуют Млечным путем. И Чумацкий Воз есть в небе. Кто ж, как не чумаки, так прозвали созвездие Стожары, или Волосожары, или, наконец, Медведица вкупе с Полярной звездой, вокруг которой, точно вокруг кола-стожара, вертится на дышле тот Воз.

Вглядываюсь в них, в извечные ориентиры моих предков, особенно в лунную пору, и замираю от внезапно охватывающего все мое естество ощущения отдаленной и вместе с тем кровной причастности к путям-дорогам чумаков и к ним самим. А звезды и звездочки мигают, мигают маняще и крупнятся, искрятся и посверкивая, точно в заправдашние крупницы соли обращаются пред моим взором, вот уж и в наплывшей из-за напряженного взгляда слезе взблескивают во весь глаз, скатываются по щеке и солонят губы.

И не спешу отмахнуться, поспешно отрешиться от этого неземного наваждения, пусть и скоротечной, но столь ошутимой — почти физической! — связи с небесными чумацкими путеводными ориентирами: и Шляхом, и Возом, в которых помигивает, проступает воочию история бывших моих прямых предков, история отчей земли.

Не отнести ли нам к первооткрывателям и казаков запорожских, с середины XVII века заселявших Дикое Поле в

Среднем Подонцовье? Отряды Василия Копоня, Торского, Рубаки, Забужского... Благо их фамилии сохранились!

А тех, что основывали свои зимовники на реках Донецкого кряжа? Во второй половине XVII и XVIII веков. Таких как Андрей Сологуб, отставной войсковой старшина, — на реке Волчьей; займищем для запорожских казак также было урочище, где Соленая впадала в Волчью, овраг Лозовой, а сторожевые посты они выставляли на горе, вздымавшейся над этими реками и балками, с ее вершины далеко было видно Таврическую целину, откуда в любой момент могли налететь татары, турки, ногайцы... Гору ту потом называли Ивановской, по имени одного из отставных казачьих старшин Ивана Чигирина, организовавшего здесь из «милости» царицы Екатерины Второй слободу Ивановку. По имени другого старшины — Гаврилы Блакитного — была названа соседняя слобода, на месте когдашнего его зимовника над скалистой Каменкой. Слобода эта тоже располагалась вдоль той же горы, которая охватывала реку Волчью подковой, и тянулась чуть ли не до самого Дибровского леса, в Гаврилов Кут между Каменкой и Волчьей — ведь она была западным отрогом, одним из многих отрогов Донецкого кряжа; а на реке Бык, в крутоярах тамошних и буераках, близ Славянки нынешней и Крутояровки у яра Гончаривского, что тянется к Сергеевке, стоял зимовником отряд сечевиков во главе с запорожцем Иваном Гончаром; в балке Железной, заселенной запорожскими казаками еще в 1696 году, жил Прокоп Дьяченко; основателей зимовников в балках Сухой и Житний Яр, урочище Жеваный лес, к сожалению, никто уж не помнит; известно лишь, что все они, как и Блакитный, и Гончар, сторожили петлявшие в этих пределах Муравский и Кальмиусские шляхи. А вот в балке Сухой, неподалеку от впадения речки Луганчик в Северский Донец, где с 1660 года стоял запорожский пикет, или дозор, для наблюдения за переправами татар и донских казак, спустя более семидесяти лет основал свой зимовник отставной старшина Макар Безродный; близ Азовского моря, там, где нынче Урзуф, стоял зимовник Степана Коваля... На речке Калец основал хутор в 1831 году кошевой атаман Йосип Гладкий... А кто основал запорожские старожитности в Диком Поле на речках Кривой Торце, Самаре, Кальмиусе и

Миусе? Их имена, быть может, схоронены в архивах Запорожской Сечи. Потому как все это были ее земли, ее вольности. Только вряд ли они в надлежащем виде сохранились после того, как 3 августа 1775 года императрица Екатерина Вторая объявила своим манифестом об упразднении Сечи — «с уничтожением самого имени запорожских казаков». Вот так, даже имени лишались! А ведь какую героическую борьбу вела казацкая организация, возникшая в Украине в низовьях Днепра, ниже известных неприступных каменных порогов — «за порогами», с Турцией, Крымским ханством, польскими феодалами! Но ее военное значение после воссоединения Украины с Россией в 1654 году якобы подупало, и в 1709 году она впервые была ликвидирована. Надо полагать, по окончании Полтавской битвы. Но казаки спустились вниз по течению и на реке Подпильной организовали Новую Сечь. И их ратный дух годился до поры царской Империи, поскольку крымские татары и ногайцы еще долго совершали набеги вглубь Руси по Муравскому шляху, да и Кальмиусским носились по Дикому Полю, разоряя селения и соляные промыслы. А потом затеялся земельный спор сначала между бывшим полковником Самарской паланки Игнатием Писанкой и изюмским комиссаром Алексеем Быстрицким, а позже — и с казаками Войска Донского о праве на владения землями в дикополье, что не могло не сказаться на решении царского правительства. Да и самой России они уже представлялись не защитниками южных рубежей, а угрозой для Империи... Запорожцы ушли сначала на Дунай и там организовали Задунайскую Сечь, а как она пала, поселились сначала в Приазовье, а затем на Кубани.

Самое время помянуть тут и сербских офицеров Ивана Шевича и Райко Прерадовича, подданных Австро-венгрии, попросившихся в русскую армию в XVIII веке на службу и организовавших Бахмутский гусарский полк, который разместился между реками Бахмутом и Луганью. Сюда же по указу Правительственного Сената, изданного 29 марта, 1 и 29 мая 1753 года, позволено было поселяться не только сербам, а и хорватам, болгарам, венграм, молдаванам, волохам... Поселенцы были объединены в роты. Оттого и поселения назывались Ротами. Тут организовалась Девятая Рота. Так возникла и

Третья Рота на Донце, вошедшая в историю XX века вместе с именем Владимира Сосюры, украинского классика, который провел в ней детские и юношеские годы. Кто знает, может быть, его родовые корни и идут именно от тамошних сербов...

А дело было, по всей очевидности, в том, что правобережье Северского Донца оставалось по-прежнему безлюдным, не считая отдельных запорожских хуторов, которые с ликвидацией Запорожской Сечи перестали оборонять этот край от набегов крымских татар и ногайцев; Российской же Империи требовалось как-то защищать этот край, в котором была Бахмутская и Торская соль взамен Сивашской, объявились первые сведения и об угле, железной и других рудах. И потому в северной стороне Донецкого края, впритык к Донцу, местность даже особое название получила — Славяно-Сербия. Она была обособлена от Азовской губернии и подчинялась непосредственно Сенату и Военной коллегии.

Для той же оборонительной цели по Донцу вплоть до Святогорского монастыря на правобережье, а также к югу и юго-востоку от Бахмута по рекам Крынке, Сухому и Казенному торцу в 1764 году расположился только что сформированный Луганский пикинерный (пеший. — *И. К.*) полк, после чего возникло много хуторов на этой территории. Но кто их впервые организовал, наверно, не доискаться уж никому.

Однако ж все они, как и запорожские казаки, каждый по своему, обживали Донецкий край, а значит были и первооткрывателями.

И снова, снова берет меня сомнение: ради чего я копаюсь в старине Донецкого края и бывшего на нем Дикого Поля, зачем пытаюсь выудить имена и фамилии, легенды и были из давнего прошлого, которое уже и былъем поросло? Почему этим занимались пытливые и отчаянные путешественники, историки, краеведы, превратившие свою жизнь этими самоотрешенными поисками в самопожертвование?

Вновь наваливается прежнее смятение, из-под которого и вывернуться-то непросто! И уже не о слове первообразном пекусь, чтоб сложить достойную думу о первооткрывателях, а забочусь лишь о том, чтобы ненароком, невзначай, а то и по рассеянности чисто человеческой, которая по временам

сминает дотошность, столь необходимую, дабы доискаться правды, не упустить чего-нибудь существенного, не пропустить чье-либо достойное имя. Да и неверие порой подкатывает: хватит ли у меня сил, физических и моральных, чтоб охватить беспредельную историю первооткрывательства Донецкого кряжа...

Но постепенно успокаиваясь, обретая упорный дух; я уже сравниваю поиски ученых историков, краеведов, а для поднятия духа — и свой собственный труд, с раскапыванием в нашем крае захиревших, заиленных, почти иссякших родников. Вот он оживляется чуток, пробивается с твоей помощью на свет божий веселыми, более уверенными толчками, посверкивает под солнцем глубинной, из самых недр Донецкого кряжа, водицей янструйной; она прыгает по камешкам, подает свой певучий голосок, обрета его, едва оказавшись на воле. Прислушиваешься к нему, точно к гласу предков, обживавших этот край пустынный. И само по себе напрашивается то, что таилось в тебе подспудно: это же и есть возрождение наше! Родника — как народа! Ибо он не может быть без прошлого, у него и будущего-то не может быть без этого прошлого, каким бы смутным оно ни казалось в период отчаянья. А посему — вперед! Вперед, преодолевая сомнение, смятение и временное неверие, равное разочарованию и отчаянью, только вперед! К родникам прошлого, к родникам народной памяти!

Ну как тут не назвать путешественника, академика Гельденштедта, которого разные исследователи называют по-разному — и Гильденштедтом, и Гюльденштедтом? Благо, хоть инициалы оставляют неизменными — И. А., хотя никто их и не расшифровывает — Иоган Антон; как тут не назвать его, когда он отмечал в своих записях, что в устье Кальмиуса попадались ему скатанные частицы горных железорудных пород. Наподобие тех, которые в прибрежных районах Англии жители собирали — выбрасываемые волнами на берег шары «морского угля». А все тот же Ковалевский, составивший первую геологическую карту Донецкого кряжа и давший ему имя, заверял, что крестьяне собирали в русле реки Нагольной, левом притоке Миуса, свинцовые гальки после дождей и употребляли их для зарядивания ружей.

Гельденштедт путешествовал в 1773 году по нашему краю. И его свидетельства равны первооткрытиям. Он подробно описал Торские соленые озера, Святогорский монастырь, как и германский посол при Московском Дворе Сигизмунд Герберштейн, который побывал в этом заповедном уголке Донецкого края еще в 1526 году.

Поскольку эта святая пустынь возникла здесь неизвестно когда и на этот счет из века в век кочуют разные толки, то описания последних ценны для нас своим первосвидетельством.

Герберштейн в записках путевых указывал:

«...Воины, которых государь по обычаю ежегодно держит там на карауле с целью разведок и удержания татарских набегов, на мой вопрос об этих жертвенниках отвечали, что они никогда не видели и не слышали ничего подобного. Однако они не отрицали, что видели около устья Малого Танаиса, в четырех днях пути от Азова, возле места Великий Перевоз, у Святых гор какие-то мраморные и каменные статуи и изображения».

А немногим раньше, около пятнадцати лет до этого, преосвященный Иннокентий говорил в своей проповеди:

«...Обитель благочестия, упредившая бытием своим едва ли не все прочие обители отечественные, со всей верностью отразившая в себе великотруженический образ жизни Святых отшельников Киево-Печерской Лавры и перестоявшая все ужасы времен Батые и Тамерлана, — храм, куда целый Юг древней России стекался славить имя Божие и в часы счастья и в годину искушения...»

Монахи Киево-Печерской лавры якобы и организовали здесь монастырь после разгрома их обители в Киеве Батыем. Даже якобы существовал подземный ход до самого Киева.

Но неутомимый исследователь истории Украины, известный академик Д. И. Багалей в том же веке, правда, несколько позже, возразил:

«Монастыря здесь в это время еще не было — иначе о нем, наверное, упомянули бы лица, сообщившие это сведение Герберштейну. Но самое название «Святые горы» говорит в пользу того, что здесь некогда был монастырь или церковь и, правдоподобнее всего, он был тут еще в домонгольский

период нашей истории, потому что в XIV и XV вв., после татарского погрома, хозяевами всей южной окраины сделались татары, между тем, как до половины XIII в. здесь были оазисы русского поселения».

Имеется в виду подземный, пещерный монастырь, вырубленный неизвестно кем и когда в меловой скале.

В опубликованных в 1845 записках «Поездка в полуценную Россию к берегам Тавриды в 1844 году князя Николая Борисовича Голицына» содержится такая мысль: «Основание монастыря должно отнести к первым временам распространения христианства в России».

Поясим лишь, что Николай Борисович не только участвовал в сражениях Отечественной войны 1812 года совместно с Багратионом и дошел до Парижа, а и был блестящим переводчиком на французский язык — в частности, сделал перевод стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Клеветникам России», высоко оцененный поэтом. Бетховен посвятил ему, как музыканту, несколько своих произведений. Николай Борисович был настолько привязан душой к Святым Горам, что по завещанию его и похоронили на монастырском кладбище в родовой усыпальнице Голицыных.

О возникновении пещерного пустынножительства любопытные версии, схожие на предания, приводит в своей вступительной статье «От забвения к возрождению» в изданной им сводной книге «Святые горы» тонкий и увлеченный исследователь, директор Святогорского историко-архитектурного заповедника, кстати, сделавшего немало для реставрации Святогорского монастыря, Владимир Дедов, — он пишет:

«Второй по популярности гипотезой о начале пещерного пустожительтва в Святых горах является версия архимандрита Арсения об основании обители монахами из Афонского монастыря. В 1851 г. о. Арсений впервые поведал уже упомянутому А. Н. Муравьеву (известному литератору и путешественнику по Святым местам. — *В. Д.*) о своем предположении: «Говорят, будто однажды иноки Афонские, плывшие в Россию, приняли ошибкою устье Дона за Днепровский лиман и, подымаясь вверх по реке, нашли это место, которое так живо напомнило им родную местность Святогорскую, что

они решили тут поселиться и даже сообщили сладкое название Святогорья неведомым дотоле скалам».

Несколько позднее эта версия стала выглядеть весьма красиво и правдоподобно в устах ее приверженцев. Приведем ее в редакции авторов XIX века: «Предпоследний греческий император Михаил Палеолог, прося защиты, помощи и покровительства у римского Папы Евгения IV против натиска на его империю предводителя арабских орд Махмуда II, принял Унию Флорентийского Собора 1439 г., изменил православия и, в угодность Папе, вознамерился обратиться к унию в афонских иноков и, в случае сопротивления их, принудить силою и даже мучениями... Некоторые из братии, по особому усмотрению Божией матери, удалились из Афона в верные страны, дошли до устья Дона, перешли в Донец и, доплыв к Донецким Скалам, пленились красотой природы, сошли на берег и поселились здесь, укрываясь в меловых скалах от набегов крымских татар и половцев».

Ну, поводом для такого заключения было то, что будто бы при рытии нового хода в пещерах были найдены обезглавленные останки, что свойственно было только для Афона: «...нигде более на свете, с незапамятных времен соблюдался обычай, по которому ровно через три года после смерти монаха откапывают могилу, кости собирают в отдельное помещение, а черепа разбираются иноками себе в кельи или складываются особо».

Найдены ли были в Святых горах такие захоронения в XIX веке, никто не может достоверно утверждать, ибо не осталось нигде, ни в каких, либо монастырских, либо других архивах, документальных записей.

Зато у славян существует своя легенда на этот счет. И она уносит нас во времена битв с печенегами.

Встретился, говорят, однажды богатырь Святогор с печенегами. Много их было, а он один.

И завязалась битва меж ними. Долго длилось ожесточенное сражение. Немало печенегов полегло от большого Святогорового меча. А он, раненый, продолжал биться.

Но вот вражья отравленная стрела впиалась в тело богатыря... Святогор ощутил слабость во всем теле... Понял великан: пришел конец.

Поглядел на белый свет: на высокие меловые кручи-горы, на голубые воды Донца, склонился к гриве своего верного гривастого друга и тихо сполз с него, лег под скалой над Северским Донцом. Там и опочил.

А местность эту люди назвали его именем — Святогорьем.

Быть может, Святым горам больше повезло на первооткрывателей, нежели другим заповедным местам Донецкого кряжа, таким как Торские озера, Золотой Колодязь, Каменные могилы, Кривая Коса, Хомутовская степь, Саур-могила... Однако все они остались безымянными. Разве что Новоанандольский лес оказался в этом отношении на особом положении — доподлинно известно, что его насадил Графф. Да впрочем, и Хомутовской дадено имя реального человека — помещика Хомутова, на чьих землях волею случая оказалась эта нетронутая прадавняя, ставшая впоследствии Табунной Толокой, степь доконного Донецкого кряжа.

Его же степям вообще повезло. Их первооткрывателями в литературе для нас, потомков прашуров, которые обретались в этом крае, стали великие мастера слова — Николай Гоголь, Антон Чехов, Алексей Толстой, а уж о первозданности дикой степи лучшего, более образного и живого свидетельства, чем «Слово о полку Игореве», в отечественной литературе и сыскать трудно. Конечно, и народные украинские думы, предания и легенды тоже не уступают своей изобразительной силой. Но там все же есть имена и фамилии реальных людей. И точно указано время событий.

Что же касается недр Донецкого кряжа, их открытия в художественной и документальной литературе, то здесь первыми стали и Каронин-Петропавловский Николай Елпидифорович, известный под псевдонимом С. Каронин, с его «Очерками Донецкого бассейна», опубликованными в конце XIX века; и Николай Александрович Рубакин, тоже одним из первых обратившихся к изображению жизни рабочего класса — как первооткрыватель рабочей темы в русской литературе (примером тому рассказ «Среди шахтеров», который был написан на донецком материале); и Алексей Иванович Свирский с его потрясающими рассказами о тяжелой работе углекопов «Тягальщик» и «Пожар»; и Глеб Иванович Успенский, впервые собравший и обнародовавший песни донецких

шахтеров своего времени, то есть второй половины XIX века. А в них уже открывалась и душа тогдашних угледобытчиков. Как и условия, в коих они работали.

*Нет, ребяташки, трудней,
Как работа шахтарей:
Шахтер рубит, шахтер бьет,
Под землю ход ведет.*

И далее, уже в другой песне:

*День и ночь мы со свечами,
Смерть таскаем за плечами.*

Ну, а об открытии — да еще каком! — души шахтеров и рабочих металлургических заводов такими классиками как Викентий Викентьевич Вересаев, Александр Иванович Куприн, Александр Серафимович Серафимович, Сергей Николаевич Сергеев-Ценский и говорить излишне — они у всех на памяти еще со школьных учебников. Своего рода первооткрывателями нашего края стали и Иван Алексеевич Бунин, и Василий Немирович-Данченко: первый написал рассказ «Святые горы», а второй — очерки и впечатления о Святогорском монастыре, под тем же названием — «Святые горы»; последнюю можно сравнить со вскрытием соляных или угольных пластов в истории нашего края. Не обошли своим вниманием Донецкий край и Владимир Иванович Немирович-Данченко в своем романе «Пекло», и Константин Георгиевич Паустовский, и украинские поэты и прозаики, выпустившие свои первые сборники о Донецком крае и его людях, — Микола Чернявский и Спиридон Черкасенко, и...

Об этом я попытался более подробно рассказать в первой книге этой диалогии — «Думах о Диком Поле», в разделе «Слово о Донецком крае».

Сейчас же хочу процитировать из Антона Павловича Чехова вот что:

«Донецкая дорога. Невеселая станция, одиноко белеющая в степи, тихая, сто стенами, горячими от зноя, без одной тени, и, похоже, без людей. Поезд уже ушел, покинув вас здесь, и шум его слышится чуть-чуть и замирает наконец... Вы садитесь в коляску — это так приятно после вагона — и катите по степной дороге, и перед вами мало-помалу открываются картины, каких нет под Москвой, — громадные, бесконеч-

ные, очаровательные своим однообразием. Степь, степь — и больше ничего; вдали старый курган или ветряк; везут на волах каменный уголь... Птицы в одиночку низко носятся над равниной, и мерные движения их крыльев нагоняют дремоту. Жарко. Прошел час-другой, а все степь, степь, и все курган вдали». Это из рассказа «В родном углу».

А вот из письма издателю Н. А. Лейкину:

«Жил я последнее время в Донской Швейцарии, в центре так называемого Донецкого кряжа: горы, балки, лесочки, речушки и степь, степь, степь...» Речь, видимо, идет об урочище Кременном Луганской области, оно ближе всего к Таганрогу, куда он приезжал.

Но не об одной донецкой степи в виде лирической повести «Степь» оставил нам Чехов художественные свидетельства как первооткрыватель Донбасса в русской литературе вообще. Его слово о тогдашнем Славянске, о монастыре и тамошних обычаях тоже бесценны. Однако он впервые заговорил и о нашем угле — главном богатстве, помимо соли, Донецкого кряжа: в рассказах «Русский уголь» и «Печенег». И вечное наше благодарение ему за это!

Об ученых же, которые первооткрывали наш кряж, писано-переписано! Это и Дмитрий Иванович Менделеев, и Григорий Петрович Гельмерсен, и Никифор Дмитриевич Борисьяк, и Иван Бригонцов, автор первого научного труда о каменном угле в Донецком кряже: «В общественную пользу внутренней государственной экономии. Руководство к познанию, разрабатыванию и употреблению каменного угля с показанием мест России, где оный преимущественно находится и необходимо нужен к замене и вознаграждению недостатков в лесе. Екатеринослав. 1795». К сожалению, этот труд лишь спустя более полутора столетия был впервые опубликован в 1950 году стараниями инженера С. Шухардина. Горько это осознавать, но первооткрыватель-то сделал свое дело вон еще когда! А быть преемниками и пользоваться его открытием — это уж на совести потомков... Не забудем и Василия Васильевича Берви-Флеровского, экономиста и публициста, написавшего в 1869 году «Положение рабочего класса России», где немало страниц и о нашем крае...

В самый раз помянуть и великих художников Николая Алексеевича Касаткина с его картинами «Углекопы. Смена», «Сбор угля бедными на выработанной шахте», «Шахтерка», «Шахтер-тягальщик» и Илью Ефимовича Репина, который, следуя в отчий Чугуев, заезжал в Святые горы и писал здесь свой этюд «Вид Святогорского монастыря на Донце», и Архипа Ивановича Куинджи, уроженца Мариуполя, которого природа Донецкого края и Приазовья вдохновила на великие пейзажные полотна... Они-то всему миру открыли глаза на наш край...

Да Бог мой! От чувства бессилия всех перечислить и всех упомнить, кто был причастен к открытию Донецкого края как такового, прямо руки опускаются — их великое множество, известных и неизвестных!

Вновь и вновь, уже в последний раз окидываю мысленным взором, казалось бы, необозримое временное пространство с тех пор, как появились первые люди на донецкой земле, и до нынешнего дня, когда последователи первых первооткрывателей торят дальнейший их путь и приумножают познания неисчерпаемых покуда тайн Донецкого края, неповторимой и единственной отчины, доставшейся нам в единонаследие от Бога и от предков, и сердце мое словно замирает от груза того, что довелось узнать, воскресить в памяти и заново осмыслить. И ощущаю невольный трепет перед всеми предшественниками, сделавшими первый удар каменным топором, первый штык лопатой, первый метр вглубь края, орудуя киркой и кайлом, проложившими по нашим степям первую борозду первобытной сохой при первооранке, вырастили первый колос хлеба и вынянчили первоплоды домашнего скота, нашедшими первый родник с доброй водой и добывшими первую щепотку соли, а затем и первый пуд «земляного камня», способного возгораться и давать сильный жар, то есть угля, кто открыл и наши реки, и наше море, и всю нашу сушу. Великую гордость чувствую от причастности кровной и к этой первозданной земле, названной краем, ее многомиллионной по времени зарождения и возникновения особой биографии и к ее первооткрывателям! И тревожусь лишь об одном: чтоб и эти ощущения, и чувства, и осознание хотя бы небольшой долею передать не кому-нибудь безадресному, отвлеченному, кто уж не помнит ни своей родословной, ни отчего,

стоптанного предками порога, ни тем более всего края, где родился и откуда вышел в люди, — а чтобы в первую очередь все это унаследовали мои дети, мои внуки, мои правнуки, для которых и я обращаюсь в своего рода первооткрывателя отчины, поскольку уже весь наш предшествующий по крови род отшумел вековечной листвой во временном пространстве, отшумел и над моей, словно бы укрытой седым ковылем, головой и опал наземь, и недалек тот час, когда и сам лягу в эту кряжистую отчую землю и взойду на ней — даст Бог! — тем же сивым ковылем старины... Да только признают ли они меня в нем? Не истопчут по неведению и забвению? Отведи, как говорится, и помилуй.

Вот я и спел, как мог, свою осанну первооткрывателям Донецкого кряжа.

Хвала и слава каждому из них, известным и безымянным!

2000

ДУМА О СОЛИ

«Не сыпь мне соль на раны!.. Не сыпь мне соль на раны!!
Не сыпь мне соль на раны!!!» — надрывался осипшим до хрипоты голосом в радиопередаче эстрадный артист, не помужски жалостно, почти навзрыд страдая вместе с лирическим героем популярной одно время песенки-однодневки о якобы неразделенной любви.

Едва он после длительного забвения вновь запел ее, с уже давно знакомыми мне, хотя порядком было поднадоевшими и со временем призабытыми словами-причитаниями, на сей раз я вдруг почему-то буквально опрокинулся живучей, внезапно обострившейся памятью в далекое детство военного и послевоенного лихолетья, когда шепотка, да куда там шепотка — крупницы соли были для нас равны крохам самого хлеба!

По тем голодным временам ржаной ломоть, слегка присоленной крупной, плохо очищенной солью, являлся в наших глазах лучшим лакомством. Навроде той ржаной лепешки, специально испеченной и чуть-чуть притрушенной по горячему верху сольцой, называемой в России на особицу — соленухой. А коль ради сытности еще и подсолнечного масла,

свежесбитого, невероятно душистого — пахучей олиии, как принято в женском роде, более ласкового называть его у нас в Украине, хотя бы чуток плеснут взрослые в блюдо, чтобы макать тот ломоть, — слаще и вожденнее еды, казалось, мы не ведали отроду.

Что и говорить, то были совсем не те раны и совсем не те страдания, о коих вещал певец! А тем паче ежели учесть, что выпали-то они на ребячьи души, беззащитно ранимые из-за малого возраста всего моего поколения детей войны.

Впрочем, так уж повелось испокон веку промежду людей, что каждому болит больше свое и по-своему... Это только во время воен да стихийных бедствий, пожалуй, и единит нас меж собой как бы общая беда, общая утрата, общая боль. А так — все порознь.

Так что, собственно, и удивляться или сетовать вроде бы нечего. И спасибо певческому страдателю, что хоть таким манером всколыхнул, растревожил память.

Припомнились заодно и отец-мать, и дед с бабушкой, которые столько всякого-разного — и любопытного, и забавного, и горького, и смешного, и мудрого! — хранили в себе и в своих пересказах, притчах, пословицах и присловьях об обыкновенной, на первый взгляд, кухонной, или столовой соли. Не раз они вспоминали и прадедов, и прабабок, которые передавали из поколения в поколение, будто по неким живительным сосудам родового древа, были и небыли, обычаи и обряды, даже суеверные приметы, связанные с этой белой землей.

Ну, то, что хлебом-солью принято было встречать желанного гостя, выказывая сим хлебосольством приязнь к нему, доброе расположение, причем непременно в надежде на такую же взаимность, это-то и до нынешнего времени сохранилось повсеместно — и поныне всюду следуют этому давным-давно заведенному, еще древними славянами, обычаю. Что дома у нас, что за рубежом. Преимущественно, правда, в христианском мире. И словно бы ставшая расхожей фраза: «Хлеб да соль!» по-прежнему в сути подлинной звучит как извечно приветное: «Милости просим, жалуйте в наш дом». А попросту: «Наш хлеб и наша соль — они отныне и ваши, будьте как дома».

Наши предки считали, что без соли, а равно и без хлеба — худая беседа. Или и того откровеннее: соли нету, так и слова нету, а как хлеб дошел, тут и переговор пошел. И любая шутка считалась у них уместной и хорошей именно за хлебом-солью.

Чем не пожизненная наука для современных многосложных переговорных процессов между всевозможными миротворцами, выступающими от имени своих народов и государств?

Оттого и встречают-привечают высоких гостей почитай во всех уголках земного шара традиционными хлебом и солью. А те степенно, преисполненные чувства собственного достоинства и важности свершаемого обряда, отламывают кончиками трех пальцев — пучкой — символический ломтик от пышного каравая, тычут его в солонку, которая наподобие маленькой царственной короны венчает макушку каравая, и обязательно жуют его, как если бы причащаются, приобщаясь к новому краю, к людям, живущем в нем, и тем самым упреждают возможные недоразумения, ссоры-раздоры. Одним словом, выказывают явную на сей раз дружественность.

Сколько раз ни наблюдаю по телевизору подобную официальную процедуру, сколько раз ни слежу за этой гостевой обрядностью, столько раз и диву даюсь: неужто по неведению или забывчивости так делают?

Ведь раньше-то в соленицу хлеба не макали! Даже дома, за сугубо семейным столом. Чтоб крошки не оставались и не засоряли соль. Столь велико почтение было к ней! Ибо доставалась она людям, как известно из истории человечества, вовсе несладко.

Иной раз и нешуточный страх берет: может, высокопоставленные гости не просто подзабыли то, чему их научали от роду-племени, а мало-помалу утратили в донельзя оцивилизованной суете изначальное святое отношение к соли, какое свойственно было их предкам? И проделывают все без той же уважительности и священного трепета, какие охватывали пращуров, а стало быть — машинально. Тогда у них и хлеб — тоже ведь святость! — за солью не ходит, как говаривали в старину. И проку от таких правителей мало. Но они в своих особах сосредоточили веру и надежду многих людей, целых

народов, избравших их себе в поводыри. Вот чего страшно-то! За соотечественников, за родных и близких, за детей и внуков... И за себя, конечно.

Да, мы, дети войны, чье взросление проходило прежде времени, куда быстрее, нежели последующих поколений, — потому как происходило оно под свист пуль и вой снарядов, под взрывы бомб смертельных, под плач матерей над похоронками и отчаянные, безутешные слезы старших сестер, угоняемых оккупантами на подневольные работы в далекую и ненавистную фашистскую Германию, при виде расстрелянных и повешенных сверстников своих за малейшее нарушение оккупационного режима, — мы, еще тогда, в детстве, ставшие маленькими старичками, считай, отжили свое. И тут в самый раз, памятуя прекрасный отечественный фильм о гражданской войне «Белое солнце пустыни», горько, подобно разочаровавшемуся в социальном перевороте герою, обронить: «Мне за Державу обидно...»

Ведомо нам всем и то, что, к примеру, выражением в словосочетании «соль земли» определяется и поныне наиглавнейшее в чем-либо, сердцевину чего-нибудь, самую что ни на есть суть. И все так же остроту ума, остроумие, едкую насмешку мы оцениваем по их «солености». А сказать лезть — означает неизменное «солестить». Любопытно, что товарища или соперника по любви донедавна тоже определяли по «соли» — солубитель.

Да и житейские трудности меряем той же, соленой, меркой: «Ох, и солоно пришлось мне! — вздыхаем порой. — Так солоно, что прямо в пот бросило...» То бишь трудно, тяжело, обидно, горько... И наоборот: отошел, словно несолоно хлебавши.

В общежитейском обиходе и по сию пору часто можно услышать старинное, не утратившее своего первоначального смысла: «Он мне насолил». Или: «Насолил, еще и подсаливает иногда допреж». Либо хуже того: «Пересолил в деле». Не просто хватил лишку, а преступил запретную черту или нарушил дозволенную меру в каком-то общем деле, касающемся многих людей, их блага и судеб.

Не приведи Господь, если это окажется общегосударственное дело, а «солитель» — то ли президент, то ли премьер

правления, то ли председатель парламента, от которых зависит соблюдение прав человека, законности сообщества, всей национальной конституции! В таком разе дела каждого из нас прямо-таки швах.

В старую старину это было особое искусство — искусство солельщика!

Во всех, примером, рыболовных казачьих или бурлацких безоружных ватагах специально держали икорных солельщиков, так называемых рыбных солельных мастеров. Это уже были мастеровые люди, собственно говоря. Типа кузнецов, которые подковывали в походах коней, чтоб не сбили копыт и не захромели.

Домашние же хозяйки обладали и обладают не меньшим прадавним умением при засолке на зиму овощей — капусты, огурцов, помидоров, перца — и грибов. И солонины из зарезанных бычков и заколотых кабанчиков глубокой осенью, по морозцу, где-то под Рождество, когда кончался рождественский пост. И время для засолки требовалось выбирать соответственное: в полнолуние, скажем, соления нельзя было солить, вообще впрок ничего не готовить. Вон какую, почти космическую зависимость усматривали земляне в таком, казалось бы, нехитром деле, как соленье!

Потому-то, думается, и опаска относительно того, что не пересолили бы в своей неосмотрительной деятельности правители, не случайна. У них ведь как? Сыпанут со всего маху на сплошные раны в сегодняшнем безвременье — до неба взвоешь! Неровен час — и за топор или вилы кто-нибудь схватиться. А кому от этого несдобровать, известно. История надоумила: брат на брата в итоге шли, сами же кровью и умывались.

Заполучив опыт предков, и доньне пользуемся родовыми навыками.

Помнится, солонина висела подвешенная на чердаке до самой весны. И ее оттуда брали расчетливо, чтоб хватило до первых голубят на борщ. Последняя иной раз уже и душком отдавала, и ее подолгу варили, дабы истребить тот солоно-застарелый дух.

А рассолы в бочке для засола наводились мамой с особливим тщанием. Необходимо было, чтоб опущенное в рассол

сырое яйцо не тонуло насовсем, а показывалось на поверхности белым бочком размером с пятак. Ни больше, ни меньше! И по этому признаку на глаз определялась необходимая соленость.

По окончании всей засолки мама с усталой и вместе с тем радостной усмешкой приговаривала: «Хух, отсолилась, слава тебе... Теперь как-нибудь да перезимуем. Картошка есть, соленья есть. Из зерна муки в ветряке намелем. Из семечек набьем олии. А там и солонинка подспеет. Ну, а весной куры начнут нестись... И голубята пойдут... Э-э, не пропадем в долгую зиму!»

Это — при мире, при каком-никаком достатке, разумеется.

И вправду: у сельских жителей еда была немудрящая, натуральная, как теперь говорят, — картошка, соленья, постное масло, яйца, сало... Чего еще выдумывать? Лишь бы оно все было! Чтобы не довелось голодать, как в двадцатые, тридцатые, сороковые... Со счета собьешься!

Те же, кто жил близ рыбного по тем давешним временам Азовского моря и у кого был под боком даровой прокорм, обустроивали специальные соляные ямы, с деревянными срубками из тщательно пригнанных друг к другу бревен — для засаливания рыбы про запас, до следующей путины; сооружали и лари, где хранили вяленое солило.

Из того прошлого дошло до нас и понятие — посолонцевать. Но звучит оно с прежним смыслом — как полакомиться. Да еще, быть может, блюдо солянка напоминает нам о тех временах, когда еще не умели хранить ни свежих овощей, ни свежемороженой рыбы, ни мяса, когда без солки никак нельзя было обойтись. Ну, и еще — соленокислый огурец и солоноявленная, или солонопровеслая рыба. А был ведь и солоноквасный аржанчик, и солонопек-кулебка с соленой рыбой, и та же солонуха...

Заполучили мы с тех давних пор и опасливое, почти суеверное отношение к нечаянно рассыпанной соли — к ссоре! А когда-то просыпанной ненароком солью посыпали голову виновника, чтобы этим вроде бы шутейным наказанием отвести беду — упредить нечаянно-негаданный раздор. Еще и предостерегали: подавая соль — смейся, не то поссо-ришься!

Суеверное, считаем, предупреждение, а на поверку — множество стычек, и отнюдь не одного семейного характера, а и между племенами, народами и целыми государствами случилось из-за той соли. Она, как известно, одаривала людей и страны богатством и славой, из-за нее же возникали нештучные столкновения, даже войны. Поскольку по временам ее приравнивали не только к хлебу, а и к золоту, за которым спокон веков тянулся неизбежно бесконечный кровавый след.

Отсюда, надо полагать, и вытекало бережное отношение к соли, оно проступало во всей повседневности. С тех же, очевидно, умозрений считалось, что недосол на столе, а пересол на спине. И не по одной лишь причине испорченного вкуса, невозможности есть сготовленное, а и поспраивания исконной сельской бережливости. Добро — невзначай, по задумчивости. А если по расточительству, неоглядности? Или, не дай бог, по злему умыслу бухнул кто сверх всякой меры? И такое случалось. В особенности по отношению к куховарству нелюбимой невестки, на которую, допустим, из-за чего-то взъелись сестры ее мужа.

Пользуемся и мы давнишней, прапрадедовской наукой. И при засолке, и при чисто человеческих отношениях меж собой. На любом уровне — хоть домашнем, хоть государственном! Обладающий умением не «пересаливать», или «перебарщивать», все делать в меру, деликатно, с соответствующей долей «солености» и в острогах, и в мыслях, и в поступках, повсеместно считается вежливым, тактичным, разумным. Все едино, что избранным свыше, отмеченным милостью Божией. Остается только уповать, чтоб все это было присуще и политикам, и депутатам, и дипломатам — всем-всем, от кого во многом зависит и наша жизнь.

Нет, не напрасно для наших предков понятия хлеб и соль были нераздельны. И многозначщи. Без хлеба не сытно, а без соли не сладко — говаривали они. А то и проще: без соли и хлеб не естся. И были уверены, что хлеб-соль никогда не бранятся, а тем паче не враждуют.

Отношения и к хлебу, и к соли у них тоже были неразделимы: один глаз — на полицу с хлебом, другой — в солоницу.

Даже состояние своего хозяйства определяли в зависимости от наличия или отсутствия, или дороговизны соли: пошло

было дело на хлеб, мало-помалу стали-де разживаться, да соль своротила, дорога уж больно оказалась в тот или иной год. Или супротивное: помяни соль, чтоб хлеба дали. Потому и подносили гостям хлеб и соль в нерасторжимом единстве, как символ мира и согласия.

Слышал я в дедовском хуторе, затерянном в Межевских степях, немало и смешного о соли.

Поговаривали хуторяне, что кто соль любит, тот склонен к пьянству. И смешливые отговорки выпивох: ешь солоно, пей горько, умрешь — не сгниешь. А бабки, поднося молодому отцу новорожденного ребенка ложку каши, крепко сдобренную солью и перцем, присказывали: «Солоно и горько рожать. Знай и ты, мил-человек, какво было молодой матери явить на свет Божий твоего сына (или дочь)».

Дед, наблюдая, с каким ненасытным удовольствием мы уминаем посыпанные солью ломти хлеба и обмакнутые в постное масло, посмеивался: «И старая кобыла до соли лакомая».

Видел я, конечно, как мама готовила крапивную, отварную соль для дойных коров. И то, как клала в стойло кусок каменной соли — «лизунец». Даже сам однажды попробовал из любопытства лизнуть — и вправду серый камень был солон!

И посеючас ума не приложу, где же они раздобывали его в оторванном от цивилизации, таившемся в степной балке вдаль от железной дороги дедовом хуторке.

Тогда, понятно, я еще не знал, что соль бывает разная: самосадочная, то есть самородная, какая сама по себе оседает — нарождается в жаркую погоду (сухмень!) на дне соленых озер; поваренная, какую вываривают в чугунах, сковородах, чренах на неистовом — адском! — огне из рассолов, добытых из тех же соленых озер или из колодцев, в которых бьют солеродные родники; и, наконец, соль каменная, которая залегает пластами под землей и которую добывают либо ломкой, как встарь, либо шпурят, закладывая в проделанные отверстия взрывчатку и взрывают, а затем подбирают скребками автопогрузчиков или конвейеров, либо соледобывающим комбайном, если пласт не очень толстый и его можно выбрать подчистую.

А дед нет-нет да и подкинет загадку:

— Ну-те, грамотеи, отгадайте: в земле родился, в огне крестился, на воду попал — и весь пропал.

И посмеивался в усы:

— Слаба кишка? Тогда ось такое: в воде родится, а воды боится?

Деревенские ребятишки, те хоть знали разные травы, называемые то бабьей солью, то заячьей солью, то просто солонкой, растущей по окрестным балкам на белесых, сизоватых солончаках и солонцах, с проступившей на поверхности земли солью; по балкам пробивались родники, вода скапливалась в бочажках или у специально насыпанных запрудин, и в ней подолгу мокли приваленные камнями снопы конопли — прядива, из которого, загодя выбеленного солончатой водицей, мама потом зимними долгими тягучими вечерами прядла при свете коптилки на домашней прядке пряжу для домотканого полотна, чтоб пошить нам «сподное», то есть исподнее белье — на оккупированной немцами территории негде, да и не за что было купить нужной материи.

Мне хоть и родившемуся здесь, но вернувшемуся с матерью в хутор, к деду, более-менее надолго лишь с началом войны, дабы перебыть лихолетье немецкой оккупации, все вокруг было внове, и я словно бы заново открывал родной мне сельский мир, прежде только отрывочно знакомый по коротким гостевым наездам во время летних каникул. Теперь же прямо дохнул на меня своими неповторными приметами, суевериями, серьезными и потешными пересказами деревенских бывальщин и небылей, обычаями, приговорками... О той же соли, в частности.

На хуторе я впервые услышал и такое. Дед, перекрестившись после еды на святой угол, порошний донедавна, а при оккупации с водворенной им на прежнее место иконой, обмолвился как-то:

— Без попа, як без соли.

Самая ближняя церквушка, к приходу которой он принадлежал до революции по тогдашнему месту жительства, находилась за двенадцать или даже пятнадцать верст — в его родовой старинной слободе Ивановке на реке Вольчей, возникшей из запорожских поселений — давних дедовых пред-

ков-козарлюг. И туда он уже был не ходок. Да и моему отцу, «ражему» комсомольцу, одержимому на первых порах идеей всеобщего переустройства земного мира на иной лад, а после здорово разочаровавшемся в своем молодом рвении и усердии, дед убоился поднавредить, как я много позже понял, потому-то и от прихода отринулся, и иконку снял, припрятал подальше от недоброго глаза еще в начале сплошной коллективизации...

Оккупантов дед тоже не жаловал, хотя они веры и не отнимали. Зато отнятая свобода, считал он, сродни запрету на вероисповедание. Нет-нет, да и ворчал:

— Оцымы б руками задавив падлючу нимчуру... Щэ й голову видкрутив бы гэть!

И с опаской зыркал на нас — опасался, чтоб ненароком не сболтнули про этот его потаенный гнев.

Много лет спустя нечаянно-негаданно, по совершенно чистой случайности объявилась моя крестная мать, о существовании которой я раньше ни сном ни духом не знал. Очевидно, из-за той же утайки, что и с дедовой иконой.

Она рассказала мне о голодоморе в тридцатые годы на дедовом хуторе. О том, как у людей силком забрали все зерновые запасы — вымели подчистую до зернышка на общее, коллективное хозяйство. И люди пухли от голода. Вот тогда соль была и во вред — съест человек, бывало, щепотку с голодухи, чтоб утолить сосущую под ложечкой боль, и обопьется от жажды, весь так и сочится нездоровой водой: «Мерли, як мухи!» Оказывается, и я, годовалый малец, был, что называется на волоске: «Як смерть!»

Втайне от комсомолистого отца, который к тому времени «наче прозрив, будто снизошло на него с неба», и подался «на Донбасс» в надежде подзаработать там на какую-никакую еду и спасти семейство, дед велел моей родной матери и будущей крестной:

— Несить хлопця в Ивановку та перехрестить. Поки батька немає, бо буде крыку... Инакше помре мале. Не берить грих на душу.

Из слов крестной предстало воочию, как они с моей мамой тащили меня в весеннюю распутицу, держа путь через раскисшую Ивановскую степь напрямик, дабы скоротить дорогу,

с бугра на бугор, из балки в балку, выбирая места потверже вдоль лесополос, где совсем недавно еще лежали старые, зачерневшие сугробы и где рано поутру держался слабенький морозец, тащили по очереди, неся на груди впереди себя и согретья своим теплом, а временами чуть приоткрывали полы кургузых бекеш и давали засиневшему «мизинцу» (как называла меня, самого младшего из детей, мама) раз-другой хапнуть свежего воздуха, одновременно боясь, чтоб не захолонул вмиг.

Рассказывая, крестная мать то и дело всхлипывала, а мне было невдомек, отчего она печалится по прошествии стольких лет — ведь живой остался!

О том же, что довелось им пережить, пока несли меня туда и обратно, как солоно пришлось, как обливались с натуги едким потом и каких страхов набрались, дрожа за угасающую жизнь и винясь перед Богом, я поначалу, каюсь, не осознал до глубины.

А она сквозь слезы повторяла:

— У нас с устатку так тряслись руки, так тряслись, шо мы и в солило не попадали пальцами.

Об этом загадочном «солиле», помнится, и дед поминал во время оккупации. Нашу семью, скрывавшуюся у деда на хуторе, как семью директора школы в Донбассе и коммуниста, «заложил» в сельской управе односельчанин деда, с коим они оба были выходцами из слободы Ивановки и первыми заселяли этот хутор. После чего маму начали таскать полицейские в сельскую управу, выпытывать, где сейчас находится отец, и требовать, чтобы она дала расписку о том, что, если что-либо случится в хуторе противу оккупационной новой власти, семья наша будет первой в ответе. Тогда дед, помню, сокрушенно вздохнул, остервенело потирая коротко стриженую голову обеими ладонями:

— Омочивый со мноу в солило руку, той мя предаст.

Позже, гораздо позже я увидел ту церковную чашку с рассолом — тем солилом, о котором дед сказал словами Иисуса Христа, а затем и прочел те самые слова в Евангелии от Матфея.

Как вычитал впоследствии из Патерика, то есть сборника рассказов о жизни и деятельности святых и отцов церкви,

древнейшего, основанного еще в 1051 году, Киевского Печерского монастыря прелюбопытнейшую, а заодно и нравоучительную легенду, или скорее, притчу о соли. О том, что с нею и какой она бывает, когда попадает к недобрым людям, и наоборот — к тем, кто приносит людям благо.

Рука не подымается ни сокращать ее, ни пересказывать для краткости своими словами. Боюсь, утратит первоизданную художественную «соль». Да и магическое воздействие, какое ощутил на себе. А посему привожу ее почти полностью. В Киево-Печерском патерике она именуется так: «О чернце Прохоре, который молитвою из лебеды делал хлебы, а из пепла соль».

Было это в дни княжения Святополка в Киеве; много насилия делал людям этот князь, без вины искоренил до основания многих знатных людей и имение у них отнял. И за то попустил Господь, чтобы неверные имели силу над ним: многие войны были от половцев. Были в те времена усобицы и голод сильный, и во всем была скудость в Русской земле... и не было соли во всей Русской земле. Начались грабежи незаконные и всяческое неустройство. Как сказал пророк: «Съедающие народ мой, как едят хлеб, не призывающие Господа». И были все в великой печали, изнемогали от голода и войны, не имели ни жита, ни даже соли, чем исполнить скудость свою.

Блаженный Прохор имел тогда свою келью. И собрал он изо всех келий множество пепла, но так, что никто этого не знал. И раздавал он этот пепел приходящим к нему, и всем, по молитве его, превращался он в чистую соль. И чем больше он раздавал, тем больше у него оставалось. И ничего не брал за это блаженный, а всем даром давал, сколько кому нужно, и не только монастырю было довольно, но и мирские люди приходили к нему и брали обильно, сколько кому надо. Торжище опустело, а монастырь был полон приходящими за солью. И пробудило это зависть в продававших соль, потому что не получали они, чего желали. Они думали приобрести в это время большое богатство от соли, и вот если они прежде продавали по две меры соли за куну (пригоршня, горсть. — *И. К.*), то теперь и десяти мер за эту цену никто не брал. И сильно печалились они о том. Наконец поднялись все про-

дававшие соль и, придя к Святополку, стали наущать его против инока, говоря: «Прохор, чернец Печерского монастыря, отнял у нас многое богатство: дает соль всем, кто к нему приходит, никому не отказывает, и мы от того обнищали». Князю хотелось угодить им, и помыслил он, во-первых, прекратить ропот между ними, а во-вторых, себе богатство приобрести. Положил он со своими советниками, что цена на соль будет высокая, и сам князь, отняв соль у инока, будет продавать ее. Крамольникам этим он сказал: «Вас ради пограблю чернеца», — а сам таил мысль о приобретении богатства себе. Он хотел угодить им и только больше вреда сделал: ибо зависть не умеет предпочитать полезного вредному. И князь послал взять у инока всю соль. Когда привезли ее, он с теми крамольниками, которые наущали его против блаженного, пошел посмотреть ее. И увидели все перед глазами своими пепел. Много дивились все и недоумевали: что бы это значило? Чтобы узнать подлинно, князь велел спрятать на три дня привезенное из монастыря, но наперед велел отведать — и на вкус был пепел.

К блаженному же, по обычаю, приходило множество народа за солью. И все узнали, что старец пограблен, и, возвращаясь с пустыми руками, проклинали того, кто это сделал. Блаженный же сказал им: «Когда выбросят ее, вы придите и соберите себе». Князь продержал три дня и велел выбросить пепел ночью. Высыпали пепел, и он тотчас превратился в соль. Граждане же, узнав об этом, пришли и собрали ее. От такого дивного чуда ужаснулся сотворивший насилие: не мог он скрыть перед всем городом всего того, что было. И стал разузнавать, что бы это значило. Тогда рассказали князю, как блаженный кормил лебедой множество народа и как ели они из рук его сладкий хлеб; когда же некоторые взяли у него один хлеб без его благословения, то оказался он, как земля, на вид, а на вкус горек, как полынь. Услышавши это, устыдился князь сделанного им, пошел в монастырь к игумену Иоанну и принес ему покаяние. Прежде он имел вражду к нему. Игумен обличал его за ненасытную жадность к богатству, за насилие. Святополк тогда схватил его и заточил в Турове; но восстал на него Владимир Мономах, и он, испугавшись этого, скоро с честью возвратил Иоанна в Печерский монастырь.

Теперь же ради такого чуда князь стал иметь великую любовь к обители пресвятой Богородицы и к святым отцам Антонию и Феодосию. И чернеца Прохора он с этих пор весьма почитал и ублажал, так как знал его за истинного раба Божия. И дал он слово Богу не делать более никому насилия, и старцу дал он крепкое слово. «Если, сказал, по изволению Божию я прежде тебя отойду из этого мира, то ты положи меня в гроб своими руками, и да явится в этом твое беззлобие. Если же ты прежде меня преставишься и пойдешь к неподкупному Судии, то я на своих плечах внесу тебя в пещеру, чтобы Господь подал мне прощение в великом грехе моем перед тобой». С этими словами князь пошел от блаженного. Он же прожил еще много лет в добром исповедании, богоугодной, чистой и непорочной жизнью.

Наконец разболелся он. Князь тогда на войне был, и святой послал объявить ему: «Близок час исхода моего из тела. Приди, если хочешь, проститься со мной. И обещание исполнишь...» Услышав это, Святополк тотчас же распустил свои войска и пришел в монастырь. Блаженный же Прохор много поучал князя о милостыне, о будущем суде, о вечной жизни, о будущей муке; потом дал ему благословение и прощение, простился со всеми бывшими с князем и, воздев руки к небу, испустил дух. Тогда князь взял тело святого старца, понес в пещеру и вложил своими руками в гроб. После же погребения он пошел на войну и великую победу одержал над врагами своими, агарянами (арабы, мусульмане, по библейскому сказанию, имени прародительницы арабов Агари. — *И. К.*), и взял всю землю их и множество пленников. И была это в Русской земле богом дарованная победа, предсказанная блаженным. С тех пор Святополк, шел ли на войну, или на охоту, всегда приходил в монастырь... входил в пещеру для поклонения... блаженному Прохору... и тогда уже шел в путь свой. И берег Бог княжение его. Сам будучи свидетелем, он открыто возвещал о преславных чудесах и знамениях Прохора...»

Добавлю лишь, что эта сказочно-легендарная история включала в себя исторические реальные события прошлых времен. В ней, как и в других рассказах Киево-Печерского патерика, Александр Пушкин находил «прелесть простоты и

вымысла». В 1103 году русские князья, объединившись, а с ними и Святополк Изяславович, нанесли сокрушительный удар без конца терзавшим их своими внезапными набегами половцам. Это-то и имел в виду летописец, говоря о победе Святополка.

Что ж, история о соли, как видим, не утратила поучительного назидания и в наше время. Почаще бы ее перечитывали власть предержавшие.

Соль! Она и впрямь все же больше единила людей, нежели разъединяла.

Не случайно, думается, она на многих языках звучит одинаково, как и слово «мать»: хоть на русском, хоть на украинском, хоть на белорусском, хоть на сербско-хорватском, польском, латышском, литовском, испанском, даже на древне-латинском, не считая многих других...

И недаром говорится в народе: «Я с ним пуд соли съел». То есть сообща и лиха-беды хлебнул, и радостей повидал. А еще и переиначили известное «прошел огонь и воду» на «прошел Крым и Рым, и медные трубы...» По всей видимости, «прошел Крым» как раз и означало ходить гужом, на возах и гуртом по опасным степным безлюдным шляхам в Крым за солью, нередко рискуя самой жизнью. Во всяком случае, хочется так полагать.

В старую старину крымская соль была самой близкой для славян, заселявших Дикое Поле, и для казаков Запорожской Сечи, которые вели торги с Крымским ханством — меняли хлеб на соль, на рыбу, — и для казаков Дона. Она и самой дешевой была, поскольку — самосадочная. Парит солнце знойно, вода испаряется, а соль сама по себе оседает на дне Перекопских, то бишь Сивашских, и Кафских (Феодосийских. — *И. К.*) озер, а ты потом знай выгребай ее без лишней мороки.

Доставляли же ее оттуда солевозцы, прозванные в народе чумаками.

Солевозничать было делом и трудным, и опасным о ту пору. Без солевозов и промысел заглох бы: сбывать-то соль никак невозможно в должном количестве. Да и люди, ждущие той соли, повымерли бы, исчезни она из еды. Посему чумаки всюду были желанны, их ждали-выглядывали с нетерпением.

Однако и с недоверием и настороженностью одновременно относились к ним — как, по судам-пересудам, к ненадежным женихам и мужьям из-за их кочевого пристрастия. Бралась в расчет прежде всего их склонность к загулам в какой-нибудь попутной корчме, где они, случалось, спускали весь свой прибыток — вплоть до копейки из подзаработанных продаж соли деньжат, а то и волов горазды были заложить под выпивку и пустить свое семейство по миру. Если, не приведи господь, домашнее хозяйство не выручит. Но дома, как правило, ждали чумаков куча детей с женой, которые в большинстве своем концы с концами не сводили. Вся и надежа разве что на отца-хозяина. И беда, если он ударялся в безоглядный дорожный загул — под стать запорожским казакам!..

Не скидывался со счетов, понятно, и смертельный риск, коему чумаки подвергались в пути от разбойников и кочевников, которые могли не только ограбить, но и в полон угнать или посечь прямо на месте, когда силой превзойдут, да еще когда чумаки окажут отчаянное сопротивление.

Раз уж так важны были в истории солеперевозок чумаки, то не лишне, думаю, хотя бы бегло упомянуть и о том, что же означало в те давнишние времена чумаковать, чумачить.

В судьбах чумаков переплелись и ярко отразились — как в устном народном творчестве, так и в письменном — пожалуй, вся история соледобычи в Украине и история воинственной Запорожской Сечи, а стало быть — и всего Донецкого края: и что касаясь обживания его степей, и что касаясь обнаружения соли в недрах кряжа, в его ручьях и озерах, и последующего возникновения солепромыслов.

Думается, тут поначалу лучше всего предоставить слово авторам, написавшим, на мой взгляд, наиболее обстоятельный, с глубокой предысторией труд о соли земли донецкой — В. П. Горшкову и А. Е. Грищенко:

«Большая часть соли на Украину поступала из крымских озер и лиманов, где соль добывали уже много веков до нашей эры.

В роли купцов в Украине выступал особый класс людей из вольных казаков, мещан и зажиточных крестьян-чумаков...

В качестве транспорта чумаки использовали «мажи», или «паровицы» — большие чумацкие возы и «полубцы», такие же возы, только крытые сверху от непогоды, запряженные волами, по паре в каждый воз. Для перевозок при отсутствии всякого удобства в дороге и при весьма тяжелой поклаже трудолюбивые, выносливые волы были незаменимой тягловой силой.

В начале весны чумаки собирались в длинные «валки» и, взяв для дороги «харчи» — пшено, хлеб, сало, гречневую крупу и необходимые кашеварные принадлежности, «рушали» в далекий путь. Валкой управлял сам «бацько-атаман» — человек опытный, бывалый, знавший дорогу, умевший предотвратить опасности и избравшийся всей артелью. Он указывал путь, поднимал чумаков в дорогу, останавливал для отдыха, определял ночных и дневных сторожей, разбирал ссоры между «ватажаками» и заботился о предотвращении внезапных нападений со стороны разных «харцызов» (бродяг-воров. — *И. К.*). Для безопасности чумаки запасались «рушницами» и длинными «списами»... В случае внезапного нападения всякого рода «хищников», чумаки тотчас же делали из своих возов табор и под руководством артельного атамана отбивались от злых людей.

...С такими опасностями они добирались до Перекопской башты, где их поджидали крымцы, потому что чумаки приносили большой доход казне крымского хана. Начиная еще с 1540 года, по договору Сигизмунда Августа с крымским ханом (в «Истории Украины-Руси» Николая Аркаса указывается несколько иная дата — 1548–1572 годы — правления этого короля в Речи Посполитой. — *И. К.*) разрешалось торговым людям (чумакам) свободно брать соль в Хаджибее, Перекопе и Кафе, уплатив «мыто» крымскому хану. Поэтому ханские надсмотрщики не только заботились о возможно большем вывозе соли из Крыма, но и заблаговременно извещали о том в Запорожский Кош...

Дойдя до ворот Перекопской башты, чумаки платили за каждую мажу «баштового» сбора по 70 копеек без различия величины возов, после чего въезжали в город, потом на озерах нагружались солью, платили хану или его откупщику за целый воз соли по 5 рублей, а за половинный — 3 рубля. (Ввиду того, что величина возов опять не бралась в расчет,

ловкие да смелые чумаки примудрялись нагружать возы вдвое, втрое больше обычного, как бы сдвоенные или строенные, а за пределами Перекопской переправы — специально вырытый ров — разделяли груз поровну в более мелкие и удобные для дороги возы. — *И. К.*)

Добыча и продажа соли производилась на озерах: Козловском, Перекопском и Керченском.

...Кроме того, у запорожских казаков был свой соляной промысел в Прогноях, расположенных на берегу Днепровского лимана.

Отсюда из гнилых озер песчаной Кинбурской косы чумаки тоже вывозили соль.

Загруженные мажи, миновав Перекоп, снова попадали к запорожским казакам, которые вновь взымали с них плату за переправы и вновь оказывали гостеприимство. Из Запорожья чумаки двигались — кому куда нужно было для распродажи товара.

Небольшая часть соли на Слобожанщину (Слободскую Украину. — *И. К.*) поступала из Польши (поэтому, должно, и Галиция, Галич, поскольку тюркоязычное слово «гал», по утверждению этимологов, также означало соль. — *И. К.*) и из «соляной столицы» Руси — Соликамска.

Вне сомнения, чумаки-солевозцы были и первопроходцами одичавших после монголо-татарского нашествия наших степей, и столь желанными всюду людьми.

И тогда, и много позже.

Покуда не построили во второй половине XIX века в Донском крае Курско-Харьковско-Азовскую железную дорогу.

Степные шляхи на когдашнем Диком Поле, по которым чумаки развозили крымскую соль, зачастую так и прозывались — Соляными.

Правомочно предположить, что чумацкая соль вошла и в отчую топонимику: неподалеку от устья Оскола в Северский Донец впадает Солонецкий Яр, а в сам Оскол — речка Соленая, в левый же приток Донца реку Красную с обеих сторон входят в ее берега балки Солоня и Соленая, на водоразделе с Казенным Торцом и Волчьей берет свое начало речка Соленая и, вобрав в себя малоприметную, часто пере-

сыхающую речушечку Соленькую, скатывается по западному склону Донецкого кряжа, пока и сливается в Межевской стороне, близ Ивановской горы с рекой Волчьей. А в Сухие Ялы, левый приток Волчьей, втекает Солонка, которой уже и на карте-то нет... Все они так или иначе обозначают древние Соляные, то бишь Чумацкие шляхи.

А была ведь, по заверениям ученых мужей, еще и исчезнувшая вовсе с лица земли речка Сольница, которая якобы впадала в Северский Донец где-то между Изюмом и Мокрым Изюмцем, там, где Изюмский перевоз на Муравском шляхе.

Ну, с последней, по утверждению тех же историков, связано и более давнее событие — поход князя Игоря в «страну незнаемую», «дикую степь», прозванную впоследствии, после опустошительных набегов монголо-татар, Диким Полем. Вроде бы он в том месте как раз и перешел Донец, прежде чем устремиться навстречу кочевым неприятелям. Тогда, может быть, и упоминание в летописях о том, что воины Игорева войска не могли ни сами напиться, ни коней напоить из-за того, что вода в реке была соленой, относится и к этой речке, не только к Торским соляным озером или какому-нибудь еще солеродному источнику на Донецком кряже, прозванным обобщающе — Каялой? Рекой славянской беды, коль скоро разобщенные киевские князья терпели в то время, начиная с 1185 года, поражение за поражением.

Лишь после того, как в нашем крае стали вываривать соль на Торских соленых озерах, близ устья реки Тор, а затем и из рассолов, добытых в Бахмутских колодезях с солетворными родниками, для чумаков настало какое-никакое облегчение. Путь-то их намного укоротился! И был куда безопаснее! Ибо — уже под защитой царских военных острожков-сторож и сторожевых казачьих постов, займищ и их курганно-степных дозоров.

Облегчение, естественно, пришло и тем, кто просто обживал до поры почти безлюдные земли Дикого Поля.

Да и жизнь здесь, ровно бы сама по себе, оживилась вообще, едва стали в открытую заниматься солепромыслом охочие люди.

Так что соль, найденная еще нашими давними пращурами в донецкой земле и затем освоенная как белая «земля»

их потомками, зародила, по сути, и первую промышленность Донбасса, она же вызвала необходимость и поисков угля.

Соль земли донецкой! Ее поиски, ее добыча и владение нею были не менее трагичны, чем вся прошлая история Донецкого края, а равно и всей Украины. И, как всегда, беды приходили не только от завоевателей-кочевников, то и дело разорявших самодельные, кустарные промыслы соляные, а и от разногласий, всяческих «земельных» раздоров из-за права на нее между самими славянами.

Праведно сказано: дорожи щепоткой соли! Щепоткой, роднящей людей.

Помни о прапрадедовской хлеб-соли, которая ставилась во главу святого угла и на которую молились, как на икону, считая и хлеб и соль священными!

Затерялись, сгнули в бездне прадавней минувшины имена и фамилии тех, кто впервые открыл соль в Донецком крае. Наверняка ее обнаружили и пользовались ею еще до нашей эры — как пришлые кочевые племена, так и тогдашние славянские первопоселенцы, пытавшиеся в незапамятные времена обжить этот вольный, богатый на ничейные земли простор, с его сочными выпасами, реками с доброй водой, забитых рыбой, как и Азовское море, и затишными буераками и лесами, полными зверя и птиц. Разводи и выпасывай скот, занимайся рыбальством, охотой. Что еще нужно? И хлеб, разумеется, сей. А солевая приправа — под рукой.

И помогли пращурам в ее открытии, думаю, перво-наперво изюбры, дикие кабаны, косули, тарпаны, водившиеся тогда в дикой степи в неисчислимом количестве и приходившие «полакомиться», «посолонцевать» на солончаки, засоленную почву с большим содержанием минеральных солей в поверхностном слое, солонухи, на соленые ключи или речки, несущие соленую воду, на солотвину, а по-украински — солотву, то есть соленое болото. Несмотря на то, что, как поется в ироничной песне — «это ж просто соль без запаха», они чуяли ее на далеком расстоянии и торили к соляным истокам звериные тропы, тем самым подсказывая человеку, где же они сокрыты и насколько полезны, нужны и для человеческой жизни. Пожалуй, это касается и каменной соли,

несмотря на то, что ее пласты залегают глубоко. Легенда о «лизунце» — сером камне в гадюьем земляном вырее — тому намек...

Со временем, правда, тот же человек, беспамятный или неблагодарный, охотясь, стал устраивать и искусственные соляные приманки для зверя, указавшему ему верный путь к ничем незаменимой в его житье-бытье соли, и сражал его из засады, с близкого расстояния, наповал.

По свидетельству Киево-Печерского патерика, пускай и в виде легенды или притчи, однако ж основанной на таких действительных событиях того времени, как голод и бессолье в Древней Руси, можно заключить, что соледобыча была одним из наиболее ранних промыслов нашей Державы. Как и то, что она явилась предтечей промышленного освоения нашего региона, впоследствии прозванного Донецким бассейном, когда в Донецком кряже, в его глубинах нашли, помимо торской и бахмутской соли, еще и угли, железные руды, редкие глины, ртуть, строительный камень — известняк — и медь, и даже изумруды... О войнах, этих извечных движителях любого прогресса, здесь говорить нет никакой охоты. Хотя соль и порождала их, с другой стороны.

Официально же о найденной в нашем крае соли упоминается по одним историко-краеведческим источникам — якобы в XIII веке, по другим — в XVI, когда при Иване Грозном вроде бы появились первые поселенцы на речке Бахмутке — солевары.

Кстати, современные геологи считают, что и Бахмут, и Тор — это все единая Бахмутская котловина, простирающаяся едва ли не до правого берега Донца как остаток залива древнейшего Пермского моря, а географы склонны выделять еще и Славянскую долину.

Вероятно, правы и те, и другие. Нас же интересует в первую очередь иное: когда, кто и как затеял соледобычу на Донецком кряже? То, что послужило толчком всему последующему развитию нашего региона — славного, могучего, авторитетного во всем мире — по имени Донбасс.

Наиболее достоверным свидетельством об обнаруженных соляных озерах в нашем крае считается Книга Большого Чертежа, в коей детально и конкретно описана карта, состав-

ленная в 1627 году: «А в Большой Тор пала река Торец, от Донца версты 4, а на устье озера соленые».

Предполагается, что и более ранний был Чертеж: «...царь Иоанн IV Васильевич в 1552 году велел землю измерить и чертеж Государства сделать». Да он не сохранился. И упоминались ли в нем Торские озера, остается только гадать.

Зато и Тор, и Бахмут поминаются в 1571 году — в «Росписи Донецким сторожам...», когда была организована на южном тогдашнем порубежье России сторожевая пограничная служба из семи сторож. Две из них впрямую касаются нашей земли: Святогорская и Бахмутская. В росписи для Святогорской поминается устье Тора. А сторожевикам Бахмутской, хотя она располагалась на левом берегу Донца, предписывалось присматривать и за правобережьем, и они конными дозорами забирались вверх по Бахмутке до так называемых Девяти Курганов и сторожили за потаенной мимоезжей ханской сакмой, по которой хан из Крыма ходил аж на Астрахань, в свою вотчину. Мало ли чего? Не свернул бы попутно со своим войском и к русским пограничным рубежам.

Ведали ль сторожевики о соли в охраняемом ими крае, тоже неизвестно. Лишь предположительно можно сказать, что наверняка и ведали, и пользовались. Народу ведь нашему в сметке не откажешь! Они и в ратном деле знали толк, и землю понимали.

Солевой добыток в Донецком крае оказался куда сподручнее, выгоднее и дешевле, нежели в Крыму, хотя здесь соль, в отличие от «крымки», была и не самосадочная — ее доводилось вываривать из озерных и колодезных рассолов.

Пожалуй, хотя бы вкратце, а стоит сказать об этих непривычных для славянского слуха названиях — Тор и Бахмутка, а стало быть, и Бахмут.

Первое имя — и для реки, и для соленых озер — вроде бы досталось в наследство от племени торков, или гузов, кочевавших в этих пределах еще IX—XI веках. Оно же поминается и в Ипатьевской летописи о трагических событиях 1185 года: «И пойдя каждо по своя вежа... Игор ел торголове муж именем Чилбук...» То есть, летописец, если учесть, что монгольское «голова» произошло от монгольского же «гол» —

река, очевидно свидетельствовал следующее: «Игоря взял муж именем Чилбук с реки Тора».

Относительно же названия другой «соленосной» реки — Бахмутки и возникшего в связи с соледобычей на ней Бахмута бытует среди местных историков и тех же краеведов несколько предположений.

Ну, во-первых, слово «бахмут», считают они, походит от татарского или турецкого имени Махмуд, несколько видоизмененного на славянский лад — Махмут, имени одного из сыновей крымского хана Менгли-Гирея, якобы погибшего в одном из походов в Дикое Поле.

Потом — название это вроде бы могло произойти и от татарской породы лошадей — бахмутовской, или бахматской, отличавшейся длинными хвостами и свисавшей чуть ли не до земли гривой. Не тарпаны ли? Порода диких лошадей, обретавшихся в диких степях и, возможно, прирученных, обьезженных кочевниками или местными степняками. Поди знай!

Предполагается также, что название возникло от последнего хана Золотой Орды Ахмата и его улусов, расселившихся во второй половине XV века по Северскому Донцу, ближе к устью.

А еще существует и легенда о дочери половецкого предводителя Бахмета, которая безоглядно полюбила местного пастуха. Но отец воспротивился этой любви, послал бедного пастуха со своей дружиной завоевывать тот же мир, о ладе и покое которого не однажды пел пастух. В одной из стычек пастух погиб. И тогда дочь Бахмета прокляла отца, пославшего его суженого на верную гибель, а сама бросилась в бездонный яр, заросший до темени лесом. Бахмут-хан так и не отыскал ее.

Прошло какое-то время после разыгравшейся здесь трагедии, и в том яру проклюнулся солеродный родник — вода в нем была солоната от слез дочери хана, которая и там, в подземелье, неутешно оплакивала своего любимого горькими, солеными слезами.

Оттого-то и прозвали-де народившуюся речушку Бахмуткою, а отсюда и — Бахмут.

Кто ж теперь дознается в точности, как оно на самом деле было? В чью честь или память нарекли сим именем речку.

Так или иначе, а прижились на донецкой земле, искони славянской, эти нездешние названия — и Тор, и Бахмутка с прадавних пор. И стали неотъемлемыми, неотторжимыми от нашей древней истории. В том числе и истории солеварения в Донецком крае.

Попервоначалу, насколько известно из скурых исторических документов, варить соль на Тор приходили охочие и беглые люди. Приходили посезонно — с весны до осени. Поднаварили, сбывли лишек, помимо того, что оставляли себе на потребу, подзаработали за проданную соль малость деньжат — и айда по домам, зимовать в домашнем тепле да уюте.

Беглых, правда, — то ли крестьян, то ли солдат, — отлавливали по цареву указу, возвращали на место и наказывали.

Так, беглый сын некоего пушкаря из Рыльска показывал на учиненном ему допросе, что он вместе с другими беглыми варил соль на Торе уже с 1619 года. Вона когда!

Подобные этому официально зарегистрированные сведения тоже касаются либо беглых, либо просто охочих людей и относятся к последующему времени — 1620–1622 годам.

Забивался сюда люд из Белгорода, Воронежа, Ливен, Ельца, Курска, Валук, Чугуева, Оскола, Изюма...

Спустя некоторое время дошлые и сметливые сезонные солевары, видя, что соль может приносить добрый доход и достаток, начали возводить подле Торских соленых озер свои неказистые жилища и оставаться здесь и на зиму. Спешно, друг поперед друга возводили постоянные солеварни, а попросту — варницы, схожие с казачьими куренями или русскими курными избами, баньками «по-черному», без дымоходов — «черные», вмazyвали казаны или сковороды в тут же, посреди избы, сооруженные печи, разводили огонь из дров, нарубленных в окрестных лесах, а в казаны заливали рассол соляной, добытый либо прямо из озер, либо из рядом выкопанных колодезей.

Украинский поэт и этнограф, монах и путешественник Зиновиев Климентий, или Климентий, сын Зиновия, продолжая демократические традиции украинской литературы, заложенные еще в XVI столетии Иваном Вышенским, и посвящая свои произведения в основном «работному» люду, так

описывал процесс солеварения, подсмотренный им, скорее всего, в Торе:

*Сотце бе ведер вскинет
На бочку соли воды
И дрова печ вергая
Натерпится беды.
А беспрестанно треба
И недосыпати
И жеб не пригорела
Сковорода пилновати.*

Желающих солеварничать оттого, что добыток был считай даровым, становилось все больше и больше. На Торские озера тянулись люди и из России, и изо всей Левобережной Украины.

Татары нападали на них, беззащитных, разоряли варницы, жгли жилища, а солеваров угоняли в полон. Особенно когда Крымом завладела Турция, сделала Крымское татарское ханство своим вассалом. И ей, много воевавшей со всеми своими соседями, требовались гребцы на галеры — большие деревянные гребные военные суда. Туда попадали и торские солевары, и запорожские казаки. Каким же неласковым было для них Черное, некогда Понтийское, море, этот Понт Эвксинский, означавший на греческом языке — гостеприимное море! Прикованные к галерам цепями, они все гребли и гребли, а сердце тужило по родной украинской земле...

Противу татар солевары, занятые мирным трудом, мало чего могли противопоставить. Те ведь сызмалу приучались воевать. По словам литовского дипломата и писателя Михалона Литвина, издавшего в 1615 году в Базеле свои мемуары после поездок в Украину, Россию и Крымское ханство, для этого «... матери их ежедневно купают в соленой воде, чтобы сделать кожу грубее и менее чувствительной к холоду на тот случай, когда придется переходить реки вплавь в зимнее время. Все они храбрые воины, крепкие и выносливые, легко переносят усталость и непогоду, ибо начиная с семилетнего возраста, когда они выходят из своих «контар», т. е. двухколесных кибиток, они спят не иначе как под открытым небом и даже с этих лет никогда не получают пищи, пока не собьют

ее стрелою из лука. По достижению двенадцатилетнего возраста их отправляют на войну».

Так что и противостоять-то им было нелегко. Да еще плохо, так-сяк вооруженным солеварцам и солевозцам.

А татары все чаще, все дальше и глубже устремлялись по Муравскому, Кальмиусскому и Изюмскому шляхам. И тогда царь Михаил Федорович повелевает «от татарские воины поставить города и острожки жилые и стоялые и всякие крепости учинить и в острожках устроить» на этих шляхах, «чтоб тем у татар в Русь проход отнять, а православных крестьян от войны, от разорения и от полону заступить...»

Острожек, который сперва был обустроен, вдобавок к тем семи, что находились в Белгородской линии на левобережье Северского Донца, по правому берегу неподалеку от Торских соленых озер и назывался Маяцким, все же был мал, отдален и слабо защищал торских солеваров. И тогда вслед за Маяцкой начинают и заканчивают в 1645 году, уже при царе Великом князе всея Руси Алексее Михайловиче, крепостцу и на соляных озерах, которую так и поименовали — Тор. И сторожить солеваров велено было белгородским и чугуевским «воинским людям». Об этом известно из донесения царю чугуевского воеводы: «В 1647 году ноября 3 посланы были чугуевские казаки, пятидесятник Афонька Карнаухов с товарищи 20 человек на сторожу на Торское городище». В ближайшие последующие годы тем же князем Алексеем Михайловичем предписывается воеводе Федору Николаевичу Хлопову посылать на Торецкие озера по 30 человек чугуевцев ежегодно, чтоб солеварение не прекращалось.

Да и неудивительно: ведь даже с частных солеваров шел доход в государственную казну. А тем более, что по завершении строительства крепости начали строиться и казенные солеварни. И к 1664 году там уже было 100 казанов, в которых вываривали для государства соль всякие «работные люди», днепровские казаки «черкасы» и служилые люди. Для промысла призывались и жители окрестных слобод, так называемые «приписные» крестьяне, которые обязаны были перевозить своими подводами и своей тягловой силой вываренную соль из Тора в Белгород и далее, в разные русские города.

И дело заладилось. Тысячами пудов измерялась вскоре добыча и переправка тогдашней соли.

Сбылось, сбылось то, о чем мечтал сметливый житель Валуек Поминка Котельников и о чем писал в Москву, сообщая, что еще летом 1625 года варил соль на Торе и дважды видел татарские небольшие отряды, которые прогоняли солеваров, грозили полоном или смертию. Поминка подсказывал даже в том письме: хорошо бы, дескать, поставить на тех Торских соленых озерах острог и завести казенные варницы, от чего государству была бы только выгода.

Понятно, татарам эта крепость, выдвинутая еще дальше на юг от всей Белгородской линии усторожевых укреплений, была как бельмо на глазу или, точнее, кость в горле. Они стремились стереть ее с лица земли вплоть до первой половины XVIII века. И не раз разоряли ее.

Однажды, правда, досталось и татарам. В 1660 году, когда их надвинулась несметная сила, местные оборонцы, поддержанные подоспевшими казаками из Ахтырки и русскими воинскими людьми во главе с полковником Гладких и острогожскими казаками под командованием Дзинковского, не только дали достойный отпор, а и преследовали их до верховьев Кальмиуса, где и разбили большой отряд ордынцев, вооруженных даже осадными припасами, многих взяли в плен, а заодно и освободили около семисот человек, угнанных ими из посада, то есть тех, кто находился вне крепостной стены Тора, в торгово-ремесленном пригороде Соляного городища.

Однако в 1668 году татары все-таки сожгли Торскую крепость дотла.

А тут еще, словно стихийное бедствие, вызванное, впрочем, усилением крепостного права в России, всколыхнулась смута в народе, переросшая в крестьянскую войну под предводительством донского казака Степана Разина. Переметнулась она и на Слобожанщину — здесь ее возглавил Алексей Хромой. И к нему, под его начало, ринулись солевары, выходцы из бедных крестьян. Они разбили царские гарнизоны в Маячке, Цареборисове, Чугуеве, Змиеве, продвигаясь на Харьков. Но царские войска все ж взяли верх. И жестоко расправились с повстанцами — их подвешивали за ребра

крючьями на Г-образных виселицах — «глаголицах» — для всеобщего обозрения. Вскоре казнили — обезглавили — на Красной площади и самого Стеньку Разина.

И варка соли, заглохшая надолго, мало-помалу стала возрождаться.

Через каких-нибудь пяток лет был достигнут прежний уровень, а затем и превзойден едва ли не в два раза — и выварки, и вывоза соли.

Укреплен был основательно и Соленый, или Соляной городок: обнесен острогом — крепостной стеной из вкопанных вплотную друг к другу и заостренных кверху дубовых и сосновых столбов, возведены в несколько венцов рубленые сторожевые башни, окопан глубокими рвами и обставлен на отдалении закопанными глубоко в землю надолбами в несколько рядов. Ибо набег татар не прекращались, они по-прежнему были помехой и непрерывному солеварению, и необходимому подсобному земледелию, скотоводству.

Увеличилась и собственно охрана солеварных промыслов на Торе.

Но беды, как известно, не ходят по одиночке. Пал неурожай в 1698 году, а в следующем — начался голод, а потом и чума. А за год до всех этих напастей и татары здорово порушили солепромысел.

Уцелевшие жители потянулись из Тора на речку Бахмутку, где к концу XVII века уже были освоены донскими казаками обнаруженные там неизвестно кем соленые родники и озера. Поначалу они лишь наездами, в летнюю пору, вываривали здесь соль, а потом и селиться начали. Об этом, о новой своей оседлости, донские казаки писали и Петру Первому: «... на речке Бахмут, через которую лежит путь к Троицкому (крепость в заливе Таганый Рог, впоследствии названная Таганрогом. — *И. К.*), на новой большой дороге верховые их казаки учили селиться и учинили себе от неприятельского приходу крепость — город построили. Соль на Бахмуте варили и от неприятеля отпор делали...»

Хотя наличествует среди архивных документов той поры и такое свидетельство некоего подканцеляриста Василия Вершлева, обозначенное как «доказательство о городе Бахмуте: «...торский казак Бирюков на речки Бахмуте произыскал

соляные воды и для осторожности построена была крепостца острогом от командира князя Ванбульского...»

Видя, какой прок от новых соляных промыслов, на них посягнул полковник Изюмского полка, царский ставленник Федор Шидловский.

В жалобе бахмутских казаков царю говорится о том, что они с 1699 по 1701 год уже местожительствовали здесь, основав укрепленную слободку, «...где они почали соль варить» и «построили на той речке Бахмутке городок с плас-товым лесом и в том городке жили два года...», и что в 1701 году Изюмского полку наказной полковник Андриевский и сотник Данилов «...новопостроенный их казацкий городок с жилищами разорил до основания и пожитки их казацкие от полчан разграблены и соляными их казацкие завладели, и их казаков с того поселения с бесчестием и зругательством согнал, похваляясь смертным убийством».

Шидловский в письме государю поспешил оправдать действия своих подчиненных: «...у тех соляных (Торских) озер для опасения от неприятельских людей построен соляной городок Тор и призваны на житье черкасы, и живучи в том городе, служили в Изюмском полку компанейскую службу... а в прошлом, 1701, годе те Торские жители обыскали место в дачах Изюмского полку на речке Бахмуте, где соль варить прибыльнее торского, и с того городу Тору без твоего Великого Государя указа перешли жить на ту речку Бахмут, также и с Тору ж Изюмского полку из городов и иных черкасских полков жители черкасы перешли в то место жить многие также и русские всяких чинов служилые люди и беглые помещиковы люди и крестьяне многие ж и, живучи самовольно, службы никакой не служат, и тебе чинится не послушны, а тот де старый городок учинился пуст и нашей Государевой службы в компанейцах и в помощниках учинился урон великий и от самовольного их житья украинным городам от неприятельских людей великое опасение, потому как де торские жители были в Изюмском полку и они над неприятельскими людьми в поисках и на охране те украинных городов на отпор по приказу были всегда послушны, а ныне от тех самовольных жителей оберечи украинных городов невозможно...»

Шидловский одновременно, подчеркивая угрозу татар, невозможность дать им достойный отпор из-за сложившейся ситуации, оправдывал и свое своеволие.

Чтобы хоть как-то примирить изюмцев и донских казаков, царь издал указ от 31 апреля 1702 года: «Бахмутски жителей, русских людей — ведать торскому приказному человеку, а черкас (казаков с Днепра. — *И. К.*) — полковнику Изюмского Полку Шидловскому». А заодно, спустя несколько месяцев повелел: «...пристойно в том месте Бахмут построить крепость».

В том же году была направлена царем грамота-указ Белгородскому генералу князю Ивану Михайловичу Кольцову-Мосальскому о необходимости сделать перепись населения в Бахмуте и опись всех построек.

Сперва в Бахмут был послан поручик Петр Языков. Он засвидетельствовал, что «на новопоселенном месте на речке Бахмуте... черкас Изюмского полку, торских и маяцких жителей 112 человек, донских казаков 2 человека...» Всего два осталось после разгрома, учиненного год тому шидловскими подчиненными!

Любопытно и описание тогдашнего солепромысла на Бахмутке: «У тех у всех жителей 29 солеваренных колодезей, 49 дворов, 49 изб, 11 анбаров, 48 куреней и землянок».

Солеварение быстро набирало темп. Буквально через два года капитан белгородского полка Григорий Скурихин, которому было велено повторно сделать «описку» тех мест, уже свидетельствовал о построенной крепостце, или городке укрепленном, о появившихся 9 кузницах и 140 сковородах у солеваренных колодцев, из которых ведрами черпается необходимый рассол, да еще 30 сковород, принадлежащих не изюмцам, а людям всяких чинов из разных городов».

Следует оговориться, что в отличие от торских бахмутские рассолы находились гораздо глубже и для их добычи доводилось рыть настоящие колодцы, а чтобы пресная вода не попадала в них, скажем, при ливнях или паводках, обкладывали и изнутри, и с поверхности бревенчатыми срубам, а поднимали ведрами с помощью обычного колодезного коловорота, так называемого журавля. Выпаривали же, как и на Торских промыслах, в сковородках, или чренах, а то и четы-

реугольных чанах, но уже не в казанах. И с помощью все тех же дров, для чего нещадно вырубывались окрестные леса, и за ними ездили почти что до самого Северского Донца.

Зато солкость бахмутских рассолов по сравнению с торскими была намного крепче! Оттого «наварок» ощутимее. А посему и цены на бахмутскую соль значительно понизились — до 10—15 копеек за пуд.

В 1704 году царевой грамотой было отдано право полковнику Изюмскому полку Шидловскому ведать не только острожком в Бахмуте, а и соляными промыслами и поселением тамошним, описав их для казны.

После чего недовольство вытесненных из Бахмута донских казаков и вовсе возросло.

На Торских солепромыслах такого противостояния не было. Там солевары претерпевали иную несправедливость — со стороны местных управителей. Когда солеварение малость ободрилось и пошло на поправку, они жалобились: «Торский воевода Богдан Протасов Соленого города жители своим начальством пограбил и у многих людей выбрал из печек солеварные казаны и соль совами и бочками и лошадьми и тем он, Богдан из Соленого, многих людей разорил».

Донские же казаки, возглавленные опытным тридцатилетним солеваром и атаманом Кондратием Булавиным, осенью 1705 года напали на Бахмут и почти что два года удерживали его вместе с теми частными и казенными солеварнями, какие уцелели от пожара.

В Бахмуте Кондрат был своим человеком: и солеварничал здесь немало на речке Бахмутке, и женился во второй раз, после смерти жены, на местной жительнице.

Его авторитету среди казаков послужило отчасти и заверение его отца, будто бы фамилия Булавин пошла от того, что он-де, отец, был приближенным Стеньки Разина и хранил в бесконечных походах его булаву. Даже появился якобы Кондрат на свет Божий в день казни Разина — 6 июня 1671 года.

Так ли, нет, а едва Юрий Долгорукий по цареву указу стал вылавливать на Дону беглых крестьян, а попутно и расправляться с донскими казаками, которые укрывали их, последние собрались в Ореховом буераке близ Айдара, и их возглавил Кондратий Булавин.

Запоздало предписание царя Долгорукому: «Того ради надлежит вам оные спорные земли и уголья меж донскими казаками и изюмскими жителями развести, соглашаясь с теми ж прежними обысками и освидетельствовав о том подлинно старожилами сведучими людьми по правде, чтоб между ими ту загодящую их вражду успокоить и искоренить». Уже вспыхнула крестьянская война. Булавина поддержали и запорожские казаки. В первом же бою он разбил Юрия Долгорукого и порешил жизни самого князя.

А тем временем торский сподвижник Булавина Семен Дранный, а с ним и Сергей Беспалый, и Никита Голый, собрав огромное число недовольных солеваров Тора, верховых вольных казаков и запорожцев, двинулись на Слободские полки бригадира Шидловского.

Воспользоваться смутой в России намеревались и татары: «...а большая сила татарская стоит на Молочных Водах», — писал гетман Мазепа киевскому воеводе князю Д. М. Голицыну. Выжидали своего часа, чтоб напасть на ослабленную Русь.

Да не суждено было повстанцам взять верх над собранными воедино регулярными царскими войсками. Крестьянская война, как и прежние стихийные протесты и восстания народных масс, захлебнулась в народной же крови.

Летом 1708 года собранные Петром Первым войска разгромили отряды Семена Драного неподалеку от урочища Кривая Лука. То, говорят, великое кровопролитие случилось на донецкой земле! Не было ни шляха степного, ни лесной дороги, ни даже тропы какой вдоль всего Донца в здешних местах, на каких бы не лежали вповалку убиенные.

Невдолге настал смертный час и для самого Кондратия Булавина. Так и осталось загадкой: то ли он сам застрелился в осажденном своем курене в донской станице Черкасской, то ли его застрелили осаждавшие казаки, то ли заговорщики из зажиточных казаков порешили, дабы снискать цареву милость... Последнее отступничество, как ни горько это сознавать, и нам свойственно отродясь — вспомним последние страницы страшной повести Михаила Коцюбинского «*Fata morgana*», наводящие на эти мысли... о народной психологии...

Что ж ты, белая соль, так закровенила свой след по нашей земле?! И мне приходится описывать не историю твою в отчете крае, собственно говоря, а прямо вымучивать из сердца кровавую думу о тебе и чуть ли не за каждым эпизодом привздыхать внутренне, печалась и скорбя: «Аминь».

Неужто и впрямь ты, белая соль, сродни сияющему солнцем золоту, чья поступь по всем материкам и континентам испокон веков неизменно обгадрялась человеческой кровью? Как же так случилось, что крупца твоя по весу словно бы сравнилась с весом капли крови? Ведь ты же была призвана от дедов-прадедов наших роднить людей, а не разобщать их! Или все дело в тех же людях, которых никак не умудрит Всевышний окститься и опомниться, чтоб высокие деяния духа восторжествовали над низменными деяниями плоти?

Печалится, скорбит мое сердце, а деваться некуда — надо торить соленый шлях дальше, до его современной оконечности на Донецком краю.

И опять, опять захирели солепромыслы и на Торских озерах, и на реке Бахмутке.

Они пришли в такой упадок, что и воспрянуть-то сразу было им не под силу. Соледобыча на них еле теплилась. И то по преимуществу частная.

И только с 1711 года, после Прутского мирного договора с Турцией, когда Россия была вынуждена сделать уступки туркам — сдать Азов и Таганрог и все войска из Троицкой крепости на Таганьем Рогу перевести в Бахмут — как главный опорный пункт против крымских татар и турок у южной границы всего своего великого имперского государства, — только тогда вновь оживились и Бахмутские, и Торские промыслы. И сюда вновь потянулся работной люд: солевары, кузнецы, дровосеки, солевозцы-чумаки... Веселее потекла жизнь в этих давних поселениях на донецкой земле.

Единственным же, что оставалось неизменным, было то, кому доставалась в итоге труда множества людей конечная выгода.

В человеческой, а точнее биологической, сути все дело ль тут? Отчего так складывается, что те, кто, примером, варил и варит поныне металл, кто добывает сутки напролет в глубоком подземелье, рискуя поминутно жизнью, уголь, кто

надрывает и обваривает руки при ломке каменной соли и при ее выпаривании, тот неизбежно сводит концы с концами, а те, кто управляет, хозяйничает, владеет всем, над чем радели и усердствовали простые люди, жировали и по-прежнему жируют на барышах и прибыли всеобщей?

Не оттого ли будоражится издавна народ в бесконечных протестах, стачках, забастовках, восстаниях, кровавых революциях и войнах? Тут и гадать нечего!

Пока пишу эту думу, нет-нет да и возвращаюсь мыслью к этой укоренившейся несправедливости в роду человеческом. И озадачиваюсь: каково будет в наступающем XXI веке? Неужели ничего не переменится в человеческой сущности? Неуж так все и пребудет вовеки? Ничуть не хотелось бы выглядеть столь грустным предвещателем! Ох, не хотелось бы...

На протяжении всего XVIII столетия солеварение на Дону кряже то и дело подупадало. То из-за мора во время чумы 1718 года, то из-за налета в 1745 году несметной саранчи, которая опустошила все вокруг до такой степени, что нечем и жить стало солеварам, то из-за того, что в 1759 году генерал-губернатор только что созданной Новороссийской губернии, а попросту Новоросии, в которую вошли земли до Азовского и Черного морей, некий фон Брант, как засвидетельствовал в своих отчетах посланный в Новосербию и Славяносербию, на Северский Донец, для обозрения торговли в тех краях какой-то советник Лодыгин (быть может, тот, что возглавлял и рудознатцев и был косвенно причастен к открытию угля в нашем крае), друг генерала И. С. Хорвата, — генерал-губернатор, по свидетельству советника-«обозревателя» просил царевого соизволения «дозволить по-прежнему пропуск крымской, то есть заграничной соли, которой пуд продавался по 30 копеек, следовательно дешевле отечественной», а тем более, что после заключения Кучук-Кайнаджарского мира в 1774 году и в особенности же после присоединения Крыма к России в 1783 году вывоз крымской соли и вовсе стал беспрепятственным.

Главной же претьюкой оказалось то, что «... выварка соли, если положить в цену потребляемый на нее лес и прочие расходы, приносит больше казне убытка, нежели прибыли».

На этот счет был издан специальный указ Петра I — о запрете опустошительной вырубке лесов в своем Отечестве. Азовский губернатор, в чье ведение входили тогда и Тор, и Бахмут, положил: «варение соли прекратить и лесов не опустошать». В 1782 году это решение утвердил Новороссийский генерал-губернатор Г. Потемкин. Более того, приказал Торские и Бахмутские соляные заводы продать с публичного торга.

Словно предвидя, как плачевно обернется в конце века солеварение на древесном угле, да и видя очевидный вред от повальной вырубки здешних лесов, управляющий Бахмутскими соляными промыслами, или, как его еще называли в то время, ландрат, то есть советник от дворян уезда при губернаторе, а также член земства, Никита Вепрейский и капитан бахмутского батальона, надзиратель крепости Семен Чирков еще в 1721 году озаботились, чем бы заменить дрова, древесный уголь. А поскольку наслышаны были от крестьян округи о выходах в крутоярах и обрывистых берегах речек «земляного угля», способного воспламениться и давать великий жар, то они и предприняли его поиски. И вскоре нашли-таки и в балке Скелеватой, что в переводе с украинского означает Скалистой, и по берегам речки Беленькой то «камень угольное». И стали применять его для вываривания соли.

И хотя это, по сути, было первое промышленное применение каменного угля в нашем крае, должного развития оно не получило из-за старых, непригодных для выварки на углях тогдашних заводоцех. Чтоб развести нужный огонь в затрапезных печах, требовалось растапливать их углем вперемешку с дровами. Ну какая тут выгода?

Точно так же не нашли своего применения и угли, найденные Григорием Капустиным на речке Кундрючьей. А с ними — и железные руды, и прочие ископаемые.

Долго, непростительно долго в правительственных верхах судили-рядили, выясняли и обмозговывали, как быть да что делать с теми находками в донецкой стороне.

Россия, точно медведь после зимней спячки, неповоротливо и неуверенно выбиралась из своей вековой берлоги. А с ней и вся Русь.

О губительном лесоповале в нашем крае все тревожнее и тревожнее звучали еще в XVIII веке разные сообщения и доклады.

В 1737 году директором Бахмутских и Торских промыслов был назначен саксонец по происхождению профессор Гольтб-Фридрих, или Фридрих-Вильгельм Юнкер, как ставленник генерал-фельдмаршала Миниха, находившегося в Украине, тогдашней Малороссии, во время Турецких и Крымских походов. И он со временем подсчитал, какое количество леса уходит на выварку соли и в Бахмуте, и в Торе: «Да еще к тому печи и сковороды толь дровам утратны сделаны, что к выварке 50 пуд соли, считая вообще, по последней мере в Бахмуте — 1, а в Торе — 2 кубичных саженей дров исходит, которое, буде положить, что на обоих заводах 500 000 пуд (как толо много за нужду выходит) вываривают, то будет дров не меньше как 10 000 кубических саженей...»

К тому времени на соляных заводах появились деревянные рассолоподъемные машины, убыстрилось заполнение чренов, а стало быть, и кочегарить требовалось пошустрее, пожарче. Они и в правду пожирали несметное количество леса.

В который раз возвращаются и соледобытчики, и ученые мужи к тому, чтобы вываривать соль на каменном угле! Академик И. Гельденштедт в 1780 году, несколько повторяясь, предлагал то же самое: «использовать для печей вместо дров земляные уголья, найденные в Бахмутском уезде в 1720-х годах, с одновременной реконструкцией печей; ввести градирование рассола на Торских солепромыслах по примеру Старорусских промыслов».

В конце концов выварку соли прекращают и там, и там в том объеме, в каком производилось раньше, разве что на местные нужды.

Страшно даже представить, если б все и дальше так продолжалось с порубкой лесов, чем бы обернулось для нашего края такое усердие! Совершенно голыми, безлесными могли оказаться берега Северского Донца, которые тенью дерев укрывали бежавшего из плена князя Игоря, меловые белые горы, издревле считавшиеся святыми... И мы бы в нынешнем веке, на исходе его, вряд ли бы узрели его таким уютным и благословенным, какой он нынче есть. Не было бы на нем утехи ни глазу, ни телу, ни душе.

Все же кто-то, то ли Бог, то ли Любовь к отчей земле, то ли Ответственность перед потомками образумили наших предков. И они опаматовались. Низкий поклон им за это благоразумие, бережение и заботу о грядущих поколениях Донецкого края!

Но закрытие Бахмутских и Торских солепромыслов все-таки привело к подорожанию соли — цены на нее вскочили сразу. А нужда в ней ничуть не убавилась. Напротив, увеличилась в связи с приростом народонаселения в нашем крае за счет мастерового люда, хлынувшего в степные вольные края во второй половине XVIII века на разные промыслы.

Дело взялись поправлять императорскими указами.

Сначала Екатерины II в 1795 году: «Об устройстве литейного завода в Донецком уезде по речке Лугани и об учреждении ломки найденного в той стране каменного угля». На-конец-то!

А затем последовал и императора Павла: «... оставленные в 1782 году Бахмутские и Славянские соляные варницы возобновить, используя вместо дров каменный уголь».

В том же 1795 году была открыта на Северском Донце близ Лисичьей балки и первая шахта угольная. До нее от Тора и Бахмута было рукой подать. И солеварение воспрянуло с новой силой. Потребовалось лишь переоборудовать, приспособить к новому топливу печи да и заводики в целом. Для чего, правда, надобился завоз иностранной, более совершенной техники и оборудования, которых в отсталой России покуда не водилось в нужном достатке.

Однако попервоначально истинным спасением явилось открытие в Бахмуте каменной соли.

Первыми наткнулись на нее в Донецком крае строители Луганского завода, о чем и сообщил осенью 1803 года маркшейдер Чернявский и директору завода Карлу Гаскойну, и в Берг-коллегию: «На прошлой неделе принесена ко мне мастеровыми белая земля, найденная по ту сторону Луганского канала... По испытанию моему, сколько было возможно сделать без лаборатории, она есть минеральная соль».

Да беда была в том, что и это открытие, как случилось с присланными образцами каменного «уголья» Вепрейским и

Чирковым в Берг-коллегию, надолго прахом легло в чиновничьих архивах.

Очевидно, мы так никогда и не дознаемся в точности, чем же руководствовались чиновники горного департамента и в первом, и во втором случаях. Ведь не радеть о процветании родного Отечества они вряд ли могли. Или все упиралось в плохо развитую экономику России? И она просто не в состоянии была с ходу освоить враз открывшиеся природные богатства подвластного ей юга.

И снова утекли годы, пока к этому открытию вновь не вернулись. Причем благодаря тому, что при строящемся Луганском заводе была создана научная группа из поисковиков-рудознатцев. В нее входил и молодой инженер Евграф Ковалевский.

Отозванный на работу в департамент горных и соляных дел на должность чиновника особых поручений и секретаря департамента, Евграф Павлович в 1818 году приехал опять в Донецкий край — на этот раз с особой миссией: не только осмотреть, как идут дела на первом металлургическом заводе в южных пределах России, а и обследовать, описать и доложить по восходящей о состоянии Бахмутских и Славянских запущенных солепромыслов. Что он и сделал. А чтоб доклад его был основательнее, занялся и геологической разведкой в Бахмутской котловине, то есть бурением, насколько позволяла тогдашняя техника, дабы установить и истоки соли, и ее запасы для будущих разработок. На основе того, что ему удалось разведать, он заключает: «Нет сомнения, что слой гипса простирается далее в глубину, и что главный Соляной источник должен находиться под ним, в чем удостовериться иначе невозможно как посредством шурфа. Вынутый из буровой скважины рассол показал...»

Свои первоначальные наблюдения и предположения он подкрепляет поисками с 1823 по 1827 год. И публикует в горном журнале соответственные статьи: «Опыт геогностических исследований в Донецком горном кряже», а затем — «Исторические и статистические сведения о Славянских и Бахмутских соляных варницах».

В этих работах Евграф Павлович Ковалевский также впер-

вые называет кряж, простирающийся по правому берегу Северского Донца, Донецким, первую геологическую карту которого он же и составил, — и в них Ковалевский предполагает, что источники здешней поваренной соли находятся много глубже, чем думалось раньше, излагает отчасти практические, отчасти теоретические предпосылки дальнейшего более детального геологического разведывания Бахмутской котловины не только на каменный уголь, а и на каменную соль, хотя о ее существовании в точности еще не знал, лишь предполагал, что должны быть на глубине какие-то неиссякаемые источники той соли, что вываривали и в Бахмуте, и в Славянске. Существенный толчок был дан для геологоразведчиков!

Так, горный инженер А. Б. Иваницкий, несмотря на то, что до каменной соли не добрался, сопоставив свои данные с данными, полученными в Германии на сходных геологических залежах, все же установил возраст глубоко залегаемой под землей соли — он отнес его к пермскому периоду, то есть к тому периоду, когда здесь около 250—270 миллионов лет тому назад простирался залив Пермского моря и напластовывались постепенно пласты соли.

Вслед за ним профессор Харьковского университета, крупный ученый тогдашнего времени Никифор Дмитриевич Борисяк уже впрямую высказал мысль о наличии каменной соли в отложениях пермского периода в районе городов Бахмута и Славянска.

Высказанное им утверждение подхватили практики: Николай Павлович Барбот де Марни, Александр Петрович Карпинский, Александр Васильевич Гуров.

Последний, поддерживаемый таганрогским купцом Иваном Петровичем Скамарангом, взялся бурить в Бахмуте глубокие скважины на каменную соль. И вскоре вскрыл ее — сначала первый пласт, а потом и второй, более чем на стометровой глубине.

Затем частная компания во главе с генералом-помещиком Летуновским приступила к проходке первой соляной шахты — Брянцевской копи на берегу Мокрой Плотвы. Впоследствии ее посещал Дмитрий Иванович Менделеев, а по его совету — и старший сын Льва Николаевича Толстого, литератор Сергей

Львович Толстой, который впоследствии в «Очерках былого» вспоминал об этом посещении:

«Мы посетили Бахмутские соляные копи и спустились в шахту Летуновского. Какая противоположность угольным шахтам! Исправная паровая машина спустила нас без толчков на стосаженную глубину; нырнув вниз во мрак шахты, мы не почувствовали, что двигались — так плавно спустились.

Через несколько секунд мы остановились в хорошо освещенном электричеством обширном помещении. Отсюда шли во все стороны высокие сводчатые галереи четырнадцати сажен высоты и двадцати сажен ширины».

Тут, пожалуй, следует оговориться, что Сергей Львович был далек от того, чтобы пища «мы», уподобляться царскому: «Мы, Николай Второй...». В 1888 году он приехал в Донецкий бассейн с двумя такими же молодыми, как и он сам, товарищами. Они совместно не только побывали на металлургическом Юзовском заводе, никитовских шахтах, соляных копиях Бахмута и варницах Славянска, а и проплыли по Северскому Донцу от Лисичанска до самого Дона. Засвидетельствованное им в очерках о нашем крае дает нам воочию конкретное представление о тогдашней промышленности Донбасса. И этим, прежде всего, ценно для нас, живущих на этой земле спустя более чем столетие, уже в XXI веке.

Стоит, право, оговорить и то, что местные краеведы почему-то без конца сбиваются в написании фамилий и Скамаранга, и Летуновского — буквально через одну-две страницы пишут то Скараманг, то Литуновский...

Прав я, нет ли, но предпочитаю в данном случае придерживаться литературных источников прошлого.

Вслед за первой Брянцевской копью один за другим в Бахмуте возникают соледобычные рудники — «Петр Великий» у истоков Ступки, притока Бахмутки, «Новая Величка», «Бахмутская соль» и «Бахмутская центральная соляная копь» на левобережье Бахмутки меж Бухановым Яром и Пугачевым Яром, «Кузьминовский рудник» при впадении Мокрой Плотовы в Бахмутку...

Оборудование закупалось за границей — в Англии, Германии, во Франции... И хлынули сюда и отечественные купцы, и заморские предприниматели — бельгийские, голландские,

французские, немцы и англичане... Кого только не занесло! И чего тут только не творилось! Прямо настоящая соляная белая лихорадка вспыхнула! Как впрочем, и угольная... Сюда тянулись мастеровые люди. Помимо солеваров и солевозцев, обретались и кузнецы, и молотобойцы, и сапожники, и деревянных дел мастера, кожевенники, портные, лавочники... Они-то и составили основу поселенцев близ соляных варниц и соляных рудников, а равно и всего поселения в Бахмуте.

Занятно писали в конце XIX века о Бахмуте и Славянске русские литераторы, свидетели тогдашней жизни в них.

Некто С. Меч излагал свое видение так:

«Бахмут — маленький городок Екатеринославской губернии, стоящий среди степи на берегах грязного ручья Бахмутки, притока Донца... Характерно для него то, что это просто большая малорусская степная деревня, широко раскинувшаяся по пригоркам... Улицы Бахмута пустынные и тихи — никого не видно. Только изредка выглянет в окно любопытное и удивленное лицо из-за горшка с геранью... В самом городе существует соляная варенка, принадлежащая греку Скамарангу из Таганрога. Кроме того, в окрестностях Бахмута существует несколько шахт, где ломают соль под землю... На другой день моего приезда в Бахмут проливной дождь превратил черноземные улицы города в сплошные глубокие лужи...»

А вот каким показался Антону Павловичу Чехову Славянск: «Город — нечто вроде гоголевского Миргорода, есть парикмахерская и часовой мастер, стало быть, можно рассчитывать, что лет через 1000 в Славянске будет и телефон. На стенах и заборах развешаны афиши зверинца... На пыльных и зеленых улицах гуляют свинки, коровки и прочая домашняя тварь...»

Что бы ни писали в прошлом, что бы ни говорил в нынешнем времени, а настоящую жизнь и процветание, последующее этим городам — и Бахмуту, и Славянску — все же дала соль! Первородно! Оттого и символ ее вошел в гербы этих городов. Не будь ни чумы, ни саранчи, павшей будто мор, ни набегов татарских, ни раздоров из-за претензий на владение солепромыслами меж донскими и изюмскими казаками, не будь восстаний, кровавых стычек, забастовок, пожаров, воз-

никающих как следствие этих протестов, не будь вооруженного восстания 1905 года, не будь Русской революции 1917 года и последующей гражданской войны, голодоморов и репрессий, а также и Великой Отечественной войны, с послевоенной разрухой и голодом, всякий раз проклятием падавших на Бахмут и Славянск, после чего их жители были вынуждены за каждым разом начинать все как бы сызнова, — не будь всех тех бедствий, стихийных и порожденных людьми, эти города неминуемо стали бы в нашем крае многовековыми центрами и промышленности, и культуры. Как древнейшие поселения на когдашнем Диком Поле, как провозвестники промышленного освоения всех полезных недр Донецкого кряжа. Не будь всех бед, какие то и дело обрушивались на них на протяжении более чем трех столетий, они бы куда больше, гораздо больше преуспели. И всему причиной изначально была соль кряжистой донецкой земли.

Мне посчастливилось на своем веку приобщиться и к Славянским соленым озерам, и к Бахмутским соляным рудникам.

В Славянских озерах — и в Репном, и в Вейсовом, и в Слепном — я не однажды купался, даже в «горячке», образовавшейся из отходов соляного завода — там высокая температура, и туда прямо паломничество недужного люда наладилось. Давным-давно открылось и их целебное свойство, на них теперь, вдобавок ко всему историческому соледобытному, еще и курорт организован.

И в бывшую Бахмутскую Брянцевскую копь, переименованную в шахту имени Карла Либкнехта, немца-социалиста, тоже спускался. Нынче такого названия в помине нет, а тогда и весь городок соледобытчиков так назывался. Меня еще смущало это название. И тем, что его трудно выговорить было, не сломав зубы, и тем, что, называя горожан, вроде обзывал их — карлолибкнехтовцы, в особенности женщин — карлолибкнехтовки. И порадовался, когда его со временем переименовали в Соледар. Достойное, славянское имя наконец-то заполучили соляники!

В подземных выработках-галереях было свежо, чуть прохладно, посверкивали, переливались кристаллами стены и потолки, словно отполированные, легко дышалось, и на губах

оставался легкий солоноватый привкус. Кроме добычи, там и лечебницу организовали в старых, выработанных штольнях.

Находясь в недрах родной земли, вспоминал соляную шахту близ Магдебурга в Германии, где мне также повезло побывать, и сравнивал невольно соледобытчиков наших и германских. Помнится, в немецкой шахте они висели на канатах, как птицы-щурь, проделывая шпурь для закладки взрывчатки. Высота казалась головокружительной — такой толщины был пласт.

Но и у нас они не маломощны. Не даром же Бахмутской, или Артемовской солью, как ее переименовали в послереволюционное время, снабжается чуть ли не все население в Украине, а ранее — до одной трети всего Советского Союза. Только вынимаются пласты соли соледобывающими комбайнами. И запасов ее — на добрую сотню лет.

В равной мере вызывали у меня уважение и отечественные, и зарубежные соледобытчики. Ведь они добывали соль, которая испокон веков, сколько помнит себя человечество, была необходима каждому жителю планеты Земля, как хлеб, как вода, как воздух. Да и само солнце! Недаром же соль сравнивали с животворным небесным светилом. Ибо в нем, как и в ней, — истоки жизни!

Было бы несправедливым не упомянуть, что слава этих двух городов соледобытчиков в Донецком крае прирастала в XX веке и другими производствами, другими отличительными свойствами.

Скажем, тот же бывший Тор, а потом Соляной, или Солёный город, а ныне Славянск прославился и Славянским курортом, расположенным на Торских озерах.

А Бахмут, переименованный в честь донбасского большевика по подпольной кличке «Артем», известен далеко за пределами Донбасса еще и своим шампанским, которое готовится здесь долговременным «пробочным» способом — в течение нескольких лет выстаивается вниз горлышком. И переливающиеся многоцветьем брызги артемовского шампанского радуют людей и под Новый год, и в дни рождений, и непременно в дни свадеб... Ведь человек жив не хлебом единым!

И все-таки соль для них — заглавная!

В Артемовске полным ходом, по новейшим технологиям идет добыча каменной соли на государственном предприятии — объединении «Артемосоль». Оно обеспечивает население, пищевую и перерабатывающую промышленность, химию, энергетику и металлургию, коммунальное и сельское хозяйство, животноводство и звероводство качественной продукцией. И в любой расфасовке — в бумажных пачках, полиэтиленовых пакетах, полипропиленовых мешках. Машинами по автотрассам, поездами по железнодорожным магистралям, грузовыми кораблями из ближайших портов Азовского и Черного морей соль отсюда поставляется во все уголки Украины, в страны бывшего Советского Союза и дальнего зарубежья. Наподобие меридианов и параллелей земного шара, только лучеобразно, тянутся из сердцевины Донецкого кряжа, из Донбасса, современные соляные пути-дороги во все концы мира.

Да и немудрено — ведь «Артемосоль» является по технологии добычи и объемам добываемой продукции одним из передовых предприятий соледобывающей промышленности не только в Украине, а и во всей Европе.

Словно бы вдогонку своему давнему соседу и собрату устремилась и недавно организованная Славянская соледобывающая компания, основанная на базе государственных солепромыслов. Ее соль «Экстра» по-прежнему незаменима ни в производстве колбасных и макаронных изделий, ни в фармакопеи, если учесть выпускаемую здесь йодированную соль. Ее закупают Болгария, Румыния, Венгрия и другие развитые страны Европы.

А дело в том, что и славянцы перешли на новейшие технологии. В солевые скважины глубиной до тысячи и более метров у них теперь нагнетается под давлением вода, в результате чего получается рассол, который затем выкачивается и подается на вакуумные аппараты. Далее следует технологический процесс выпарки, исключая попадание в соль вредных химических веществ.

И артемовская, и славянская соль представляют собой почти чистый натрий хлор — хлорида натрия, примером, в артемовской соли без малого сто процентов. И главное — обе они экологически чистые: добыты-то со дна Пермского

моря, которое плескалось здесь сотни миллионов лет тому назад.

В бывшем Бахмуте, когда я впервые приехал на тамошнюю соляную шахту, мне показали уникальный кристалл соли, в середине которого была жидкость и плавали пузырьки воздуха. И пояснили, что вода в нем — не что иное как морская вода древнего Пермского моря, из которого-де и напластовались здешние солевые пласты, а воздух — тот самый, которым дышали в нашем крае древнейшие обитатели этак, примерно, двести с половиной, а то и больше миллионов лет тому назад.

Когда мне дали подержать тот кристалл, я закрыл глаза и замер до ощутимого биения сердца — гулкого, на всю грудь.

Подумать только! Ведь я соприкасался, ладонями ощущал то невообразимо далекое прошлое родной земли... И чувствовал некую прямую, осязательную связь, даже родство, вмиг затеплившееся в каждой клетке, с моими первобытными пращурами. И готов был мысленно прошептать: «Мир, мир праху Вашему! Из него и мы восстали, каждый из нас... Как же нам забыть про Вас? И о прошлом, в котором Вы жили? Оно, как и Вы сами, пребудет с нами до последнего часа! До самого, самого...»

Какой соли только нету в нашем крае!

И поваренная, и каменная, крупная и мелкая, в соляных брикетах, пиленых блоках, глыбах, дробленая и зерновая, мелко сеянная, самых разных помолов, йодированная, или медицинская, без коей на человека могут навалиться тяжкие недуги...

Ее столько, столько у нас, да еще и по сравнительно дешевой цене, что, как говорится, бери — не хочу!

Бери! Бери, только не рассыпай. Помни о предостережении предков: «К ссоре!» Они-то уж знали в этом толк.

Щепотка соли! Щепотка «белой земли» из Донецкого края! Крупиночка, солинка, солиночка...

Как же ты дорого давалась нашим предкам! И как же много значила для них...

Не зря, не зря они столь высоко ценили тебя, дорожили тобой и в бедственные часы приговаривали: «Ни крупиночки, ни солиночки уж который день во рту не было...»

Не приведи господь и нам повторять это. А дай бог всем достаточно сил — и физических, и духовных! — с чистой совестью даровать щепоткой соли каждого-всякого доброго человека, нуждающегося в ней. Хорошо бы, конечно, и хлебом... Да хотя бы как делятся в миру огнем даже с незнакомцами!

Дай бог неустанно привечать желанного гостя хлебом-солью, приговаривая при этом неизменное, прапрадедовское:
— Хлеб да соль!

И боже упаси — сыпать соль на раны! Хоть в прямом, хоть в переносном смысле. А надоумь чистилищное Небо любого из нас жить в мире и согласии, как у себя дома, так и на всем белом свете, с родными и близкими и со всем людом, какой ни на есть по всей земле, в ее солнечном и подлунном мире. Точно в земле обетованной!

Не по одному лишь упованию нашему, а ревностной повседневной, пожизненной заботой способствовать этому — каждым своим словом, каждым своим поступком, каждой своей светлой думой о собрате своем из рода людского, как о себе самом.

Да будет так! Отныне и вовеки.

2001

ДУМА О КАМЕННОМ УГЛЕ

Всякий раз, поднимаясь на лайнере в донецкое небо с отчей земли и окидывая ее прощальным взором, уношу зрительной памятью с собой и необычный облик шахтерского края. Словно бы растворяется в слепящих лучах солнца серебристый самолет, растворяюсь и я сам, а видение остается: из края в край, едва ли не от Северского Донца и чуть ли не до Азовского моря, между Днестром и Доном горбится степной простор то сизыми, то рыжими терриконами, как если бы Донецкий кряж изрыт несчетным числом огромных муравейников.

И всякий раз припоминаются слова, вычитанные в одной из книг о Донбассе: «Старые терриконы — страницы истории.

Они вызывают к себе уважение своей мощью. Как седые деды, стоят они в степи, охраняя будущее молодых и чумазых, весело дымящихся терриконов новых шахт...» Несмотря на то, что они занимают немалые площади пахотной, когда-то пригодной для посевов земли, несмотря на то, что они чадят порой, взвихренные пыльными смерчами, из-за чего их пытаются на протяжении многих десятилетий безуспешно озеленить и обратить в настоящие горы, — несмотря ни на что, в терриконах и правда проступает история добычи угля в нашем крае.

Угля, пласты которого были обнаружены в Донецком крае лет триста, если не больше, тому назад, наверное, еще чумаками или запорожскими и донскими казаками, а то и беглыми крестьянами, поселявшимися тогда на никем не занятых, вольных землях.

По весне, когда паводковые воды сносили верхние слои бурых суглинков на крутоярах, в оврагах и балках, на обрывистых берегах речек и речушек, вдруг показывались «земляные уголья».

Поначалу их брали для топки печей домашних, кузниц, для вываривания ранее найденной соли на речках Торе и Бахмутке...

А когда уж и рудознатцы подключились к поискам диковинного горючего камня, тут дело пошло куда веселее.

Помимо воли снова и снова возвращаюсь к той мысли, а может, и просто догадке-предположению, что первооселенцы, первооткрыватели его вряд ли обошлись без помощи случая и диких зверей, которые жили рядом с ними в малообжитых до поры, считай, безлюдных степях.

На этот счет есть у писателя Леонида Жарикова то ли предание, то ли сказ, то ли сказка настоящая.

Наш Донбасс — счастливый край. И про то, как были открыты подземные сокровища, сказка есть.

Шел по степи селянин с ружьем. Смотрит, в земле глубокая нора. Заглянул в нее, а там лисята притаились. Вытащил всех по одному и радуется: «Эге, добрая будет у меня шапка!» А тут мать-лиса прибежала, увидала своих деток у человека в руках и говорит:

— Отдай моих деток, человек, я тебе за это клад открою.

Подумал, подумал дядька и решил: а вдруг правда подарит клад, не зря же лиса так жалостливо просит.

— Ладно, лиса, на тебе твоих малышей, а за это клад показывай.

— Бери заступ,— говорит лиса,— и копай вот тут.

— Зачем?

— Клад найдешь.

Опять поверил человек лисе, взял кирку, лопату и стал копать. Сначала земля шла мягкая, и копать было легко. А потом камень пошел, пришлось за кирку браться. Долбил-долбил, вспотел весь, а клада нет и нет.

«Ну, мошенница лиса, видать, обманула». Подумал так наш дядька, но копать продолжал — интерес его разбирал, да и яму вон какую вымахал, жалко бросать работу: вдруг заправду докопается до клада? Пошел опять долбить, смотрит: черная-пречерная земля показалась. Выпачкался дядька с головы до ног — одни глаза сверкают, а клада все нет. Плюнул, вылез из ямы и закурил с досады. Сидит покуривает, думу думает: как же так и зачем он поверил лисе? Кто не знает, что лиса хитрая... Докурил сигарку и бросил окурок в сторону. Сколько уж там прошло времени, а только чует он — гарью потянуло. Посмотрел в одну сторону, в другую, оглянулся — нигде нет огня, только в том месте, куда он окурок бросил, обломки черных камней задымились. Он их сам выломал из земли и выбросил лопатой на поверхность. Смотрит и диву дается: горят камни! Собрал поблизости другие куски, кинул в огонь, и эти занялись, да жарко как! И тут наш искатель клада смекнул: набрал черных камней в мешок и принес к себе в хату, бросил в печку, и камни на глазах загорелись-загудели. От радости зовет он жинку: «Ставь, говорит, чугуны да кастрюли на плиту, погляди, что я за чудо-камни нашел».

На другой день утречком побежал к своей яме, опять набрал горючих камней. А тут навстречу лиса.

— Здравствуй, добрый человек. Доволен ли мною?

— Хитрюга ты, Патрикеевна, обманула меня: гляди, какую яму вырыл, а клада нет.

— Не обманула я тебя, человек. Нашел ты клад, ведь горючие камни и есть самое богатое сокровище!

«И то правда», — подумал про себя мужик и говорит лисе:

— Ну, коли так, спасибо тебе, лисонька... Живи на свете, радуйся своим деткам.

Взвалил мешок с горючими камнями на спину и понес. И опять запылало-загудело в плите жаркое пламя, да такое, хоть окна и двери открывай и беги из хаты.

Никому в селе дядька не сказал ни слова про счастливые черные камни. Только разве от людей спрячешься? Подглядели за ним, куда он ходит с мешком, увидали, как горят камни, и давай себе копать да похваливать соседа: дескать, вон какую он нам прибыль сделал.

Пошел слух о черных камнях по всей округе. Докатилась слава до царя Петра. Затребовал он к себе того дядьку: «Какие такие ты нашел чудо-камни, будто от них великий жар?» Ну, тот высказал царю всю правду и про лисичку не забыл. Удивился царь Петр и велел позвать к себе самого знатного вельможу, чтобы послать его с мужиком в те степные края да в казачий город Быстрианск и там искать горючие камни, жечь их и пробу чинить.

Вельможа поговорил с дядькой, вызнал тайну про лисичку и про черные камни. Слушал и радовался вельможа: значит, много в тех краях зверя пушного, если простая лиса способна на такие дела. Взял он поскорее ружье-двустволку, подпоясался тремя патронташами и явился пред ясные царские очи:

— Готов ехать, ваше царское величество!

— А фузею зачем взял? — спрашивает Петр про ружье.

— Охотиться, ваше величество... Мужик сказывал, там лис много.

Царь и говорит ему:

— Значит, ты, вельможа, не способен вести государственные дела, ежели прежде всего о себе да об охоте думаешь. И коли так, то иди служи на псарне...

Заместо вельможи царь велел позвать разумного в науках мужика по фамилии Капустин. Дал ему царь свою кирку, лопату и велел отправляться в казачьи степи искать залежи горючего камня.

Тогда-то, друг мой, и были открыты в Донбассе его со-

кровища — угольные пласты. И пошли с той поры шахты по всей нашей неоглядной донецкой земле.

Поезжай в город Лисичанск — увидишь Григория Капустина, там ему памятник стоит из чистой бронзы. А в степь пойдешь и лисоньку встретишь, ей поклонись.

В который раз припомнилась расхожая легенда о том, как сам Петр Первый открыл то камень, способное загораться и сильный жар давать. Это было якобы тогда, когда он возвращался из очередного Азовского похода. Солдаты-де бросили те уголья в костер, а они загорелись. В тот момент царь, дивясь и радуясь, вроде и произнес исторические слова: «Сей минерал, если не нам, то потомкам нашим, зело полезен будет».

Не стану и повторяться — это предание катано-перекатано из поколения в поколение и так, и сяк, на разные лады.

Легенда легендой, а слова эти Петр Первый и в самом деле произнес. Может, и после проб, которые учинили иноземные мастера найденному камению.

Ученый-геолог Евграф Павлович Ковалевский, создавший первую геологическую карту Донецкого кряжа, писал в свое время:

«Что касается собственно до каменного угля, то изобильные источники оного в Донецком кряже могут довольствоваться сим минералом не только Новороссийский край, но и другие соседние губернии.

Когда узнают в полной мере цену каменного угля, который по всем признакам должен находиться во многих местах России, тогда исполнятся пророческие слова Петра Великого: «Сей минерал если не нам, то нашим потомкам будет весьма полезен».

Точно возражая ему, академик Григорий Петрович Гельмерсен, автор первых пластовых карт месторождений угля, введший строго научную систему изучения Донецкого бассейна и заложивший фундамент инструментальной съемки, лет десять спустя писал в своем труде «Несколько соображений о значении каменноугольного промысла в России»:

«Мы не ошибемся, если предположим, что каменный уголь был известен в этих местах на Донецком кряже задолго

до времен Петра Первого, потому что в безлесных краях он выходит наружу в бесчисленно многих местах, кроме того, дождевые и снеговые воды ежегодно открывают в оврагах (балках) новые пласты каменного угля, закрытые напоенною почвой».

Опубликована эта статья в 1847 году. Ковалевского — в 1838.

А еще раньше, в 1795 году, екатеринославский горный инженер Иван Бригонцов подготовил к изданию «Руководство к познанию и употреблению каменного угля», в котором подчеркивал:

«Рассуждая о добротях последнего, можно его по всей справедливости отнести к числу первых, хотя и отдаленных средств, способствующих человеческой жизни... Между сокровищами земного шара можно по всей справедливости дать каменному углю первое место...»

Свидетельства эти из более близких, памятных нам времен, а хотелось бы забраться вглубь веков и кое-что уяснить для себя из давнишней истории отчего края. Потому-то вновь и вновь обращаюсь к легендам. А тем более, что они порой настолько правдоподобны, что выглядят былями.

Однажды бродил охотник по дикой степи, по балкам и выбалкам, по овражным перелескам в поисках добычи. Уже и подустал малость. Солнце же тем временем сдвинулось с полдня на запад, пора было и домой возвращаться — до дома ого-го еще сколько топать!

И он решил отдохнуть немного, а заодно чего-нибудь поесть, чтоб пополнить силы, согреть нутро кипятком. Снял с плеча добытого на охоте зайца, тетерева, пойманного сельцами, рогожную торбу с несколькими окуньками, которых он поймал горстями на мелких и узких перекатах в Лугани. А еще на подходе сюда приметил родничок в байраке, к нему он и спустился.

Затем начал собирать сушняк для костра. Видит, у подножия крутолобого склона балки свежий скат — лисья нора. Однако что за диво: земля, которую выгребала лапами рыжая наружу, какая-то необычная — черная-пречерная с виду, а в ней поблескивают черные камушки, большие и маленькие.

Осмотрел нору. Сомнений не было: лисья. Да вот и шерсть рыжеватая в бурьяне позастревала.

Охотник, вернувшись, расчистил старое пастушье кострище, обложил его черными камнями, принесенными от лисей норы, высек огонь. Когда сушняк разгорелся, положил на жар завернутого в лопух окуня целиком, а сверху присыпал той же черной землей, чтоб он побыстрее упарился и равномерно спекся. И прилег отдыхать ...

Через какое-то время кинулся поглядеть на пекшуюся рыбу и страшно удивился: земля и камушки, принесенные от норы, были теперь не черные, а красные, охваченные поверху синими огоньками. Разгреб поскорее костерок, а от окуня одна зола осталась — сгорел вместе с лопушиными листьями.

— Ты смотри! — поразился охотник. — Земля горит! Или наваждение бесово?

Он посидел, в раздумье и недоумении разглядывая неслыханное доселе явление, а потом еще взял из норы тех же камешков, бросил в жар. Сначала задымил слегка, и вслед за тем сквозь дым выткнулись небольшие языки зеленовато-красного пламени.

«Вот так чудасия! — еще больше поразился охотник. — Горит-таки земля!»

Он и об усталости, и о еде забыл. Быстро набрал в свободную торбу тех камешков и земли черной, подхватил дичь, зайца и рыбу, притужил ремень для ходкости и заторопился в слободу, чтобы рассказать односельчанам о невиданной чудо-находке. А перед глазами у него все время было видение недавно горящей земли.

Так рассказывается в легенде.

А как оно на самом деле было, трудно сказать. Столько времени прошло с тех пор, как нашли на Донцеком кряже каменный уголь.

Достоверно лишь известно, что неподалеку от того места, где когда-то в лисей балке, заросшей байрачным лесом, было найдено угольное каменье, способное возгораться и давать сильный жар, выросло впоследствии селение Лисичий Байрак. А со временем здесь открыли угольную копи, в которой копальщики стали копать и ломать твердый, как камень,

уголь. Это, как заверяют ученые-краеведы, и была первая шахта в Донбассе, официально зарегистрированная. Никем неучтенных-то, попросту ям, в коих велась кустарно проворными людьми добыча, было дополна. У вышеназванной же был государственный статус.

Ныне на краю Лисичьей балки стоит обелиск, а на нем — мраморная доска с надписью:

«Здесь в 1795 году была заложена первая шахта в Донбассе».

Лисичий же Байрак как прообраз или первообраз нынешнего Лисичанска, как слобода поселившихся здесь украинских казаков, которые призваны были защищать южные границы Российской Империи от крымских и ногайских татар, возник еще в 1710 году. Запорожцы выбрали уютный, заросший доверху лесом байрак для своего сторожевого поста и местожительства. В байраке водилось много лисиц. Оттого и прозвали его, не долго мудрствуя, Лисичим. А поскольку казаки были способны обживать обстоятельно, то они и земли окрестные начали впервые осваивать для засева зерном — в первовешнюю пору делать первооранки на кряжистой целине, непаши, и это была первая вспаханная на северных склонах Донецкого кряжа новина.

Попробуй после всего этого усомниться в легенде, в ее правдоподобности?!

Хотя первообразность Лисичанска сейчас трудно угадываема — ведь здесь, на Донце, в то время круто обрывались северные отроги Донецкого кряжа, и кручи эти назывались Соколы, или Соколовы Горы, которые кое-кто путает и поныне с Оленьими...

Разумеется, это только Российская империя так долго доходила своим отчасти дремучим, отчасти ленивым умом до того, чтобы искать и открывать уголь в подвластных ей землях.

В то время, как о пользе «угольного камня» мир знал еще в древности.

Так, в IV веке до нашей эры древнегреческий философ Аристотель в своей книге «Метеорология» уже поминал об этих горючих камнях как об «имеющих больше от земли, чем

от дыма, и называемых углеподобными веществами», сравнил ископаемый уголь с древесным, который по тем временам использовался для выплавки разных металлов.

Его ученик Теофаст дополнил своего учителя, написав книгу «История камня», словами: «Среди хрупких камней имеются такие, которые, если положить их в огонь, воспламеняются подобно древесному углю и долго горят... Камни эти используют кузнецы».

Достоверно известно, о чем поминается в печатных трудах прошлых времен, что уголь каменный добывался, например, в Англии в IX веке, а в Германии — в XII—XIII веках, даже назывались Рурские «угольные копи» немецким врачом, минерологом и металлургом Георгом Бауэром, или Агриколой в его книге «О горном деле...», написанной в 1550 и изданной в 1556 году, уже после его смерти, и ставшей на целых два последующих века пособием по технике горного дела, пробырному искусству...

А венецианский путешественник Марко Поло в конце XIII века был свидетелем в Северном Китае того, как китайские крестьяне используют в домашнем хозяйстве уголь, причем приловчились к этому давным-давно.

Непостижимый уму вышел разрыв между познанием об угле в зарубежных странах и нашим, доморошенным открытием его!

Но не будем, как говорят в Украине, безбатченками.

А по-русски — Иванами, не помнящими...

В 1721 году управляющий Бахмутскими солепромыслами Никита Вепрейский и надзиратель Бахмутской крепости, капитан Семен Чирков, подталкиваемые тем, что на выварку соли на взятых ими в аренду промыслах к тому времени уже почитай дочиста были изведены окрестные леса, а ко всему еще и царев указ вышел о строжайшем запрете вырубки, отправились на поиски каменного угля, способного с лихвой заменить дрова. О нем они были наслышаны и от местных крестьян, и от донских казаков и украинских — черкас, которые служили в Изюмском полку у Шидловского.

Понуждаемые всеми этими обстоятельствами, Вепрейский и Чирков, снарядившись соответственно, двинули на лоша-

дах в верховья речек Беленькой и Лугани. И там им посчастливилось наткнуться на наружные выходы угольных пластов — в балке Скелеватой, то есть Скалистой.

Доправив находку в Бахмут, они испробовали ее и в кузницах, и под солевыварочными сковородами. Впечатление и результат оказались потрясающими!

Долго не размышляя, отправили бочонок с найденным углем, а в придачу и еще два бочонка — с другими породами, какие попались им во время поиска, в столичное ведомство — в Камор-коллегию. А оттуда их переправили уже непосредственно в департамент, занимающийся полезными ископаемыми, — в Берг-коллегию, что и было зафиксировано в ее журнале:

«В прошлом 1722 году января 20-го дня в Берг-коллегию от президента государственной Камор-коллегии господина Голицына прислано для объявления разных руд для проб в двух бочонках да еще в бочонке земляного угля, которые-де сысканы близ Бахмутских соляных заводов».

Их-то и будем считать первооткрывателями угля в Донецком крае.

Ибо Капустина та же Берг-коллегия лишь в конце 1722 года направляет на поиски угля и других руд: «...послать из Берг-коллегии на те места, из которых мест Лодыгин объявил каменное уголье и руду, подъячего, который был посылаем от него, Лодыгина, Григория Капустина и с ним солдата (Никиту Столбова. — *И. К.*), а именно: на Дон, в казачьи городки близ Кундрючья городка в Оленьих горах да в Воронежскую губернию близ города Середы под село Белогорье (по тогдашнему — Белогородье. — *И. К.*) и велеть ему в тех местах того камня и руд копать в глубину сажени три и более и, накопав пудов по пяти, привести к Москве на ямских, а ежели ямских нет, на наемных...»

Результаты первой поездки были никудышными. Не повезло Капустину и во вторую поездку — иноземными пробирных дел мастерами привезенные им образцы были забракованы: «...Артиллерии иноземец Марко Фреэр сказал: который земляной уголь дан ему опробывать, который взят в Воронежской губернии в донских городках, согласно доношениям,

подъячим Капустиным, и он, Фреэр, тот уголь опробовал. И по пробе явилось, что от одного угля действия никакого не показалось. Только одной уголь в огне трещит и только покраснеет, а жару от него никакого нет. И как вынешь из огня, будет черно, как и первой. Разве в том месте буде оное уголье брать, а копать того места глубже».

Огорченный Капустин, выказав несогласие с иноземцами, все же поступил так, как и советовалось ему.

И он открыл-таки уголь, только двумя годами позже Вепрейского и Чиркова, да и в российской стороне Донецкого кряжа, на самой оконечности его северо-восточного отрога — в Оленьих горах на речке Кундрючей, при ее впадении в Северский Донец. Там и возникли впоследствии Грушевские рудники, вошедшие со временем в объединение угольных шахт города Шахты Ростовской области.

За весь прошедший XX век краеведы и историки так и не пришли к единому мнению о первооткрывательстве донецкого угля.

Наиболее доказательным, на мой взгляд, является известный краевед Владимир Подов. Свои изыскания он подробно изложил в книгах «Открытие Донбасса» и «Легенды и были Донбасса».

А как же быть с Лисичанском, вернее с Лисичьей балкой, где была построена первая в Донбассе шахта? Да и памятник Капустину к тому же открыт.

И здесь Подов доказателен, ссылаясь на первооткрытие руководителем горной экспедиции Черноморского флота Николаем Федоровичем Аврамовым. В декабре 1792 года Аврамов сообщал губернатору Кохановскому: «... при помянутом селе Вышнем от одного вверх по Донцу верстах в четырех в казенных к тому селу принадлежащих дачах в боераке, называемом Лисичьим, найден мною слой каменного угля толщиной в аршин, в длину открыто шурфом на 25 сажен... Да и уголь по чинимому мною опыту оказался несравненно лучшей доброты, нежели тот, который открыт был в Донецком уезде при речке Белой...»

Да ошибся он: запасы угля оказались невелики и качества неважного.

А вот в других местах угольные пласты наслаивались друг на друга, будто в слоеном пироге, на недостижимую глубину.

«Из всех русских месторождений каменных углей на ближайшей очереди стоит донецкое, — писал гениальный создатель периодической системы химических элементов. — Оно одно из богатейших в мире как по обширности и количеству углей, так и по разнообразию сортов, между которыми многие обладают наилучшими качествами. Донецкий уголь не только может дать возможность развитию около него множества производств, требующих массу угля (каковы: добыча чугуна и железа, получение соды и других химических продуктов стеклоизделия, фарфоровые и тому подобные дела, для коих есть на месте все необходимое), не только способен снабдить весь юг и восток России недостающим там топливом, но, при соответствующих мерах, должен оживить, вместе с Тквибульским (Кутаисской губ.) каменным углем, развитие парового судоходства и железного судостроения на Черном и Азовском морях и по рекам.»

Еще и добавлял: «Такого сочетания, как там, на Донце, массы благоприятных для расцвета промышленности условий нет нигде в Европе...»

Тот же Менделеев впервые и опозитизировал каменно-угольные пласты, назвав их «черными великанами»:

«Много, много веков в земле пластом лежат, не шевелясь, могучие черные великаны. По слову знахарей их поднимают в наше время и берут в службу. Без рабов стали обходиться, а сделались сильнее, такие дела великанами производят, о которых при рабах не смели думать. Черные гиганты шутя двигают корабли, молча, день и ночь, вертят затейливые машины, все выделывают на сложных заводах и фабриках, катят, где велят, целые поезда с людьми ли, или с товарами, куют, прядут, силу хозяйскую, спокойствие и досуг во много раз увеличили.»

Не из сказки это — из жизни, у всех на глазах. Это поднятые великаны, носители силы и работы — каменные угли, а знахари — наука и промышленность».

Так писал он после того, как побывал в нашем крае в 1887 и 1888 годах.

О том же времени и о том, что деялось в Донецком крае в конце XIX века, размышлял в своих заметках о прозе Куприна и Константин Паустовский:

«В те годы донецкие земли быстро теряли патриархальный характер чеховской «Степи»... Степная поэзия «Слова о полку Игореве» ушла в невозвратное прошлое...

Донецкий бассейн охватила золотая каменноугольная лихорадка. Угленосные участки раскупались за бешеные деньги. Создавались акционерные компании, строились шахты и заводы. Шло жестокое соревнование между русскими промышленниками и иностранцами. Иностранцы почти всегда побеждали, у них была старая сноровка, а русские толстосумы, недавние купцы и подрядчики, пока что примеривались и приспособливались и знали только один способ выколачивать прибыли — выжимать все до конца из людей, земли и машин».

Для далеких потомков тех, кто обживал дикие донецкие степи и кто осваивал недра Донецкого кряжа, бесценным художественным свидетельством является и стихотворение Александра Блока:

*Нет, не видно там княжьего стяга,
Не шеломами черпают Дон,
И прекрасная внучка варяга
Не клянет половецкий полон...*

*Нет, не вьются там по ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.*

*Путь степной — без конца, без исхода,
Степь, да ветер, да ветер, — и вдруг
Многоярусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...*

*На пустынном просторе, на диком
Ты все та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликом,
И другая волнует мечта...*

*Черный уголь — подземный мессия,
Черный уголь — здесь царь и жених,
Но не страшен, невеста, Россия,
Голос каменных песен твоих!*

*Уголь стонет, и соль забелелась,
И железная воеет руда...
То над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда!*

Стихотворение так и называется — «Новая Америка».

И действительно, до сих пор хранят в памяти старожилы Нелеповки, что на речке Казенный Торец неподалеку от Горловки, расположенной в угольном центре Донбасса, как на новопоявившихся Щербиновских рудниках называли поселение углекопов в духе той «лихорадки» — Нью-Йорком.

Это уж после них, обустроенных в землянках и на скорую руку сколоченных бараках, стали прозывать и Шанхаями, и Нахаловками, и Собачевками, и Кабыздоховками, и Трущобами... На свой, чисто славянский понятийный образец, учитывая вид жилища и условия жития-бытия в нем.

Тогдашние пристанища углекопов были сродни первоначальным, еще крестьянским угольным копиям, которые назывались и ямами, и мышеловками, и дудками, дырами, погребками...

Об этом пелось в шахтерских песнях, в частушках и страданиях:

*Провалитесь, горы-норы,
Где работают шахтеры!
Провались ты, шахта-яма!
Только жалко — милый тама.
У шахтера душа в теле,
А рубашку воши съели.
Шахтер рубит, шахтер бьет,
Шахтер мается-живет.*

Прообраз тех давних крестьянских угольных «ям» еще застал в конце XIX века писатель С. Каронин (Николай Елпидифорович Петропавловский) и описал в своих «Очерках Донецкого бассейна»:

«...случайная встреча с человеком, который посоветовал мне ехать именно в Щербиновку... Но я потом был благодарен этой случайности, так как попал в самое типичное место, в самое каменноугольное гнездо со всеми его оригинальными особенностями, и мог узнать то, чего я не узнал бы ни в Лисичанске, ни в другом каком месте... Вообще картина нищеты и оголтелости была полная...

В Щербиновке, в Нелеповке и во многих местах земля, содержащая каменноугольные пласты, принадлежит крестьянским обществам. В большинстве случаев крестьяне эту землю на разных условиях сдают в аренду крупным владельцам и компаниям, но в некоторых местах, как вот в этой Щербиновке, мужики, наряду с отдачей в аренду, сами пробовали и до сих пор пробуют разрабатывать уголь.

И далее излагает увиденное впервые и узнанное им:

«Только совсем близко подъехав, я увидел на пригорке ряд каких-то черных бугров, а над ними какие-то постройки вроде колодезных журавлей. Это и были крестьянские копи... Выкопана в виде колодца яма, в глубине не более десяти сажен; над ямой, на перекладине, утвержденной на двух столбах, приделана пара блоков, а сажени на две в сторону, на расчищенном наподобие тока кругу, стоит ворот; под воротом лошадь. Только и всего. Тут и вся машина. Лошадь, погоняемая подростком, ходит в одну сторону, ворот вертится, тянет веревку на одном блоке и поднимает из глубины ямы конец этой веревки, на котором прикреплена бадья; но в то же самое время другая бадья на другом блоке опускается в них и наполняется там углем...

Что же делается в самой яме?.. Далее, с десяти сажен, идет забой по наклонной плоскости, а не горизонтальными галереями, для укрепления которых у мужика нет ни уменья, ни средств. Динамит никогда не употребляется. Вместо него рабочие-забойщики просто долбят пласт угля кайлами и этим путем добывают его».

Ну, что по тем давнишним временам вся и «механизация» была — кайло, лопата, балда, молоток, металлические клинья для расслаивания угля, веревки и деревянные бадьи для спуска углекопов в шахту-яму, подъема угля и подземных, грунтовых вод — об этом и говорить подробно излишне. Но всего этого хватало, чтобы вручную надолбить угля для хозяйственных нужд. А ежели объединялось несколько человек в артель, то, глядишь, и на продажу можно было сподобиться.

Об этих же шахтах писал в «Очерках былого» и сын Льва Толстого — Сергей Львович Толстой:

«Следующая шахта была крестьянская — кустарная. Я решил спуститься в нее. Лошадь приводила в движение ворот, а ворот опускал на дно шахты кадку и поднимал ее оттуда. Я сел верхом на эту кадку и спустился на глубину семнадцати сажен по узкому колодцу, то и дело хватаясь за стенки шахты, направляя движение кадки. Дно колодца, где брали уголь, расширено во все стороны. Крепей не было. Вылез я оттуда черный, как трубочист, и мокрый, как губка...

...В сущности работа на шахте в то время была своего рода каторжной работой».

И Александр Серафимович Серафимович тоже писал, да похлеще:

«К отбойщику подполз, таща за собой салазки, новый рабочий, и они вместе молча стали нагружать огромные куски пласта.

Тягальщик, надев лямку, поправил ее на груди, потом стал на четвереньки и, подогнув голову, изо всех сил натянул веревку. Но трудно было сдвинуть придавленные тяжелой грудой салазки. Руки и ноги скользили по мокрому полу. Он цеплялся за все неровности, пробуя ногой и ища точки опоры...

Раза два я видел, как разъехались у него руки и ноги в полужидкой грязи, сочившейся по полу, и он ударился грудью о плитняк. На него тяжело было смотреть — это была агония труда... Что-то звериное, животное сквозило в этих искаженных чертах...»

Нечто подобное изобразил на своей картине «Шахтер-тягальщик» и выдающийся русский художник-передвижник

Николай Алексеевич Касаткин. Вспоминая о своих поездках в Донецкий бассейн и работу над этой картиной, он заключал: «Там, где не может работать животное, его заменяет человек».

Настал час, и саночников сменили шахтерские кони.

Но углекопов подстерегала другая беда — болотный газ. О нем бытует такая легенда, схожая на правдоподобное предание.

Говорят, на том самом месте, где нынче лежит напоенный солнцем богатый, благодатный Донецкий край, когда-то, давным-давно, на заболоченных берегах тогдашнего морского залива росли дремучие леса, деревья в которых были совсем не похожие на те, что растут в наше время. Над болотами постоянно висел густой туман, насыщенный влагой. И темные тучи сплошь покрывали небо. Из них беспрерывно шли теплые ливни. В небесной выси взблескивали ослепительные всполохи огненных молний, грохотали сильные грозы. Волглый воздух был насыщен испарениями и удушливым болотным газом. Только изредка сквозь мглу, да и то на короткий миг, пробивались солнечные лучи...

В том сумрачном царстве дикой природы не было слышно ни рычания зверей, ни пения птиц. По деревьям и огромным травам ползали великаны-пауки, скорпионы, мокрицы... В болоте жили гигантские раки, преогромные, величиной с хату, лягушки... А еще, говорят, в тех болотах водились неимоверно большие, не похожие ни на какие других тварей, незримые крылатые ящеры. Их тело было прозрачное, как воздух, их невидимые жилы, вместо крови, были наполнены газом болотным. Они умели хорошо летать, однако болото оставляли лишь в кратковременную солнечную погоду. Газ, из которого состояло тело ящеров, легко воспламенялся. И горе тому из них, если в него ненароком попадала пусть и самая крохотная искорка молнии. Вмиг взрывался!

В тот раз над всей здешней местностью непроницаемым пологом залегли густые тучи из края в край. Ни малейшего проблеска не было! Ливни с грозами не затихали на протяжении нескольких недель. Все живое замерло, притихло и затаилось. Глубоко в болоте, под толщами непролазной грязи, распластались ящеры — подальше от беды.

А тем временем крутые, высоченные морские волны начали затапливать и леса, не только болота.

... Прошло с тех пор немало лет, может, сотни тысяч. Море постепенно обмелело в здешних краях. А рухнувшие от воды деревья поглотились топиями. И земле сделалось как бы душно под таким покровом. Она до того разогрелась изнутри, что в конце концов затряслась, как в лихорадке, из ее недр то в одном месте, то в другом стали вырываться наружу огненные столбы, раскаленные камни, которые постепенно остывали и образовывали холмы и горы.

Со временем из поглощенного болотами леса, спрессованного до каменной твердости после того, как он истлел или переродился окончательно, возник сам по себе горючий камень. И залег пластами, как и наваливались друг на дружку деревья. А незримые ящеры — те, которых не уничтожил огонь, оказались сдавленными угольными пластами, и лежали там до поры до времени в почти безжизненной дреме.

И вот настал час, когда тот солнечный камень потребовался людям для обогрева, плавки железной руды, и его стали добывать из подземелья. Тут-то и очнулись потревоженные хищные ящеры-чудища. Зашевелились своими незримыми газовыми телами, торкнулись в одну сторону, в другую, пытаясь освободиться из многовекового плена. Надавит чудище на пласт, и преогромная глыба вывернется и ахнет в забой, где люди, или весь ящер в маленькую дырочку вместе с угольной пылью так и высвиснет из глубин и мором пройдет по углекопам — вповал падают те, кого не задавило до выброса газовых ящеров обломками каменного угля. А наткнется чудище на какой-нибудь огонек в шахте, тут и само взорвется, сотрясая подземелья и обрушивая породу из крепкого сланца и песчаника. Ужасное зрелище!

На одной копи был уже опытный, повидавший виды шахтер. Вот он мараковал-мараковал и надумал, как изгнать зверя-невидимку из угольных пластов.

Он взял с собой длинный шпур. Пробурил им в цельном пласте длинную узкую дыру, чтоб добраться до логова зверя-невидимки, а как только достал того, тот завертелся, как ужаленный, и мигом выскочил через ту дырку в забой. А тут

его подждал наготове мощный вентилятор. Завертел его так, что тот и опомниться не успел, как мощнейшая струя воздуха погнала на-гора и бесследно, до мельчайших его газовых клеточек, развеяла в степи донецкой.

Впоследствии кое-кто из суеверных старых шахтеров называл невидимое чудище еще и шахтерским чертом, жившим, по преданиям, в подземелье и мстившим углекопам за то, что потревожили его подземные покои. А больше он человеком обращался, потому как на самом деле был Хозяином подземных кладов, на которые посягнули люди. Оттого и свирепствовал под землей, громыхал по выработкам, свистел так, что уши закладывало, и пищал, и кукарекал, охал и вздыхал на всю свою пещерную пасть, отчего фуражки с углекопов будто ветром сдувало, фыркал в глаза угольной пылью, обрушивал породу и устраивал непроходимые завалы.

Страх от него набрались углекопы — не приведи господь!

И, таясь, немея до макушки в опаске пред ним, все же пытались разглядеть его в сумрачном подземном хозяйском царстве. Но где там! За ним было не угнаться — то здесь он чем-либо напомнит о себе, то там, а потом и затаится. Кто знает, может, и рядышком где прикорнул. В летах вроде был, и у него, видать, с устатку ноги подкашивались.

Однако находились смельчаки, которые уверяли, что видели его собственными глазами, даже чуть ли не схватили за седую бородищу, которая вслед за ним сивой гривой волочится. Такие-то, братцы, делишки. Самую малость бы — и вытащили б невидимку на свет божий!

А поскольку он все время обитал в сыром подземелье, то постоянно ходил в шубе. От сырости она у него сплошь покрывалась мохнатой изморозью. И была такой же на вид седой, как и его пушистая борода.

Оттого-то, должно, и прозвали его углекопы Шубиным.

И чуть что, припугивали им новичков или лодырей, или пьяниц горьких. Поговаривали, будто он страсть как не терпит сивушного духу — за версту чувствует! Потому и наказывает пьянчужек и нерадивцев.

Росказней о нем ходило — заслушаешься, пока и волосы от страха на голове дыбом не встанут!

А с болотным гремучим газом углекопы боролись поначалу не на живот, а что называется на смертную смерть. И своеобразным способом.

Донецкий ученый-фольклорист Петр Тимофеев записал из уст одного бывшего забойщика, потомственного горняка, такой сказ об этом.

Было это давным-давно, еще при царе. Тогда в донецких степях только-только появились первые шахты. Были они совсем не такие, как сейчас. Уголек рубили обушком, лопатой грузили на сани, сани человек тащил на четвереньках за собой к штреку, там ссыпал в вагонетки, по штреку к шурфу вагонетки доставляли кони, потом уголь поднимали бадьями на-гора. Очень тяжелой и опасной была работа первых шахтеров. Далеко шла от донецких степей дурная слава об этой нелегкой, но лучше других оплачиваемой работе. И съезжался к шахтам на наем бедный рабочий люд. Богатеи — хозяева шахт — радовались: рабочих рук всегда в избытке, есть из чего выбрать.

Но была на старых шахтах в те времена такая подземная специальность, на которую не всегда находился работник. И оплачивалась она дорого — десять золотых рублей, и работы той было на полчаса, а случись что, родня шахтера большие деньги за пострадавшего получала. Шли на эту работу самые отчаянные сорвиголовы, которым смерть — что сестра. Специальность эта называлась поджигатель, или га-зожег.

Перед спуском смены поджигатель натягивал на себя побольше всякого мокрого тряпья, закутывал поплотнее голову и лез с факелом в шахту. Там он поджигал накопившийся угольный газ. Не однажды, бывало, смена находила поджигателя мертвым и выносила его на поверхность. У шахтеров обычай был такой: если погибнет кто под землей, его обязательно на-гора подымали, чтобы похоронить по-человечески.

Работал в те времена на донецких шахтах поджигателем некий Шубин. Лихой был человек. Никого и ничего не боялся. Только однажды полез он очередной раз в шахту поджигать газ, да и погиб там под завалом. Хозяева шахты

подсчитали, что если откапывать Шубина, то это выйдет им дорого. И стали уговаривать семью покойника вместо тела взять деньги. Семья большая была, а без кормильца на что жить? Подумали, подумали, что уж от покойника проку, да и взяли деньги. Только с тех времен и по сей день, из поколения в поколение слышат шахтеры, как гремит в стенах камнями Шубин. Обозлился-де на людей. То выброс устроит, то обвал. Все товарищей себе ищет.

Каменный уголь! Казалось бы, самый неприглядный с виду среди множества драгоценных камней, какие ни на есть на всем белом свете — и черен, и пылен, и недолговечен по изъятию его из земных глубин... И добыча его сопряжена со смертельным риском...

Да воспет он почище алмазов, почище золота!

И немудрено. Поэт-новатор Владимир Маяковский, побывавший летом 1927 года в Донбассе, а затем создавший свыше двадцати самых разнообразных произведений о людях нашего края, написал и «Сказку для шахтера-друга про шахтерки, чуни и каменный уголь». В ней он возвысил народно-хозяйственное значение угля, какое не утрачено и поныне.

*Эй, шахтер,
куда ни глянь,
От тепла
до света,
Даже пища от угля —
от угля все это.
Даже с хлебом будет туго,
если нету угля.
Нету угля —
нету плуга.
Пальцем вспашешь луг ли?!
Что без угля будешь есть?
Чем еду посолишь?
Чем хлеба и соль привезть
без угля изволишь?*

И далее, нарисовав картину преобразования и земли, и людей при усиленной и успешной добыче «черного хлеба

заводов», поэт с внутренней усмешкой и в то же время серьезно сознается, заверяя:

*Я, конечно, сказку сплел,
но скажу для друга:
будет вправду это все,
если будет уголь.*

Владимир Высоцкий в своей песне о горловских шахтерах назвал уголь черным золотом.

А донбасские писатели и сказку сочинили об угле и золоте. Задавалось золото перед каменным углем:

— Куда тебе, черномазому, равняться со мной, спорить с моим блеском и красотой, с моим благородным происхождением. Ты кто? Простой булыжник, и никакого к тебе почтения. А мною любят короли и королевы. Я украшаю дворцы и храмы, из-за меня войны начинаются — люди жизни не жалеют, чтобы только владеть мною!

Слушал, слушал уголь такое бахвальство, и стало ему обидно. Сказал он золоту так:

— Зачем нам спорить? Давай спросим у человека, кто из нас дороже и кто полезнее.

— Ладно, давай спросим.

Пошли они по улице, ищут, у кого спросить. А тут мороз ударил градусов под сорок. Продрогло золото на ледяном ветру, кутается в свои блестящие одежды, согреться не может. А уголек шагает себе, посмеивается. Шли они так, шли. Уголь смотрит: совсем заоченело золото, инеем покрылось, побелело, того и гляди — богу душу отдаст.

— Эх ты... — говорит уголь. — А еще называешься благородным металлом.

— Погрей, пожалуйста, — просит золото, — спаси меня... Мочи моей нет как холодно!

— Ладно уж, подходи, грейся.

Высек уголь из себя искру, взялся жарким огнем, обнял золото, обогрел его.

— Ну, кто из нас полезнее? — спрашивает уголь.

У золота зуб на зуб не попадет, дрожит, слова вымолвить не может.

— Ох, спасибо, уголек... Еле согрелось, хорошо мне стало...

Признаю, твоя взяла, ты полезнее... Теперь давай спросим, кто из нас дороже.

Встретили богатого человека.

— Скажи, — обращается к нему золото, — кого из нас ты выбираешь — меня, золото, или уголь?

— На что мне сдался уголь, — отвечает богач. — Если надо, велю накопать или на базаре куплю... Так что не сомневайся, золотишко, полезай скорее ко мне в карман, тебя выбираю.

— Слыхал, мазепа, — смеется золото. — Слыхал, что человек про меня говорит? Не пристало тебе со мной тягаться... Отойди-ка подальше, а то запачкаешь меня.

Обидно стало углю, да только он не растерялся, усмехнулся и отвечает:

— Ладно... Все равно добрых людей на свете больше, чем жадных... Теперь давай померяемся, кто из нас сильнее.

Но золото совсем нос кверху задрало, смеется над углем, обзывает его, старается унижить:

— Зря время теряешь, мазурик... Я сильнее тебя в тысячу раз. Я могу купить танки и артиллерию, могу любую армию нанять! Стоит мне слово сказать, как самолеты полетят куда прикажу, да не пустые, а с бомбами. Вот какая во мне сила!

Покачал головой уголек и говорит:

— Давай, однако, поборемся: кто из нас верх возьмет, тот и сильнее.

Сказал уголек эти слова, вспыхнул, разгорелся, распалился великим жаром и золотишко расплавил. Растеклось оно по земле, что твоя водица.

— Ну, кто из нас сильнее? — смеется уголь.

— Твой верх, признаю, — говорит золото, — хотя и обидно мне очень и зло берет. Но только не думай, уголь, что ты победил меня. Соберу я всех богатых людей, которые живут на свете, созову всех собственников, кликну скопидомов и жадных — нас больше!

— А за меня миллионы шахтеров, — отвечает уголь с гордостью. — Они меня в обиду не дадут!

Так до сих пор идет спор между углем и золотом. А ты, дружок, поразмысли хорошенько и дай мне ответ: кто все-таки важнее, дороже и полезнее — уголь или золото?

Однако, как говорится, сказке время, а потехе час.

Тот же Леонид Жариков, сочинивший эту сказку, и всерьез размышляет об угле — бесценном даре природы. Рассуждает с присущей его натуре лирико-романтической настроенностью.

Каменный уголь — дар земли. И как бы ни выглядел буднично черный кусок антрацита, он заключает в себе волшебную силу жизни.

Пока уголь лежит в земле, он мертвый камень. Но стоит разбудить в нем дремлющий огонь, и закипит вокруг жизнь, рожденная его энергией, точно живое сердце забьется в куске угля.

Нелегко и непросто даются человеку эти сокровища. Вьюжной зимой и жарким летом, в холод и дождь, ночью и днем горняки спускаются глубоко под землю и рубят в тесных забоях под нависшими породами каменный уголь.

Из глубины шахтных стволов «качают» уголь тяжелые коробки — скипы. Словно чаши весов, спускаются они в недра и поднимают на-гора уголь, там ссыпают его в железнодорожные вагоны, и поезд, груженный антрацитом, мчится туда, где сверкают огни электростанций.

И уже шагают через степь, точно великаны, стальные колонны высоковольтных линий. Одна колонна стоит у проезжей дороги, покрытая пылью, другая — в отдалении, среди моря пшеницы, и сама пахнет поспевающим хлебом, третья колонна сбежала в балку — видна лишь ее макушка, четвертая взобралась на курган и стоит, как былинный богатырь, озирая неоглядные окрестности.

Народные предания гласят, что в далекие времена в донецких степях были сторожевые посты Запорожской Сечи. В грозный час на высоких курганах зажигались жаркие огни, и от костра к костру до самого Запорожья передавалась тревожная весть.

Вот и сегодня от колонны к колонне, точно из рук в руки, протянуты провода, и по ним течет энергия во все концы степи: к заводам и фабрикам, во дворцы культуры, в городские дома и сельские хаты. Это труд шахтеров кипит в стальных жилах.

После всего сказанного писателем, после этих слов, рожденных в его пылком и влюбленном в Донецкий край, в его людей сердце, каким обиденным, заземленным, даже суховатым выглядит энциклопедически-словарное определение понятия «уголь»!

И в самом-то деле: «Ископаемое твердое горючее вещество растительного происхождения». Либо: «Земляной, ископаемый или каменный, горный уголь, остатки допотопных лесов, растений, перекаленные под пластами толщи земной подземным огнем». Либо: «Уголь — первая степень пережиги, спаленья, вещество недогорелое, по недостатку воздуха, кислорода; посему уголь сильно горюч...»

Но уголь вошел и в присловья, и в приметы, и в сравнения, без коих и речь наша обеднела бы, и быт, и краски жизни.

Клевета — что уголь: не обожжет, так замарают.

Нечем черту играть, так угольем.

Угля сажей не замараешь.

Стою, как на угольях.

В трубе углем не запишешь.

Уголь да глинка — не праздничный харч.

На том свете угольем отдам (долг).

Уголь из печи — гости на двор.

Уголье на загнетке само загорается — к морозу.

Уголек из кадила выпал при каждом

около покойника — скоро другой будет.

Глазенки — что угольки.

А пласты чернозема, вывернутые плугом, взблескивают, как антрацит.

Опоэтизирован уголь! Поэты нарекли его солнечным камнем. И это близко к правде — в нем действительно сокрыта энергия солнечная, накапливавшаяся веками. А шахтеров, соответственно, поименовали солнцерабами.

Донецкий уголь-камень

Таит огня струю.

И этот горный пламень

Питает песнь мою, —

сознавался шахтерский поэт.

В лирической прозе воспет и сам процесс горения угля.

Случилось мне как-то встречать рассвет в степи. Был тот тихий час, когда ночь миновала, а утро еще не наступило. Лишь на востоке чуть посветлело небо, но еще ничего не было видно в лиловом полумраке. Вдали по горизонту рассыпались электрические огни.

Мы сидели недалеко от дороги на невысоком степном кургане, который, как мы потом увидели, оказался небольшим терриконом давно заброшенного шахтного шурфа. Много их разбросано по донецкой земле, все недра там изрыты ходами — шахтами.

В ожидании машины, которая должна была приехать за нами, мой приятель от нечего делать собрал вокруг кургана прошлогоднюю траву, пучки соломы, щепки и бумагу в придорожной канаве и разжег костер. Сверху он бросил несколько кусков каменного угля, найденных тут же в куче шахтной породы.

Мы невольно залюбовались тем, как занимались от валежника обломки угля. Сначала по черным камням скользнул воровато и погас фиолетовый огонек. Густо повалил дым. Из него мелькнуло сбоку легкое зеленоватое пламя, поколебалось и тоже исчезло. Опять мелькнул фиолетовый, а за ним малиновый огонек. А снизу в космах дыма, от которого потянуло запахом серы, вырвался оранжевый язык пламени и уже не угасал, постепенно накаляясь до ярко-желтого, а потом белого.

Товарищ мой подбросил в костер пучок свежей полыни. Искры дружно взметнулись кверху, осыпая нас обоих. Повалил пепельно-желтый дым. Сырая трава, потрескивая, воспламенилась было, потом зашипела и стала гаснуть, но, подсохнув, снова ярко разгорелась.

«Живой огонь» — как это хорошо и точно сказано! Гореть — значит жить!

Сколько знаменитых ученых работало над вопросами, связанными с горением! Но сколько еще неразгаданного в этом удивительном явлении, как и в самом блестящем камне — угле!

Горение — чудо. В черном камне разбудили солнечное тепло, которое хранилось в нем сотни миллионов лет, с той

самой поры, когда доисторическое дерево, живя на первобытной земле, вбирало в себя тепло тогдашнего жаркого солнца. Как таится взрыв в куске динамита, так энергия солнца дремлет в угле, пока горение не вызовет ее к жизни...

Небо на востоке покрылось нежными красками рассвета. В степи стало светлее, и взору открылась картина, которую можно увидеть только в Донбассе. Словно потухшие вулканы, стояли то здесь, то там островерхие пирамиды — терриконы шахт.

Но вот небосклон разгорелся, в золотистом его сиянии полыхало полнеба.

Скоро взойдет солнце. Мы невольно притихли в ожидании торжественной минуты. И тогда, точно по волшебству, выглянул из-за горизонта огненный краешек солнца. Он напоминал раскаленные угли в нашем невзыскательном степном костре. Медленно поднимался, выросал из-под земли багровый полукруг, и наконец, весь пламенея, величаво всплыл над степью пылающий солнечный шар.

Как зачарованные глядели мы на восход солнца.

— Правда красиво? — спросил мой товарищ. — Сколько раз вижу восход солнца и всегда волнуюсь. Это чудо, и скромный наш камень — уголь, брат солнца, — тоже чудо!

Уголь — предок алмаза,

Уголь — родины клад,

Уголь — сила народа,

Солнца пламенный брат.

По железной дороге, пересекавшей шоссе, у которого мы провели эту ночь, мимо полосатого шлагбаума прогремел тяжелый тепловоз. За ним летела бесконечная вереница пульмановских вагонов, доверху нагруженных каменным углем. Тепловоз огласил далекую степь радостным криком: «Везу-у-у, везу-у-у!»

Тут нет никакого писательского преувеличения. Ведь по толковому словарю Даля: «Алмаз есть чистый уголь, в природных гранках».

Да и понятия уголь и огонь, уголь и тепло, уголь и свет — нераздельны!

И не зря движущую силу воды называют белым углем, а ветра — голубым углем.

Сколько возвышенных слов посвятили углю поэты разных поколений!

Михаил Светлов:

*Хмуро молчал неприветливый уголь,
Шли вагонетки, и рельсы сверкали...
Где же ты, нежность? И люди подругу
Сами себе из угля высекали.*

Ярослав Смеляков:

*Поважнее красот ширпотреба,
Хоть и эти красоты нужны,
По заслугам приравненный к хлебу,
Черный уголь рабочей страны.*

Борис Котов:

*Мы брали с бою уголь,
Несли в забой огни,
Чтоб счастье, словно друга,
Найти и сохранить.*

Леонид Вышеславский:

*Донецкий край, где жизнь берется с бою,
Ты мне знаком и вечно будешь мил!
Твой уголек, лежащий под землею,
Глаза парней немного подсурьмил.*

Евгений Сердинов:

*Кусочек угля, черный слиток,
Он сын земли, он солнца сын,
В нем крепко смешаны и сбиты
И света высь, и тьма глубин.*

Грицько Бойко:

*Огонь угля и блеск металла,
Красу цветов, дыханье рек,
Что утаил — навек пропало.
А что отдал — мое навек.*

Евгений Нефедов:

*Цветы и уголь,
Как любовь и труд,
Равны в своем
Высоком назначенье.*

Так и договоримся, други мои, сказок я вам рассказывать не буду, потому что, откровенно говоря, никаких сказок не знаю. Как я жил по правде, так правду и выскажу, какая она есть, — с медом и с перцем. Я буду рассказывать, а вы доставайте свои тетрадки, и когда у нас все слова кончатся, начнем выдумывать. Только и выдумка будет чистой правдой, то есть самой жизнью. Ну, а где жизнь, там и выдумка или мечта — без нее человеку не видно пути вперед.

То добре, что вам интересно, как в старое время жили шахтеры. Кто прошлого не знает, тот настоящего не поймет. Так что приготовьтесь горевать и удивляться, потому что жизнь углекопов до революции была немислимым кошмаром и ужасом. За людей нас не считали. Помню, один знакомый шахтер заболел чахоткой, бедняга. Скопил он денег и подался на юг в курортные места лечиться. А там его городской — цоп за рукав: «Ты, говорит, зачем сюда приехал, чучело гороховое? Господ будешь углем своим пачкать? А ну, проваливай, пока цел». Вот такой беспросветной была наша судьба. Под землей я проработал шестьдесят годков, прошел через все профессии, какие есть в шахте, и через все времена, через все муки прошел. И если вы, дорогие красные следопыты, пришли к деду Синице узнать все о прошлой жизни, то слушайте, открою перед вами святую правду — это уж точно!

Для начала расскажу я вам лекцию и начну ее с вопроса. Мы с вами говорим: шахтер, шахтер. А кто такой шахтер, не знаем. Возьмем, к примеру, тебя, дружок, как ты считаешь — кто есть шахтер? Человек! Правильно, только малость приблизительно... Ну, а ты как скажешь? Шахтер — человек, который добывает уголь под землей. Тоже верно. Пошли дальше. Ты, светлая голова, как считаешь? Шахтер — герой подземного труда! Такая оценка есть самая верная, и мы ее принимаем единогласно.

А теперь приступим к лекции.

В какие годы — неведомо, в каком краю — неизвестно, жил могучий титан, фамилию не помню, а звали его Прометей, вроде нашего Прокофия или, как мы говорим, Прощка. Бог не бог, человек не человек, одним словом, великан: небесами укрывался, зорями подпоясывался, звездами засте-

гивался. Жил этот Прощка-Прометей вместе с богами на высокой горе под названием Олимп. Там у богов хранился священный огонь. А в это время люди на земле погибали в темноте от холода и голода. Жили в пещерах, питались сырым мясом да дикими кореньями. Разум у людей был слабый, как у малых детей. И беззащитными они оставались перед лицом природы. Смотрел, смотрел Прометей, и стало ему жалко людей. Думал: как же так и за что люди страдают? Взял тайком у богов огонь и отнес людям.

Свет от небесного огня осветил мысли людей, пробудил их дремлющий ум, зажег в сердцах стремление к труду и счастью, Прометей научил людей готовить на огне пищу, варить целебный сок растений, который помогает при болезнях и ранах. Избавились люди от страха смерти, научились бороться с природой, добывать в недрах и обрабатывать металлы: медь, железо, серебро и золото, делать из них оружие и украшения. Люди научились строить себе дома из дерева и камня, делать корабли, окрыленные парусами.

С гордостью смотрел Прометей, как люди становились разумными, искусными во всяких делах.

Узнал об этом главный бог и рассерчал. Позвал он своих верных слуг Силу и Власть и велел схватить нашего Прощку-Прометея. Связали его веревками, привели. «Зачем же ты, такой-сякой, взял и украл у меня священный огонь и отнес людям?» — «А затем, — отвечает Прометей, — что твои боги без людей, что генералы без армии». — «Неправда! — закричал главный бог. — Моя армия — тысячи тысяч ангелов и архангелов, они моя надежда и защита». — «Извините, — смело отвечает ему Прощка-Прометей, — не будет людей, не будет и ангелов».

Сказал он эти правильные слова, только бог не захотел их слушать. Приказал он вызвать святых прокуроров, и те вынесли приговор Прометею: дескать, виновен и не заслуживает снисхождения.

Суд есть суд, да еще небесный — кому пожалуешься?

И велел главный бог казнить Прометея ужасной казнью: приковать его цепями к гранитной скале, и чтобы хищный орел-птица клевал ему сердце и разрывал грудь. Тысячу лет

солнце жгло иссохшее тело Прометея, ледяные ветры секли его колким снегом. Но Прометей вытерпел все муки, потому что страдал за людей.

На этом нашей лекции подошел конец. Только есть продолжение, есть секрет особого свойства, и я вам сейчас его открою. Тем Прометеем был, кто вы думаете? Человек подземного труда — шахтер! И когда боги приговорили его к зверской казни, все шахтеры поднялись, пришли к богу и сказали ему дерзко: «Знаешь ли ты, всевышний, откуда у тебя в священном очаге огонь? Кто его добыл и принес сюда, на Олимп, чтобы ты сидел и грелся?» — «Ну, объясните, кто принес мне огонь?» — говорит главный бог. «Шахтеры! Вот кто постарался для вас и принес вам тепло. И если шахтеры всего мира захотят, то огня у вас не будет. Поэтому освободи Прометея по собственному желанию, иначе лишим огня все твои небеса».

Делать нечего — зовет бог святых прокуроров, надо амнистию делать Прометею. А куда денешься? Так и проголосовали.

С тех пор и живет на свете шахтер Прошка-Прометей, Бог не бог, человек не человек, и люди во всем мире кланяются ему с любовью.

На Луганщине до сих пор передают из уст в уста любопытную бль о каменном угле, которая по прошествии многих лет уже выглядит как бы и легендой, в крайнем случае — преданием.

О том, как из антрацита шахтеры соорудили «венки бессмертия», когда умер вождь пролетариата Ленин, и отправили ему на могилу в Москву.

В ту январскую стужу 1924 года, разумеется, живых цветов нигде не нашлось на угольных рудниках, в рабочих поселках. И самоцветами, этими вечными цветами земли, Донбасс не был богат, чтоб из них составить подобающий венок, как это делали на Урале. К тому времени геологи еще не открыли их в Донецком крае, лишь предполагали, что они все-таки должны быть где-то в этой почти гористой местности.

Вот, считай по безвыходному положению, кому-то пришла в голову думка слепить из антрацитовых пластинок и кусоч-

ков траурный венок. Антрацит-то колетса ровнехонько, если его осторожно расслаивать.

К антрацитовому венку пожелали быть причастными все забойщики. И каждый из них выносил из шахты на-гора свой, им добытый уголь. А в шахтном управлении на листе фанеры, отгрунтованный белилами, с контурами рисованного венка, на вырезанных из материи листках, покрытых клеем, осторожно укладывали поверх всего угольные пластиночки. В заключение покрыли лаком. Получился как настоящий! Из, скажем, чернолистного лавра. Ему ни снег, ни морозы, ни долгая и тряская дорога до Москвы — нипочем!

Все цветы и венки из них на могиле вождя тут же увяли, а шахтерский венок стоял как живой! Снег таял на его листьях и скатывался каплями, схожими на слезы. Шахтеры убеждены, что угольные листья были теплыми в крещенские морозы от солнца, заключенного в угле, и от сердец и рук тех, кто его добывал. Копия этого венка и поныне хранится в музее Ровеньков Луганской области. Значит, был!

С тех пор, как открыли в Донецком краю залежи каменного угля, прошло без малого три века.

Добывают его нынче и в Донецке, и в Горловке, Дзержинске и Енакиево, в Снежном, Торезе, Шахтерске и Макеевке, в Доброполье, Красноармейске, Селидово и Угледаре. В центре края и на его северных, западных, восточных и южных отрогах — всюду! Не говоря уж о Большом Донбассе, который охватывает и Днепропетровскую область, и Донецкую, и Харьковскую, и Луганскую в Украине, а в России — Ростовскую и Воронежскую области.

А залегает он по прихоти природы, в зависимости от мук, в которых рождала его земля, пластами толщиной от сорока пяти сантиметров и до двух метров и под уклонами от двадцати до семидесяти градусов. И выбирать его, зажатого со всех сторон породами-известняками, по-прежнему не так-то просто. Ко всему еще и реки подземные то и дело вскрываются и затапливают выработки, и газ-метан неизменно грозит внезапными выбросами, когда в момент может запечатать угольной мелкой, как порох, пылью подземные галереи длиной в триста метров, а то и взорваться от какой-либо

искры и обрушить на горняков каменное небо, как ты его ни укрепляй, и через каждые тридцать метров в глубину недр температура повышается на целый градус, а доводится добывать уголь почти на всех шахтах Донбасса уже за километровой отметкой, и большая крутизна мешает внедрить новую технику...

Хотя давным-давно кайла и ломы для ломки угля были заменены отбойными молотками. А там подросла и врубовая машина — «врубовка», вслед за ней — угольные комбайны и комплексы, которые сами и проходку делают — пробивают подземные ходы к угольным пластам, и лаву в угле нарезают, вгрызаются в неподатливый пласт, сбрасывая на конвейер добытый уголек, а заодно и крепят вслед за собой выработанное пространство, автоматически передвигая и подпирая кровлю тяжеленными чугунами, а возможно, и из какого покрепче металла, тумбами...

И шахтерских коней, облегчивших в свое время труд тягальщиков, или саночников, тоже заменили — на быстрые электровозы, каждый из которых заключает в себе не одну лошадиную силу энергии.

С введением новой техники неузнаваемо изменился и добытчик угля. По большей доле горняки теперь со средним и высшим образованиями, при надобности сами могут не только в темпе починить то ли комбайн, то ли комплекс, со всеми приводными сложными механизмами, а и доработать, доусовершенствовать их при испытании, перед тем, как завод горного оборудования приступит к серийному выпуску. Еще и прискажут: «Одна голова хорошо, а полторы лучше!» Имея в виду, что половина принадлежит заводским инженерам и конструкторам. Ну, в острологии им не откажешь.

Мне кажется, что люди, работающие на стыке со стихией, преодолевая ее в единоборстве, куда богаче душой, моральными устоями, образным восприятием окружающего мира, нежели те, кто лишен этой возможности. Не имею в виду начитанность, осведомленность в искусствах и литературе, науке. Говорю о духовном богатстве первозданном, полученном от природы, которая всегда была и будет до конца

света мудрее отдельно взятого человека. Потому как он ведь тоже ее порождение, дитя ее.

Шахтеры, добывая уголь, имеют дело со стихией — пусть и с организованной, а все ж стихией! И переняли от нее, при личной отваге и мужестве, нечто организованно-стихийное.

От организованности зависит жизнь горняков, как на фронте. Потому и спаяны они меж собой шахтерским братством, которое сродни фронтовому.

А от стихии они, очевидно, започутили народный юмор, склонность к розыгрышам, всевозможным придумкам, никогда не унывающую натуру, как и способность к сказовым былям и небылям, и не в отношении одного Шубина, а и своих собратьев, умение незлобиво подтрунить над сотоварищами, прилепить необидное прозвище и вообще пересыпать свою речь по-народному мудрыми присказками, поговорками и пословицами из шахтерского быта.

Менялись условия их работы под землей и быта на земле, менялось и содержание их по-народному мудрых, хлестких изречений.

На шахту пойдешь — дорогу к счастью найдешь.

Горняцкая дружба крепка не лестью, а правдой и честью.

Кто в забое горячится, никогда не отличится.

Слову — вера, углю — мера.

Не гордись почетным званьем, а гордись шахтерским званьем.

Врубовка любит смазку, как ребенок ласку.

Раньше был обушок — шахтерский дружок, а теперь «Донбасс» — верный друг у нас.

Как спустили к нам комбайн, наступил и в шахте май.

И в пословицах и поговорках выказывается неизменное почтение и углю, и профессии шахтера:

Уголек — что золото: и блестит, и ценится.

Шахтеру шахта — что птице небо.

Откуда же взялись эти слова — «уголь» и «шахтер»?

Немецкий этимолог Макс Фасмер в своем четырехтомном «Этимологическом словаре русского языка» исследует их происхождение достаточно подробно.

Оказывается, слово у г о л ь, по-украински в у г і л ь или в у г і л л я, берет свое начало в древнерусском и старосла-

вянском языках, а посему у него одинаковое значение, да почти и произношение, и на сербском, и на хорватском, на словенском и чешском, и польском, и даже на древнеиндийском языках... А в последнем, древнеиндийском, оно сближается со словом о г о н ь, как бы уравнивается по сути своей, по смыслу. И тогда становится ясным, откуда что взялось.

Но из истории известно, что уголь был найден в других странах много раньше нашего. Может, оттуда и заполучили это словцо наши древние? Бог ведает.

Ну, а со словом ш а х т е р — тут дело попроще обстоит. Оно произведено от слова ш а х т а, которое упоминалось уже в XVI веке. Также в эпоху Петра I. И пришло оно к нам через чешский и польский языки из немецкого, которое означало «голенище», то есть «шахта, копь», первоначально воспринимавшаяся как «голенище», «труба» в связи с ее формой. У нас, в Донецком крае, их называли еще и «дудками» — все по той же форме, и далее уж на свой манер — «норами», «ямами», хотя и «копями», «рудниками» — от слов «копать» и «руда», а потом все-таки прижилось иностранное «шахта», потому как на большинстве копалин по тем временам хозяйничали заграничные специалисты и владельцы — те же немцы, голландцы, французы, англичане. Они и вживили это слово, ставшее для нас родным.

Бытует среди шахтеров и другое, уже неотъемлемое от их работы словосочетание — н а - г о р а.

Оно вошло в пословицы:

У нас тому почет, у кого уголь на-гора течет.

От громких «ура» уголь не пойдет на-гора.

С новой техникой шахтеру уголь легче слать на-гору.

Вошло оно и в поэзию — русскую, украинскую, грузинскую, абхазскую...

Нелегко расступаются недра и горы,

Нелегко поддается земная кора,

Но приходит народ работающий —

шахтеры,

И богатства планеты идут на-гора.

Молоток грохочет

*С самого утра.
Выдавай, проходчик,
Уголь на-гора!
И сердце вруба ровно бьется,
Легко дышать компрессорам,
И на электроинходце
Несется уголь на-гора.
Когда шахтер
Выходит на-гора
И у него —
Победа за плечами, товарищи
Средь шахтного двора
Его цветами
Радостно встречают.*

И самое сильное из приведенных строк — стихотворение «Шахтеры» большого русского поэта-донбассовца Владимира Демидова:

*Сдается нам
Земная твердь.
Мы рубим в недрах
Уголь пламенный.
Нас каждый день
Уносит клеть
Из века атомного
В каменный.
Пути шахтеров
Не просты.
Мы пробиваем
Лавы длинные
И поднимаем
Не пласты,
А солнца залежи целинные.
И поминутно у копра
По рельсам гулким
И обкатанным
Оно выходит на-гора
Из века каменного
В атомный!*

И во многие прозаические книги отечественных и зарубежных писателей: в романы Сергея Сергеева-Ценского «Наклонная Елена», Бориса Горбатова «Донбасс», Юрия Черно-Диденко «Правда на земле одна», Александра Кронина «Звезды смотрят вниз», Эптона Синклера «Король-уголь», в повести Ильи Гонимова «Шахтарчук», Михаила Чабанивского «Каменное небо», Григория Баглюка «Синий заяц»...

А Василий Гроссман, некоторое время живший и работавший в Донбассе, даже этим словосочетанием озаглавил весь роман, только почему-то на немецкий лад: «Глюк-ауф».

Синклеровский роман «Король-уголь» буквально со второй страницы начинается с песенок, в которых есть такой куплет:

*Знает Уголь-король:
Деньги всюду пароль.
Много дал он угля на-гора!*

В толковом словаре русского языка это словосочетание определяется как наречие: наверх, на поверхность земли. И все! Но почему именно на гору? Можно просто объяснить: руды и угольные копи открывали попервах в горах — Уральских, Оленьих на речке Кундрючьей, Соколовых на Северском Донце, люди-добытчики забирались в эти горы, вовнутрь, а потом выбирались наружу — на гору, оттого и — на-гора.

Но лучше всего обратимся за помощью к знатоку, известному ученому-филологу и этимологу Евгению Отину:

В настоящее время в профессиональной речи и в газетах можно нередко встретить это шахтерское словечко, например: «Уже в нынешнем году Николай Путра и его товарищи выдали на-гора без малого десять тысяч тонн сверхпланового угля» («Правда», 12 февраля 1969 г.). Реже оборот *выдать на-гора* употребляется переносно...

В словарях XIX века его нет, в том числе и в «Горном словаре» Г. Спасского (М., 1841).

В современном русском языке значение «поднять на поверхность, из шахты» закреплено за всем выражением *выдать на-гора*, а в слове *на-гора* предлог слился с существительным так, что образовал с ним наречие. Этому в первую очередь

способствовала необычная для литературного языка форма именительного падежа вместо винительного (на гору).

В речи шахтеров в 20-е годы нашего века слово *гора* в значении «дневная поверхность шахты» могло употребляться не только в составе наречия и в сочетании с глаголом *выдать*, но вступало в связь и с иными глаголами (работать, выехать и т. д.). В 1924–1929 годах известный собиратель донских говоров А. В. Миртов в речи потомственных горняков центрального района Донбасса наряду с выражением *выдать на-гора* записал такие: «он работает на горах»; «опомнился только на горах»; «выехать на-гора». «Поверхностные рабочие — отмечает автор, — это те, которые не спускаются в шахту, а работают «на горах». А. В. Миртов отметил еще одно утраченное теперь значение в слове *гора* — «место, где построена шахта». По-видимому, фраза «он работает на горах» могла просто служить указанием на профессию шахтера (Словник донецкого гірника. — «Етнографічний вісник». Кн. 10. Киев, 1932).

В речи горняков прошлого века словом *гора* мог обозначаться и сам рудник. Так, в «Горном словаре» Г. Спасского приводятся обороты *знать гору* — «иметь практические сведения о положении руд и о производстве работ» и *идти в гору* — «спускаться в рудник». Замечание о местном пермском слове *гора* — «рудник» мы находим и в газете «Русский инвалид» (1895, № 9): «В рудниках, или, по местному названию, в горах, медные руды добываются, смотря по их твердости, порохоострельною и кайловою работами; оторванная от месторождения руда подкатывается по деревянной дороге внутри рудников в тачках к шахте, по которой потом поднимается на поверхность вертикальным воротом в бадьях». Слово *гора* употреблено здесь в современном значении «шахта», «место добычи полезного ископаемого», а заимствованный из немецкого технический термин *шахта* — в значении «отвесный колодец, шахтный ствол». Описанный выше способ доставки руды на поверхность проясняет до некоторой степени происхождение выражения *выдать на-гора*: это означало «поднять полезное ископаемое вверх, наружу» (ср. приведенный Г. Спасским оборот *идти в гору*, определявший движение в противоположном направлении).

Значение «верхняя, наружная, дневная поверхность шахты» возникло в наречии *на-гора* под влиянием общеупотребительных предложных сочетаний *в гору, на гору*, где существительное имеет переносное значение «верх» (вообще в славянских языках значения «гора» и «верх» часто связаны с одним словом: русское диалектное *в горе* — «вверху, наверху», украинское *на гору* — «верх по склону», белорусское *гара* — «гора» и «чердак» — конкретизация значения «верх дома», польское *gora* — «гора», «верх», «чердак», чешское *vrch* — «верх», «гора, холм» т. д.).

Форма именительного падежа существительного *гора*, выступающая в значении винительного (на кого, что — на-гора), выдает диалектное происхождение интересующего нас наречия. В ряде говоров русского языка (главным образом в северо-западных и северных, в меньшей степени в центральных и южных областях Русского государства, где сейчас находятся среднерусские и южнорусские говоры) издавна была известна конструкция *земля пахать, топить байна* (баню), *косить трава* и т. д. Разрушение этой конструкции с независимым инфинитивом привело, с одной стороны, к вытеснению формы на *-а* формой винительного падежа на *-у* (вместо *косить трава* стали говорить *косить траву*), а с другой — к тому, что окончание *-а*, утратив исконное значение именительного падежа, «выдвигается как общий показатель винительного падежа, вытесняя собой старую аккумулятивную форму на *-у*», — так определяет этот процесс Ф. П. Филин в статье «Об употреблении формы именительного падежа имен женского рода на *-а* в значении аккузатива» («Бюллетень диалектологического сектора Института русского языка», Вып. I. М.-Л., 1947). Примеры, приводимые в работе, исключительно из северо-западных говоров: «Он идет на могила»; «Только на крыша труба провести надо»; «Мы в байна ходили» и др.

Новгородская земля была колыбелью русской горнодобывающей промышленности. Именно здесь нужды железодельного производства вызвали к жизни, особенно с эпохи Ивана Грозного, многочисленные центры добычи железных руд — в Устюжне Железопольской, Каргополе, вблизи Соловецкого монастыря, в Карелии и в других местах. С конца XVI века начинается добыча местных руд в подмосковных

районах, и только в XVII веке в орбиту промышленных интересов России входит разработка богатых рудных месторождений Урала. Сейчас трудно определить, где и когда возникло наречие *на-гора* — в горнодобывающих районах средневековой Новгородской земли, перекочевав затем с новгородскими рудознателями на новые земли, или в более позднюю эпоху на Урале (некоторые исследователи отмечают употребление формы именительного падежа в значении винительного и в ряде уральских и сибирских говоров). Определенным ориентиром может служить распространение этой диалектной черты главным образом в северо-западных говорах.

Дальнейшая судьба слова хорошо известна. Закрепившись в профессиональной речи горняков, наречие *на-гора* в наши дни претендует на общеупотребительность.

Каменный уголь возвеличен и до «огня глубинного», и до «горного пламени», и до «подземного солнца».

Как и добытчики его — шахтеры: и огнепоклонниками их называли, и солнцерубами, и...

Да лучше об этом, вероятно, никто не писал, чем те, кто сам работал в шахте, кто сам, что называется на своей шкуре, испытал, каково добывать в недрах солнечный камень.

А шахты уходят все глубже и глубже, к угольным пластам, которые залегают в Донецком кряже почтай на двухкилометровой глубине. Попробуй добраться до них, попробуй на такой глубине провентилируй выработки, предотврати внезапные выбросы и взрывы болотного газа — метана! Оттого, знать, так часто в последнее время тревожат небо над донецкой землей, сплошь погорбленной терриконами, гудки печали и скорби...

Но шахтеры непреклонны! Вновь и вновь спускаются в ее глубины и вступают в отчаянное единоборство со стихией.

Патриарх шахтерской поэзии Павел Беспощадный еще в начале тридцатых годов, пройдя все круги подземного ада на хозяйской шахте, писал:

Шахты местом каторжных становиц

Называли прежде горняки —

Выбирая груз тугих сокровищ,

По-иному пляшут молотки.

И горняк глядит на пласт влюбленно —

*Ты пришла, заветная пора:
Посылаем в гору эшалоны
Черного подземного добра.
Говорили в старину о кладах,
Распевали множество былин —
Мы нашли их и на эстакады
Подаем вагоны из земли.
И творит горняк иные сказы
Под землей и у подножья гор.
Человек, рубяющий алмазы,
Просто называется — шахтер.*

А безвременно ушедший в мир иной Николай Анциферов с молодой, задорной удалью, свойственной его широкой, подонбасски распахнутой натуре, на первый взгляд совершенно по-иному, однако в том же ключе любви к шахтерам-побратимам, называл себя вельможей:

*Я работаю, как вельможа,
Я работаю только лежа.
Не найти работенки краше,
Не для каждого эта честь.
Это — только в забое нашем:
Только лежа — ни встать, ни сесть.
На спине я лежу, как барин.
Друг мой — рядом, упрямый парень.
«Поднажмем!» —
И в руках лопата
Все быстрее и веселей.
Только уголь совсем не вата:
Малость крепче и тяжелей.*

*Эх, и угольная перина!
Не расскажешь о ней в стихах.
Извиваешься, как балерина,
Но лопата играет в руках.*

*Отдохнуть бы минуточку, две бы!
Отдыхаешь, когда простой.
Семьянин говорит о хлебе,*

*О любви говорит холостой.
Но промчится пара минут —
И парник мой тут как тут.
Шепчет: «Коля, давай, давай!
Вместе взялись, не отставай!»*

*На спине снова пляшет кожа.
Я дружку отвечаю: «Есть!»
Я работаю, как вельможа,
Не для каждого эта честь.*

Но и те, кто лишь гостил или собирал материал для своих книг, не менее уважительно отзывались о работе шахтеров.

Популярный в свое время писатель Всеволод Кочетов писал так: «...Спуститесь в шахту в Донбассе на глубину девятисот метров, проползите там по наклонной лаве меж хрупких еловых стоек, под кровлей, которая вот-вот придет в грозное движение, вам станет ясно, что труд шахтера — это героический труд».

Об этом же, об уважении к шахтеру и его труду, сложил немало проникновенных, по-сыновнему исполненных любви к отчому краю, стихов и выходец из Донбасса, тоже познавший смалу шахтерский подземный труд, классик украинской литературы поэт-лирик Владимир Сосюра:

*Нет равного труду шахтера,
Взрывающего глубь земли.
Он пробивает путь сквозь горы,
Чтоб радости моря цвели,
Чтоб, как небес огни над нами,
Огни земной красы зажглись,
Шли поезда за поездами
И трубы дым клубили ввысь,
Чтоб заревом ширококрылым
Вздымались домны в вышину,
Чтоб выростала наша сила,
Вещающая светлую весну,
Чтобы грядущей жизни зори
Знаменами побед взошли...
Нет равного труду шахтера,
Взрывающего глубь земли...*

Но и обратная сторона есть в угле — от него не один шахтер схватил запыление легких и прежде времени опять ушел в глубины земли, на этот раз навеки. И борьба с угольной пылью не менее трудна и важна, чем борьба с взрывоопасным газом метаном.

И, быть может, единственный поэт в русской литературе, каким был наш земляк Николай Анциферов, мог так отчаянно-весело написать об угольной пыли:

*Она полезна ли, вредна ли —
О том пусть думают врачи.
Еще в пеленках мы узнали,
Что пыль, конечно, — не харчи.
Но под землей ее вдыхая,
Совсем не думаем о том,
Что — ах! — какая пыль плохая,
Что с нами станется потом.
От пыли мы страшны, как черти.
Но на здоровье жалоб нет.
Не знаю точно — сколько лет,
Но будем жить
До самой смерти.*

Одно время великий ученый Дмитрий Менделеев помышлял о том, чтобы уголь не вынимать из шахты и не выдавать его на-гора, а сжигать под землей и пользоваться продуктом сгорания — газом. Мол, та же энергия, но заполученная с меньшим риском для жизни. Идея эта была поначалу подхвачена повсеместно. В Горловке даже есть шахта с соответствующим названием — «Подземгаз». Но прижиться она все-таки не прижилась. На практике оказалось невозможным удержать газ в подземных многоходовых выработках, как и газ метан. Он растекался бы еще и по незримым щелям в породе и угле, выходил бы наружу через степные вентиляционные шурфы, что на отдалении от шахтного главного ствола, и расплылся бы в атмосфере бесследно, лишь принося вред окружающей среде и человеку.

Однако по подсказке того же Менделеева из угля начали, помимо прямого его назначения, изготавливать и материю, и лекарства, и парфюмерию... Вон как обернулась его польза!

Словом, горошина угля малая, да удалая!

Не совладать, как ни бились, как ни мудрили, и с породюю пустою, за которой скрывается уголь и которую, чтоб до него добраться, тоже надо выдавать на-гора, затрачивая на это непроизводительные силы. Во многих шахтах ею забучивают выработанное пространство. И терриконов на донецкой земле поубавилось.

Тем не менее, наравне со старыми, почти что сивыми от времени, схожими на скифские или казачьи курганы, нет-нет да и появляются новые, иссиня-бурые, в колчеданных дымаках, иносказательно свидетельствуя, что под землей кипит жаркая работа, что день-ночь там добывается столь необходимый людям уголь — сгусток солнечной энергии. Без которого людям никак, ну никак не обойтись до времени.

Рад, что мои мысли и чувства, связанные с отчим краем, совпадали и совпадают с теми, о которых писалось раньше в художественной прозе, стихах, о которых пелось и поется во многих песнях, посвященных Донбассу, его светоносному, огнено-жаркому угольку.

«Донбасс — один из замечательных краев нашей страны, — выражал несколько десятилетий тому назад московский писатель свои впечатления. — Выражаясь приподнятым, одическим стилем, о нем можно сказать, что это царство индустриального труда. Тот, кто проезжал через Донбасс в поезде, помнит его пейзаж: на десятки, сотни километров — терриконы, домны, трубы, цветные дымы, снова терриконы... А того, кто летел над Донбассом в самолете, поражала сплошная мерцающая россыпь огней. Они долго горят под крылом самолета, и кажется, что там, внизу, лежит гигантский город, над которым надо лететь чуть ли не полночи».

Как я понимаю его! Как понимаю...

Когда поднимаюсь в донецкое небо на современном лайнере, всякий раз окидываю прощальным взором родную землю и муравейниками разбросанные по ней терриконы. И, утопая в небесной синеве, ослепительно осиянной ярым солнцем, машинально напеваю про себя:

*Что ты знаешь о солнце,
если в шахте ты не был,
Если ходишь под солнцем с утра?!
Только тот ценит солнце
и высокое небо,
Кто поднялся с зарей на-гора...*

По роду своих обязанностей, когда я работал в угольном отделе одной из донецких областных газет, мне привелось побывать в шахтах почти всех главных угольных районов Донецкого края — в горловских и дзержинских, добропольских и красноармейских, снежнянских и торезских, и в мекеевских, донецких, селидовских и угледаровских... Короче, знаю о труде шахтеров не понаслышке. И могу ручаться, что да, действительно нет труднее никакой другой работы, чем у них. Да еще когда пласт тонкий настолько, что, пробираясь по лаве, обдираешь спину, да еще когда крутизна ее такая, что в любой момент можешь сорваться вниз, если зазеваешься и не удержишься за стойку, а рядом с тобой лавиной несется обрушиваемый сверху уголь, его стремительный поток порой кажется то углепадом, то угольной рекой, да еще когда сбой в вентиляции и ты ощущаешь, как царапает тебя изнутри угольная острая пыль, едва откроешь рот, сняв респиратор или «лепесток», чтоб сделать спасительный глоток воды...

Но и горд тем, что приобщился к труду шахтеров, что посчастливилось и мне быть их — угольной! — миррой мазанным. Словно причащение принял!

Чем выше, чем дальше удаляюсь от донецкой земли, преобразенной моими земляками, и в первую очередь — шахтерами, тем она становится для меня как бы роднее и ближе. И моложе.

Дорожу этим чувством, как, наверное, дорожит юноша первой любовью. От него вроде бы и сам молодею. Под стать по-молодецки обновляющемуся день ото дня угольному Донбассу.

Первозданное, прекрасное чувство! Жить бы с ним вечно.

ДУМА О ПЕРВОМ РУДНИКЕ

Этот угольный рудник вошел особняком в историю всего Донбасса.

Оттого и дума отдельная про него затеяна. Да еще с этим дальним зачином, чтоб было ясно, откуда что взялось.

У центрального угольного района донецкого бассейна, где возник Первый рудник, своеобразная предыстория. И старожитная, и промышленная.

Территория его находится на западных отрогах Донецкого края и возвышается над уровнем моря до трехсот метров.

Отсюда начинают свой робкий, порой еле приметный бег около тридцати речек и речушек, устремляясь затем в разные концы света и с невероятными трудами торя себе путь в кряжистых, твердокаменных породах. Потому-то они и извилисты, и порожицы, и зачастую с крутыми берегами.

Самая большая из них — Лугань, правый приток Северского Донца.

Потом — Бахмутка, она тоже является правым притоком Донца, только в отличие от Лугани, подавшейся на северо-восток, бежит строго на север. По преданиям, она когда-то была судоходной и по ней ходили из Сурожского моря, то бишь Азовского, в северные земли. Даже будто бы в здешних пределах затонуло турецкое судно с золотом и до сих пор покоится на ее дне. Да русло ведь меняло направления время от времени, а с ним сдвигались и долины. Поди отыщи теперь, в каком месте хранит наша земля загадочное свидетельство той минувшины.

И река Корсунь, правый приток Крынки, словно оттолкнувшись от двух предыдущих речек, стремится свои воды уже в прямо противоположном направлении — на юго-восток. С ней-то, а точнее с Корсунской балкой в начале ее истока, и связана первоистория Первого рудника...

А еще ведь и Железная Балка, что течет на запад, и Кривой Торец, Широкая Балка, Соломенная, Скотоватая Балка, речушка Гурты, берущая свой исток в Большом лесу, речки Железная и Булавинка... Что ни река, то и история не только здешней местности, а и всего нашего края!

Археологи доказали, что этот уголок земли донецкой чело­ век осваивал еще в древнекаменном веке, в эпоху палеолита. И в новокаменном, неолитном, после таяния ледников, здесь тоже и охотились, и рыбалили люди. Точно так же, как и в последующие эпохи — бронзы и меди — местожительство­ вали тут древние, о чем засвидетельствовали раскопки кур­ гана Беева Могила неподалеку от Пантелеймоновки.

До новой эры по этим степным просторам, входившим в состав необъятной Евразийской степи, кочевали воинствен­ ные племена киммерийцев, скифов, сарматов, восточногер­ манских готов, северо­китайских гуннов, половцев, монголов, крымских татар и ногайцев...

По этой же территории, петляя водоразделом между Лу­ ганью и Бахмуткой от верховий недалекого Кальмиуса, тянул­ ся на север Кальмиусский шлях, или сакма. По нему, как и по Муравскому шляху, который пролегал несколько западнее, крымчаки совершали свои грозные, опустошительные набеги и вглубь Московского государства, и на попутные славянские поселения в Донецком крае.

Пролежала здесь и Царская, или Ханская дорога, ведущая к Астрахани, и путь, соединявший запорожских и донских казаков в час их лихого единоборства с турками — вверх от Азовского побережья по Миусу, Крынке, Корсуни до верхо­ вьев Лугани и вдоль нее дальше на Дон. Оттого­то и запо­ рожские зимовники обосновались вблизи этих путей­сообще­ ний еще в начале XVII века, а когда стали более­менее налаживаться солепромыслы на Торских озерах, до которых ходу конным шагом было всего­ничего, тут из старожитниц запорожских, точно грибы, пошли вразброс укореняться казаки. А вслед за ними сюда российское правительство, ущемляя казачьи вольности, начало определять на постоян­ ное пребывание полки царских войск — организовывать государственные воинские слободы, в частности Илирий­ ского гусарского полка, а также Славяносербского.

Впоследствии военнопоселенцы из гусар, объединившись с переселенцами Полтавщины, да и всей Слобожанщины, образовали слободу Железное, а старожилы­запорожцы с пере­ селенцами из Черниговской и Полтавской губерний — сло­ боду Зайцево.

Позже из этих старинных слобод, едва этот край охватила угодная лихорадка, одно за другим взялись отпочковываться новые небольшие поселения — хутора. Они-то, собственно, и явились предтечей будущих шахтерских поселков и городков... Да и рабочая сила оттуда первоначально черпалась. Как и из Государева Байрака, находившегося чуть восточнее Железного и Зайцево.

Вот что разведал об этой местности горловский неутомимый краевед Анатолий Шевченко:

«Царское правительство, желая заселить малолюдные южные степи и защитить их от набегов татар, выделил сербским переселенцам земли между Бахмуткой и Луганкой. Дело в том, что в середине XVIII века на службу в русскую армию попросились сербские офицеры Иван Шевич и Райко Прерадович, подданные Австро-Венгрии. Вместе с ними прибыли и их соотечественники. Вот им-то и была дарована царской милостью эта земля. Из переселенцев Прерадович сформировал Бахмутский гусарский полк. На том месте, где теперь село Государев Байрак, разместилась 9-я рота. Потому-то это село еще называлось и Девятой ротой. Однако из-за частых набегов кочевников многие из них погибли или померли из-за неблагоприятных условий тогдашней малообжитой дикой степи.

Особенно трагичным был 1768 год. Орды крымских и ногайских татар опустошили Бахмутскую провинцию, разорили и Государев Байрак дотла.

И вновь царское самодержавие переселяет новых поселенцев в донецкие степи — на этот раз молдаван и волохов, которые были под гнетом Турции. Они с надеждой смотрели на Россию, которая могла бы освободить их от иноземных угнетателей. Волохи и молдаване тысячами снимались с обжитых ими просторов вдоль Дуная и Днестра и двигались в Россию. Многие из них осели в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии.

Согласно с решением Бахмутской провинциальной канцелярии в 1770 году в районе села Государев Байрак поселились волохи. Сообща с местными жителями они создали государственную воинскую слободу Государев Байрак. И через каких-нибудь десять с небольшим лет здесь уже проживало

свыше шестисот человек — мужчин и женщин, половина на половину. От них-то и произошло родословное древо нынешних здешних жителей».

Краевед, ко всему, и легенду записал о том, откуда взялось такое величественно-поэтическое название — Государев Байрак.

Порой в нем чудится даже пренебрежительно-горделивый оттенок вперемежку с заземленным, почвенным духом, как если бы селение обеими ногами опиралось о донецкую землю в самом, возможно, живописном из множества ее буераков, а макушкой все еще тянулась к вершине высокой, недосыгаемой для простых смертных власти, какая в то давнее время пыталась господствовать и над вольнолюбивой Запорожской Сечью, чьи земельные вольности простирались до здешних пределов.

Триста лет тому назад эта местность была совсем безлюдной. Венчалась она высоким бугром, а рядом пролегал глубокий яр. По склонам яра росли кряжистые дубы, вокруг них стлалась густая шелковистая трава. Куда ни посмотришь окрест — повсюду виднеется зелено-золотистый океан нетронутых степных трав и цветов. Воздух наполнялся голосами птиц. Высоко в небе кружили коршуны, орлы, высматривая добычу. Ничто не нарушало здесь первозданный покой донецкой степи. Изредка лишь на байрачные поляны выскакивали зайцы, чтоб полакомиться сочной травушкой, иногда пробегали лисицы, которые, крадучись, набрасывались на дремавших под зноем птиц, либо ловили полевых мышей и забавлялись ими; темной же ночью на опушки выходили волки — на свою грозную охоту.

Да вскоре пришли сюда люди. Это были запорожцы. После кровавых и яростных битв с турками, татарами и польской шляхтой запорожские казаки на зиму расходились по глухим хуторам и селам, здесь они отдыхали, набирались сил, «грели животы свои», а весной снова шли в Сечь.

Старые запорожцы, которые уже не могли служить, обосновывались нередко на обжитых местах. Местность возле истоков Луганки они называли байраком, то бишь яром, заросшим кустарником и деревьями. Там они и жили. Считали своей вотчиной.

В конце XVII века Российская держава усиленно начала вести борьбу за выходы к Азовскому и Черному морям. Царь Петр I сделал успешный поход на юг страны и разгромил в крепости Азов турок. (В 1696 году, а первый, в 1695, был неудачным. — *И. К.*) Возвращаясь обратно с небольшим отрядом солдат и запорожских казаков, тоже принимавших участие в битве, он прямил путь через донецкую степь. Стояла неимоверная жарища. Устали кони и люди, а тем временем уже подходили к буерачной дубраве.

Петр и решил немного передохнуть, приказал остановиться. Вкруг бугра, где отдыхал царь, поставили шатры, и солдаты спрятались в них от немилосердного солнца. Несколько казаков спустились в яр, чтобы найти родник или криницу и освежиться ключевой водою.

Неожиданно, словно из-под земли, появились татары. Завязалась жестокая сечь.

Государь стоял на бугре, наблюдал за ходом битвы и отдавал те или иные распоряжения. Самоотверженно бились солдаты и казаки с коварными кочевниками. Буерак и дубрава полнились лязганьем сабель, выстрелами из пистолей, ржанием коней.

Долго бились. Не выдержали татары мощного натиска, бросились наутек. И казаки преследовали их, пока те не скрылись за дальними курганами.

Петр I со своим отрядом направился в российскую столицу, а весть о том, что государь с войском побил басурманов, разнеслась по всему Донецкому краю.

С тех пор за этим местом само по себе и утвердилось название Государев Байрак. А позже оно перешло и на селение, которое возникло поблизости.

Под конец поведенного краевед заключает:

«Такие вот были и небыли Государева Байрака, самого древнего поселения в черте города Горловки. В нем — живая история нашего края».

И заключает, как увидим дальше, не без основания.

Уголь в центральном Донбассе, на месте нынешней Горловки и ее окрестностей, на тех же, примером, Шербиновских рудниках, представлявших изначально собой просто шахты-ямы, как, впрочем, и по Железной и Корсунской

балкам в таких же самодельных ямах-колодцах, начали добывать крестьяне, выходцы из старых здешних поселений Зайцево, Железное, Государев Байрак, еще в 1803–1806 годах, а то и раньше.

Но особо оживилась здесь угледобыча только во второй половине XIX века, когда начали прокладывать через земли этих жителей железную дорогу — Курско-Харьковско-Азовскую.

Маршрут дороги был выбран не сразу. Сначала предполагалось тянуть ее из Москвы на Харьков и далее на Феодосию, с боковой веткой до Севастополя, для военных нужд. А уж после проложить и на Лозовую, Славянск, пройти мимо Лисичанской угольной копи, открытой еще в 1795 году, и потом мимо Луганского чугунолитейного завода, строительство которого тоже было начато в конце XVIII века англичанином Гаскойном, он даже наладил было производство пушек и ядер для военно-морского флота на Азовском и Черном морях.

Однако в последующем выяснилось, что маршрут сей неперспективен. В смысле промышленной разработки Донецкого кряжа, его подземных кладов. Доставка железной руды в Луганск из Городища обходилась дорого, да и лисичанский уголь на поверку оказался малопригодным для плавки чугуна, поскольку был некоксуемым, так что с открытием этой копи явно поторопились, опираясь на поспешную разведку залегающих в Лисичьем байраке пластов и скоропалительных выводов об их качестве. Чего уж тут огород городить?

Обратимся к свидетельству писателя Ильи Гонимова, написавшего историю построения англичанином Джоном Юзом металлургического завода на реке Кальмиус:

«По поручению русского горнопромышленника графа Демидова инженер Ле-Пле по путям, давно открытым русскими учеными и исследователями, описал 135 угольных и 22 рудных месторождений. Советы и предложения Ле-Пле поражали своей парадоксальностью и анекдотичностью и тем не менее получили одобрение придворных чиновников, большей частью иностранцев.

Так, Ле-Пле утверждал, что местные крестьяне-украинцы, избалованные плодородием своей земли, не пойдут в

горные разработки даже тогда, когда их труд будет хорошо оплачен.

Наблюдая, как чумаки везли рыбу с Волги и Каспия в донецкие степи и как в обратный свой рейс брали уголь для продажи жителям местностей, в которых ощущается недостаток топлива, Ле-Пле сделал вывод, что в Донецком бассейне нет смысла строить железные дороги, так как они не держат конкуренции длинноногих украинских волов».

Заметим попутно, что южные металлургические заводы впоследствии пытались строить и в Керчи, и на речках Корсуни и Булавинке, и в Лисичанске на Северском Донце, однако наиболее удачным, жизнеспособным, могущим работать с прибылью в конце концов оказался Юзовский завод, который в 1872 году «разрешил проблему чугуна в Донецком бассейне».

Жизнь ему дала в конечном счете Курско-Харьковско-Азовская железная дорога, как и угольному центральному району Донбасса.

Первоочередность выбора постройки железной дороги по Донецкому кряжу и в том направлении, какое у нее сейчас, предопределили геологические поиски Евграфа Павловича Ковалевского и геологическими поисковыми и разведывательными группами и партиями, которые он опекал.

Результаты находок полезных ископаемых на этих участках и взял за основу для прокладки маршрута петербургский профессор Павел Петрович Мельников. Он создал экспедицию и отправился в Донецкий край.

Первый набросок на карте будущей магистрали, сделанный им, учитывал месторождения следующего горного сырья: строительного камня, известняка, песка, глины, угля.

Пытливый ум ученого не мог довольствоваться сделанным. Да и одержимость патриота своего Отечества не позволяла останавливаться на полдороге.

И вот Мельников снова собирает экспедицию из надежных, смекалистых и выносливых людей.

На сей раз их путь-дорога пролегла из Славянска по водоразделам Кривого Торца, Бахмутки, Корсуни, Лугани, Крынки до владений графа Иловайского.

Понятно, это не были ни столбовая дорога — большая проезжая, с верстовыми столбами, ни торная — наезженная, утоптанная, гладкая и ровная, ни бытый, как говорят в Украине, широкий шлях, проложенный бог ведает когда чумаками или кочевниками. Проселки, правда, попадались. Но очень редко из-за малолюдства степного.

Двигались, считай, по полному бездорожью. Под нестерпимо палящим солнцем засушливого лета, с безводьем кряжистого водораздела, в пыли.

Более двухсот километров прошагала геологическая партия Павла Петровича Мельникова!

А затем, отдохнув немного в графском имении, геологи двинулись дальше на юго-восток, в сторону Таганрога. И одолели не меньшую даль, чем до этого!

Хух, можно бы и дух перевести. Тем более, что дело сделано. Они не только определили главное направление будущего железнодорожного пути, а и обозначили побочные ветки для подъезда к тем или иным уже хорошо разведанным месторождениям. Учли и то, что каменноугольный бассейн по геологоразведке обнимал собой часть Войска Донского, в частности Черкасский, Таганрогский, Миусский и Донецкий округа, Бахмутский и Славяно-Сербский уезды Екатеринославской губернии, захватывал отчасти и Изюмский уезд Харьковской губернии. По беглым подсчетам общая площадь одной только каменноугольной формации Донецкого бассейна уже тогда исчислялась в 2500 квадратных верст величиною. Если же принять во внимание простирающие залегающих пластов под новейшими образованиями периода более позднего формирования углей — и на восток, и на запад, и на север, то эта площадь будет куда больше. Что, собственно говоря, и утверждали тогдашние ученые, а впоследствии, через многие десятки лет, уже в XX веке, подтвердили и практики, определив новое понятие — Большой Донбасс.

А на тот час геологи, избежав трудоемкого, дорогого из-за сложного рельефа крюка, какой довелось бы делать, избери они путь мимо Лисичанска и Луганска на Таганрог, взяли за основу сердцевину кряжа. По этому направлению как раз и предполагалось в скором времени вести промышленные разработки Донецкого кряжа.

Все, казалось бы, учтено было!

Одно лишь упустили из виду поисковики и главный проектант — нерасторопность русского капитала, а точнее его владельцев.

Хотя справедливости ради уточним, что в XIX веке, когда вспыхнула угольная лихорадка в Донецком бассейне, все же нашелся человек, который на оставленные родителем в наследие средства не только прокладывал чугунки у берегов Волги и в Сибири, а и помог выстроить в Луганске красивое здание одного из образцовых на то время в России железнодорожного училища.

Им был не кто иной, как Савва Иванович Мамонтов, русский промышленник, богатый покровитель наук всевозможных и искусства.

Может быть потому, что он следовал отцовому завету: «Праздность есть порок, труд не есть добродетель, а исполнение прямого долга в жизни».

Когда читаешь о благих деяниях этого покровителя, невольно завидуешь его современникам. То-то был благодетель! Не оскорбил и не унизил никого ни словом надменным, ни снисходительностью при той или иной просьбе о помощи, да и сама помощь не выглядела подачкой, как часто-густо случается в теперешнее время.

Одним словом, не чета нашим нынешним доморощенным, скоропалительно объявившимся, «крутым» толстосумам.

Ну, что ж тут поделаешь? И от правды эдакой никуда не денешься. Толстосумство в худшем, жмотском, облике процветает у нас махрово. Оно и вовсе сделалось безобразным из-за беспамяатства, забвения отчего порога как собственной пуповины. Всей отчей земли! А кому, как не им, благоденствовать ее? Хотя бы в интересах кровных потомков, которым жить на ней не безродно...

Но не будем, сердце, впадать в то же невежество, в ту же беспамяатную, манкуртскую низость!

Экспедиция завершилась в 1856 году, а строительство железной дороги буквально наискось через Донецкий край началось в 1867 году, лишь спустя более десяти лет.

Проигранная Крымская кампания, во время которой явно и губительно ощутилась нехватка чугуна для снаряже-

ния Азовской и Черноморских военных флотилий пушками и ядрами, подтолкнула было намерения проложить необходимую железную магистраль, даже поиски ее наиболее выгодных и полезных, и удобных путей, но не саму постройку. Труды геологов так и остались на географических и геологических картах да в соответствующих отчетах, детально конкретизированных набросках, выглядевших ранее абрисными, в научно и практически обоснованных выводах и предметных заключениях.

Причем, государственное ведомство, наподобие современного Министерства путей сообщения, с принятием соответствующего решения относительно сооружения Донецкой каменноугольной железной дороги и еще затянуло время чуть ли не на десять лет!

А строительство Курско-Харьковско-Азовской дороги начало акционерное общество, возглавляемое коммерции советником, видным предпринимателем Самуилом Поляковым.

Прокладка оказалась непростым делом еще и потому, что железнодорожную ветку, хочешь не хочешь, доводилось тянуть через земли, представлявшие собственность помещиков и местных жителей.

Землевладельцы либо настаивали, чтобы чугунка проходила как раз по их угодьям, усматривая в этом, по всей видимости, коммерческий интерес для сбыта своей сельскохозяйственной продукции, либо противились, а уступку готовы были сделать лишь в том случае, если разделительные пункты — станции, полустанки, разъезды — назовут именами их ближайших родственников.

А когда прокладывали железнодорожные пути по землям слобод Государев Байрак, Железное и Зайцево, возникшую здесь станцию назвали именем сельского жителя Никиты Деятилова.

Выходец он был из однодворцев — государственных крестьян особой группы, образовавшейся в России в XVIII веке из потомков мелких служилых людей, занимавшей промежуточное положение между крестьянством и мелкопоместным дворянством, — из села Солдатского Белгородского уезда. И сюда переведен со всеми своими односельчанами правительством.

Человеку деятельному, сметливому, благочестивому, ему было в охотку и в радость и местность для застройки новопоселенцев распланировать, и соорудить мазанки для бедных семей, и построить шпиталь для тех же бедняков, нищих и калек, приходскую школу, избу для сходов — соборных собраний, или попросту — сходбищ, и дом для служб церковного притча, а с тем и выбрать подходящее место для постройки церкви. И благодарные жители еще при его жизни назвали новопоселение его именем. А уж станцию — и сам бог, как говорится, велел.

А тем более, что до этого на том же месте Деятелилов основал — первооснователем явился! — постоянный двор — помещение для ночлега, с двором для лошадей и экипажей проезжающих, ну и с трактирчиком, как водилось.

Станция и поныне носит имя Никиты Деятелилова — Никитовка. Крупнейшая узловая станция в Донбассе! Здесь перекрещиваются стальные пути, ведущие на Харьков и Москву, на Луганск, Ростов и Таганрог, на Днепропетровск и Киев, на Донецк и Мариуполь. Узел что надо! Связал воедино и современность, и далекое прошлое нашего края.

В 1868 году на строительство этого участка железной дороги предприимчивый Самуил Поляков пригласил молодого талантливого инженера Петра Горлова. К тому времени тот уже хорошо зарекомендовал себя в деле и на Лисичанской углеломочной копи, и на Грушевском руднике — в Области Войска Донского, где он составил третью по счету пластовую карту в России, а именно Грушевского месторождения, там же принимал непосредственное участие в сооружении самого рудника, налаживал на нем водоотлив и был его первым смотрителем.

Вот такого инженера заполучил смекалистый Самуил Поляков. И ничуть не прогадал. Напротив даже!

Инженер Горлов убедил Самуила Соломоновича купить участок угленосной земли у крестьян села Железное, с двумя примитивными крестьянскими шахтами-ямами. Он усовершенствовал в них добычу угля, насколько позволяли тамошние тогдашние условия, чтобы можно было на первых порах снабжать водокачки и паровозы что называется подручным, дешевым топливом. И работы по строительству заладились, пошли куда прорвнее.

В 1871 году Горлов начал строить в Корсунской балке крупный угольный рудник Корсунскую копь № 1, присовокупив к нему и две первоначальные крестьянские шахты, которые разработал прежде.

Кстати сказать, название Корсунь уходит в глубокую старину заселения нашего края. Его принесли с собой из Корсуни близ Черкасс на Днепре тогдашние казаки — черкасы, как их называют во всех исторических документах.

А после отмены крепостного права в здешние места потянулись многие переселенцы из украинских и русских близлежащих губерний. Тогда-то из перенаселенных слобод Зайцево, Железное, Государев Байрак возникли окрестные хутора — Щербиновский, Нелеповка, Нью-Йорк, Гурты, по реке Железная Балка и другие мелкие выселки.

В 1872 году было организовано «Общество Южно-Русской каменноугольной промышленности», которое по своему статусу призвано было якобы способствовать угледобыче вложением необходимых капиталов. На самом же деле — для эксплуатации горловского рудника.

Конечно, оно все-таки продвинуло строительство Корсунской копи № 1. Даже училище при руднике создало для обучения новичков горному делу, а потом и штейгеров выпускало. Имя ему присвоили С. С. Полякова.

Забегая наперед, скажу, что горнозаводское поселение, возникшее вокруг «Корсунской копи № 1», и железнодорожная станция Корсунь со временем стали называться Горловкой.

Рудник же претерпел несколько поступательных переименований — Корсунская копь № 1, Первый Рудник, Первый Номер, как называли его шахтеры-углекопы, или просто — Первый, а затем уж и шахта «Кочегарка»...

Не все гладко складывалось в отношениях между Поляковым и Горловым. Их интересы порой не совпадали. И он вынужден был уходить к предпринимателю-дворянину Ивану Григорьевичу Иловайскому, который был из потомственного многочисленного дворянского рода, есаул Войска Донского и который на землях своей ранговой дачи в Миусском округе заложил угольные рудники, построил трубный и химический заводы, проложил железнодорожные подъездные пути от Ма-

кеевки до станции Харцызской Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. У них же совместно с генералом Поповым, горловским инженером-ртутником Ауэрбахом и Шейрманом родилась идея созыва I съезда горнопромышленников Юга России, состоявшегося 10 ноября 1874 года в Таганроге.

По просьбе повинившегося и покаявшегося в раздоре Полякова Петр Николаевич Горлов вскоре вернулся на свое детище — Корсунскую копь № 1.

Горлов, открыв в этих местах, в самом центре Донецкого края мощные залежи угольных пластов, стал и пионером в их промышленной разработке. Более того, здесь же, на Корсунской копи № 1, или Первом руднике, он впервые в России ввел особый способ добычи угля, которым пользуются шахтеры Донбасса и по сию пору...

Поскольку в центральном угольном районе пласты по прихоти природы залежали под крутым углом по отношению к поверхности земли, отчего их и прозвали крутопадающими, и долбить уголь так, чтоб он не сыпался вниз, на голову углекопа, или угледобытчика, чей забой располагается несколькими метрами ниже, а из ниши последнего — на последующего, и так до самого откаточного штрека, куда угольной рекой или водопадом несется вырубываемый уголь, в порожние вагонетки, Горлов внедрил особый способ угледобычи — уступами. Самый нижний уступ выдвигается далеко вперед, а который в высоту вслед за ним — чуть отстает, чтобы угольная лавина из-под его кайла не рушилась на работающего в первом уступе, третий еще чуток, насколько нужно для безопасности, отстает от второго — и так до самого верха, до конца залегания пласта, вернее — до «горизонта», который перерезает его поперек штреками и квершлагами для подъездных путей и вентиляции.

И вся лава с нишами забоев выглядит лестничными маршами обычного жилого дома, перевернутыми на бок. В каждой нише есть своя «почва» и свой «потолок». А между ними забиваются деревянные, чаще сосновые, стойки, своего рода подпорки на случай обвала.

Самотягой ли дошел до этого новшества Горлов или заполучил где-то за границей — не суть важно. Важно, что нововве-

дение было сделано им. И не где-нибудь, а на Корсунской копи № 1, то есть на Первом руднике.

Обратимся за подтверждением официальным к справочнику «По Екатерининской железной дороге» выпуска 1911 года. В нем дано подробное описание Донецкого угольного бассейна. И сказано:

«Первые шаги Общества Южно-Русской каменноугольной промышленности в разработке каменноугольных копей были сделаны под руководством горного инженера П. Н. Горлова, которого можно назвать одним из пионеров каменноугольной промышленности Донецкого бассейна и именем которого названа станция, в настоящее время представляющая собой главный каменноугольный пункт бассейна. К особым заслугам этого деятеля нужно отнести введение потолкоуступной системы выработок, весьма смелая задача ввиду абсолютного отсутствия в ту эпоху опытных горнорабочих и технического персонала».

Да за такое первооткрывательство в горном деле кряжистого Донбасса ну как же нам, донбассовцам, не провозгласить величественную оду Горлову?!

Ибо и то, что его именем назвали станцию и город, и поставили в нем неординарный памятник, какой-то с виду простонародный, свойский, что порой подмывает подойти к нему и мысленно поговорить, будто с живым, короче, он простой и доступный, каким и был в жизненном обиходе Петр Николаевич, и то, что вдобавок его имя горловские, киевские и московские туристы присвоили двум горным перевалам, какие они в его честь одолели, — на Южном отроге Заалайского хребта Северо-Восточного Памира и в районе Восточной части Центрального Тянь-Шаня, и то, что один из десантных кораблей носит имя «Горловка», — всего, ну всего-всего покажется мало, дабы воздать должное его житейскому и трудовому подвигу.

Ведь он немало сделал для развития угольного бассейна и потом, будучи одним из учредителей и деятелей Съезда горнопромышленников Юга России, членом Императорского Русского технического общества. Еще по окончании петербургского института Корпуса горных инженеров его имя было занесено на «Золотую доску». А «за отлично-усердную

службу и особые труды» Петр Николаевич был награжден орденом Святого Станислава II степени, за особые же заслуги после участия во Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года — орденом Святой Анны II степени.

Плодотворная его деятельность в Донбассе завершилась выходом на пенсию «с мундиром».

Но не таков был Горлов, чтоб сидеть сложа руки, почивать на лаврах былой славы.

После 1884 года он разрабатывал Тквибульское угольное месторождение на Кавказе, Суганское — в Уссурийской тайге, занимался проектом и прокладкой узкоколейки в порт Находку на Дальнем Востоке, служил на Уссурийской железной дороге, потом — на Средне-Азиатской, где занимался проблемами водоснабжения, открывая источники, углубляя колодцы, очищая воду через пески дна в Чардуже, исследовал провалы поверхности на Оренбург-Ташкентской железной дороге, составил «Описание каменноугольных месторождений Туркестанского края». С началом русско-японской войны был срочно приглашен правительством в Маньчжурию, где тоже внес свой существенный вклад в развитие местной угольной промышленности.

Мог ли предвидеть Петр Николаевич, что судьба приведет его почти в те места, о которых писал его отец, бывший председатель Иркутского губернского правления, действительный статский советник Николай Петрович Горлов в своем труде «История Японии или Япония в настоящем виде»? Как, между прочим, и на территорию бывшего Дикого Поля, которой отец тоже касался, но уже в иной книге — «Полной истории Чингиз-хана, составленной из татарских летописей и других достоверных источников».

Действительно, пути Господни неисповедимы!

В последние годы земной жизни Петр Николаевич писал «Историю горно-заводского дела на территории Донецкого кража и вблизи Керчи».

И естественно, думал о нашем крае, вспоминал свою молодость. Этот край был дорог ему и по-семейному: в Горловке у него родился средний сын — Петр.

Вообще же у Петра Николаевича Горлова и дочери французского подданного Софии Петровны Миллер было семеро

детей, щедро одаренных талантами, особенно актерскими, как свидетельствуют документальные материалы из семейной хроники Горловых, собранные сотрудниками музея истории города Горловки и опубликованные в книге «Раритеты города».

За семь лет до кончины Петр Николаевич составил завещание.

Привожу его как свидетельство высокого человеческого духа, который можно обрести, лишь совершив на земле во благо людей истинно бессмертные дела. Ты весь будешь — в них! И заботы об упокоении праха или очищении и вознесении души при такой твоей жизненной отдаче и впрямь покажутся не столь важными, если вообще не зряшными. Оставь всего себя, вместе с делом, прахом и душой, на земле, среди людей — и обретишь бессмертие, не так ли?

Итак, вот оно, это завещание:

ВО ИМЯ БОГА ВСЕМОГУЩЕГО И ИИСУСА ХРИСТА.

Мне скоро минет 70 лет. Смерти я не боюсь и ожидаю ее как неизбежное. За долговременную, безболезненную и относительно счастливую жизнь благодарю Бога.

Задумываюсь лишь о том, что произойдет в первые дни после моей смерти и о тех глупостях, которые делаются людьми в таких случаях; для того же, чтобы их по возможности устранить, излагаю мои желания и прошу их выполнить:

- 1. Где умру, там и должен быть погребен.*
- 2. Распорядиться моим погребением тем, кто будет около: если никого из семейства не будет, то пусть погребение совершат те, кому это будет нужно, т. е. сослуживцы, совсем чужие или, наконец, полиция — это безразлично.*
- 3. На похороны родным издалека не приезжать и похоронных приглашений не делать.*
- 4. Погребение должно стоить самую малость и никак не дороже 50 руб.*
- 5. Если в месте, где умру, будет уже введено сожжение трупов, то прошу мой труп сжечь, если это не удорожит погребения.*
- 6. О разряде могилы и памятнике прошу не заботиться: трупы гниют везде одинаково, и чем скорее идет разложение, тем лучше, так как частицы материи скорее рассеиваются и*

делаются жизненными в новых сочетаниях — в иных организациях.

7. Жене и детям разрешаю отслужить лишь одну панихиду и то не для своей души (это бесполезно для нее), а для них, согласно их воззрениям.

Траура, этой маски печали, прошу не носить.

8. Будет ли совершено отпевание по обряду церкви или нет — это безразлично.

Оставляя мир, невольно припоминаю былое, и мысленно буду просить прощения у тех, кому вредил или был неприятен, да и теперь, сознательно вполне, прошу всех простить и [не] вспоминать лихом.

Петр ГОРЛОВ.

2 ноября 1908.

Жене и детям.

Написано три экземпляра, два отданы в запечатанных пакетах Соне и Наде, третий будет всегда при мне.

Горлов оставил свое завещание родным людям. Но, думаю, оно адресовано и нам, потомкам тех, кто вместе с Горловым делал первые шаги в освоении подземных богатств нашего края.

В нем проглядывается иносказательная подсказка, как нам всем по праведному жить на отчей земле, чтобы потом никого не застала смерть врасплох, не заставила клясть судьбу, а с нею и всю малую родину, даровавшую тебе самое дорогое и неповторимо-невозвратное благо — жизнь...

Что посеешь на родной земле, то и взойдет, то и пожнешь! Спасибо предкам за науку. И Горлову не в последнюю очередь.

А теперь, провозгласив почти хроникальную внутреннюю оду горному инженеру Горлову, вернемся к тем, от кого напрямую зависела доля-недоля углекопов в его времена на созданном им Первом руднике. Да и в последующем.

Как нельзя, говорят, выбросить из песни слова, точно так же нельзя выбрасывать и факты из истории, какой бы она ни выглядела на отдалении, а тем более с позиций нынешнего

времени, по прошествии стольких лет — горьких и неудержимо радостных, победных и трагических.

Да осенит кто-нибудь свыше сей путь надежд и разочарований, безумно сияющих, ликующих и неутешных слез!

А мы примем его таким, каков есть, каким он был изначально.

В XIX веке на Первом руднике хозяйничали, с царевого согласия, преимущественно иностранцы: Кноте, Баг, Фрэнс, Менниль... Им не было дела до того, в каких условиях работают углекопы, в каких условиях живут их семьи. Чужеземцев интересовало лишь одно — как бы побольше выжать из наемного люда сил и поувесистей сколотить капитал, с лихвой вернуть вложенные ими деньги. Не заботились они ни о технике безопасности должным образом, ни о газовом режиме в выработках. И не случайно 28 марта 1889 года на Корсунской копи № 1 произошел потрясающей силы взрыв болотного газа — метана, во время которого погибло тридцать один человек.

Иностранцы не гнушались трудом ни женщин, ни детей — всех, кто мог посильно, а то и сверх всяких сил работать на них.

Ненависть к шахтовладельцам исподволь нарастала в роде. В бесчисленных «страданиях» и частушках углекопы изливали свою душу.

Так, о Менниле они сложили незатейливую песенку:

*Добр, добр пан Менниль —
Всех обул и накормил,
Деньги гонит он в Париж,
Нам сует один кукиш.*

Рос протест, вызревал народный гнев, накалялась ненависть к угнетателям и поработителям, как чужестранным, так и доморощенным. И уже в начале нынешнего века углекопы Первого рудника из рук в руки передавали листовку с таким содержанием:

«Тяжело живется вам, шахтеры. Тяжко достается кусок хлеба. Лишились вы земли, и нужда оторвала многих из вас от родных, жен и детей, загнала в этот глухой угол и мрачную проклятую шахту, темную, как ночь осенняя! Луч солнца никогда не проникает туда. Нет и воздуху в шахте: копать и

угольная пыль наполняет ваши легкие. Вода пронизывает ваше тело до костей. Грязь и сажу ничем не смоешь...»

Листовку эту издал в 1903 году Донской комитет РСДРП — Российской социал-демократической партии.

Прозрению шахтеров помогала и листовка «Клятва», написанная штейгером Первого рудника Аркадием Коцом, пред тем закончившим в Головке горное училище С. С. Полякова. Впоследствии он эмигрировал во Францию. Он же, к слову, и перевел на русский язык международный пролетарский гимн «Интернационал», текст для коего, уточним на забывчивый случай, написал поэт Эжен Потье, а музыку сочинил Поль Дегейтер. Впервые на русском «интернационал» был опубликован в 1902 году.

Пожелтевшие, но все же четкие снимки, разысканные у старожилов, в их семейных альбомах, помогают представить места первых маевок — Корсунскую и Железную балки.

Сюда с глазами грозными, как порох,

Сходились молчаливые шахтеры.

Их вековая ненависть вела.

Дорогу открывая горнякам

И в дрожь бросая царскую охранку,

Зовущая к оружию «Варшавянка»

Отсюда шла к угрюмым рудникам, —

напишет много лет спустя горловчанин, русский поэт Владимир Демидов.

В 1903 год маевки вылились в демонстрацию рабочих 1 мая, а затем и забастовку шахтеров Первого рудника. Они не вышли на работу и потребовали от шахтовладельцев повышения зарплаты и сокращения рабочего дня. Их поддержали рабочие других горловских рудников. Спустя какое-то время они выдвигали не только экономические, а уже и политические требования.

Все это в конце концов завершилось вооруженным восстанием: в 1905 году у породных отвалов Первого рудника рабочие дружины, вооруженные стальными пиками и отнятыми у казаков винтовками, вступили в неравный бой с царскими сатрапами.

В отечественную историю он вошел под названием «Горловский бой».

На помощь углекопам Первого рудника в тот год поспешили рабочие дружины из Ясиноватой, Енакиева, Авдеевки, Гришина, Алчевска. Возглавляли восстание учитель рудничной школы Андрей Семенович Гречнев, слесарь Первого рудника Василий Петрович Григоращенко, забойщики Даниил Романович Галицев, Клим Иванович Киселев...

Бой рабочих дружин с царскими хорошо вооруженными войсками и казачьими отрядами был жесток и неравен.

Вот как начинается рассказ о тех декабрьских событиях в поэме «Дружины» родоначальника поэтической рабочей традиции в литературе о Донбассе, Почетного шахтера, Почетного гражданина Горловки Павла Григорьевича Беспощадного:

*Снежинки дрожали,
Кружились,
Тужили
Над первой погибшей
Рабочей дружиной.
Прожорливым птицам —
Раздолье, веселье.
Но мертвым не спится
На снежной постели...
Раскрытые рты
В недопетом гимне,
Стеклянные взоры
Глядят
на Зимний.
На Зимний,
что высится
Каменным гробом,
На Зимний,
Что их повалил в сугробы...
Один из героев поэмы пророчествует:
Отсюда расплещется пламя —
Желанной свободой горя,
Поднимут заветное знамя
Шахтеры. Пойдут на царя!*

Так оно и случилось, и не вина, а беда шахтеров Первого рудника, что их протест, их возмущение нечеловеческими

условиями работы и жизни, вылившиеся сначала в вооруженное восстание 1905 года, а затем обернувшиеся не менее кровавыми русской революцией и последовавшей за ней гражданской войной, политики тогдашние и последующие, как было это во все времена и во все века человеческой истории, извратили, как им вздумалось. Шахтеры боролись отважно, с надеждой и верой, пусть и не сбывшейся, пускай оказавшейся даже и наивной, принесшей горькие разочарования внукам и правнукам, — однако ж с выстраданной и оттого беззаветной верой в достойное их самоотверженного житейского и гражданского подвига скорое грядущее.

Но обратимся к воспоминаниям старейшего горняка Первого рудника Федора Дмитриевича Клокова, который еще в двенадцатилетнем возрасте приехал в поисках лучшей доли из Курской губернии на Старо-Поляковский рудник, как прозывали одно время Корсунскую копь № 1, то есть Первый рудник.

«В Горловке, — вспоминает ветеран гражданской войны, — с первых дней революции 1917 года организовались партизанские отряды... Через Горловку проходили воинские эшелоны с донскими и кубанскими казаками, которые спешили соединиться с контрреволюционерами Дона, но из нашего города они зачастую уезжали без оружия. За счет врагов вооружались партизаны. Вскоре в Горловку приехал командированный из Центра латыш Адольф Яковлевич Аккерман, который приступил к организации партизанского молодежного отряда. Мы выступили на Дон, где в это время бесчинствовал белогвардейский генерал Каледин.

...Под станцией Ряженое... по направлению — Матвеев Курган... Таганрог... захватили целый арсенал оружия: японские карабины, английские винтовки, русские пулеметы «Максим», бельгийские браунинги и, кроме того, американские продукты...»

Далее старей горняк и воин упоминает из той прошлой жизни очень любопытную подробность:

«По пути к Царицыну мы создали бронепоезд: два железнодорожных пульмана выложили изнутри мешками с песком, прорубили бойницы для пулеметов...

Командиром бронепоезда был выбран бывший рабочий ртутного рудника Тихон Павлович Матросов. В Царицыне

нам разрешили построить настоящий бронепоезд. Вся команда принимала участие в его создании. Это были шахтеры из Горловки. Поэтому бронепоезду дали имя «Углекоп».

Этот факт подтверждается и подлинными документами Центрального Государственного архива Советской Армии. Из них видно, что бронепоезд «Углекоп», ставший за бесстрашие, героизм и самоотверженность шахтеров Легендарным, участвовал в боях на Северном Кавказе, затем был на Южном фронте и с десантным отрядом прошел по железнодорожным линиям на Христиновку, Киев, Умань...

При этом нельзя не упомянуть и об ординарце легендарного командарма Семена Михайловича Буденного — о славленном Ермачке, как его попросту, по-свойски называли в близком окружении.

После долгих боев он вложил саблю в ножны и снова взялся за обушок, чтобы трудом своим как бы продлить свой ратный подвиг, поднять из руин родной Первый рудник.

Забегая вперед, скажу, что и в Великую Отечественную Ермолай Ермаков, он же и Ермачок, повел себя как патриот, не склонил головы перед фашистскими оккупантами, и его казнили...

А тогда, в годы разрухи и восстановления после гражданской войны Первого рудника, он был первым из первых в труде, подавал пример, первым же со своими побратимами-шахтерами спустился и в затопленную отступающими врагами шахту, чтобы откачать воду и начать добывать уголь, без которого никакое налаживание мирной жизни было невысказано.

Благодаря таким героическим трудягам Первый рудник одним из наипервейших возродился во всем Донбассе.

Потому-то в марте 1920 года и приехал в Горловку Всероссийский староста, как его попросту называли шахтеры, председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Михаил Иванович Калинин. В поезде, которым он прибыл, был и товарный вагон с надписью: «Шахтерам от фронтовиков» — с продуктами, одеждой и обувью, с мануфактурой для пошива. Об этом событии газета «Беднота» писала следующее: «Председатель ВЦИК тов. Калинин при

посещении горловских рудников спускался в шахту № 1, где провел некоторое время за работой.

В Горловке в прежнее время было занято на шахтных работах более 15 тысяч человек. Сейчас это число упало до двух тысяч. Добыча угля с небольшим только излишком покрывает потребность в угле самих рудников.

Из шахты № 1 поднимают за две смены около 400 ваго-неток угля, а, между тем, до войны норма доходила до двух с половиной тысяч.

Тов. Калинин, делясь потом своими впечатлениями на многочленном собрании шахтеров, указал на запущенность рудников, на недостаток в них усовершенствованных орудий. Будут приняты меры к пополнению состава рабочих путем присылки людей с Севера. Часть буржуазии будет привлечена к работе в шахтах — пусть белая кость узнает, что такое труд и научится его ценить и уважать.

Что касается технических улучшений, то их удастся провести только тогда, когда фабрики и заводы Севера будут снабжены в достаточном количестве углем и смогут приступить к производству необходимых машин и материалов».

По указанию Калинина, когда он возвращался в Москву, из Константиновки отгрузили руднику № 1 вагон пшеницы.

Трудовые люди, не привыкшие к особому вниманию со стороны правителей, ответно выказали такой трудовой героизм, что уже в середине того же года подняли свою производительность на шахте № 1 в полтора раза.

На первом руднике (бывшей Корсунской копи № 1, или бывшем Старо-Поляковском, или просто Первом номере — горняки в обиходе меж собой зачастую так и называли его) неожиданно-негаданно объявился на удивление и свой подземный богатырь — Никита Изотов. Он прославился неслыханной дотоле добычей угля, а еще — организованными по его инициативе изотовскими школами передового опыта, в которых обучались новички научной организации труда...

В статье «Мой метод», опубликованной 11 мая 1932 года в газете «Правда», он писал:

«Я работаю 10 лет забойщиком на одной из крупнейших шахт Донбасса — на Горловской шахте № 1.

Несколько лет подряд я перевыполняю все планы и задания. Сейчас изо дня в день даю 400—450 процентов нормы... Вырубаю в среднем в день 12 кубических метров, добываю 20 тонн угля. Я работаю обушком, но мои товарищи по шахте в шутку зовут меня «врубовой машиной».

...Говорят: «Изотов — сильный, Изотов — крепкий, поэтому он так хорошо работает». Чепуха! Не в силе дело. Одной силой не возьмешь.

...Скажу без хвастовства: я даю большую выработку потому, что овладел техникой дела.

Как я работаю?

Я стараюсь применяться к углю. Когда прихожу в забой, прежде всего оглядываю свое рабочее место, подумываю, как лучше взять уголь,

Иногда уголь идет струями, а иногда залегают прослойками. Если уголь идет струями, тогда я делаю заборку, т. е. пробиваю щель сверху и снизу. Пласт угля выпячивается, как бы вздувается, и тогда его легче сбить.

Если уголь идет прослойками, тогда я выбираю самый мягкий прослой: он у нас называется зольным, он похож на сажу и легко дробиться. (Горняки еще и «кливажом» его называют. — *И. К.*)

...Многие считают, что в уступе легче всего начинать рубать уголь снизу, там где уголь нависает, с «ножки», как говорят. Потом они начинают рубать целик угля сверху, так называемый «куток». Это неверно.

Конечно, «ножка» скорее сдастся, там уголь взять легче. Но, начиная с «ножки», забойщик устает, еще не добравшись до самого трудного участка — «кутка». А я делаю наоборот. Придя на работу, начинаю со свежими силами преодолевать самый трудный участок, вырубаю уголь с «кутка», а потом беру без труда «ножку».

...Как известно, для крепления применяется специально приготовленный лес: обаполы и стойки. После того, как уголь вырублен, забойщик обычно пригоняет стойку на глаз, очень часто она оказывается то короче, то длиннее необходимой. Тогда стойку приходится переделывать. Я же делаю иначе. Прежде чем рубать стойку, я делаю замер, т. е. меркой определяю размер стойки, а затем уже ее рубаю. Этим экономлю лес и сберегаю время...»

Эту статью интересно читать еще и сейчас, потому что то, чему учил молодых Никита Изотов, его «метод» внедрился не только на шахте № 1, а и во всем Донбассе повсеместно. Им же пользуются горняки и по сию пору. А тогда это было откровением для многих.

В конце декабря 1932 года на шахте был издан приказ:

1. «Придавая огромное значение делу подготовки квалифицированных забойщиков, организовать с первого января 1933 года в седьмой лаве горизонта 640 метров первую на шахте изотовскую школу...

2. Назначить руководителем-инструктором участка № 7 Н. А. Изотова».

И потянулись к Изотову даже те, кто не выполнял сменных заданий.

Это было куда важнее, нежели просто перевыполнять план. Ибо учились передовым методам труда повсюду, не только на угольных предприятиях.

Думается, изотовские рекорды, изотовские школы и стали предтечей стахановского движения, которое началось лишь после 31 августа 1935 года, когда Алексей Стаханов, забойщик кадиевской шахты «Центральная-Ирмино», за смену нарубил отбойным молотком 102 тонн угля, выполнив 14,5 нормы. Трудовой подвиг горняка вылился в могучее движение новаторов во всех отраслях народного хозяйства, которое и получило название стахановского. Юбилей этого движения по традиции отмечается на День шахтера — в последнее воскресенье августа.

Не хочется сейчас говорить о забвении самого Стаханова на долгие годы, о том, что звание Героя Социалистического Труда, спохватившись, да и то с подсказки журналистов, присвоили ему лишь много лет спустя, во второй половине XX века. Хотя забвение это и обернулось для него личной трагедией...

Никита Изотов, дав толчок стахановскому движению задолго до рекорда Стаханова, не раз потом перекрывал успехи и его самого.

Оттого и прозвали Никиту горняки шахты № 1 подземным богатырем.

Дело было еще до того, как переименовали Первый номер на шахту «Кочегарку».

А коль богатырь, то и легенды, предания и сказки должны быть о нем. Не правда ли?

А как же! Не обошлось и без этого. Писатель Леонид Жариков, много раз бывавший на этой шахте, сочинил то ли сказ, то ли взаправдашнюю сказку о том, как Никита Изотов с Шубиным соревновался.

В сказке слово слово родит, а третье само бежит, так и у нас с тобой...

В знаменитых тридцатых годах был на шахте «Кочегарка» забойщик рекордист Шарафутдинов. Много угля рубил, случалось, самого Никиту Изотова обгонял. И вот один раз во время шахтерского наряда — а нарядная, видишь ли, была во дворе в одноэтажном флигеле, вроде длинного сарая, тесная и полутемная, поэтому забойщики и крепильщики перед началом работы любили собираться во дворе. Тут Шарафутдинов и начал подзадоривать Никиту Изотова: дескать, давай поспорим, и я докажу, что сильнее тебя и сумею нарубить угля больше. А богатырь наш Изотов по характеру был тихий. Услыхал он похвальбу и улыбнулся: мол, зачем же ты, милый человек, хвастаешься понапрасну. А Шарафутдинов не уступает и, чтобы доказать свою силу, подхватил с земли кусок породы пуда полтора весом, подбросил вверх и грудь подставил — принял удар каменной глыбы на голую грудь. Говорили, что после того он заболел, да зато характер показал.

Одним словом, соревнования у них тогда не получилось. Однако дело на том не кончилось. В толпе среди шахтеров толкался вездесущий хитрюга Шубин. Он все слышал, и то ли ему стало жалко Шарафутдинова, то ли самому захотелось потягаться силушкой с Никитой Изотовым, задумал он учинить забойщику испытание.

Вот спустился Никита в шахту, а Шубин незаметно следом. Шагает Изотов по штреку, слышит, кто-то его догоняет. Оглянулся — идет незнакомый человек в шахтерской спецовке с обушком на плече.

— Здравствуй, Никитушка, — говорит незнакомец и усмеяется.

— Здорово, если не шутишь.

— Как поживаешь?

— Твоими молитвами...

— Я не поп, чтобы Богу молиться... Я такой же забойщик, как и ты, — хитрит Шубин, а сам ухмылку прячет, а глаза что два угля горят.

— Что-то я первый раз вижу тебя, — говорит Изотов. — С какого ты участка?

— Я недавно поступил в шахту, — продолжает свой обман Шубин, — но я сильно опытный мастер, и тебе, Никитушка, против меня не устоять.

— Почему так думаешь?

— Гарантию даю — не совладаешь ты против меня в работе. Давай на спор посоревнуемся, посмотрим, чья возьмет.

— Ну, если ты такой герой, я не возражаю, — уверенно и весело отвечает Никита. У него всегда так: рукам работа, душе — праздник.

Пришли к лаве, где разрабатывался мощный пласт «Великан» — метр сорок сантиметров толщиной и такой крутой, что лава — как горное ущелье: сто метров глубины. Забойщики в таких лавах работали уступами — один под другим, как под ступеньками лестницы, чтобы углем не поранить один другого.

Никита и Шубин полезли в лаву, спустились в уступ. Изотов предложил работать по-стахановски, спарено: сначала будет рубить уголь Шубин, а Изотов крепит за ним. Потом поменяются местами.

Шубин посмеивается, потому что уверен в своей колдовской силе. Взял он обушок, размахнулся, и глыбища угля с полтонны весом полетела вниз. Никита знает свое дело — припас побольше крепежных стоек, сложил их поближе, чтобы не отставать от хвастуна. И работа закипела. В лаве пыль столбом. Из-под обушка Шубина искры сверкают, рубит он, а сам смеется и поглядывает, как Никита спешит, еле успевает крепить за ним.

Ладно. Пришла очередь Изотова рубить уголь. Догадался ли он, что судьба столкнула его с самим Шубиным, или не догадался — этого нам знать не нужно. А только решил Никита показать свою силушку и мастерство. Залез он в уступ и давай крошить уголек своим испытанным отбойным молот-

ком. Они, видишь ли, договорились, что Шубин будет работать по старинке — обушком, а Никита пускай рубит отбойным: у Шубина от трескотни голова болела. Я, говорит Шубин, и стародавним обушком тебя, Никита, за Можай загоню.

Не понравились Изотову такие словеса, и он подумал: «Хвастайся, хвастайся, а я с тобой по-своему обойдусь».

Начал Никита рубить. Шевелюра прыгает, уголь зеркалится, глыбами падает в грузовой люк. Грохот стоит в лаве, крушит Никита угольный пласт, а Шубин крепит за ним, да силенок маловато. Не прошло и получаса, как Шубин совсем взопрел:

— Погодь, Никитушка, давай маленько отдохнем.

— Шалишь! Мы не договаривались отдыхать. Крепи, поспевай! Я с тобой в цапки, что ли, взялся играть?

— Не могу, Никита. Шибко ты гонишь пласт, мочи моей нету. Прошу, давай отдохнем и закусим. Наверно, на поверхности уже гудок на обед был...

— Работай, не ленись! — смеется Никита, и уголек летит вниз горным обвалом.

— Остановись, Господом Богом прошу...

— Ага, Бога вспомнил! — хохочет Никита.— Слаба же у тебя гайка, приятель.

— Нельзя так работать... Я в охрану труда пожалуюсь.

— Ладно, — соглашается Никита.— Давай обедать...

Спустились они на штрек — там просторнее и воздух чище. Шубин затаил обиду против Изотова: осмеял его шахтер. «Погоди же, я тебе отомщу!» — И решил озадачить, унижить забойщика. Махнул он бесовской рукой, и расстелилась на штреке скатерть-самобранка. А на скатерти той чего только нет: и курица жареная, и вареники в сметане, и колбаса копченая дразнит ноздри ароматом. Даже бутылка шампанского стоит и серебряной пробкой соблазняет.

И тогда окончательно убедился Никита, как говорится, вошел в курс дела. Понял, кто его дурачит. Не зря у незнакомца глаза в темноте горят, как у кошки. На другого человека — можно было от страха с ума сойти, а Никита не сбобел, ждет, что будет дальше.

— Угощайся, Никитушка, — потешается над забойщиком Шубин, — отведай колбаски, курочку жареную погрызи, а то давай шампанское откроем — веселей работа пойдет.

— Благодарствую, — отвечает Никита.— У меня свой «тормозок» есть.

Потянулся он за узелком, развязал не спеша, а там целая буханка хлеба и кусище сала с кило весом. В народе говорится: сколько ни думай, а лучше хлеба не придумаешь. Сел Никита в сторонке, уговорил буханку, умял кусок сала. И опять готов к труду и обороне.

— Пошли, приятель, — приглашает Никита Шубина, а сам себе думает: «Ну, шельма, сейчас я с тебя семь потов сгоню, ты у меня попрыгаешь копытами по стойкам. Не очень я тебя испугался, хоть ты и нечистая сила».

— Послушай, Никита, — говорит Шубин.— Мы с тобой работали спарено, а теперь давай каждый за себя: кто больше нарубит угля, за тем и верх будет.

— Согласен, — отвечает Никита.— Только полезай в лаву первым, а то, боюсь, сбежишь.

— Лезу, лезу, смотри сам не отставай! — посмеивается Шубин. Он придумал новую каверзу. План его состоял в том, чтобы у Изотова из пласта выходил уголь, а у него, у Шубина, чистейшее золото.

Так и подстроил. Никита в своем уступе уголь крушит, а Шубин как ударит в пласт обушком, так золотой самородок отскакивает, сверкает, блестит, глаза ослепляет своей красотой.

Хихикает Шубин, дразнит забойщика:

— Никак у тебя, Никитушка, дела пошли плохо? Может, помочь тебе? Гляди-ка, у меня золото сыплется, а у тебя что?

Молчит Никита, виду не подает и продолжает рубить свой геройский уголек.

Тут смена кончилась. Никита пересыпал добытый уголь в свою вагонетку, а Шубин нагрузил полный вагон золотых слитков. Ладно, так тому и быть. Покатали вагонетки к стволу на приемный пункт. Пригнали. Приемщик выдал Никите расписку за принятый уголь. Подходит очередь Шубина. Подкатывает он свою вагонетку с золотом и усмехается в

бороду, предвкушает, как приемщик и все шахтеры глянут и в обморок упадут. А приемщик, парнишка молодой, взглянул на золото и говорит:

— А ты, дед, чего привез? Зачем мне порода?

— Чай это не порода, а золото, — говорит Шубин, довольный, что взял верх над Изотовым.

— Не знаю, не знаю, — говорит приемщик. — С меня уголь требуют, а ты свое золото в банк сдавай.

— С ума спятил! — возмущается Шубин. — Этакое богатство отвергаешь!

— Отойди, дед, не мешайся...

— Да ты знаешь, кто я такой? Я Шубин!

— А мне все равно: Шубин ты или Губин, а золото принимать не стану. Иди к директору шахты и принеси бумагу. Если разрешит принять, приму. А пока отойди в сторону.

Не на шутку рассердился Шубин:

— Да я... да ты... Я самого Никиту Изотова вокруг пальца обвел, а ты волокиту разводишь!

— Отстань, дед, пока справку не принесешь, не приму твое золото.

Так и не принял. Настала очередь смеяться Никите Изотову и горнякам, которые при этом комическом случае присутствовали. Такой грохот загремел на рудничном дворе, что Шубин испугался, бросил свою вагонетку и скрылся в дальних выработках — только эхо пошло по шахте.

Такая вот вышла катавасия. Капитулировал Шубин перед героем Донбасса Никитой Изотовым.

На том и мы с тобой ставим точку. Тебе — сказка, а мне бубликов связка. Я бы те бублики ел да похваливал, если бы не одна обида. Находятся, видишь ли, сердитые люди, которые возмущаются: «Что еще за Шубина придумал дед Максим Синица? Откуда он откопал шахтерского черта? Позор и стыд, чтобы в век технического прогресса, когда шахты у нас полны современной техники, когда в забоях работают новейшие комплексы, вытаскивать из допотопного небытия какого-то Шубина! Надо в шахтком заявить или позвонить в милицию, пускай призовут к порядку деда-выдумщика. Делать пенсионеру нечего, и плетет небылицы... Вот, брат, какие есть нетерпимые и несправедливые люди.

А я этим сердитым людям отвечаю так: ни в Бога, ни в черта дед Сеница не верит с самого 1905 года, когда мы, рабочие, пошли к царю с мирными иконами да хлебом-солью, а он встретил нас пулями. С той поры я как есть стал натуральным безбожником. А что касается Шубина, то извините, я его в обиду не дам, потому что знаю его лично и никогда от него не отрекись. Мой Шубин за пятилетки борется, не терпит бесхозяйственности в шахте, следит, чтобы поменьше было прогульщиков, чтобы угля горняки добывали больше, — за это болеет мой Шубин, и я вместе с ним.

Вот и получается: если поразмыслить хорошенько, то Шубин — это не человек и не черт, это — любовь к шахте, совесть шахтерская, дела наши хорошие — вот кто такой Шубин.

Подумай над этой сказочкой и поймешь ее. Как люди говорят: поймешь все — от и до.

На Первый съезд пролетарских писателей, который проходил в Москве в 1934 году и объединил всех литераторов в один Союз, из Горловки были делегированы шахтерский поэт Павел Беспощадный, у которого к тому времени вышла первая «Каменная книга», и забойщик шахты № 1 Никита Изотов. Там и познакомился со знаменитым пролетарским, как тогда считалось, писателем.

Максим Горький отмечал впоследствии:

«Богатырь Никита Изотов рассказывал мне о своей работе под землей. Рассказывает он с полной уверенностью, что я, литератор, должен знать, как залегают пласты угля, как действуют под землей газ и почвенная вода, как работает врубовая машина, и вообще я обязан знать все тайны его, Изотова, техники и всю опасность его работы на пользу родины. Он имеет законное право требовать от меня знаний его труда, ибо он возвысил труд свой до высоты искусства...»

Тут уж, как говорится, ни убавить, ни прибавить.

Тем не менее, есть что добавить.

Были, были последователи у Никиты Изотова, которые тоже возвысили свой труд до высоты искусства! И тот же Макар Мазай в металлургии, и тот же Петр Кривonos на железнодорожном транспорте, и та же Паша Ангелина в сельском хозяйстве... И много других в самых разных отраслях промышленного производства всего Донбасса, да и всей

Украины. Их мы называли маяками. Но дотянуться до уровня их работы не всякий мог, далеко не всякий. А как бы хотелось, чтобы таким искусством овладел каждый, ну хотя бы каждый третий, и чтобы добился такого же профессионализма в своем деле, как и восславленный маяк. Быть может, тогда бы и всеобщий уровень производственной деятельности в нашем сообществе возрос настолько, что и уровень жизни стал бы ему равен. А не маячил островками, недостижимые для большинства людей.

Но первых маяков отличало то, что каждый из них был еще и легендарной личностью. О них при жизни складывали легенды, в которых органично сочетались быль и выдумка.

Одним из таких последователей Никиты Изотова был на Первом руднике Ермолай Павлович Ермаков, которого все звали просто Ермачком. Ермачок и Ермачок! А ему, поди, нравилось: значит, свой среди своих — что называется, в доску.

Легенду о нем записал все тот же Леонид Жариков, безмерно влюбленный в свой отчий шахтерский край, как и его людей, своих земляков.

В тот памятный геройский день, когда шахтер Алексей Стаханов нарубил в забое вместо семи тонн угля, как полагалось по норме, сто две тонны, нашлись люди, которые не верили, говорили: не под силу одному человеку дать столько угля за смену. Были даже такие чудачки, которые нашептывали, будто у Стаханова особенный отбойный и сделан для него лично по секретным чертежам.

На чужой роток не набросишь платок. Дошли вести про Стаханова до заграницы. И если у нас были неверующие, то за границе сам Бог велел не верить и сомневаться.

А между тем стахановская наука разлилась по стране половодьем, и уже не было шахты, где не отыскался бы свой чудотворец, который по десяти и больше норм вырубал за смену.

Поехал наш горловский богатырь Никита Изотов в гости до Стаханова. «Здравствуй, Алексей». — «Здравствуй, Никита, рад тебя видеть». — «А ну-ка, Алеша Попович, открой мне свою науку, покажи чудо-молоток свой». Эти слова Изотов

произнес в шутку, потому что отбойный Стаханова был самый обыкновенный. «Что ж, поехали в мой кабинет», — приглашает Стаханов. Спустились они в шахту, приехали в стахановский забой. И вышло так, что в тот день мастер из мастеров Никита Изотов за шесть часов нарубил 240 тонн угля! «Хороша твоя наука, Алексей, — смеется Никита Изотов, — и молоток хороший». — «Если такое дело, — отвечает Стаханов, — если тебе нравится мой молоток, дарю тебе его, потому что ты мой рекорд побил».

Вернулся Изотов к себе на «Кочегарку». А тут из Москвы телеграмма — вызывают Никиту учиться на академика.

Надо прощаться. Спустился Изотов в шахту, в свой забой, и, как говорится, под занавес показал всем, какие бывают чудеса на свете. В тот день он дал 640 тонн угля, целый железнодорожный состав. Вот это был рекорд!

Однако же надо ехать. Кому передать чудо-молоток? Пошел Никита до своего ученика, легендарного буденновца Ермолая Ермачка, и говорит: «Держи мой подарок, Ермолай, и рубай уголь так, чтобы мне в Москве было слышно».

И уехал.

Растрогался Ермачок от дорогого подарка. И пошла катавасия — в руках Ермолая Ермачка стахановский отбойный заплясал, заходил ходуном. Что ни день, то новый рекорд. Снова показал свое геройство боец за коммуны Ермачок.

А за граница прислушивается: какие такие чудеса происходят в стране СССР? И вот тебе — приехали в Горловку гости из Франции, ихние горняки. Приехали и в сундучках привезли свой инструмент. Дескать, хоть ты и свой брат рабочий, товарищ Ермачок, а проверить тебя не мешает.

Заходят гости в нарядную:

— Наше почтение, камрады.

— Добро пожаловать, — говорит Ермачок, — будьте гостями, не стесняйтесь, парле франсе...

Французские горняки говорят Ермачку:

— Слыхали мы, что у вас, камрад, есть особый отбойный молоток, которым вы за смену по десяти норм даете.

— Есть такой молоток, — отвечает Ермачок. — Коли хотите посмотреть на него, собирайтесь в шахту. Вот вам спецовка, резиновые сапоги и все, что нужно.

Переделались французы, получили подземные лампы, а сундучки со своим инструментом с собой прихватили. Сели в клеть, и мы их с ветерком — на самый низ.

Пришли все к забою. С верхнего штрека съехали на спинах в «гезенок» и очутились в лаве. Ермачок пробирается по стойкам спереди, за ним французы. Странно им. Видно, у них нет таких крутых пластов, опасаются, как бы не загреметь в стометровую пропасть. Потом ничего, освоились, крепкие ребята оказались. Да и то сказать: рабочий человек закален и в трудностях, и в нужде, и в страхе, и в терпении — ему все нипочем.

Дело было на пласте «Атаман». Хороший пласт, да сильно крепкий уголь в нем.

— Ну, товарищи-камрады, давайте соревноваться, кто больше угля вырубит за смену, — говорит Ермачок.

Разобрались по уступам. Ермачок выбрал себе самый трудный, а гостям — где уголь помягче, где работать полегче.

И пошла плясать губерния. Ермачок рубит пласт так, что только грохот и гром по рештакам и уголь черной лавиной летит.

Французы себе работают, хорошо рубают, ничего не скажешь. А только в конце смены подсчитали, и вышло, что Ермачок вырубил угля втрое больше, чем гости.

— У меня молоток особенный, — смеется Ермачок в ответ на удивленные вопросы гостей.

— Чем же он особенный?

— Советский!

— Дозволь, камрад Ермачок, твоим молотком поработать.

— Пожалуйста, силь ву пле.

Как французские горняки ни старались, больше Ермачка всей бригадой не могли вырубить. Выходит, дело не в молотке, а в том, кто им работает. Покачивают французы головами, говорят:

— У нас во Франции так работать нельзя. Хозяин мигом половину шахтеров уволит.

— А вы хозяина по шее, — шутит Ермачок. Гости посмеиваются, чешут в затылках.

— Не так это просто, дорогой советский камрад.

Поговорили так и выехали на-гора. Русские люди щедры на добро. Пригласил Ермачок заграничных друзей к себе в

гости, угостил яблоками из своего сада. Довольные уехали французы.

— Мы, — говорят, — про твой чудо-молоток своим товарищам во Франции расскажем.

— Правильно сделаете, — отвечает Ермачок. — Надо рабочему классу к одному берегу прибаваться.

Уехали французы к себе домой, и тут Ермачок получает письмо от французских горняков: «Обнимаем тебя, дорогой товарищ, от имени трехсот рабочих нашей шахты и пяти тысяч ожидающих работы на бирже труда».

Так отбойный молоток Ермачка стал агитатором, прославил наших стахановцев на всю границу.

Хороша та сказка, которая хорошо кончается. А нам с тобой грустить приходится. Началась война. Фашисты подмяли под свой сапог полмира. И вот уже двинулся Гитлерюга на нас. Пришло горькое время и в Горловку: появились фашисты.

— Где ваш шахтер по имени Ермачок и где его чудо-отбойный? Показывайте, иначе расстрел.

В ту пору Ермачок в партизаны подался. И случилась такая беда — схватили его немцы.

— Ты Ермачок?

— Я.

— Будешь на нас работать?

— Не буду...

— Ладно... Тогда скажи, куда ты свой чудо-молоток спрятал, которым ты по десять норм в смену добывал?

— Не видать вам заветного отбойного как своих ушей.

— Выбирай: молоток или смерть?

— Смерть, — дерзко отвечает врагам Ермачок и смеется им в лицо.

Согнали гитлеровцы людей со всей шахтерской округи. «Смотрите, как мы справимся с вашим героем».

На крюке подъемного крана повесили фашисты нашего Ермачка. Вся площадь перед Дворцом культуры, который сами строили на субботниках, зашлась плачем людским.

Погиб легендарный герой, да только уголек его до сих пор идет на-гора. Отыскивали шахтеры чудо-молоток Ермачка, и он работает до сих пор. Если хочешь убедиться в этом, приезжай

в Горловку, приложи ухо к земле и услышишь, как весело стучит, клюет уголек отбойный Ермолая Ермачка.

На том слава герою и память навеки.

Об успехах Первого горловского рудника чуть ли не ежедневно писала городская газета «Кочегарка». На ее страницах рассказывалось и об Изотове, и о начавшемся здесь изотовском движении по выучке молодых горняков — изотовских школах, печатались рабкоровские заметки и первые литературные пробы шахтеров этого рудника... Не упускала и промахов газета...

И тем самым как бы наравне с горняками этой шахты участвовала во всех ее делах, во всех поисках и новшествах, заодно и вдохновляя их на новые трудовые свершения.

Вот почему, когда газета отмечала свой пятнадцатилетний юбилей, горняки Первой угольной шахты в Горловке, в этом центральном угольном районе Донецкого края, обратились в городские организации с просьбой о присвоении их предприятию имени газеты, эта просьба была удовлетворена. Шахту переименовали. И она стала называться так: шахта «Кочегарка». Коллектив ее гордился и гордится этим именем. Да и не удивительно! Ведь у этой газеты особая история в шахтерской летописи не только одной шахты «Кочегарка», а и всего Донбасса.

В Горловку редакция газеты «Кочегарка» переехала из Бахмута в 1930 году. До этого она называлась «Всероссийская кочегарка».

Истоки ее уходят к «Шахтерскому листку», впервые выпущенному в 1914 году как приложение к газете «Правда». В день выпуска газета обращалась к горнякам с воззванием: «Товарищи шахтеры! Этот «Листок» выпущен на вами собранные средства. Вам нужен собственный «Листок».

Таких листков вышло в тот год два. В них рассказывалось и о жизни шахтеров Горловки. О них писала «Путь правды» следующее в номере от 4 мая 1914 года: «Создание «Шахтерского листка», а затем и постановка собственной газеты для горнорабочих есть первостепенное условие их человеческой жизни». Впоследствии была создана такая газета. А поскольку Донбасс считался по своему промышленному потенциалу Всероссийской Кочегаркой, то и газету называли тем же име-

нем. Одно время ее и переименовывали во «Всесоюзную кочегарку». Связано это было, по всей вероятности, с тем или иным административным положением Донбасса и тогдашней политической ситуацией. Утверждались, скажем, на Всероссийском съезде Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Российская Федерация — так именовали, а затеял революционер, наш земляк Артем Криворожско-Донецкую отдельную республику, чтобы отпочковаться в 1918 году от независимой Украины, — газету этак временно переименовали.

Оговорюсь, что это лишь предположения. И основаны они на встречающихся в историко-краеведческой литературе разночтениях.

Так или иначе, а газета «Кочегарка» стала первопечатницей многим начинающим поэтам и прозаикам, вышедшим из рабочей среды: Павлу Беспощадному, Григорию Баглюку, Владимиру Сосюре, Николаю Олейникову, Ивану Ле, Борису Горбатову, Михаилу Тардову, Владимиру Торину, Миколу Упенику, Юрию Черному-Диденко, Порфирию Трейдубу, Михаилу Голодному, Валентину Харчевникову, Демьяну Семенову... При этой же газете, в виде приложения к ней, с 1923 года стал выходить журнал «Забой» под редакцией В. Валя и приехавшего сюда из Петербурга в гости к родителям своего друга Евгения Шварца — Михаила Слонимского, уже известного к тому времени писателя, а потом и донбассского критика Алексея Селивановского. Сгруппировавшиеся вокруг газеты, вокруг журнала литераторы организовали в 1924 году Союз пролетарских писателей Донбасса.

Два одаренных и активных автора газеты, опубликовавшие в ней свои литературные пробы изначально, были из Первого рудника, работали на его подземных горизонтах. Это — Черный Юрий, Диденко точнее, взявший псевдоним Черный из-за черного угля, который он добывал, и Валентин Харчевников. Они же создали на руднике и первую «Синюю блузу» — живую газету. Позже Юрий Черный-Диденко, став известным писателем и живя в Киеве, напишет проникновенные повести о том времени и о Первом номере — «Синюю блузу» и «Заостренные карандаши». В них почти нет вымысла. А потому воспринимаются как лирическое документальное свидетельство. И в первую очередь — о тогдашней культур-

ной, духовной атмосфере на Первом руднике, Первом номере, когдашней Корсунской копи № 1, а ныне шахте «Кочегарке».

С того же времени, считай, и зарождалось литературное объединение при газете «Кочегарка», из которого вышло на сей день около двадцати профессиональных писателей. Это уже были новые люди. И они писали об обновленной «Кочегарке»-шахте, как и о неузнаваемо преобразившейся Горловке.

Члены этого же литературного объединения «Кочегарка», взявшего себе впоследствии имя Павла Беспощадного, выпустили в 1958 году к 90-летию шахты «Кочегарка» книгу об ее истории — назвав по-домашнему, по-родственному тепло: «Наша «Кочегарка». И опытные, и молодые литераторы поведали о трудной и славной истории «Кочегарки». В ней перемежаются беллетризованные рассказы о прошлом шахты со стихами, тоже рассказывающими и о давно минувших днях, и о новых былях прославленной шахты. Они разного художественного достоинства, но уж в чем-чем, а в искренности им не откажешь.

Серафим Бобров, так и не ставший профессиональным литератором, в стихотворении «Город моей веры» писал:

*О, город мой, высот и класса,
Где свят и славен честный труд,
Не зря жемчужиной Донбасса
Тебя почтительно зовут!
И не уронят этой марки,
И помнят каждый день о том
Умельцы шахты «Кочегарка»
В своем величии простом!*

А Владимир Кондюшин, тоже ветеран литобъединения, написал о старой и новой «Кочегарке» следующее:

*«Шанхая» улицы косые
Припоминаются мне так:
Мальчишки бегают босые
Отцам за водкою в кабак.
В землянке грязь, клоповы насты*

*(Здесь спал шахтер и тут он жил...),
И пьяный, с «ливенкой» горластой,
Всю ночь по улицам бродил.*

*И пели планки...
Слово в слово —
Шахтер от песни — сам не свой:
«...А ко-но-го-о-на молодо-го
Несут с разбитой го-ло-о-вой...»*

*А утром снова — в грязь и слякоть —
Несла заржавленная клеть,
И от тоски хотелось плакать —
Что не успел вчера допеть...*

В старину рабочий поселок возле Первого рудника так и назывался «Шанхай», или «Пекин». И далее поэт заключает:

*Уже давно над «Кочегаркой»
Звезда вечерняя зажглась.
И духовой в шахтерском парке
Играет русский перепляс.
Идут шахтерские колонны —
Со старой песней коногона
Сквозь эту радость не пройдешь.
Цветы вокруг, огней каскады...
(И сколько лет прошло с тех пор?!)
Друзьям, стоящим у эстрады,
Поет о Родине шахтер.
Он славе города — ровесник,
Здесь много лет он честно жил.
Другая жизнь — другие песни;
Он песни эти сам сложил!*

Поэт Владимир Назин словно бы развивает мысль предыдущего своего собрата по перу и по Горловскому литобъединению:

*Огнистая и жаркая,
По-своему горда,
Горит над «Кочегаркою»,*

*Над шахтою звезда.
Ее концы лучистые
Коснулись облаков,
И днем, и ночью мгlistою
Видать их далеко.
Со всех сторон открытая,
На много верст видна,
Весенним днем омытая,
Возвысилась она.
Огнистая и жаркая,
По-своему горда,
Горит над «Кочегаркою»,
Над шахтою звезда.*

А была ведь она и затоплена, и взорвана во время Великой Отечественной войны. И ее с превеликими трудами, отчаяньем и самоотверженностью восстанавливали, подымали, как принято было говорить в то время, из руин и пепла.

Павел Беспощадный, находясь в эвакуации, будучи тяжело больным о ту пору, писал с тоской по шахтерской родной стороне и с верой в победу над фашистами:

*Что ты видишь, солнце, за горами,
Расскажи, голубчик, расскажи:
Видишь ли пожары за копрами,
Боевые ль видишь рубежи?
Отцвели ль каштаны в нашем парке,
Отзвенел ли в парке соловей
Возле нашей шахты «Кочегарки»
В неизбывной прелести ветвей?*

По возвращению из эвакуации Павел Беспощадный посвящает немало стихов и Горловке, и шахтерам.

Уместно здесь вспомнить и о стихотворении 1931 года, которое посвятил поэт лучшему ударнику шахты «Кочегарки», бывшему пенсионеру, добровольно пошедшему на угольный прорыв. Речь идет о времени после гражданской войны, когда еще не гремела слава Никиты Изотова, когда она только-только зарождалась:

*Товарищ Денисенко! Эти строки
Несу тебе, как сердце, напоказ.
Прими, Семеныч, как поклон глубокий, —
Душевный дар поэта-горняка.
Как хорошо писать о нашем кровном,
О нашем близком, радостном, родном,
И строки лягут на бумагу ровно,
Когда с друзьями мыслишь заодно.
Мечтал ли ты, раздумывал об этом,
Что будут дни, придет твоя пора,
Что даст Донбасс писателей, поэтов,
Что даст Донбасс ударников пера?*

Павел Беспощадный и песню сложил именную — «У родной «Кочегарки». А в юбилейный день послал ее шахтерам такое приветствие, с посвящением — «от всей души»:

*Друзья!
Вы шли на подвиг жаркий,
Добыть стране тепло и свет...
Родной и славной «Кочегарке»
Мой самый искренний привет!
Пусть день и ночь летят составы,
Чтоб всех в пути опережать,
Во славу Родины, во славу
Всего Донбасса...
Так держать!*

Помимо этого поэт посвятил «шахтерской имениннице» и отдельное стихотворение в тот год. Цитирую его с небольшими купюрами:

*Неужели «Кочегарке»
Девяносто лет?
Мне казалось, что моложе
Этой шахты нет.
Кочегаровец, чье имя
Славится в труде, —
В Черемхове, и в Кузбассе,
И в Караганде.
У нефтяников спросите,
Кто Изотов был?
Золотой забойщик, скажут,
Крепко пласт рубил!*

На Кавказе, Сахалине
 Спросишь горняка —
 Знает нашего героя,
 Помнит Ермачка.
 Наш Изотов легендарный
 Гнал отборный груз.
 И прославил Украину
 Да на весь Союз!..
 И росли ряды подземных
 Мастеров труда.
 На копре огнем победы
 Вспыхнула звезда...
 Пусть сегодня «Кочегарке»
 Девяносто лет.
 Но моложе и дороже
 Этой шахты нет!

А несколькими годами ранее поверял читателю выраженные в поэтическом слове сокровенные чувства к «родной шахте»:

С «Кочегаркой» дружба старая,
 Дружба крепкая у нас...
 Эту шахту неустанную
 Крепко знает весь Донбасс,
 Как шумят шкивы могучие,
 Рвется уголь в бункера,
 Как сойдутся смены лучшие
 У крылатого копра.
 День и ночь стучит подземная
 В солнце, в россыпи огней...
 Словно сердце неумное
 Гордой Горловки моей,
 Как затянут песнь отбойные,
 Как подхватят рештаки,
 Как обнимет песня стройная
 Лавы, штреки и ходки.
 Как составы многотомные
 Разнесут по городам
 Нашу песнь неугомонную,
 Нашу музыку труда...

И затем, уже в открытую признаваясь ей в сыновней любви, посылал «привет любимой «Кочегарке»:

*Хочу, чтоб в топках «Кочегарки»
Горел, кипел огонь. И грел
Сердца рабочих пламень жаркий,
И я для песен не старел...
Чтоб в песне ясной, в песне яркой
Воспел величье наших дней,
Гордясь любимой «Кочегаркой» —
Родной советчицей моей!
Она — источник вдохновенья,
Пред нею я в большом долгу...
Она, чье имя без волненья
Произнести я не могу...
И свой привет сыновний, жаркий
Несу я на рассвете дней
Моей любимой «Кочегарке» —
Первопечатнице моей!*

А со временем, в именинный год «Кочегарки» он еще и обобщил свои чувства и мысли, называя некоего шахтера своим «наставником и другом»:

*Гордись, Украина! Твой сын боевой,
Твой гордый и славный Донбасс,
Комбайны ведет в заветный забой
Добыть драгоценный алмаз!*

*И в домнах горит животворный огонь,
И полнятся сталью ковши:
Горняцкий подарок родне дорогой
От щедрой шахтерской души.*

*И пусть на лице его искрится пот,
Рабочая хватка тверда,
Где ступит шахтер — земля зацветет,
Приветно глядят города.*

*Посмотрит шахтер — и станет теплей,
И станет светлей вокруг...
И нет мне шахтера милей и родней:
Он мой и наставник, и друг!..*

Разумеется, он имел в виду и горняков «Кочегарки». А может, их — прежде всего, в первую очередь?!

Бессмертную оду сотворили сообща о «Кочегарке» и ее шахтерах горловские литераторы! Она таким образом навсегда вошла в историю изящной словесности. А слово, как известно, было в самом Начале сотворения мира сего и пребудет в нем до Скончания...

Вряд ли найдется какая другая шахта во всем Донбассе, которая удостаивалась бы такой любви и такой высокой чести.

Хотя у «Кочегарки» немало сестер-шахт, достойных соответственного внимания и подобных чувств.

Горжусь, искренне горжусь тем, что по судьбе выпало и мне быть сопричастным к ее многотрудному, вековому прошлому и славному, озаренному пятилучьем звезды на копре — звезды шахтерской доблести, настоящему.

Самой первой из шахт, на глубоких и немислимо крутых горизонтах которой я впервые побывал в Донбассе, была шахта «Кочегарка».

Мне, тогда еще молодому литератору, любопытно было знать, как же добывается тот уголь, который обогревал в зимние стужи дедову хату, обставленную снаружи для утепления тугими снопами из кукурузных бодылей, внутри по углам заиндевелую, особенно в предрассветную пору, когда начисто выветривалось, как ты его ни сберегай с вечера, хатнее тепло, и земляной пол оказывался до того стылым, точно лед, что ступить было боязно. Да и в начальной хуторской школе уголь в печке не только веселил глаз и сердце пляшущими причудливо языками своего пламени, не только обдавал нас, школяров малолетних, одетых кое-как и живших впроголодь в послевоенное лихолетье, спасительным жарким духом и давал возможность зазябшим с холода пальцам свободно держать ручку — он еще и создавал некий уют, сходный с домашним.

Тот самый уголь, о котором забойщик «Кочегарки», талантливый литобъединенец-«кочегаровец», мой брат по увлечению литературным творчеством Евгений Сердинов написал проникновенные строки:

*Буди, комбайн, молчанье вековое,
Ты, уголек, с шахтерами дружись.*

*Ты будешь жить, лишь выйдешь из забоя,
Короткую, но пламенную жизнь.*

Стихотворение всего в одну строфу, а в нем спрессованы, наподобие солнцесных углей в правданных пластах, и вечность и мгновение!

Казалось бы, каменный уголь, неодушевленный камень, но в этих строчках он предстал, будто живой.

В сопровождении того же Сердинова, испросив разрешения у начальства, я спустился под землю, в глубины «Кочегарки».

Помнится, как незаметно для меня один из шахтеров, охочий, видимо, под стать всем шахтерам, до розыгрышей, потряс вентиляционную трубу — ее раструб, и я почувствовал, что угольная пыль буквально царапает где-то внутри меня. Немного времени спустя этот шахтер, видя, что со мной пришел к ним его сотоварищ по подземным выработкам, сознался: «Да позвонили сверху, мол, встречай гостей. А сказать, кто персонально, не сказали... Я и подумал, что опять кого-то из зевак несет нелегкая. Они же, праздношатающиеся-то, лишь мешают работать. Ну, и шурунул...»

В соавторстве с Евгением Сердиновым я и свой первый в жизни подземный репортаж написал — о забойщиках шахты «Кочегарка». И безмерно рад этому. Пожизненно буду гордиться сим фактом из своей творческой биографии. Позже я работал в угольном отделе областной газеты «Социалистический Донбасс» и по редакционным заданиям бывал и в той же «Кочегарке», и во многих других шахтах Донецкой области, писал немало очерков и подземных репортажей о нелегком шахтерском труде. Но тот, первый, о горняках «Кочегарки» стоит особняком в моей памяти и греет сердце.

Примерно в те же прошлые годы мы с Владимиром Демидовым написали историю шахты «Кочегарка» для детей под названием «Повесть о солнцерубах»; книга эта была издана в Киеве в переводе на украинский язык.

Так что, если не играть в ложную скромность и перефразировать строки Павла Беспощадного из его «Каменной книги», можно и о нас, его последователях, сказать, что мы тоже читатели не случайные твои, «многотомный каменный Донбасс». И что лично я начал это прочтение, пожалуй, с за-

главного, «первого» тома — шахты «Кочегарки». Спасибо судьбе! У горняков было чему поучиться — и шутке, и оптимизму, и упорству в работе. Все это здорово пригодилось на скользкой, перепадной, сплошь погорбленной выбоинами и разъезженными колеями писательской дороге... Словом, и за житейско-литературную науку спасибо добытчикам подземного солнца славной «Кочегарки»! Этого исторического Первого рудника, незабвенной Корсунской копи № 1, родного Первого Номера.

В сборнике, посвященном истории Горловки и изданном в 1934 году в Харькове, Никита Изотов, в частности, писал: «...надо было пожить в старой Горловке, чтобы понять, почувствовать, что такое новая Горловка.

Надо было задышаться по двенадцать часов в шахте и по двенадцать часов в удушливой, вонючей землянке, чтобы понять, почувствовать радость нашего труда и нашего отдыха.

Мы оставили одну шахтерскую землянку и накрыли ее стеклянным колпаком — пусть смотрят потомки...»

К сожалению, землянка не уцелела — во время войны в нее угодила бомба. Но перемены, какие пришли и в бывшую Корсунскую копи № 1, и в поселок, возникший вокруг нее, очевидны и поразительны.

Это уже гигантский подземный завод с наинovelшей техникой, автоматикой, телемеханикой, электроникой... Атрибутику же тяжелого подневольного труда углекопов на бывшем Первом руднике можно увидеть разве что в музее шахты при Дворце культуры, бывшем Дворце труда, построенном еще в 1928 году. И обушок, и сани, и кайло, отработавшие свое отбойные молотки устаревшей конструкции... И старые шахтерские лампы, среди которых очень памятной, символической реликвией сохраняется и лампа Никиты Изотова. Ее когдaшний свет словно бы и поныне освещает все дела наследников Изотова-шахтера, их жизнь, которая как небо и земля разнится с жизнью углекопов Первого рудника. Этапы многотрудного и славного пути «Кочегарки» и ее шахтерских династий отражены в экспозициях музея.

При Дворце культуры шахты также работает много всевозможных кружков художественной самодеятельности: танцевальный, драматический, хоровой, музыкальный...

На шахту «Кочегарка» приезжали не раз учиться и из-за рубежа.

Надолго она стала не только памятников труда, истории, а и своеобразным эталоном образа жизни людей разных национальностей, о чем мы сейчас порой вроде бы стесняемся упоминать, как будто сие, желанное для всего земного шара благо, способно непонятным образом навредить домашней национальной идее...

Стоит она в центре шахтерской Горловки, у перепутья дорог, проходящих через нее с востока на запад и с юга на север, высится далеко видными копрами и двумя слитными у подножий терриконами. Она — долгожитель, ей давно перевалило за сто. В ее судьбе — судьба всего Донбасса.

Умолкла нынче «Кочегарка». Замерли шкивы на ее копрах, погасла над нею звезда... В нынешнее безвременье законсервировали подусталую, измотанную трудягу, лет двадцать, как при Советском Союзе, так и при независимой Украине, не получавшей капитальных вложений на ремонт, переоборудование и техническое переоснащение.

Даже не верится... Вроде все еще, если прислушаешься, припав к земле, доносится из ее глубин — ушедших более, чем на километр в недра земли штреков, лав и забоев, некогда гулких, прямо горячих от напряженной работы, — по-прежнему доносится трудовой несмолкаемый гул.

Это же и о шахтерах «Кочегарки» думал молодой талантливый поэт-горловчанин Олег Герасимов, когда писал вот эти проникновенные, согретые глубинным огнем строки:

*...Ты в той стране, где быть и небыль
Срослись в один горючий пласт,
Крутого каменного неба
Коснешься каскою не раз.*

*И прикипит к руке лопата.
И роба вздыбится коржом.
И третий пот тебя окатит
Не то огнем, не то дождем!
Но знает каждый, открывающий
Свою дорогу в глубине,*

*Что не найдешь верней товарищей
Ни на земле, ни на луне.*

*Когда гремят обвалов грозы
И мгла шагает по пятам,
В стране подземной свет и воздух
Шахтеры делят пополам.*

*...Хлопчато-угольные робы.
Надежных рук стальная крепь.
И дружба — самой высшей пробы,
Землей рожденная, как хлеб.*

Поэтические строки уже пульсируют во мне, стучат на висках, и поведенное вот-вот готово обратиться явью.

Но нет, это лишь наваждение — молчит «Кочегарка». И звезда на ее копре как символ шахтерской доблести, не соперничает с небесными.

Да что ж это такое? Ну, в самом-то деле, не может же быть нескончаемым нынешнее безвременье в угледобыче Донбасса? Или мы обречены бесконечно переживать временные трудности, какие донимали нас и раньше?

Хотя вон и там, и сям мало-помалу встают с колен, поднимаются в полный рост на Донецком кряже исполины-шахты, возрождают подутраченную было стать и тянутся к небу своими трудовыми звездами.

Так что, глядишь, придет час и кочегаровцев.

А пока...

Даже если, допустим, когда-нибудь оставят «Кочегарку» как памятник промышленной истории Донбасса, как первую шахту центрального угольного района, начавшегося с Первого рудника, на ней, пожалуй, следовало бы навсегда оставить зажженную звезду. Немеркнущую! Будто на живой, навечно оставшейся в рабочем строю. Пусть бы радовала сердце и пожилых шахтеров, творивших на ней шахтерскую славу, и их потомков, перенявших от них трудовую эстафету.

В этом был бы еще и своеобразный символ нескончаемого потока жизни в нашем крае, в отчей шахтерской стороне, на нашей малой и большой Родине.

ДУМА О ШАХТЕРСКОМ КОНЕ

Крылаты, летучи слухи, они будто ветром разносятся! Оттого испокон веков земля и полнится ими.

Да не всякому слуху верила богобоязненная, сто раз пуганная природной стихией, осмотрительно-осторожная крестьянская душа.

Но на сей раз уж больно заманчива была весть, долетевшая до сельских жителей далеких деревень, что хоронились в северных лесных пределах за Северским Донцом — и в Украине, и в России, и в Белоруссии. Якобы за Святыми Горами, где-то на Донецком кряже, дошлые люди приискали диковинное земляное уголье, некий горючий камень, способный неслыханный жар давать и гореть в натуре, несмотря на то, что он каменный. И чтоб добыть его из-под земли, нанимают охочий до работы пришлый люд. А за усердие платят такие гроши-деньжата, что стоит чуть подкопить, приберечь, сэкономив на еде и одежонке-обутке, — и недолго час, как соберешь на покупку собственной лошади.

Мыслимое ль дело? Кто ж устоит супротив такого соблазна? И в особенности, ежели ты безлошадный и концы с концами едва сводишь.

Э-э, что ни говори, а завести в скудном хозяйстве какого-никакого пегарька — оно бы сразу, притмом пошло в гору. И ты уже сам себе хозяин, считай помещик, ни дать ни взять — пан над панами!

Не каждый был горазд не то что додуматься до такого, а просто взять в толк.

От подобных дум-раздумий прямо головы пухли не у одного мужика-безлошадника, пока они судили-рядили, как быть да что делать. Причем главной-то заманкой было то, что управиться можно, как сказывают бывалые люди, за один сезон. Покопал лопатой, помахал кайлом, да еще в летнюю пору, по теплу, и — домой! Пушай и наломаешь спину, ухойдокаешься до смерти — не беда! Сельскому мужику такое не внове, горбиться до упаду. Следует только стараться без устали, дабы управиться за короткий сезон. Зато явишься к

домочадцам с коньком! Считаю, даровым, даже сказочным, заполученным словно бы по шучьему велению.

Эх-ма, и вправду неслыханное и невиданное доселе дело. Как чудо, сотворенное чудодействием самого Владыки!

А тем временем молва об открытии в Донецком кряже угольных копей, где работы навалом, невпроворот и каждого-всякого принимают на нее, да к тому же стали поговаривать об этом крае как о новой Америке, сущем тебе Клондайке, с прямо-таки чуть ли не золотой лихорадкой. Только золото тут — черное, на поверку. И повалил туда и стар, и млад в надежде по-быстрому разбогатеть.

Стронулись и сельчане, покинув на время избы и хаты, оставив присмотр за хозяйством на женские и детские руки.

Это было страшное, отчаянное паломничество в Донецкий край! В край, еще, казалось, совсем недавно прозываемый и Половецкой степью, и Диким Полем. Край, издавна манивший к себе незаселенными до поры, как бы ничейными землями, богатыми на выпасы дармовые, на рыбу в тамошних реках, на объявившуюся там соль, тоже считай даровую... И в то же время отпугивающий племенами воинствующих кочевников-иноверцев, для которых жизнь человеческая была ни в грош — враз могли ни за что ни про что отсечь тебе голову, лишь попадись им на пути или окажись ненароком в их улусных владениях.

В той же стороне, в ее диких прежде степях, на каких-то там речках Каялы и Калка, поговаривали редкие по деревням книгочеи, в старую старину даже самих князей Киевской Руси не раз одолевали и те же так называемые половцы, и татары, которые слыли бесстрашными и беспощадными завоевателями. Игорю-то Святославичу удалось бежать из полона целым-невредимым, а вот великому князю Мстиславу Романовичу не поталанило — замордовали треклятые басурманы...

Обо всем этом крестьяне лишь понаслышке знали, потому смутно представляли, как там и что было на самом деле, однако ж, хоть и прошлое, давно минувшее, дошедшее до них через книгочеев как отголосок той горестной поры, а все же отпугивало, страшило неизвестностью и остерегало до времени, как если бы там и посейчас носились кочевники и разные

харцызьяки-разбойники, нападавшие на чумаков, торговавших солью, и вообще на любого путника, коего можно было обобрать до нитки. Так что не так-то просто было вырваться в неведомый путь, оставлять домашних на произвол судьбы. Да и неведомо было, какая ждет тебя в чужой стороне доля-недоля.

И вот — стронулись! Из отдаленных губерний — Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, а также и из ближних — Белгородской, Харьковской и Екатеринославской. Русские, украинцы... Забивались в эту даль и белорусы из глухоманной Гомельщины... И полтавские, черниговские и сумские мужики... Тьма-тьмущая народу славянского!

Гонимые нуждой, а еще больше влекомые все пуще крепнущим упованием в скором будущем обзавестись собственной лошадкой, они шли и шли, кто в лаптях, кто в постолах, кто в опорках, в напыленных свитках, с походными котомками и торбами за плечами, в коих берегся какой-никакой припасец дорожной еды. А у кого вскоре уже нечего было есть, просили по хозяйским дворам во встречных селах и деревеньках.

Шли, не чуя, что многие из них так и останутся там на веки вечные — либо заваленные обрушившейся в копальне породой, либо взорванные до ошметья и обгоревшие до неузнаваемости, наподобие головешки какой, внезапно вспыхнувшим подземным болотным газом. И край, поманивший их несказанной удачей, суливший им заветного конька, который сродни был в их представлении всемогущему сказочному коньку Горбунку, обернется для них могилой. И останутся дома овдовевшая жена, полуосиротевшие детишки без кормильца. Хоть по миру иди с протянутой рукой и проси Христа ради. На то уж какая будет Господня воля.

Поначалу всем им, должно, показалась неприветливой земля Донецкого кряжа, открывшаяся взору за Святыми Горами, за лесами приречными и быстрым Северским Донцом.

Такой, какой виделась она попервоначалу и Куприну, тоже подхваченному доморощенной отечественной угольной лихо-

радкой. О чем он и засвидетельствовал впоследствии в своем очерке:

«Едешь час, едешь два, три часа, едешь целые сутки, и только и видишь, что эти огромные крутобокие холмы, на которых солнце выжгло всякие признаки растительности. Раза два в день мелькнет где-то далеко в стороне глубокая балка: на дне ее разбросаны жалкие кусты орешника, и тут же на скате прилепилась крошечная деревушка с ее пятью белыми домиками под соломенными крышами, с низкими заборами, сложенными из желтого плитняка. Но балки скрываются за неожиданным поворотом, и опять пред путником выжженные холмы да голубое, сияющее от зноя небо, да стрепеты, плавающие, не шевеля крыльями, в небе. А между тем эти холмы, наводящие тоску своим скудным однообразием, скрывают в недрах богатства, которых никогда не истощат бельгийские акционерные компании, полонившие и продолжающие полонять Донецкий бассейн».

Но он-то добирался сюда уже по выстроенной в 1869 году Курско-Харьковско-Азовской железной дороге, наискось перехлестнувшей с северо-запада на юго-восток весь Донецкий кряж, вплоть до Азовского моря. И смотрел на все из вагонного окошка. Так-то оно можно... А сельские мужики перли пехом, в кровь, до мозолей и ран избивая ноги на пыльных шляхах, петлявших с одного каменистого бугра на другой, между крутоярами, по сухим водоразделам, поросшим едкой до одури и удушающей полынью. Когда же шлях скатывался в глубокую балку, то окружной мир гористый вставал, казалось, до самого неба и выглядел каменным мешком.

Ночуя где-нибудь возле буерака с байрачным лесочком и криницей доброй воды на дне, сельские жители тянулись глазами к далеким звездам, пытались по ним и по Чумацкому небесному шляху из мерцающих, будто соль, мириад звездочек определить, как далеко они зашли от родной стороны. Но и звезды, и все звездное небо неотступно перемещалось вслед за ними, со своим Чумацким шляхом — Млечным путем, со своим Возом Чумацким, или Стожарами, в которых вроде и впрямь ходит на приколе лошадь.

Хотя от этого оно и выглядело как бы родным, сияющим над отчим краем.

Со временем новоявленным паломникам в новоявленную Америку случалось иногда поцепиться на проходящий мимо поезд и подъехать какой-нибудь перегон. Но рисковать не всякий отваживался. Земля, она надежнее, топай себе без проездного билета, без строгого оклика кондуктора. Только пыль курится за тобой по бескрайнему шляху!

А как прибывались на какую-либо копь или рудник, при-страивались, вскоре наставал черед и под землю спускаться, что называется в самую преисподнюю, ибо работать доводилось в крошечной тьме, едва ли не на ощупь, при слабом, неверном свете свечи, в пылище и грязище — там тоже текли реки, только подземные, и не под открытым небом, с жаворонком и ясным солнышком в нем, а под каменным, угрюмо нависающим над тобой огромными глыбами пород, либо известняка, либо сланца, то и дела потрескивающим, готовым вот-вот обрушиться и в лепешку раздавить тебя. А ко всему, поговаривали пожилые углекопы, еще и какой-то седобородый властелин всего этого угольного подземного царства Шубин незримой тенью бродит за тобой в подземелье, чтоб вдруг чего, если зазеваешься, проворонишь что-либо или нерадивым окажешься, а то и не по его крутому «ндраву» содеешь чего-нибудь такого несусветного, — чтоб тут же тебя и наказать смертельно, проучить поделом аль напугать до смерти, так что и отца-матерь забудешь. Знай не зевай, не воронь! И шутки шутить с ним не смей — ни он, ни шахта этого терпеть не могут! Себе же на беду и повернется все изнанкой.

Однако желание обзавестись собственной лошадкой превозмогали и страх, и риск, и смертельную опасность, от кого и от чего они не исходили бы.

Все было подчинено этому взлелеянному в мечтах шахтерскому коню!

И сон вполглаза, дабы не проспять побудки, свершаемой спозаранок шахтным свирепым гудком, да не опоздать на смену, и еда впроголодь, покуда силенки не надорвались, не убыли начисто, и бережение каждой вольной минуты для

отдыха и пополнения сил и взбодрение измочаленного тела: шахта — барак или землянка, и опять, в обратном направлении: землянка или барак — шахта. Не человек, а снующий туда-сюда, сюда-туда без усталости челнок на прялке!

Благо и силенок, и здоровьишка было еще из дому поднакоплено вдосталь накануне дороги. И не где-нибудь, а в родной сызмалу стороне, где и леса густющие, вперемежку дуб с елью и сосной, которые дышат на тебя здоровым духом, и просторные пажити, пусть и не твои, помещичьи, а все ж радующие глаз созревающим хлебом и нежащие ухо перепелиными зазывами, да и просто воздух под распахнутым во всю ширь небом — он до того свежий, легкоструйный и духовито-духмянистый от цветущего разнотравья, что аж сизеет, радужно переливаясь под лучами ласкового солнца. Сердце обливалось тоской при воспоминании обо всем этом! А там ведь остались и близкие твои... О-о-о! Выть хотелось по временам. Да коль уж впрягся в эту лямку — тяни до последнего! Небошь, не развяжется пупок — повитуха на совесть, говорят крестные родители, старалась. И хребет не треснет — уж его и так, и эдак гнул, крутил-вертел и опять перегибал вкруговую, с самого малу работая по найму у помещика, в его экономии. Укрепил его так, что до гробовой доски хватит. Ежли повезет, знамо дело, и бес не попутает...

У них и мерка добываемого угля называлась «конем» — полоска около двух метров в длину пласта угольного, вскрытого, или нарезанного поперек, которую надлежало выдолбить из зажавших ее с двух сторон, снизу и сверху, пород, от одного стояка крепежного леса из сосны душистой либо дуба — до другого, в одну крепь, словом. И смена от гудка до гудка называлась соответственно — «упряжкой».

И это подстегивало сердце! Ага, срубил, припустим, три-четыре «коня» за одну «упряжку» или на сколько там хватит сноровки и хваткости, ну и силенок, само собой, уже на какую-то долю конского хвоста или конской гривы заработал. И в копилочку, в копилку! Глядишь, и на половину намеченного вскорости наберется. А там... Тсе! Не то мысли твои потаенные ненароком кто подслушает да сворует накоплен-

ное. Тогда — домой хоть не возвращайся: крышка гробовая в натуре! Тех же, кто «взнуздывал-обратал», то бишь вырабатывал не больше одного «коня» за смену-«упряжку», обзывали «конешниками». Срам да и только! Лодырей и волынщиков на копях не почитали. Хоть загнись!

Вышесказанное касалось в первую очередь тех, кто непосредственно, собственными руками долбил уголь. Или, скажем, кайловал.

Этих-то, везунчиков, называли сперва углекопами, а спустя какое-то время — забойщиками.

О том, как и где они работали, взнуздывая «коня» за «конем», или полоску за полоской выковыривая уголь, и отбивая одну за другой, от гудка до гудка, посменные «упряжки», вспоминал ихний и наш современник, который ровно бы стянул своей памятью XIX и XX века, на стыке которых выпало ему жить, — писатель Николай Рубакин:

«Забой, извольте видеть, это то место, где выработка угля идет, а попросту сказать, по крайней мере, в наших местах — щель в горной породе этак немного больше пол-аршина в вышину, потому что здесь толщина угля такова: его выламывают, а щель остается, в нее приходится вползать. Вот в такой щели и лежат забойщики, кто на спине, кто на брюхе, с кайлами в руках, и бьют ими по породе: уголь выламывается, породу подпирают деревянными стойками, т. е. поленьями. Между ними и приходится ползти саночнику к забойщику. К поясу у саночника приделана этак цепь и продета между ног, к цепи приделаны санки, попросту говоря, ящик. Саночник сыплет в него уголь, он же ползком на себе сани волочит из забоя. Ноша тяжелая! Работа опасная».

Забойщикам платили куда больше, чем саночникам, потому-то они и считались счастливыми — скорее на коня зарабатывают!

Хотя, в общем-то, и у одних, и у других плата составляла жалкие гроши. Иным горемыкам и на пропой не хватало от получки до получки.

На этот счет углекопы, народ отчаянно-веселый, пели сложенную ими самими песню с заключительными словами:

*Я с конторой рассчитался,
Ничего мне не пришлось,
Я с конторы большой вышел,
Кулаком слезу утер.*

Тем же пришлым селянам, коим не досталась работа забойщика, доводилось впрягаться в санки — становиться саночником, или тягальщиком. Для надежного упора они подвязывали бечевками либо сыромятными ремешками к подошвам пеньковых лаптей или бахилок всамделешние, взаправдашние подковы, называемые, правда, бузлуками, как у рыбаков для хода по льду. И тогда сами как бы превращались в тягловую лошадь.

Вряд ли кому из них, почти поголовно безграмотным, довелось прочесть о своем труде напечатанное в тогдешнее время, в конце XIX века, писателем Алексеем Свирским и взглянуть на самих себя как бы со стороны — его глазами. Прочти это, они содрогнулись бы от неожиданно открывшегося ужаса собственного бытия, в коем они очутились, придя на заработки в этот хваленый-перехваленый угольный край!

А писалось там следующее:

«Вот оно где, самое подземное-то царство! Вот она где, эта вольная каторга!.. Вот они, эти добыватели антрацита!

На недалеком от меня расстоянии заблестела звездочка, которая, колеблясь и мерцая, стала приближаться ко мне. Шум, напоминавший треск падающих деревьев, все больше и больше усиливался. Но вот красноватый огонек поравнялся с нами, и я увидел необыкновенное зрелище: из самой глубины шахты вынырнуло какое-то четвероногое животное, которое, будучи приковано железной цепью к плоскому ящику, нагруженному антрацитом, медленно и с большим трудом продвигалось вперед.

Высокая, какой-то странной формы, спина, низко опущенная голова не давали возможности узнать, к какому виду животных относится этот индивид.

Больше всего меня поразили передние ноги диковинного «зверя»: будучи гораздо короче задних, они своими плоскими и круглыми ступенями напоминали передние лапы медведя. Меня это необычайное явление до того заинтересовало, что

я готов был уже обратиться к моему провожатому за разъяснением, как вдруг животное, поравнявшись с нами, остановилось и подняло голову. Предо мною на четвереньках стоял не зверь, а человек. Его серые неподвижные глаза были в упор устремлены на меня. Железная цепь, ударившись при остановке о каменный грунт, гулко лязгнула, а затем настала мертвая тишина».

И далее:

«Я подошел к первому тягальщику. Ему нельзя было дать более пятнадцати лет. Небольшого роста, с мелкими чертами лица, впалой грудью и сутуловатой худенькой фигуркой, мальчик этот был до невозможности жалок. Одет он был в какие-то лохмотья, которые очень плохо прикрывали его тело. На руках у него были натянуты большие кожаные рукавицы, привязанные к локтям бечевками для того, должно быть, чтобы они не спадали, а ноги были обуты в толстые кожаные опорки. Широкий пояс обхватывал тонкий стан тягальщика. К поясу, как у настоящих ссыльных каторжников, была прикреплена массивная цепь, которая, проходя между ног, посредством крючка прикреплялась к ящику. При этом нужно еще прибавить, что мальчик, как ломовая лошадь, был подкован.

Подковы тягальщика состоят из острых железных шипов, заклепанных к жестяной пластинке. Подковываются одни лишь ноги, руки же остаются в кожаных рукавицах. Для того, чтобы потянуть нагруженный антрацитом ящик, тягальщик напрягает силы не только рук и ног, но и всего туловища. Таким образом, ни один член его не остается в бездействии».

А впрочем, кому как не самим углекопам доподлинно было все известно про свое житье-бытье. Бывшие батраки, они, попав в тогдашние шахты-«ямы», шахты-«норы», испытав на себе все тяготы подземной работы, хлебнув горя-беды по самое горло, — они ведь и пели про то же:

*Меня гонят, как скотину,
И трет цепка по ногам.
Я содрал себе всю спину,
Кровь струится по бокам.*

Да и речь их солоноватая, приправленная ругливым словом, пересыпалась пословицами, которые образнее всего выказывали их думы потаенные: «В шахте намаемся, в казарме наголодаемся», «Санки с углем потягаешь — шахту-каторгу узнаешь», «Шахтер рубит со свечами, а смерть носит за плечами»...

Что ж тут добавить? Эти осколки их душ впиваются в тебя, не дают забытья в повседневной суете, возвращают в прошлое твоего отчего края.

Об одной такой замаянной душе поведал старейший краевед из Дружковки Николай Янко в своей книге «Легенды Донеччины». Привожу эту незатейливую историю в собственном переводе на русский язык.

Свет еле пробивался из мышинной норы — низкого темного забоя. Там, сгорбившись в три погибели, почти лежа, долбил шахтер уголь. Черная тень от него прыгала по шербатым закоулкам. Мелкая пыль роилась, будто пчелиный рой, вокруг его лампы-коногонки. И было душно до одури.

Вот рядом с его тенью прошмыгнула другая, а следом за ней из длинной норы выполз на четвереньках черный, как уголь, саночник. Это был Матвей, молодой парень, забившийся в угольный край с берегов Десны. Но поди признай его! Одни лишь воспаленные до красноты глаза вспыхивали белками на его темном, замурзанном лице. Его тело у пояса обвивала шлея и была переброшена через плечо, а второй конец был приторочен накрепко к деревянному ящику-санкам, доверху нагруженному добытым в забое углем. Тяжело переводя дыхание, то и дело погружаясь растопыренными ладонями в угольную грязь, все время возникающую из-за без конца сочащихся грунтовых вод, сколько их ни откачивай, мозоля колени с наколенниками о мелкие кусочки угля, разбросанные по подошве забоя, саночник медленно полз на четвереньках вперед, к штреку.

Тянет лямку Матвей, а мыслями далеко-далеко отсюда — на берегу родной Десны, на ее зеленых лугах, в окрестных задумчих лесах. Там прошло его детство, там он нашел свою суженую...

Высыпал Матвей уголь, пополз назад в забой, снова набрал полные сани и снова тянет их наверх. А в мыслях опять в отчей стороне, дома.

Там, на берегу Десны ждет-выглядывает его невеста Устинка, с которой они уже условились-договорились пожениться. Выбраться бы только из нужды. И Матвей подался на шахты в Донецкий край, чтоб подзаработать деньжонок на свадьбу, а повезет — так и на коня. Хорошо бы, конечно, и земельки прикупить для разведения собственного с Устинкой хозяйства... Да заработки, как оказалось, никудышные.

Он все пытался собрать их по копейке, те гроши, даже в еде себе отказывал, перебиваясь с хлеба на воду. Ко всему еще и простуду подхватил в этой сырой дыре, теперь ломит спину, ноет в груди, дышать — не отдышишься и не продохнешь. Стучит в голове, стучит в висках от напряжения, а пахи мехами вздуваются. От такой загнанной дышки и лошади падают замертво, не то что люди. А перед глазами — мутное марево...

...И вот он якобы снова в лесу, на берегу Десны. Дышит не насытится, свежий, с просинью небесной воздух так и подымает его всего, вроде бы в нем и весу никакого нет. А из-за берез, от которых так и рябит в глазах, выплывает неспешной лебяжьей походкой, будто из марева, ему навстречу Устинка. За время, пока они не виделись всю долгую зиму, она и вовсе похорошела, еще краше стала, нежели была раньше. Матвей рванулся к ней изо всех сил и чувств, да будто прикипел на месте — и на вершок не сдвинулся. И так, и сяк, а ровно прирос к земле. В отчаянье он пытается что-то крикнуть ей, позвать на помощь. Но в этот момент она словно растаяла в том синем небесном мареве.

И тут над Матвеем наклонилось чье-то бородатое лицо, какого-то незнакомого дедугана. Старец поразглядывал его, потряс неодобрительно бородой.

«Да это же сам Шубин! — догадался Матвей. — Поговаривают шахтеры, что кого он встретит, тому и конец — не жить на белом свете».

Матвей обречено глянул ему в лицо и закрыл глаза. На веки.

Так и не дождалась Устинка ни коня обещанного, ни земельки, ни свадьбы с Матвеем, ни его самого. Помер,

передавали односельчане, подавшиеся вместе с ним на заработки, где-то глубоко под землей и могила неизвестно где.

В одном только сне, пожалуй, и отмякали сезонные углекопы, которые забирались в такую даль, а затем и вглубь земли, чтобы заработать, скопить по копейке на собственную лошадь. Потому как, измочаленные шахтной работой, спали мертвецким сном. Не добудишься! И сновидения являлись к ним наверняка редко. А коль уж виделось что, так первым делом — жена, детишки-ребятишки. И непременно — собственный конь. И пегий — пегарик, как его ласково называли шахтеры промеж собой, и вороной, даже сплошь черный, как уголь, а бывало — и в белых яблоках. То-то будет радости у домашних! Да что дом — все село сбежится поглядеть-поглазеть. Лишь бы никто не сглазил — есть, есть у них с дурным глазом завидушие, загребушие, домоседы-домовластники, и от них нужно будет держаться подальше.

А все ж было бы здорово покрасоваться, погарцевать на нем перед всеми дворами, еще и подковой о камень искру молниеносную высечь.

Да беда в том, что для большинства крестьян заветная мечта обзавестись собственным конем так и осталась во снах и видениях.

Спустя какой-нибудь век об этой сокровенной, выстраданной мечте, но все ж осуществленной — хотя и по-своему, — об этом шахтерском коне напишут сказку донбасские поэты Владимир Демидов и Евгений Сердинов.

Случись такое невероятие, чтобы на том свете когдашним ходокам «за конем» в угольный край стало известно ее содержание, они бы озадаченно крякнули и примолвили на своем небесном уже языке: «Когда ж это все было? Уж быльем давным-давно поросло... А они — ишь! — как в воду глядели! Вроде рядышком обретались. Ну и дела-а-а, Господи благослови!»

И не провиня талантливых авторов, что сказка была издана всего один раз. Сорок с небольшим лишком лет тому назад! Стала библиографической редкостью. Скорее, мы, покуда живущие, перед ними, мертвыми, в долгу. И потому, думается, справедливо будет привести ее целиком, не выдергивая отдельные цитаты. Она того стоит.

Третьи сутки напролет
За окном метель метет.
Не погода, а беда.
Оборвало провода.
И в квартире гаснет свет.
Керосина в доме нет.
Синь вечерняя в окне,
Только блики по стене
И по окнам разлиты
От пылающей плиты.
И внучата-непоседы
Потесней прижались к деду.
— Расскажи нам, деда, сказку
Про конька про Горбунка!..
Дед всегда к детишкам ласков,
Не одну он знает сказку —
Много их у старика.
Бросил угля он в плиту:
— Расскажу вам, да не ту.
Есть другая у меня:
Про шахтерского коня.

Слышал я: в стране одной
Жил крестьянин молодой,
Был он круглый сирота.
О Степане неспроста
Говорили, что умен,
Только счастьем обделен.
Все богатство — две руки...
И пошел он в батраки.
Батраку житье какое?
Ни веселья, ни покоя:
Лошадей хозяйских холить
Да ходить за плугом в поле,
Чтоб рубашка — в пятнах соли,
Чтоб в глазах темно от боли...
А за труд — одни мозоли.
Корку хлеба лишь давали,

Да ночлег на сеновале...
Тут нежданно-нежданно
Сон ему приснился странный.
Видит он: сама жар-птица
На плечо ему садится,
Солнце светит под крылом.
И Степану страшно стало.
Птица та ему сказала
Человечьим языком:
— Крепок сон твой молодецкий.
Только счастья не проси.
Далеко в земле донецкой
Ждет оно тебя в степи.
Под землю там глубоко
По вельню злого рока
За двенадцатью дверями,
Под двенадцатью замками
Богатырский конь прикован
На двенадцати цепях.
Мир не знал такого дива:
Грудь черна, но блещет грива
И подковы на ногах.
Кто коня того достанет —
Навсегда богатым станет.
Так ступай в дорогу смело! —
Я наказ тебе даю.
Ты привык к любому делу,
Попытай судьбу свою...

И когда хозяин рано
Разбудил пинком Степана,
Наш разгневанный батрак
Мироеду молвил так:
— Обижать себя не дам,
Не слуга я большие вам...
А хозяин, хлопнул дверью:
Небольшая, мол, потеря.
Призадумался бедняк,

Путь далекий не пустяк:
«Впрочем, что мне, сироте?
Жил в обиде, в маяте,
А коли коня добуду,
Помогу честному люду,
Будет свой обед и ужин...
А бедняк, кому я нужен?..»
Приготовил он котомку,
Завязал на ней тесемку
И потертые онучи
На ногах свернул покруче,
Потоптался у порога
И отправился в дорогу.

Путь его заветный труден...
Но в пути встречались люди —
Кто делился хлебом-солью,
Кто своей давнишней болью,
Кто пятак бросал в суму,
Кто завидовал ему.
Край родной — далеко где-то.
Уходил — стояло лето,
А когда дошел до цели,
То метели засвистели:
— Здесь придет тебе конец!
Но не струсил молодец.
Вход он видит в подземелье.
Не сулит оно веселья,
И пугает черный мрак:
— Не входи сюда, батрак!
А бедняк прищурил очи
И шагнул навстречу ночи:
— До свиданья, светлый день!..
Сверху капала вода.
Осмотрелся... И тогда
Перед ним возникла тень,
Подняла печальный взгляд:
— Возвращайся ты назад.

Вороной тот заколдован,
Он алмазами подкован.
За него бороться зря.
А возьмешь — не будет в плуге:
Отберут царевы слуги
Для бездельника-царя...
— Нет, уж если покорю,
Не отдам его царю.
За совет спасибо все же.
— Ну, да Бог тебе поможет!
Коль с тобою сладу нет,
Расскажу один секрет,
Берегися злого духа,
Да держи вострее ухо:
Стережет коня он чутко,
Спит всего одну минутку.
Вот тогда он вял и слаб —
Вырви меч из черных лап
И мечом стальные звенья
Разруби в одно мгновенье,
Да смотри, чтоб до конца,
До последнего кольца.
Ну а если не разрубишь,
Не его — себя погубишь!

Все тесней, все ниже своды,
Плечи сдавлены породой,
От царапин ноет тело.
Но Степан ползет вперед,
Ведь ему святое дело
Сил могучих придает.
Теснота дышать мешает,
Весь до ниточки промок...
Вот он видит: дверь большая,
На двери висит замок.
Но Степанова рука
Посильней того замка!
Надавил плечом на дверь...

*А куда идти теперь?
То ль налево, то ль направо?
Где погибель ждет, где слава?
Здесь на каменном столбе
Не узнаешь о судьбе.
Где вы, злые духи, где вы?
Повернул батрак налево,
И сорвал он за пять дней
Все замки со всех дверей.*

*За изгибом за крутым
Ест глаза колючий дым.
Это дышит сонный дух,
Отравляя все вокруг.
У колен широкий меч,
Рукоятка возле плеч,
А за ним — узор колец.
Понял тут наш молодец,
Что как раз пора приспела
Меч отнять у духа. Смело
Вырвал, грозен и упрям,
И ударил по цепям.
— Ты погибнешь, кто б ты ни был! —
Сразу дух вскочил, рыча.
Только каменные глыбы
Отлетели от меча.
Зашатался страшный дух,
Одолол его испуг,
Стал он таять, как туман.
— Пощади меня, Степан!
— Просишь, чтобы пощадил?
Сколько ты людей сгубил?!
Коротка с тобою речь.
Остальное скажет меч!
Злая сила отступила.
Правду птица говорила:
В подземелье здесь глубоко
По велению злого рока*

Богатырский конь прикован
На двенадцати цепях.
Век не знать такого дива:
Грудь черна, но блещет грива,
И алмазы на ногах.
Крепко спутанный, в неволе
Он забыл про чисто поле.
Вдруг коснулась рука
Вороного рысака —
Вздрыгнул конь, заржал сердито,
И алмазное копыто
Вдруг сверкнуло, как стекло,
Руку парню обожгло.
— Не лягайся, окаянный,
Ты мне палец безымянный
И мизинец отхватил.
Кто тебя освободил?..
Вся ладонь заныла тупо,
Двинул наш Степан по крупу
Одичалого коня:
— Побалуй-ка у меня!
Затянул он удила
И промолвил:
— Чья взяла?

Вот и все... Старик вздохнул.
Недовольно внук взглянул:
— А куда девался конь?
— Вот он. Видите огонь?
Согревает он в морозы
И толкает паровозы,
Дал он силу пароходу,
Служит верно он народу.
В каждой искорке огня —
Сердце этого коня!
Призадумались дети:
Сколько есть чудес на свете!
Уголек в печи пылал...

*Посмотрели друг на друга.
— Ты нам, дедушка, про уголь
Сказку эту рассказал?
Тот в ответ: — Смекайте сами.
А теперь ступайте к маме...
Так окончилась беседа.
Вдруг в квартире вспыхнул свет.
Смотрят дети: ведь у деда
На руке двух пальцев нет!*

Великолепная, по-моему, сказка! В ней добротный русский язык, какой не так часто, к сожалению, доводится слышать в Донбассе. А еще она обрамлена и с начала, и с конца такими реалиями, что воспринимаешь ее уже и как шахтерский сказ, близкий к правдоподобию. В особенности же из-за этой покалеченной в шахте руки старого углекопа... Вот и слились правда и вымысел. Как бывает и в жизни. До нерасторжимости.

А со временем, отнюдь уже не в мечтах безлошадных крестьян и не в сказках, объявились в шахте настоящие кони. Они сменили тягальщиков-саночников, облегчили доставку угля к стволу для выдачи на-гора. И заодно привнесли в подземное бытование добытчиков угля нечто по-домашнему теплое, свойственное их жизни на поверхности земли. Хотя, с другой стороны, и некую грусть, как представилось это Александру Куприну, побывавшему в то время на донецких шахтах.

В очерке «На главной шахте» он высказал свое тогдашнее впечатление от увиденного и свое тогдашнее понимание происходящего в угольных выработках:

«Вдруг спереди послышался тяжелый топот лошадиных копыт и грохот колес, катящихся по рельсам. Мы прижались к стенке, и мимо нас рысью пробежала лошадь, кажется — белая. Она влекла за собою две вагонетки, наполненные через верх углем. На первой из вагонеток сидел, небрежно свесив вниз ноги и болтая ими, рабочий. По этому поводу штейгер рассказал мне несколько интересных вещей. Эти лошади, эти благородные животные, созданные для приволья степей, осуждены на многолетнюю жизнь в шахте. Раз спущенная вниз на

платформе, лошадь остается в шахте до самой смерти. От постоянной работы во мраке она через год, много полтора, совершенно слепнет и, по-видимому, мирится со своим горестным положением. Удивительней всего, что она какими-то своими лошадиными, непонятными для человека, путями научается ориентироваться во времени. Когда кончается ее упряжка, то есть шесть часов бесперебойной работы, то уже ни за что не удастся удержать лошадь в ее лямке. Она протестует против лишней минуты и — едва распряженная — галопом мчится в свою конюшню».

Со спуском лошадей в шахту возникла необходимость и новых профессий — коногона и тормозного.

Знаменитый донбассовец Алексей Стаханов, приехавший в 1927 году из деревни Луговой Ливенского уезда Орловской губернии на шахту «Центральная-Ирмино» близ Кадиевки и работавший попервоначалу, до того, как попасть в забой, тормозным и коногоном, любопытно поведал об этом в книге «Рассказ о моей жизни». И, конечно же, для нас, не заставших того времени, когда такие профессии были в ходу, и узнавших о них лишь из шахтерских песен старинного толка, его живое свидетельство бесценно дорого. Потому и обратимся к нему, чтобы разузнать обо всем прямо из первых уст.

«Тормозной, — рассказывает Стаханов, — работает с коногоном на пару. Его прямая обязанность: при быстром ходе партии вагонеток... с уклона тормозить их... Для торможения употребляются обыкновенные деревянные палки, желательнее дубовые, или кусок железной трубы... Тормозить нужно для того, чтобы быстро идущая партия не била по ногам лошадь, и... когда партия подходит к стволу, чтобы она не столкнулась со стоящими впереди вагонетками. Если тормозной не уследит, целые партии вагонеток могут попасть в ствол (точнее сказать, в зумпф — углубление под стволом, ниже уровня площадки рудничного двора, как уточняет, приводя эти слова для примера в своей работе, известный писатель и собиратель шахтерского фольклора Алексей Ионов). Таким образом, работа тормозного хотя и простая, но весьма ответственная, и приходится глядеть в оба.

...Коногоны на шахте считались самыми боевыми людьми. А это были попросту задиры. Коногоны ходили с длинными кнутами, с большими чубами и носили фуражки набекрень. Как засвистит, бывало, коногон на коренном штреке, так некоторым молодым шахтерам даже страшновато становилось. Среди коногонов были хулиганистые парни. Напьется пьяный, шумит, к девушкам пристаёт. Девчата замуж боялись выходить. Между тем у коногонов все это ухарство было напускное. Это были в большинстве обыкновенные, хорошие ребята.

Много песен про жизнь и работу коногонскую распевалось на шахтах. Распевал их и я. Только песни были не те, что теперь. Пелись они все на жалобные мотивы, да и по содержанию это были песни о тяжелом труде, о смерти, о горькой доле. Самая известная дореволюционная песня коногонов — это «Вот мчится партия с уклона»; слов всех точно не помню, но поется так:

*Вот мчится партия с уклона
По продольной коренной,
А молодому коногону
Кричит с вагона тормозной:
«Ой, тише, тише, ради Бога,
Спереди большой уклон,
Здесь неисправная дорога,
С толчка забурится вагон».
А коногон его не слушал,
И все быстрее лошадку гнал.
И вдруг вагончик забурился,
Коногон под партию попал...»*

Коногон и конь так привязывались друг к другу, что понимали один другого с полуслова, с храпа, жеста, мотания головы, одного топа ноги или копыта. Об их дружбе не только пели, а и рассказывали были и небыли, она обрастала легендами и сказками.

Один из таких шахтерских сказов записал от макеевского проходчика донецкий ученый-фольклорист, последователь незабвенного Алексея Васильевича Ионова, Петр Тимофеев.

Было это, говорят, давным-давно.

И никто теперь уж в точности не скажет, на какой шахте произошел этот случай с коногоном и его конем, верным другом по тяжелому шахтерскому труду. Но все знали, что хлеб насущный они зарабатывали честно. И такой верной дружбы никто не помнит.

Коногон когда-то был молодым и сильным, молодым и резвым был и конь. Каждый день они трудились помногу часов. Этот труд очень сблизил их, сроднил молодого коногона и молодого резвого коня. А к концу работы оба так уставали, что трудно было понять, кто кого ведет и поддерживает. И оба, особенно в эти минуты, были благодарны друг другу. И коногон все это понимал и мог выразить признательность своему верному другу теплыми словами, отдать последнюю хлебную корочку. И конь тоже все понимал, но свою благодарность выражал лишь тихим ржанием. И эта трудовая дружба длилась не год, не два, а много-много лет.

Старился и высыхал коногон, старился и высыхал конь. И старый коногон понимал, что придет время и его четвероногого друга выведут из шахты. И тогда дни его будут сочтены.

И вот пришло время, когда коногону сказали, что коня надо убирать. Старый коногон упорно доказывал, что они вдвоем еще никогда и никого не подводили. Но решение было принято, и коногон в последний раз пошел со своим верным четвероногим другом на работу. И больше их никто не видел.

Куда девались старый коногон и его конь, никто не знает до сих пор. Очевидно, они не смогли предать друг друга и ушли в заброшенные выработки. И людям иногда казалось, что из глубины шахты слышится ржание коня.

Преданную дружбу коногона и его коня до сих пор вспоминают люди. И сказ об этом передается от старых к молодым. И каждый шахтер знает, что самое ценное в большом шахтерском деле — это верная дружба.

Бог ведает, может, молодой коногон был сыном одного из тех крестьян-безлошадников, который забился из далекой стороны в наш край в надежде заработать на собственного коня, и это его потаенные чувствования, взлелеянные мечтой

о коньке-пегарике, передались по наследству. А иначе откуда бы такая привязанность взялась у него изначально, с безусой поры? Ну, что потом их сдружило, коногона и коня, само собой понятно, а вот попервах...

Нет, что ни говори, а все же сказ — это и вправду устный народный рассказ о действительных событиях прошлого или современности. С личной добавкой-выдумкой повествователя, соответственной его разумению и догадке-воображению.

Настал час, и коней в шахте начали заменять электровозами.

Слов нет — прогресс!

Но каким трогательно-печальным, каким щемящим для сердца оказалось прощание коногонов со своими Стрепетами, Маркизами, Барышнями, Чайками, Купчиками, Шалунами, Воронками, Дружками... Ведь в них, в их судьбе отпечаталась в большой мере и их судьба, их житье-бытье под землей.

В одной из лучших глав незавершенного романа «Донбасс», которая в первой публикации так и была озаглавлена — «Прощание», Борис Горбатов нарисовал потрясающую картину этого расставания, кому радостного, а кому и почти трагического, как, скажем, коногонам.

Не удержусь и приведу хотя бы некоторые выдержки:

«На шахте «Крутая Мария» выдавали лошадей на-гора. Лошадей было семь, все с участка «Дальний Запад», — последние кони шахты... Сейчас все они в последний раз стояли в подземной конюшне, а коногоны собирали их в путь: чистили, убирали, даже прихорашивали, словно снаряжали их не для конного двора, а для свадебного поезда...

Рядом негромко и согласно пели ребята. Пели коногонскую:

Гудки тревожно прогуде-е-ели.

Шахтеры с лампочками идут...

А молодо-о-ого коного-о-она

С разбитой головой несут...

...В подземной конюшне, где раньше стояло до пятидесяти лошадей, сейчас была пустынно и прохладно. Конюшня доживала свой последний час. От нее отлетел уже теплый,

жилой, домовитый дух. Вот уведут коней, выметут сор и гнилую солому, сломают переборки и денники, переделают все — и будет уже не конюшня, а депо электровозов. Только запах останется, запах старой рудничной конюшни: прелого сена, конского пота, навоза, крысиного помета и ременной кожи. Запахи живут неистребимо долго.

Прощай, проходка коренна-а-ая!..

Прощайте, Запад и Восток!

И ты, Маруся-лампова-а-ая,

И ты, буланый мой конек!.. —

пели ребята.

Песня была старинная, жалостливая, со слезой...

Ах, Ваня, Ваня, бедный Ва-а-аня,

Зачем лошадку шибко гнал?

Аль ты штегера боя-а-а-лся,

Али в контору задолжал? —

пели ребята... Может быть, хлопцы и не зря завели сегодня, на прощанье, эту старинную песню?

Нет, не обычай требовал от коногона ухарства и молодечества, а копейка... Копейка-то и родила обычай. Ради ока-
янной лишней копейки гнали, что было мочи, лошадей. Нещадно били их батогами и даже на уклоне не останавливались, а, рискуя собственной шкурой, на ходу вставляли ручной тормоз в колеса (для того и сидели на переднем вагончике) и при этом часто калечились сами и калечили лошадей. В те поры штреки были узкие, низкие, «зажатые», как говорят шахтеры; крепление было худое; пути — неисправные, нечищенные, мокрые; разминовок мало; в колесах вечно хлюпала жидкая грязь, и каждый день что-нибудь да случалось на откатке. То вдруг на полном ходу забуривался вагончик, сходил с рельсов, корежа партию; то срывался «орел», все давя на своем пути; то приключалась «свадьба» на уклоне; вагонетки налетали одна на другую, все путалось, ломалось, вздыбливалось; ругались коногоны, проклиная и шахту, и Бога, и весь белый свет; на рельсах, в судорогах, гремя цепями и обарками, бились искалеченные кони; предсмертно хрипели раздавленные люди — «свадьба» часто кончалась похоронами.

Хоронили тут же, неподалеку от шахты, в Сухой балке. И отпевать не нужно: коногона уже при жизни отпели...

А теперь уходят кони из шахты. Наконец, уходят. В последний раз сегодня простучат лошадиные копыта под сводами квершлага, в последний раз донесется из тьмы пронзительный свист и — стихнет. Навсегда. Идет тысяча девятьсот сороковой год. И в бывшей конюшне на «Крутой Марии» будет депо электровозов...»

Прощаясь, коногоны, каждый по-своему трогательно, вспоминают все, что приключалось с их лошадьми под землей: «Прокоп прозвал его Земляком: чубарый был орловец.

Земляк погиб той же осенью, на уклоне. Его задавила разорвавшаяся «партия» вагонов. Страшно умирал этот добрый, работающий коняга, умирал, как шахтер, не крича и не жалуясь, и только белая слеза дрожала в его скорбных, почти человеческих глазах...»

«Он и вправду был бобыль, может быть, самый горький, самый сирий на всей Брянщине. У него никогда не было ни кола, ни двора, ни семьи, ни хаты. Всю молодость прожил он в людях, в солдатах, в батраках, всегда подле чужих коней — хозяйских, казенных или обозных. Ничего так не желал Бобыль, как иметь своего коня. Будет конь, мечтал он, будет и хата, и хозяйство, и жена-молодуха, и дети. За безлошадного кто же пойдет? Чтоб добыть себе коня, он и поехал на шахты: земляк, бывалый человек, присоветовал.

Но на шахте Бобыля определили не в забой, а в конюшню, конюхом: тут много не заработаешь... Весной он внезапно, никому слова не сказав, ушел с «Крутой Марии», а осенью, сконфуженный и еще более отошавший, вернулся. Мечта о собственном коне не покидала его».

«— Ну, а ты, Никифор, как с собой порешил? — спросил начальник, подходя к Бубнову.

— Да все то же... — нехотя отозвался тот.

— Значит, на конный двор?

— Куда же еще... Да и Чайка без меня скучать будет.

— Ну, недолго-то ей скучать осталось!

— Я и похороню, — тихо сказал коногон.

А Чайка по-прежнему стояла, понуриив голову, равнодуш-

ная и к лентам, и к бантам, и к своей судьбе, и что-то бесконечно унылое и горькое было в этой заморенной работой кляче, в том, как она стояла, покорно расставив ноги, готовая ко всему, в том, как неподвижно висел ее жалкий, обтрепанный, обкусанный рудничными крысами хвост. Ее подслеповатые глаза, много лет не видевшие солнца, слезились... Только минуту спустя подняла вверх свою печальную умную морду, тяжело вздохнула или зевнула и опять безучастно понурилась».

Что ни конь — то и человеческая судьба! И оттого вдвойне пробирает тебя жгучее сочувствие — к ним обоим в равной мере.

И напоследок — как горестный вздох уже самого писателя: «Уходят кони из шахты... Навсегда уходят. И что-то неосязаемое, невидимое, но живое, сущее и страшное уходит вместе с ними. Навсегда. На веки веков».

Так и подмывает мысленно сказать: «Аминь».

Но — нет! Живут шахтерские кони и в легендах, и в сказах, былях и песнях, в прозе проникновенной и в поэзии, исполненной человеколюбием и благодарной памятью.

Трогательную и вместе с тем познавательную сказку написал Леонид Жариков о коне Тарасе и его железном брате. В ней как бы продолжается, углубляясь и развиваясь, совокупная история о дружбе коногонов со своими терпеливыми, работающими, верными им конягами и наполовину горестная, наполовину радостная необходимость их замены техникой. То, чем жил, чем дышал каждый коногон на любой шахте в Донбассе и что вместе с его чувствами, думами, разными эпизодами из подземной жизни его самого и подопечного коня перекочевало затем в легенды, предания, притчи, песни и сказки.

Знаешь ли ты, друг мой, как является уголь на свет божий? Заковала мать-природа черный уголек семью цепями, запрятала за семью дверями. А двери неприступные, каменные — никаким ключом не откроешь. Первый горизонт — первая дверь. Второй горизонт — вторая дверь. Еще ниже — третий горизонт, третья дверь. И так все глубже. В новых шахтах уголек спрятан даже за десятью дверями — больше километра

в недрах земли. Вот и подумай, как взять тот уголек, как выдать его на-гора.

В стародавние годы уголь от забоя к стволу доставляли лошадьми. И тут я скажу так: если человек в шахте — геройство, то конь в шахте — печаль. Лошадей спускали в темные недра навсегда, спускали их молодыми да сильными, а поднимали старыми и слепыми. Но чаще всего они оставались под землей на веки вечные: то под завалом погибнет, то во время взрыва газа метана сгорит.

Считай, дружок, что тебе повезло, коли не видел, как спускают лошадей в шахту. Сначала ей завязывают глаза черной тряпкой, и она живет на конюшне несколько дней в полной темноте, как бы сказать — привыкает. А когда приближался горький час спускать лошадь под землю, ей крепко связывают ноги, чтобы она с испугу не забилась в клетки и не сорвалась в ствол. Заводят лошадь в клеть с повязкой на глазах, а там четыре сигнала — и прости-поощай! И жила лошадь в глубоком подземелье, не видя белого света.

У коногонов в шахте вожжей нету: управляют лошадьми при помощи слов. Конь понимает, когда партия вагонеток загружена, и сам трогает состав с места, тянет вагончики в кромешной тьме штрека, доставляет уголь к подъемной машине, а та отправляет его на-гора.

Лошади в шахте умные, понимают все по звукам. Дотянет лошадка до ствола партию вагонов, а перед разминровкой коногон скамандует: «Примись!» — и конь отскакивает от рельсов в сторону. Тормозной отцепляет на ходу барок с крюком, и вагончики уже своим ходом подкатываются к подъемной клетке. Бывали случаи, когда дурной коногон разгонит партию перед самым стволом, и конь не успевает отскочить. Вагоны сталкивают лошадь в ствол и сами туда за ней падают.

Насмотрелся я на этих бедолаг, не дай бог...

Однако слушай дальше. Это у нас была присказка, а сказка только начинается.

Жил на руднике лихой коногон по имени Яша Резаный. У него был конь по кличке Тарас. Поверишь или нет, а такой дружбы, какая была между ними, и среди людей не встречал.

Яша не давал в обиду своего коня, жалел его, кормил с рук. Тарас любил лапшу. Девчата-откатчицы приносили ему в шахту борщ в судочке, он и борщ уплетал с аппетитом. Очень умный был конь, представь себе — считать умел. Бывало, прицепят к партии лишний вагончик, вместо шести — семь. Тарас дернет с места, и по стуку вагончиков пересчитает их. Если вагончик лишний, хоть проси его, хоть лупи — не стронется с места: отцепляй седьмой вагон, и все тут. А когда наступает час обеда, он зубами легонько берет Яшу за рукав и тянет: пошли, мол, пора отдохнуть. Яша засмеется, обнимет шею друга, и они рядышком идут на конюшню.

Если, бывало, захворает Тарас, слезы у коня из глаз, трудно ему, а сказать не может. Яша сам впрягался, и они вместе тянули партию. В такие дни Яша оставался в шахте, был вместе с конем. А когда, случалось, сам коногон заболевает, Тарас места себе не находил, всех шахтеров в штреке обнюхает, ищет своего сердечного друга...

В старые времена был праздник — день святых Флора и Лавра. Это был праздник лошадей. В этот день ни один хозяин не заставлял лошадь работать. Их вели к церкви, поп выходил и окроплял их святой водой. В этот день лошадей купали, кормили отборным овсом, в гривы вплетали разноцветные ленточки. Только шахтерских лошадей, конечно, забывали. Один Яша соблюдал закон. Тарас будто чувствовал этот праздник и с утра был веселым. Яша приносил в шахту цветы и украшал ими сбрую Тараса. Шахтеры смеялись над коногоном, да только напрасно...

Однажды случилась в шахте беда. Не выдержало крепление в штреке, и кровля рухнула. Тарас партию не довез, попал под обвал, и погиб конь шахтерский. Яша кинулся разгребать завал, да куда там! Шахтеры кричат: «Уйди, самого придавит!»

Заплакал Яша с горя, да что поделаешь. Разобрали породу только через три дня, откопали Тараса, но было поздно. Героем погиб конь. Закручинился, затосковал Яша-коногон, ходил будто потерянный. И все чудилось ему: ржет его конь в дальних выработках, зовет хозяина.

Люди сочувствовали коногону, предлагали ему других лошадей. Отказывался. «Если,— говорит,— погиб мой Тарас, то и мне без него жизни нету...»

Как-то раз во сне или наяву предстал перед Яшей его любимый конь Тарас, тряхнул золотой гривой и говорит: «Не горюй, Яша, не печалься. Работали мы с тобой дружно, а теперь я своего железного брата тебе пришлю. Пойди на то место, где мы с тобой со смертью встретились, и найдешь там мою подкову. Возьми ее и кинь в огонь. Явится тебе мой железный брат. Люби его, а меня, Тараса, вспоминай».

Сказал он эти загадочные слова и пропал. Помчался Яша к тому месту, где был завал, смотрит, и правда — лежит подкова. Он сразу узнал ее, потому что сам подковывал Тараса. Смотрит Яша, диву дается: если привиделся конь, то почему предсказание с подковой сбылось? Поднял он подкову, завернул в тряпку и сунул за пазуху. Кончилась смена, выехал на-гора и подался в степь. Там разжег костер, бросил в огонь подкову и ждет, что дальше будет... И тут слышит натурально кто-то говорит человеческим голосом: «Спускайся в шахту, возле ствола будет тебя ожидать мой железный брат».

Верит Яша и не верит. Однако дождался утреннего гудка и бегом на шахту. В первую же клеть вскочил, спустился под землю. Вышел на рудничном дворе — так называется в шахте околоствольная выработка,— смотрит, а перед ним стоит на рельсах конь не конь, а диковинная машина. С виду похожа на вагонетку, только с крышей, а спереди электрический глаз так и светит, так и слепит — смотреть невозможно. Подходит Яша к чудо-машине, а руки сами собой тянутся к разным колесикам да рычагам в той машине. Удивляется Яша: почему так легко управляет он тем железным конем, как будто всю жизнь на нем ездил. Сел в кабину, и конь побежал по рельсам, только гул в штреке раздается. И не шесть вагончиков потянул железный конь, брат Тараса, а двадцать шесть!

Вот так, друг мой, появился на шахте железный конь, и шахтеры назвали его электровозом. Теперь их по всему Донбассу сотни тысяч. А тот был первый.

На этом и мы ставим точку, потому что старая история кончилась, а новая сияет нам впереди. Но вы слушайте и смекайте: кто из вас подумает, что этот случай — детская сказка, нехай думает. А мы рассудим по-своему: не всякая быль есть сказка, но всякая сказка — быль.

В довершение думы не могу не повторить от первого слова до последнего пророческое стихотворение шахтерского поэта Павла Беспощадного, который и сам в молодости коногонил.

Уж он-то наверняка знал, какова цена подземной дружбе человека и коня, коль скоро почти что уравнил их во взаимной привязанности, во взаимной понятливости и сострадании, соучастии, взаимной тоске друг по другу, даже впрямую, пусть и в полубреду, поставил знак равенства: «Человек ты, мой милый Стрепет!»

Очеловечивание четвероногого друга, жалость к нему, как к самому себе, очевидно, и подтолкнуло поэтово сердце, чтоб он буквально выдохнул заключительные строки о необходимости и неизбежности заменить бедолагу-коня, а равно и коногона техникой, в каждой из которой, по отдельности взятой, куда больше лошадиных сил. Несравненно! Но поэт еще и пророчествует...

Стихотворение это так, по-шахтерски просто, и называется — «Коногон». Не зря же оно, пока писал думу о шахтерском коне, все время вертелось на памяти.

*Ноет, ноет дрянной мой бок,
Скоро легкое кашель вынет.
Смерть острит на меня зубок —
Словно уголь, пронзит навывлет.
Мне одну только шахту жаль —
С нею был я уж очень дружен.
Вот и Стрепет опять заржал:
Видно, знает, что я контужен.
Значит, знает мой верный конь,
Что его коногону больно,
Что рассыпал я свой огонь
По подземной кривой продольной.
Не тоскуй, не горюй, голубок!*

Что же делать? Видать, так нужно...
Ой, и ноет дрянной мой бок,
Не могу довести до конюшни...
Распростимся, подземный друг...
Ты здоров, а я, видишь, заржавел...
На уклоне услышал вдруг —
На прощанье мне заржал он.
Говорили в больнице днем:
Бредил я, и неясный лепет
Передал для других одно:
«Человек ты, мой милый Стрепет!»
Знаю, доктор мне ловко врет,
Будто скоро опять загарую:
— Подождите, вот время придет —
Скоро легкое вам зарубую.
Нет, истрепаны легких меха,
Обтопались ноженьки-шины...
Доктор, слышите, смерть — чепуха!
Под землей заживут машины!
Он идет, этот сильный век.
Слышу грохот и лязг его брони.
На всю шахту один человек
Будет, будто шутя, коногонить!

Так оно, почитай, и вышло, как предрекал поэт еще в первой четверти XX века.

Более столетия прожила в шахтерском бытовании прижившаяся еще со времен мечтаний безлошадных крестьян их атрибутика тогдашняя: и «конь» как мерка добытого угля, и «упряжка» как смена от гудка до гудка и уже без гудков, а просто по часам.

Перекочет она наверняка и в следующий век, в следующее тысячелетие, хранимая памятью человеческой. Ибо в шахтерском коне, точно в неизбывном символе, воплотилась и давняя минувшина — наших предков, и современная история шахтерской отчины нашей — их потомков.

Да не забудет потомственной памятьливости каждого из нас!

2000

ДУМА О ПОДЗЕМНЫХ ГОРИЗОНТАХ

На Донцком кряже всюду — хоть в его неоглядных степях или на далеко обозреваемых курганах-могилах, хоть у быстрых рек и тихих озер, хоть близ белых меловых гор, которыми он обрывается на Северском Донце, или неподалеку от Азовского моря, к берегам которого он, все тоньшась и тоньшась, еле приметно скатывается своими южными отрогами, и всегда, — хоть зимою или весною, летом или осенью, в любую пору года, а равно и в любой час дня, зрелище распахивающегося во всю ширь пред тобой горизонта своеобразно и неповторимо. И по-своему приманчиво.

Сколько бы ни глядел, как бы ни всматривался, отыскивая напряженным взором линию кажущегося соприкосновения неба с земной или водной поверхностью, она остается переменчивой и недостижимой и неизменно манит обманчивой близостью. Как если бы стоит сделать шаг-другой, одолеть несколько каких-нибудь километров, выткнуться на очередном пригорке или холме, и ты очутишься там, где явственно примыкают друг к другу земная и небесная твердь.

Но нет! Горизонт неприметно отодвигается, с каждым разом все дальше, дальше...

Особенно же неуловим он в степи. И почему-то волновал этой неуловимостью смалу. Как волнует и посеичас. Может, потому, что род мой из степняков?

Вон и крупнейший отечественный историк Василий Ключевский в своем «Курсе русской истории» это подметил: «Степь воспитывала в древнерусском южанине чувство шири и дали, представление о просторном горизонте, окоеме, как говорили в старину».

Поначалу, правда, и сомнение брало: ну откуда было знать сие ученому, чье жизненное кредо ограничивало его собственный горизонт? Он исповедывал: «Главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли». Да и вырос в северных широтах России, а затем всю жизнь провел в Москве.

Однако мысль ученого не однажды я проверял и на себе самом. И убедился в его правоте. Недаром же труды, оставленные им в наследство нам, признаны сейчас явлением не только русской, а и мировой культуры. Ибо он прозрел своим пытливым умом прошлое не одного народа.

В самом деле, пространство, которое можно объять оком, то есть оком, или ограниченное нашим зором, то есть горизонт, вызывает особые чувства, если ты провел детство в степных, неохватных глазом просторах. Порой он казался краем земли, что, по преданиям, покоилась на трех китах, и тебя неотступно тянуло дойти до этого предела и заглянуть за краешек, поглядеть на тех китов сказочных.

Доверчивая наивность детских лет прошла со временем, однако тяга добраться до горизонта, пусть и умозрительного, пускай и неосознанная, все же осталась в тебе неизбывной.

Что поделаешь? Степняк, степняк!

Когда падут снега на Приазовские степи и во всю ширь забелеет даль, а с тем и отодвинется на недосягаемое расстояние, оком выглядит белым, незримым, поскольку белесые небесные своды словно бы подворачиваются окрест по всему горизонту и стелются под тобой заснеженными полями, ровными и чистыми, лишь кое-где посверкивая красными всполохами на наметах от восходящего солнца.

Весной же, едва зацветут заповедные степи Донбасса — и Стрельцовская, и Провальская, и Хомутовская, — и ты приляжешь на минутку в их духмянистом разнотравье, сторожа взглядом вдруг сузившийся и подступивший к тебе оком, он кажется разноцветным из-за поникшего шалфея, горицвета и валерианы, степного пиона и миндаля. А чуть приподымаешься на локте, многокрасочный оком враз отпрядывает от тебя и уже обозначается белыми, будто вросшими в небо, шарами катрана, верхушками цветущего в буераках и балках терновника, зыбится серебристыми волнами ковыля.

Летом горизонт в степи кажется зеленым, а на море — синим либо бирюзовым. И если ты приютился, допустим, на Кривой Косе песчаной, то горизонт уже не выглядит для тебя всеохватным окомом, он лишь в сторону моря уходит не-

обозримым пространством, раздвигая слева и справа голубой небосклон, позади же тебя обрывается у крутого берега, словно там и есть тот край земли, до которого желалось в детстве добраться.

Когда попадаешь, скажем, в Великоанадольский лес, горизонт вообще суживается до предела, до той пяди земли, на которой ты стоишь, и о том, что где-то есть простор под небесами, догадываешься только по взблескивающим на листьях солнечным бликам и пробивающимся сквозь зелень косым лучам.

У подножия Святых Гор поутру он розово зазубривается на вершинах, проваливаясь то и дело в ущелья, и тоже подступает к тебе почитай вплотную, только спереди, в отличие от морского, а открывается в зеленую даль сзади, да еще отражается в гладких водах Донца вместе с иззубрившими его горами.

И на Торских соляных озерах горизонт как бы окаймляется овальными берегами, матово-червенно поблескивает на поверхности бездвижных их зеркал.

А уж когда взберешься на курган Горелый Пень или близлежащие Девять Курганов, Капитанскую или Дворянские, или Каменные могилы, а тем паче на Саур-могилу, самую высокую из них, окоем и вовсе становится недосыгаемым для глаза. И летом, и в особенности осенью.

Писатель-степняк Савва Божко в своем романе «В степях» так описывает горизонт в эту пору:

«Зелена безмежна широчінь лише навколо убогих сіл зорана та засіяна, шовком-тирсою заслана, стелиться куди оком не скинь. Ген-ген аж там, де святий Петро овець жене, шовкова синя далечінь зливається з небом. Лінії обрію немає. Це є тепер, коли блакитна баня різко вгрузає в чорні груди осінньої ріллі чи жовтої стерні улітку».

Специально не перевожу на русский язык, чтобы не порушить нежной, ласковой ткани прозы видного земляка. Для славян оно и так понятно. Ну разве что слово «тирса» поясню — это просто-напросто ковыль, каким богаты донецкие степи.

И летом, и осенью с вершины любого кургана на Донцеком кряже зеленое, или побуревшее, или черное от пахоты

пространство более-менее четко обрисовывает границу с небесным куполом-баней по всей дальней окружности, и ты как бы стоишь в самом центре земли донецкой, а вся даль вращается вокруг тебя, осиянная солнцем, да и вместе с ним заодно.

Золотая осень сменяется белой зимою, а зима опять уступает весне, сначала неохотно, забрасывая порывистыми, внезапными метелями, и тогда никакого горизонта не видать, сколь ни напрягай зор.

И снова хочу процитировать земляка:

«Надходить весна на степи... Ось вона повіває з-за ген того бугра. Через бугор великий чумацький шлях од Дніпра аж до Маріуполя. Це ж оцим шляхом на крилах теплого азовського вітру вона лине-пливе. Легенька, південно-східна, соромливо ступає випещеними ніжками по снігових наметах: торкнеться льодового сугробу — стрибає через яри та балочки, припадає злегка до узгір'їв, торкнеться пружкими молодими грудьми високого бугра, м'яко цілує його чоло, що од поцілунків тих гарячих чорними латками покривається.

Узгір'я раде. Бугор чуло пускає сльозу, а та сльоза струмочком котиться вниз...»

Еще немного пройдет времени, и оком радугой вспыхнет, а в вышине над окаймленным им степным пространством колокольчиком зависнет жаворонок, оповещая всю округу о приходе трудовой весны.

Сменяются времена года, сменяется и вид горизонта, то исчезая бесследно, то явственно обрисовываясь и тревожа сердце своей притягательной неизведанностью, манящей с детских лет загадкой о крае света.

Человек, спустившийся в глубину Донецкого кряжа за подземными сокровищами, и туда перенес личное понятие о горизонте.

Залегание угольных пластов, ртутных руд и каменной соли определены им как горизонты. И обособлены друг от друга шахтными полями. А лавы — точно гоны: врубайся в верхний «куток» и гони полоску за полоской, будто борозды прокладывай.

Подземные горизонты, как бы там ни было, а тоже разные: в угольных шахтах они черны до вороньего крыла, в ртутных

рудниках — червонные, если жилы киновари мощные, в соляных — изумрудно-белые.

Все глубже уходят эти горизонты в донецкую землю, многоэтажно наслаиваются друг на друга.

Этими горизонтами можно и гордиться, ибо от их прокладки на новых глубинных уровнях зависит впрямую добыча полезных ископаемых, а значит и наше благосостояние.

Через многочисленные степные шурфы к ним заглядывают дневные звезды, долетает свежее степное дыхание. Ровно земные горизонты пытаются забраться и к своим подземным собратьям, дать им ту же волю, ту же необозримость, в каких они сами пребывают и блаженствуют.

В связи с этим неотступно, почти зримо стоит перед глазами лирическое описание нашего рабочего края:

«В час вечерний зари хороша донецкая степь. Величавое солнце медленно опускается к горизонту. Здания шахт, высокие трубы, бегущие по шоссе автомашины отбрасывают от себя длинные синеватые тени. Поднимешь руку — и тень от нее метнется по балкам и курганам от рудника до рудника.

Солнце все ниже, тени длиннее, и степь играет красками: она то ярко-золотая, то розовая, то малиновая. Будто в сказке мчится вдаль малиновый тепловоз. Шагает по дороге шахтер — весь малиновый от заката. Сверкает окнами малиновый Дворец культуры в горняцком поселке.

Но вот солнце коснулось горизонта. Краски тускнеют. Теперь освещены только шапки подсолнухов в степи да верхушки тополей в поселках. Краешек солнца заблестит в последний раз и скроется за дальним курганом. Тихо угасает пожар вечерней зари...

В такую пору в шахтах Донбасса наступает время третьего наряда. По всем дорогам, ведущим к шахте, спешат на работу горняки ночной смены: забойщики, машинисты комбайнов, проходчики, водители электровозов... На просторном шахтном дворе оживление, слышится говор, девичий смех. В полутьме летних сумерек то здесь, то там вспыхивают огоньки сигарет, блуждают, как светлячки, шахтерские лампы.

Еще один рабочий день окончился, но работа нескончаема — в этом великая мудрость труда».

Описание принадлежит писателю старшего поколения. А вот стихи иного толка, они не так восторженны в отношении работы в подземных глубинах, на подземных горизонтах — они от имени молодого поколения:

*Небо я достаю головою,
(Невысокий имея рост).
Это небо — не голубое.
Это небо — без солнца и звезд...
Это небо висит под землей,
Это небо зовется кровлею —
Сотни метров каменный слой...
Могут запросто взять и свалиться
Твердокаменные небеса...*

Но и бойкого оптимизма, радости преисполнен труд в земных глубинах, на этих подземных горизонтах:

*Я небольшой кусок породы
Нашел с редчайшим отпечатком:
Цветок!
Совсем без аромата,
Без красок — след цветка на камне,
След,
Отчужденный веками.*

И совсем облегченный вздох:

*Когда я выхожу из-под земли,
Так улыбаюсь солнцу,
Будто с ним
Не виделся сто тысяч лет и зим...*

Так что подземные горизонты хороши, а наземные все-таки получше будут. И солнышко подземное, как нарекли поэты уголь, не играет многоцветьем, пока не горит, храня глубокое молчание тех древних деревьев, которые пали под буреломом и напластовали угольные пласты.

От подземных горизонтов немало и хлопот людям, живущим над ними на земной поверхности.

Во-первых, долго не могли ставить высотные дома, если даже обычные, случалось, проваливались едва ли не в преисподнюю Шубина. Покуда, наконец, не сообразили вместо фундамента заливать жидкое стекло.

Во-вторых, подземные выработки мешали, да и поныне мешают, строить метро в Донецке. Как их обойти? Как не напороться на них? Не полететь в тартарары?

И с этим мало-помалу совладали.

В-третьих, кому-то вздумалось хоронить в давних выработках глубоко под землей зараженную ядерными выбросами землю из Чернобыля.

Может, одни лишь слухи об этом ходили. Но у меня нечаянно-негаданно написался этюд, который, скорее, этюдом углем было бы назвать — по смыслу он так же черен, как и уголь.

С непрестанной тревогой думая о грядущем атомного века, я сегодня вдруг почувствовал себя далеким потомком самого себя.

Будто я археолог. И веду раскопки в родном донецком крае, ищу признаки минувших цивилизаций.

А вокруг — бескрайняя пустыня под выцветшим, неммым небом. Сравнялись с унылым горизонтом степные, некогда маячившие над всей дальней округой сторожевые курганы запорожских казаков, рассыпались в прах скифские каменные бабы, прежде настороже выглядывавшие из седых ковылей, и древние сарматские могилы опустели, кем-то разграбленные...

Не осталось никакого следа и от всего того, что в горячечной поспешности строили мои современники, — от гигантских заводов, однотипных зданий, одноликих обелисков... Даже фундаментов не отыскать. Исчезли и бессменные терриконы, словно их в одночасье сдуло ураганным ветром.

Лишь в старой шахтной выработке, на километровой глубине наткнулся я на уникальное захоронение моего времени — железобетонный контейнер с землей, облученной в аварии на атомной электростанции. Здесь тогда впервые в истории человечества погребли землю в землю же. Мне почудилось, что и сквозь толщу бетона зловеще и зримо лучится неизбывная радиация. Вокруг было все мертво, как и на поверхности.

И я ужаснулся тому, что именно при моей когдашней жизни захоронили эту горемычную, горько-полынную черно-

бильскую землю, которую сделала смертоносной моя же цивилизация...

Да неужто я жил в такое дикое время?

Оказывается, и вправду жил и живу нынче.

Совсем недавно, 16 июня 1999 года, в газете «Голос Украины» была опубликована статья «Что делать с радиоактивными отходами?»

И в ней за подписью председателя подкомитета по вопросам ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады, других ученых и специалистов излагался проект программы захоронения отходов АЭС. Изучив все варианты возможных захоронений, авторы пришли к выводу: «Самые реальные перспективы связаны с соляными шахтами Донбасса (Артемовский район)».

Решающим преимуществом донбасского шахтного варианта, отмечалось в той же статье, является надежность и низкая стоимость хранилища.

Вот те на! Могильник в Донбассе! Да еще где? На соляных горизонтах! Откуда они могут растечься под землей неизвестно на какое расстояние. К тому же погубив бесценное природное богатство, запасы которого неисчерпаемы — ныне девяносто процентов населения Украины использует в пищу соль из донецкого Соледара.

Кому же эдакое варварство пришло в голову? И вообще, как такое могло втемяшиться? Что ж это за головы, облаченные думной властью?

Ведь в соответствии с Законом «Про недра» подземные залежи соли принадлежат государству. Значит, и окончательное решение должна была принимать Верховная Рада, состоящая из этих горе-голов. А по сути — антигосударственная, антинародная акция...

Восстал Донбасс! От местных жителей, городских властей — до областных. Во главе с Донецкой областной экологической ассоциацией «Зеленое движение Донбасса».

И урезонили всем миром заблудших овец. Надолго ли?

Свой горестный этюд углем я написал десятью годами раньше этих треволнений донбассовцев. И вроде бы напроочил, накаркал...

В утешение могу лишь повторить известное: «Вещи и дела, еще не написанными бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написанными же яко одушевленными...»

Плохое одушевление, а все ж не беспамятство!

А еще подземные горизонты, в особенности на угольных шахтах, ежегодно уносят человеческие жизни. И преимущественно весной.

Казалось бы, куда уж противоестественнее: земля сплошь в цвету, благоухает, а над нею траурно виснут приспущенные угольно-черные флаги...

Быть может, как вино начинает будоражиться, едва оживают виноградные лозы, точно так же начинают будоражиться и угольные пласты, бывшие когда-то деревьями, едва на поверхности земли зацветают и зеленеют по-весеннему бурно их прадавние прообразы — деревья?

Это лишь догадка о причине. А нужно ведь как-то упредить, предотвратить, не дать шахтера взамен добытого им угля — его самого в добычу стихии... Оборвать это скорбное жертвоприношение...

И чтоб потом лихие тележурналисты, выпендриваясь друг перед другом, не говорили, что они работали глубже мертвых, глубже их могил, то есть — собственных... По их, «телевумников», мнению, так и доставать погибших не следует, дабы по-людски предать матушке-земле, они-де и без того уже похоронены... За этой красивой фразой, а точнее — красотью, кроется словоблудный цинизм. Не более того! Или безучастность, черствость души, заполученные из дальних далей, за чужими горизонтами, где заместо соучастия ответственуют холодной фразой: «Нон проблем!» Среди донбассовцев, хоть на наземных горизонтах, хоть на подземных, слава Богу, еще не выродилось дружеское: «Тебе помочь?» В этом наше великое отличие и преимущество, независимое от личных благ.

Красивые, неповторно красивые окоемы на Донцеком кряже! В любое время года, в любую пору дня. И сотворяются они солнцем — и на рассвете, и в полдень, и в предзакатный час.

Возникают по округе, неизменно тревожа сердце и маня к себе, как причудливые, вечно зовущие миражи, своим

радужным многоцветьем, своей кажущейся близостью и якобы податливой готовностью к их разгадке.

Должно быть, они вот так же влекли и тревожили далеких наших предков. Как не устанут влечь и тревожить и нас, покуда мы живы, и наших близких и далеких потомков. Извечно и до скончания...

Но и подземные горизонты, будь они черные, как уголь, червонные, как киноварь, или изумрудно-белые, как соль, не утратят вовек своей притягательной силы. И не только потому, что человек открывает, прокладывает их ради пользы, причем не одному себе на потребу, а роду всему кровному, да и целому народу в конечном итоге. Забираясь вглубь земли, на эти подземные горизонты, человек еще и постигает материковые тайны, какие не открылись ему на подсолнечных горизонтах и какие манили его с малых лет неизведанностью и вечной загадкой. Пытается объять их умственным оком, расширить свой кругозор и тем самым раздвинуть собственные горизонты.

Нам же, кто живет бок о бок с этими отважными людьми, остается только пожелать неизменно-донбасское по отдельности шахтерам: «Надежной вам кровли и мягкого уголька, солнцерубы!» А всем без исключения — прапрадедовское: «В добрый путь!»

2001

ДУМА О САМОРОДКАХ

Испокон веков на Руси относились к неожиданно найденным самородкам, этим уникальным, редкостным сгусткам тех или иных явлений природы, как к совершенному чуду, возникшему под влиянием сверхъестественных сил или ниспосланному едва ли не самим Богом.

И вправду отысканные в самородном, химически чистом, королевском виде, а не рудою, слитки серебра, меди, платины, золота являли собою нечто небывалое, необычное, вызывавшее не только удивление своей неповторимой прелес-

тью, а и поражавшее необъяснимым до поры до времени происхождением.

Порой, правда, встречались и целые самородные магнитные горы, сплошь состоящие из одной чистой руды. И самородковые золотые прииски. Но это случалось крайне редко. Последнее чаще попадалось россыпями. В крайнем случае — золотоносными жилами. Да и то благодаря тому, что оно обладало малой способностью к окислению.

Золото всегда самородно!

В то время, как, скажем, железо — никогда! Разве что в так называемых воздухо-камнях, рожденных вулканами, какие сотрясали нашу матушку-землю еще при ее материковом сотворении.

Что означала для людей находка, примером, золотого самородка по давнишним временам? Величиною хотя бы с гусиное, куриное или даже голубиное яйцо.

Писатель-реалист XIX века Глеб Успенский в своих «Письмах с дороги» относительно этого делал такой вывод: «Он напал на самородные россыпи и прямо вытаскивал из земли куски (золота), в которых заключается состояние целых деревень».

Но с развитием человеческой цивилизации потянулась за этим драгоценным металлом и дурная, зачастую кровавая слава.

Из памяти сами по себе невольно всплывают слова Мефистофеля из «Фауста», произнесенные еще в XVIII веке и до сих пор не утратившие изначального зловещего смысла:

*На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — телец златой.
В угожденье богу злата
Край на край идет войною
И людская кровь рекою
По клинку течет булатном...
Люди гибнут за металл —
Сатана там правит бал!*

Тем не менее, есть ведь и понятие — золотой фонд государства. Имеются в виду не только слитки золота, составляющие главный запас страны, а и особенно ценные люди. И прежде всего — самородки. То есть те, кто наделен большими природными дарованиями, способными покрыть отсутствие, допустим, образования, учености. Как и природные самородки, они тоже выглядят как бы божьим даром, посланным Всевышним в дар на грешную землю.

«Наша страна, — отмечал в своих «Записках писателя» Николай Телешов, старейшина русской литературы XX века, — богата самородками, людьми, вышедшими из глубин народа, нередко не получившими никакого школьного образования, но богатством своей натуры, своим широким умом, своей одаренностью, энергией и действительной любовью к труду совершившими за свою жизнь большое общественное дело».

Самородками с этих позиций считались и Горький, и Шалапин.

И все-таки самородки даже в природе бывают редки.

А среди людей — и подавно.

Потому донбассовцам можно тройне гордиться тем, что Донбасс в недавнем минувшем подарил миру аж три таких самородка! Это — кузнец Мерцалов, механик-самоучка Бахмутский и поэт Беспощадный.

Все они вышли из гущи народной, не получив образования изначально, но будучи одаренными от природы, своей сметкой, пытливостью и трудолюбием свершили за свой житейский путь на донецкой земле такие дела, что их общественная значимость ничуть не уменьшилась и в наступившем XXI веке.

Первый из них, кузнец Юзовского металлургического завода Алексей Иванович Мерцалов, увековечил свое имя сотворением чудо-дерева из цельного куска железнодорожного рельса в три с половиной метра и весом сто двадцать пять килограммов.

Что руководило им, когда он выковывал его? Удаль мастерового? Погаенное желание выказать мастерство. Мол, и мы не лыком шиты. Или вел сам промысел Божий?

Известно лишь, что в 1890 году малороссийское акционерное общество на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде построило свой павильон. Весь из железа — швеллерных балок, квадратного полосового и круглого. И этим подчеркивалась мощь и возможности металлургических заводов промышленного Юга, который усиленно осваивался в XIX веке.

Все там было, на той выставке, в том павильоне — достижения на данный момент малороссийских металлургов, новые технологии в виде уже готовой продукции, заявки на будущее, дабы привлечь потенциальных партнеров для сбыта изготавливаемого и выпускаемого заводом и заводами Криворожья.

Одного лишь не было — художественных изделий, говоривших бы об умении специалистов, выплавляющих и обрабатывающих металл.

Надо думать, сие упущение заботило и юзовских кузнецов.

И вот в 1895 году в нашем отечественном павильоне появился необычный экспонат — чугунное дерево, со стволом и тонкими, словно бы резными, листьями. Ни дать ни взять — настоящая пальма!

Затем, в 1900 году, эта пальма выставлялась на Всемирной выставке в Париже и удостоилась высшей награды — гран-при. Выставлялся экспонат под названием «Юзовский», поскольку к тому времени имя автора было призабыто.

«Безымянной» она перекочевала затем и в Санкт-Петербургский горный институт, в его музей, где находится доныне.

Чуть ли не полстолетия понадобилось историкам и краеведам, чтоб установить истину и восстановить справедливость.

В 1953 году многотиражная заводская газета «Металлург» опубликовала воспоминания подручного Мерцалова — Филиппа Федотовича Шкарина, которые все и разъяснили.

Видно, плохо все-таки искали мы, коль был жив человек, непосредственно принимавший участие в изготовлении этой пальмы, а никто не удосужился разыскать его ранее. Погоня за валом, небрежение к мастерству отдельно

взятого человека из-за домогания сиюминутного коллективного успеха, когда стремились во что бы то ни стало перевыполнить годовые и пятилетние планы, любой ценой выплавить, добыть, выдать на-гора как можно больше, больше, — это, пожалуй, и сказалось на нашем интересе к собственному прошлому. И обернулось забвением и пальмы, и ее творцов.

Трудно себе представить, как это кузнец Мерцалов и молотобоец Шкарин колдовали над раскаленным докрасна и подвешенным на цепях тяжеленным куском рельса, к которому и приблизиться-то вроде опасно было, а требовалось ведь и молотом, и молотком орудовать, и в то же время зорко следить, чтобы цепи не перехлестнулись меж собой при вращении рельса и он не качнулся резко в чью-либо сторону — кузнеца или молотобойца, неистово плясавших вокруг него, пышущего нестерпимым жаром, да и при остывании, когда понижалась ковкость металла, сдвинуть рельс на пламя в горне, а потом вновь обратно — к наковальне.

Колдующие над ним обливались жарким потом, слепли от огня.

Накажи меня Бог, со стороны они наверняка выглядели огнепоклонниками.

Но неистовая пляска вокруг раскаленного рельса увенчалась успехом — из него постепенно возникало чудо-дерево. И, в конце концов, как если бы в один момент явилось миру: ствол, десять ажурных листьев и вверху соответствующий венчик. Как будто натуральная, живая пальма! То-то было радости! Ликования! Непременно и гордости, что замысленное удалось на славу. А может быть, и собой, своим уменьем. Дело-то под стать лесковскому Левше, якобы подковавшему блоху!

Теперь воздано должное и ее творцам, и самой пальме.

Ее копия в 1999 году установлена неподалеку от входа на выставку «ДОНБАССЭКСПО» в Донецке, она же стала символом высокого мастерства и на гербе шахтерской столицы.

В 2001 году копия пальмы Мерцалова водружена в Москве, а перед тем, как бы назамен, оттуда препожаловала к нам в Донецк копия Царь-пушки. В этом же году, в мае установлена

она и в Киеве, где тоже немало выходцев из Донбасса, объединившихся в дружное землячество.

Кроме кузнечного мастерства донбассовцев, она еще символизирует первенство в промышленном освоении недр Донецкого края. Как пальма первенства! И не только в металлургии... В равной степени и в угледобыче, и в добыче соли, ртуты, огнеупорных глин, железных руд, в рыболовстве и перевозке по морю грузов, в лесонасаждении степном, производстве стекольных изделий и шампанского... Да мало ли чего не добывается и не производится в современном Донбассе!

Добавлю лишь, что и своеобразную реабилитацию имени создателя невиданной пальмы и его подручного, и установление ее копий совершил Международный фестиваль «Золотой скиф», организованный по инициативе и немалыми, непростыми личными усилиям исполнительной дирекции Фонда содействия развитию и популяризации Донбасса «Золотой скиф».

Подобные патриотические деяния любого донбассовца вообще хочется назвать возвышенно — действием! На радость всем землякам — живущим в Донбассе и за его пределами.

Несколько иначе сложилась судьба другого донбасского самородка — механика-самоучки из Первомайских рудников, а попросту Первомайки Луганской области Алексея Ивановича Бахмутского, создателя первого в мире угольного комбайна.

В 1932 году на Всесоюзном конкурсе на лучшую конструкцию первого отечественного угольного комбайна, в котором принимали участие десятки научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и групп, представивших на рассмотрение компетентного жюри свыше восьмидесяти проектов, одержал победу предложенный Бахмутским комбайн из модернизированной им врубовой машины. Заметим, кстати, — не идея, не модель, не предполагаемая конструкция угледобывающего механизма, а уже испытанная в работе готовая машина.

По опубликованным в прессе источникам, мысль о переделке врубовки так, чтобы будущий комбайн и долбил сам пласт, и грузил на конвейер в лаве добытый им уголь, подсказали два обстоятельства из окружающей самодетельного конструктора жизни. И выглядит все это сейчас, как предание.

Во-первых, Алеша, живший в сельской хате на берегу Луганки, не раз наблюдал, как для полива огорода черпало воду старинное устройство: колесо со специальными заборными приспособлениями набирало воду и затем выливало в приспособленный желоб. Оно-то и подсказало идею перегрузочного конвейера. А рабочий орган?

Вот что пишет по этому поводу горный инженер Юрий Рыбалов, обнаруживший уйму интересных материалов из истории угледобычи в Донбассе:

«А саму идею угольного комбайна задолго до конкурса, когда и термина такого не было, подсказал «человек-оркестр», увиденный на ярмарке. Он играл ртом, рукой и ногой сразу на трех инструментах. Комбайн, по идее, тоже должен одновременно выполнять три операции. Делать вруб, рыхление и погрузку угля на конвейер. Молодой слесарь зажегся идеей механизировать адский труд навалотбойщиков, работавших лежа на боку».

Ему удалось это сделать. За что был награжден орденом Ленина, самым престижным по тому времени.

Но, доводя свое детище до уровня серийного производства, Бахмутский был смертельно травмирован в забое. Его доставили в рудничную больничку, где намеревались, дабы спасти жизнь, ампутировать ногу. К прискорбию, слишком много потерял он крови, и боль была невероятной — до шока. Бахмутский, правда, не терял сознания, однако через сутки сердце его не выдержало — остановилось...

А что же с его комбайном?

Говорят, во время немецко-фашистской оккупации Украины в Отечественную войну немцы заявили на подворье матери Бахмутского и долго искали чертежи, которые старушка припрятала от чужого, вражьего глаза в корыте, прикопав его землей.

Да вернемся к свидетельству краеведа:

«Однако что-то удалось им найти на заводе. После войны в Германии начинают выпускать первые в мире узкозахватные комбайны с рабочим органом Бахмутского. Только «клеваки» (шнек с «клеваками», как окрестил их сам Бахмутский, поскольку они буквально клевали пласт. — *И. К.*) стали похожими на резцы. Это позаимствовали немцы, тогда и речи не было о патентовании. Но во всем мире узкозахватные комбайны так и остались с рабочим органом из «штанги» Бахмутского. А комбайн «Донбасс» — это, по сути, комбайн Бахмутского, только с удлиненным (для мощных пластов) рабочим органом. В списке же лауреатов Сталинской премии Бахмутского нет...

На доске у входа в Донгипроуглемаш написано, что в 1948 году сотрудники института совместно с шахтерами и заводчанами создали комбайн «Донбасс», отмеченный Сталинской премией...

Его матери в то время выплачивали за сына минимальную пенсию — 20 рублей.

В 1950 году на Горловском машиностроительном заводе имени Кирова возобновили выпуск комбайна Бахмутского. И уже назвали его комбайн по-новому — «Кировец». Как новую машину.

К чему все это вспоминается? Широкозахватный комбайн Бахмутского вот уже 66 лет верой и правдой служит шахтерам. И служит таким, каким создал его шахтный электрослесарь, механик. Это редкий случай в технике, а в горной — уникальный!..

Ведь если уголь твердый или кровля слабая, струги «не идут», а «Бахмутский» проходит хоть бы что...

Идет время. Уходят ветераны, и даже машинисты этих комбайнов не знают сегодня имени творца машины. Он забыт. Только на родине перед зданием бывшего треста «Первомайскуголь» стоит сделанный скульптором-любителем бюст. А его выдающееся творение по-прежнему носит имя большевика Кирова. Сейчас возвращаются исконные имена тех, кому мы обязаны многим. Так не пора ли увековечить память человека, который дал шахтерам машину вместо обушка и лопаты?»

Полностью разделяю огорчения краеведа и его мысли о памяти. Поспешим же! Взяв за пример хотя бы Мерцалова и его пальму.

Однако в слове, которое, как известно, вечно, Алексей Иванович Бахмутский все-таки увековечен писателями, выходцами из Донбасса, — Леонидом Жариковым и Георгием Марягиным. Первый написал в 1956 году документальную повесть о нем — «Великий первомаец», второй опубликовал в книге «Слово о шахтерах», изданной в Киеве в 1957 году, документальный рассказ — «Подвиг механика Бахмутского».

Между прочим, в этом же рассказе поминается известный руководитель угольной промышленности Донбасса, в то время заместитель управляющего «Донугля» Егор Трофимович Абакумов, с благословения которого Бахмутский и взялся «портить» технику — переделывать врубовку на угольный комбайн. Помянем и его добрым словом.

Третьим же самородком, чуть ли не в прямом смысле выданным на-гора из недр Донбасса, явился поэт Павел Григорьевич Беспощадаый.

Он родился в селе Сеславь на Смоленщине в 1895 году. Вместе с семьей безземельного крестьянина переехал в Донбасс, с двенадцати лет пошел по стопам отца-углеруба и познал в малолетстве едва ли не все подземные шахтерские профессии, начиная с лампоноса... Свой первый стих написал там же — мелом на вагонетке с углем, для откатчицы Оли:

Кричали Оле «браво», «бис»

Веселье шахтеры,

Когда летели клетки вниз

В угрюмой шахты норы...

Впоследствии он вспоминал:

В том краю я летал коногоном,

Там мои побратимы-друзья.

И на ржавом подземном вагоне

Напечатана песня моя.

В 1924 году опубликовал в Бахмуте, на страницах газеты «Всероссийская кочегарка», и одно из своих первоначальных «серьезных» стихотворений — посвященное бастующим шахтерам германского Рура.

В 1930 году издается сначала в Бахмуте, а потом и переиздается в Москве его первая «Каменная книга» с программным стихотворением для всего дальнейшего творческого пути:

*Книга, книга с черным переплетом,
 Не такой я, чтоб башкой поник.
 В черный улей, в каменные соты
 Я принес шахтерские огни.
 И не скрывать тебе глубокой тайны,
 Как не скроешь от шахтера газ:
 Я ведь твой читатель не случайный,
 Многотомный каменный Донбасс...
 Правда, что тверды твои страницы,
 Трудно открывать их каждый раз,
 Но смету подземные границы
 И найду поэму и рассказ.
 ...Пусть беру твои страницы с бою
 И тружусь я над собой в поту —
 Я недаром вырос под землю
 И тебя, премудрая, прочту.*

Этому он и посвятил всю свою жизнь. Не имея никакого образования, Павел Беспощадный «самостью» своей обрел энциклопедические знания под стать Максиму Горькому. Он потом не раз будет вспоминать:

*Есть такой городок шахтерский,
 Мне вовек его не забыть...
 Там и слезы я прятал в горстку,
 Там учился работать и жить.
 Там впервые «скачали» в клетки,
 В преисподнюю пасть ствола
 (Мы — шахтерских поселков дети,
 Нас нужда в кабалу вела)...
 Нам бы только учиться в школе
 Под крылом матерей, отцов,
 А судьбина по шахтному полю
 Разбросала горняцких птенцов...*

Кроме заглавного стихотворения, в первую книгу Павла Беспощадного вошли и стихи первопечатные — «Шахтерам

Пура» и «Откатчица Оля», и знаменитое — «Коногон», с пророческой заключительной строфой:

*Он идет, этот сильный век,
Слышу грохот и лязг его брони.
На всю шахту один человек
Будет, будто шутя, коногонить!*

И стихотворение «Мы пришли», с памятной первой строфой:

*Наши ль мускулы остынут?
Мы живем в горячем веке.
Мы пришли, чтоб горы сдвинуть,
Обуздать шальные реки...*

И целый цикл «В лихолетье», с наставлением отца-забойщика:

*Хватит в конуре-каютке
Задыхаться в жизни чадной...
Приготовься, сын, к побудке,
Будь к буржуям б е с п о щ а д н ы й...*

В этих строках отчасти кроется загадка его псевдонима. Ведь настоящая его фамилия была — Иванов.

Известный русский поэт Ярослав Смеляков посвятил такому факту из жизни собрата по литературным пристрастиям отдельное стихотворение, которое и озаглавил адресно «Павел Беспощадный»:

*В начале века этого суровом,
в твоих конторских записях, Донбасс,
вписал конторщик Павла Иванова —
фамилию, не редкую у нас.
Я с точностью документальной знаю —
не по архивам личного стола, —
когда к нему фамилия вторая,
откудова и для чего пришла.
Среди имен обычных, заурядных —
как отзвук нескончаемых атак —
он выбрал имя — Павел Беспощадный,
и с этих пор подписывался так.
Фамилия безжалостная эта
уместнее была наверняка*

*не на стихах лирических поэта,
а на стальных бортах броневика.
Уж хорошо ли это или плохо —
она собой определяла стих.
В твоём распоряжении, эпоха,
тогда фамилий не было других.*

Словно бы предрекая собственное будущее, Беспощадный еще в самой первой «Каменной книге» писал:

*Путь Донбасса извилист, неровен
Для горняцких простых увертюр.
Но придет все же черный Бетховен
Из подземных гранитных конур!*

И он явился им! Воспел Донбасс! От его лихолетья прошлого до современных дней. Воспел своей неповторимой каменноугольной лирой, тем самым став его первопевцом и первооткрывателем шахтерской темы в русской поэзии.

Поэт русской классической школы Николай Ушаков, живший и творивший в Киеве, в 1955 году написал:

*Вся ли нами страна замечена?
Вся ли
в строки вошла стихов?
Беспощадный открыл Донетчину,
Приамурье — Петр Комаров.*

Он же назвал Павла Беспощадного родоначальником шахтерской традиции в многочисленных творческих поэтических течениях XX века.

И Смеляков, и Багрицкий, и Светлов, и Исаев, а с ними и Сосюра, и Рыльский, с которыми Беспощадный был дружен благодаря приветности своей природы и огромной основательной эрудиции, называли его не иначе, как самородком.

У него по-самородному много таких строф, которые стали афоризмами:

*Буйно наше время
Ринулось вперед.
Не попавший в стрема
На бегах умрет...
Кто в победу верит,
Тот и победит,*

*А кто бездну мерит,
В бездну угодит!*

*Я бы с солнцем распростился —
Шахту я слепым найду, —
Ведь на память знают птицы
Путь к родимому гнезду.*

*Живет Донбасс! Сирена шлет сирене
Горняцкой дружбы благовест стальной:
Донбасс никто не ставил на колени,
И никому поставить не дано!*

*Человек, рубающий алмазы,
Просто называется — шахтер.*

*Когда идет шахтер навстречу —
Благоговей!
Он света нового предтеча,
Он — Прометей!*

*И сердцем я не холодею,
И молодею потому,
Что я сокровищем владею:
Донбасс — название ему!*

*Я не только пишу о Донбассе,
Я Донбассом живу и дышу.*

*Стих, как камень, канет в Лету,
Коль бесстрастен, сер и сир...
Слава скромному поэту,
Кто упрям, как ювелир.*

Отроду будучи самородком, он прежде всего пекся и о самородности своих стихов, не поддаваясь никаким влияниям экспериментальным в первой четверти XX века:

*Рядом с песнею иду я:
Светлый штрек иду бурить,
Чтоб песчинку золотую
Самым близким подарить.
Язык шахтерский
Песенный, простой...
Я слышал то в забое,
То в проходке,
Чтоб добрым даром
В книге золотой
Шахтерских душ
Остались самородки.*

В свое время Павел Беспощадный писал:

*В этой ломке, перестройке
Мы откроем в счастье двери.
Устоит, кто будет стойким, —
Устоит, кто в стройку верит.*

Не думал, не гадал он, что настанет время иной перестройки, а затем и распада Страны Советов, которой он гордился и в светлое будущее которой искренне верил... И начнут скорые на расправу лихачи-рифмачи расправляться и с его верой, и с его творчеством, по сути с ним самим. Мол, воспевал-де партию Ленина, коммунизм... Сталина...

Но позвольте, кто ж не писал тогда обо всем этом? И тот же Павло Тычина, и Александр Твардовский... Так что же, позволительно спросить, зачеркивать из-за этой самой «Партия веде...» и «Сонячні кларнети», которые были откровением в украинской поэзии начала XX века? Или пинать почему зря поэму «Василий Теркин», ставшей народной, наподобие «Конька-горбунка»?

То же самое можно сказать и о творчестве Павла Беспощадного. Главное, о чем он писал, — были Донбасс, его рабочий люд, шахтеры, прошлое и настоящее... И этого никому у него не отнять, как и не повторить! По сему случаю можно вдобавок привести еще один его афоризм:

*Коль песнь народу сердце греет,
Певец вовек не постареет!*

Однако самородок есть самородок: он самородно словно бы предчувствовал все эти поветрия, когда скоропалительно ражие стихоплеты взялись ворошить наши золотые, самородные запасы и все в этих бесценных кладовых, будто в самих недрах Донбасса, опрокидывать с ног на голову, по-бедламному вверх тормашками. И в предсмертном четверостишии, которого никому до своей кончины не показывал, высказал потаенное:

*Не знаю я, какой наградой
Меня шахтеры одарят,
Но говорю: со смертью рядом
Бессмертья спутники парят.*

Человек скромный, застенчивый, с хрипловато-робким голосом, со сбивчивой скороговоркой, он и здесь остался верен своей природной одаренности — иносказательно предсказал необходимость его поэзии людям в будущем.

Благодарные земляки-горловчане присвоили имя Павла Григорьевича Беспощадного городскому литературному объединению, многим питомцам коего он давал рекомендации для поступления в профессиональные Союзы писателей не только Украины, а также присвоили улице, на которой он жил, а в музее истории Горловки открыли отдельный зал, экспонаты которого наглядно-предметно рассказывают о жизни и творчестве незаурядного поэта, Почетного шахтера и Почетного гражданина их города.

В повседневности мы нередко повторяем его строфы-афоризмы, зачастую даже не задумываясь об их авторстве. Это ли не признание, это ли не залог долгожительства, когда твое слово остается жить в твоём бессмертном народе?!

Обо всех троих самородках земли донецкой — и о Мерцалове, и о Бахмутском, и о Беспощадном — думаю с неизбывной гордостью.

И в который раз восхищаюсь: как же ты щедр, как самороден, Донбасс! В прямом и переносном смысле.

Да не иссякнет вовек твоя самородность!

ДУМА О РАБОЧЕМ ГУДКЕ

Чудится, порой даже явственно чудится, будто разноголо-
дые рабочие гудки, смолкшие в Донбассе во второй половине
XX века, и по сию пору витают, разносятся отдаленным эхом
над ширью донецких степей...

Что за диво были эти гудки-гудочки! Точно перекликаясь
меж собой на разные лады, то басками, то дискантами, а то,
похоже, и мальчишескими озорными, бойкими посвистами,
они сливались в единый некий благовест, оповещающий по
утрам рабочую округу о рождении нового трудового дня.
Ни дать ни взять, перезвон церковных колоколов!

Долгие годы они напоминали мне третьих петухов, кото-
рые наперебой, как бы торопясь друг поперед дружки, враз
будили весь наш хутор, затерянный в глухой степи посреди
бугров и балок. Ибо с детства вошли в мое естество, да,
пожалуй, и в душу, призывно-тревожными, отчасти веселы-
ми, а больше загадочными гудками никогда не виданных
мною поездов, что незримо, где-то за дальними буграми
мчались в неведомые края.

В особенности же зимой, когда и лесные полосы, и балки,
и бугры были сплошь завалены снегом и все застывшее в
морозном оцепенении пространство окрест казалось равнин-
ным и уходило во все стороны света необозримой белиз-
ной, — тогда гудки паровозов делались гулками, далеко
слышными. Они перекатывались и растягивались по всему
горизонту в той стороне, где, по рассказам деда, была «чу-
гунка», железная дорога, — все дальше, дальше, сникая и
теряясь в искрящейся под солнцем и слепящей глаза снежной
безбрежности.

Но не успеет насовсем стихнуть один, как его подхваты-
вает другой, усиливает и несет в обратном направлении.

Слушать этот их манящий, загадочно-призывный клич
было и радостно, и томительно. Потому как гудки манили,
притягивали, словно бы звали за собой туда, куда уносились
вместе со скрытыми из виду поездами — наверняка на какие-
то необычные станции и полустанки, в сказочно дивные
города, залитые электрическим светом по вечерам, в отличие

от дедового хутора, каких я сроду не видывал, а только читал про них. Ноги сами по себе так и порывались вослед, как если бы и вправду можно было догнать уходящий состав и вско-чить на его подножку.

А под закат солнца, если уходили, огласив пустынные заснеженные поля торопливым бодрым вскриком, и вовсе казалось, что путь они держат чуть ли не на край света. Как тут не позавидовать тем, кто в них едет?

Взобравшись на ветряк, стоявший в хуторе на самом высоком месте, привстав на цыпочки, чтоб дотянуться до заиндевелого оконца, я всматривался в окоем, то и дело озвучиваемый приглушенными паровозными криками, всматривался до наплывающей слезы, стремясь разглядеть хотя бы паровозную трубу или хвостатый дым, как мне представлялось, чтобы не только ухом уловить, а и глазом узреть ту, должно быть, жаром пышущую машину, что подает призывные сигналы. Но нет, нигде ничего, ни пятнышка на белом фоне! Одна резь в глазах. Да холодная слеза, которая застит свет.

Тяга познать неведомые земли, куда уходили поезда, их манящий зов так и остались во мне неутоленной жадной к перемене мест, странствиям с тех давних пор и по сию пору. Оттого, знать, и неистребим во мне отзвук давнишних гудков.

Позже, живя уже вблизи индустриального городка, в наполовину сельском, наполовину рабочем поселении в одну улицу, и слыша, помимо паровозных, еще и заводские, и шахтные гудки и зная наверно, что последние зовут рабочий люд на смены, я все равно воспринимал их по-деревенски, как петушину побудку.

И лишь в Горловке, когда погибли шахтеры на шахте «Кочегарка», я впервые услышал совсем иные гудки и воспринял их по-иному. Они следовали один за другим, до двенадцати раз, оповещая о трагедии. Двенадцать колокольных ударов подземной беды! Прямо мороз продрал по коже! А вокруг благоухал теплый, душистый от цветущих садов последний месяц весны...

А потом и прочел о подобном гудке у писателя прошлого века Алексея Свирского, в его рассказе «Пожар»: «Пожар

произошел поздно ночью, когда за исключением работавших в шахте углекопов, все давно уже спали. По темной равнине пронесся протяжный жалобный гудок. За первым последовал второй, третий... И вскоре острые, сверлящие крики пара слились в потрясающий вопль».

Очеловечивание рабочего гудка встречается и у Куприна: «Резко нарушая прелесть этого прелестного утра, гудит на Гололобовской шахте обычный шестичасовый свисток, гудит бесконечно долго, хрипло, с надсадою, словно жалуясь на что-то. Звук этот слышится то громче, то слабее. Иногда он почти замирает, как будто обрываясь, захлебываясь, уходя под землю, и вдруг опять вырывается с новой неожиданной силой».

Немногим ранее Глеб Успенский писал: «Он (рабочий человек. — *И. К.*) знает, что жизнь его от юных дней до могилы будет только растрачиваться, без малейшей для него личной надобности, с самою математическою точностью; растащат ее, расщипят фабрики, заводы, шахты по часам, по звонкам, по свисткам, а не зря, не «дуром», не как-нибудь. Знает он, что этот унылый и угрожающий свист заводского свистка в темную ночь, до зари и до заутрени, растревожит его и поднимет на усталые ноги. Знает он, что и сонный вскочит он на этот свист, и сонный станет у станка, и сонный полезет в темную, сырую шахту...»

Как бы освищенной этими гудками видится судьба углекопов и Вересаеву: «В шесть часов утра далеко где-то раздается гудок, соседние рудники подхватывают его, и гудок проходит по всей бесконечной линии шахт. Рудник оживляется: подъемные машины вытаскивают из-под земли ночную смену; от зданий шахт расходятся во все стороны черные мокрые фигуры шахтеров с чадающими лампочками. Собирается дневная смена. Раздается второй гудок, рабочие зажигают лампочки, по три, по четыре человека садятся в клеть и исчезают в шахте. Рабочие ночной смены завтракают и укладываются спать. На руднике снова становится безлюдно. Только стучат топоры плотников, строящих новую контору, да на эстакаде мелкают фигуры откатчиков: согнувшись и вытянув перед собой руки, они катят нагруженные углем вагончики и с грохотом опрокидывают их под отвалами.

В полдень на руднике опять раздается гудок. Рабочие вылезают обедать. Через час они уже снова под землей. В шесть часов вечера происходит смена. По подъездному пути приходит со станции поезд, оставляет пустые вагоны и увозит нагруженные. К девяти часам на руднике все смолкает. В тихой, душной ночи раздается только стук подъемной машины и бесчисленные сверчки без умолку трещат в щелях стен. На горизонте стоит зарево от громадных коксовых печей соседнего рудника».

Что и говорить, тогдашний труд углекопов, полагавшихся в основном на собственную силенку, удачу да на Бога, ежедневно подвергавшихся смертельному риску либо быть заваленными обрушившейся породой из-за плохого крепления, либо быть взорванными и обожженными болотным газом — метаном, поскольку освещали подземную темень и мрак открытыми свечами или лампой «Бог помочь», тоже с незащищенным пламенем, — такой каторжный труд и впрямь был сушей каторгой. О себе шахтеры, отчаянный народ, припевали:

*День и ночь мы со свечами,
Смерть таскаем за плечами.*

Шахта изматывала их до смерти. И всякий гудок, напоминавший о том, что вновь надо спускаться в подземное царство страшного властелина угольных кладов Шубина, чей норев было не понять даже с грамотой, вызывал, наверное, зубовой скрежет.

Старые гудки, будь то шахта, будь то завод, то ли соляной рудник, лишь в том случае радовали сердце трудяги, когда оповещали конец смены. В остальных же случаях от них добра, как видимо, не ждали.

Проникся и я этим чувством поневоле, начитавшись про тогдашнее житье-бытье углекопов и заводчан.

И хотя повсюду внедрялась новая техника, облегчался труд рабочего человека, не скоро, далеко не скоро возродилось во мне заполученное смалу восторженное восприятие трудовых гудков, какими явились мне тогда вскрики далеких, невидимых за буграми поездов.

Какое же это отрадное состояние было! Вроде снова вернулся в детство, на хутор, откуда влекло неудержимо помчаться, помчаться степью через бугры и пригорки, вслед манящим паровозным гудкам в неведомые края, в непознанный мир. Даже в сердце что-то отмякло.

А помог мне в этом давний старший друг, писатель Леонид Жариков, уроженец Донбасса, беззаветно любивший и восславлявший свою отчину, шахтерскую землю и ее трудовых людей лирическим, восторженным словом. По натуре он, несмотря на годы, оставался романтиком. И написанное им в то время было сродни моему молодняковому настрою. Свой этюд углем он так и назвал: «Гудки труда». И вот как славил их:

«Красиво поют по утрам гудки в донецкой степи.

В прозрачном чистом воздухе, напоенном ароматами, спозаранку начинают призывную переключку гудки. То где-то очень далеко, точно корабль в море, то совсем рядом, за байрачным леском, где возвышается черная гора шахтного террикона. Справа, слева, впереди разноголосо тянут гудки свои бодрые утренние песни. Вот один усердно выводит высокую, почти свистящую ноту. Другой, далекий, вторит ему спокойным бархатным баритоном. Третий подпевает хриловато, будто сердится спросонья. Но вот, заглушая все, загремел могучий бас. Минуту он царит над степью. Листья на тополях дрожат от его могучего рева. Прокатился, как гром, и замолк, только эхо отдалось в степных балках. И тогда в тишине опять стали слышны отдаленные гудки на других шахтах. Гудки труда! Кто не бывал в синеющих просторах донецкой степи и не слышал по утрам этого торжественного пения, тот не испытал чувства радостного беспокойства, когда кажется, что гудки зовут тебя, что это ты должен торопиться туда — в завод, в шахту, где бурлит жизнь, где товарищи твои уже стоят локоть к локтю и трудятся, только нет в тех рядах тебя, твоих умелых рук.

Есть что-то мудрое и величественное в этом неторопливо спокойном, торжественном и суровом призыве, точно это сама жизнь зовет тебя к труду, к смелым деяниям. И ты, где бы ни шел в эту минуту, невольно прибавишь шагу, потому что это тебя зовут гудки, целый нестройный хор гудков...»

Этюд этот никогда прежде не печатался, лишь в посмертном собрании сочинений писателя. И, должно, взят из заветных записей в записных книжках. В нем угадывается потаенная тоска по отчей земле, постоянные думы о ней, не до конца высказанная любовь.

Для многих поэтов земли донецкой гудки рабочие были и сиренами в степи, и посланными трудовыми соперниками из соседних шахт и заводов дружескими приветами, и музыкой, и песнями — «як знак і щастя, і надій»...

Но для всех без исключения — непременно призывом соборным к трудам праведным!

*Як передати, Донбас, твою красу
і силу
І подвиги в труді синів твоїх ясних,
Що у борні за мир незламні
мають крила
Й упевненість в ході
для сонячних доріг.
Комбайна гордий гул
і шахтарів обличчя,
Що вкрив рососою піт,
і клич твоїх гудків,
І клекіт орлій домн,
і сталі гомін вічний,
Що лине в вишину із заводських
цехів...*

Такими они слышались Владимиру Сосюре, украинскому поэту.

А вот какими — Павлу Беспощадному, русскому поэту:

*Люблю донецкие сирены
В степной послушать тишине,
Как проплывает неизменный
Их голос в синей вышине!
И выше счастья нет на свете,
Когда сольется дружный хор...
И кажется, по всей планете
Гремит шахтерский разговор...
От террикона к террикону,*

*Чрез лоно рек, шатры лесов
Плывет упрямый, непреклонный
Труда неугасимый зов...*

Рабочие гудки! Символ труда... Вечный зов для трудового люда...

Как поверка, переключка, все ли в рабочем строю...

И как горькая память о прошлом, о том, в каком лихолетье непосильном доводилось трудиться глубоко под землей углекопам старого Донбасса, у дышащих, пышущих изнуряющим огнем домен и мартенов...

А еще и неизбывный траурный реквием по тем, кто не вернулся из угольных забоев, из соляных и ртутных рудников и шахт, из знойных заводских цехов, из разбушевавшегося моря и унесшего в свою гибельную пучину азовских рыбаков и моряков... Вообще по всем тем, кто не вернулся со смены, с вахты, с дежурства...

В зависимости от того, кому что почудится в них.

Однако наперекор всем наземным и подземным стихиям, вопреки неудачам и трагедиям, все ж неизменно, неистребимо возвышается к небу их заглавный для рода людского гуд — торжество человеческого труда!

Разноголосые гудки в Донбассе повсеместно упразднили на исходе XX века, чтоб окружить целебной тишиной вконец задерганных социальными катаклизмами людей.

А может, и для того, чтобы они не протестовали, не объявляли забастовок и голодовок, и не восставали, а тихомирно упивались воцарившейся с их отменой мертвенной тишиной и пребывали в блаженном мире-покое.

Ан нет! Нервы остались нервами, психика психикой, и люда на подходе к вершине века еще больше суетится, еще больше нервничает и психует от сплошного бедлама, в который ввергли его политики и правители по своей близорукости или из своей корысти, и зябко передергивает плечами в опаске, что на верхотуре тысячелетия его и вовсе прошибут сквозняки безвременья, с ног сшибут и повалят в открывающуюся пред ним бездну третьего тысячелетия от рождества Христова современные ветродуи несостоятельных перемен на родной

земле, затеянных якобы во благо человека, соотечественника, да вот незадача — не получилось, как намеревались, недоучли чего-то, допустили некоторые ошибки, промахи, досадные промашки, ну совсем незначительные, а — вишь! — как оно обернулось, да и урожай подвел — погода явно обозлилась по сатанинскому наущению какому-то, весь подчистую, прямо на корню извела и засухой, и жарким, без единой дождинки, небом, и ветрами, которые, вроде по злему умыслу, опять дули не в наши паруса... А еще и соседи не подали руку помощи, потеряли дружеское чувство локтя... И никто не попрекнет себя в недомыслии, не покается в грехах, взяв на себя смелость вести за собой народ целой державы! А будут по-прежнему звать к труду самоотверженному, к повышению его производительности и скорейшей отдаче. Ну и, конечно, к несокрушимой национальной идее, несмотря на заплаты и сверкающую сквозь прорехи голую плоть...

Тут мало сказать: «Окститесь, вельмишановні-многоуважаемые!» Для этого ведь необходимо иметь совесть, заполученную от отца-матери, как собственный остаток отторгнутой пуповины... И какой-никакой страх перед Страшным судом.

Кручусь-верчусь и я в этой чертовой каруселе, как белка в колесе. Вроде бы изо дня в день совершаю бег на месте. А время сквознячно проносится над моей макушкой, ощущая его холодные завихрения, точно саму вечность.

Пребывая в этом неистовом круговороте нынешнего безвременья, глядя на то, что деется и во всей Украине, и в моем родном Донбассе, порой чувствую, как из меня начинает потихоньку ускользать и надежда, и вера, и даже любовь...

И тогда хватаю книги великого жизнелюбца и великого патриота Донбасса Бориса Горбатова и лихорадочно листаю лучшие его страницы, которые прямо жарко дышат надеждой, верой и любовью к отчому краю, и тем самым укрепляю их и в себе самом.

Выхватывая глазами отдельные абзацы и фразы, всякий раз натываюсь — как нарочно! — на эпизод о гудке, описанный в романе «Донбасс». Не берусь своими словами передать темпераментную, зачастую публицистически заостренную

прозу писателя. А посему воспроизвожу весь эпизод в оригинале.

«Был такой случай в истории шахты «Крутая Мария»: у нее украли... гудок.

Случилось это давно, в 1921 году. С превеликим трудом восстанавливали тогда шахтеры «Марии» свою родную шахту, назначили уж и утро пуска, а за день до торжества хватились и выяснили: гудка нет. Шахта стала безголосой.

Сначала в кражу даже не поверили. Ну кому нужен свисток? Кто и зачем полезет ради него на трубу? Решили, что его просто сбило ветром. Надо ставить другой.

Но к вечеру выяснилось: гудок действительно украли. И украли его мальчишки с «Софии», украли из хулиганства, из шахтерского озорства, из коногонного молодечества и с торжеством принесли к себе на «Софию» и вручили старикам: вот, мол, какие на «Крутой Марии» ротозеи, свой гудок прозевали.

Узнав об этом, директор «Крутой Марии» пришел в ярость, он требовал, чтобы немедленно была поднята на ноги милиция, озорники арестованы, а гудок возвращен хозяевам. Инженер-технорук, пожимая плечами, сказал, что вся эта история выеденного яйца не стоит; поставим новый — и все!

Но старики шахтеры только печально покачали головами.

— Э, нет! — говорили они. — Новый гудок — не старый! Не спорим: может, новый и лучше будет, и чище, и на звук приятнее. Да только будет он нам чужой. А мы к своему привыкли. Мы его, хрипушу нашего, бывало, по утру из всех гудков в окрестности отличим. Чужой гудок тебя и не разбудит, а свой запоет — сразу, как молодой, вскинешься...

— Мы ведь о чем мечтали? — прибавил от себя дядя Онисим, тогда еще не комендант общежития, а крепильщик. — Мы ведь о том мечтали, когда шахту восстанавливали, что вот придет-таки одно прекрасное утро и запоет наша кормилица на весь мир, как и раньше. А теперь как же? Торжество, а «Крутая Мария» гудит не своим голосом! Обидно будет... И не узнают люди, что это именно «Крутая Мария» ожила...

— Я ж говорю, — вскипел директор, — надо милицию на ноги поднять.

— Э, нет! — опять не согласились старики. — И так не можно. Позвольте-ка нам самим дело уладить по-своему, по-шахтерски...

И они поступили по-своему. Тем же вечером старики (а были среди них люди и сорока лет, не старше; но «стариками» на шахтах зовут не тех, кто долго жил на земле, а тех, кто много лет протрубил под землей) надели свои парадные костюмы — самое лучшее, что у каждого в сундуках было: люстриновые «тройки», в которых еще под венец шли, тугие крахмальные воротнички или вышитые нежными узорами рубахи под пиджак навывпуск, а те, кто воевал, — аккуратные трофейные френчи с алым партизанским бантом над левым карманом; а сторож инвалид Мокеич даже Георгиевский крест нацепил и ни за что не согласился снять этот старорежимный знак, объясняя, что добыл его кровью, — и торжественной процессией отправились на «Софию»: кланяться соседям, просить обратно гудок, выкупать его несколькими ведрами самогона.

И ранним утром следующего дня загудел, раскатился над озябшей степью старый гудок «Марии» и поплыл над холмами, над туманами, над влажными от росы крышами, никого не разбудив, — ибо все ждали его и не спали, — и всех обрадовав. И, заслышав знакомый голос «Крутой Марии», со всех концов поселка побежали к шахте люди, счастливые и гордые. Стали собираться у ствола. Долго, хрипло и недружно, но от всей души кричали «ура». И бросали в ствол шапки и рукавицы.

А гудок все плыл и плыл над степью...

И старики крестились на звук гудка, как на звон церковного колокола...»

Этот эпизод мне почему-то запомнился с первого, давнишнего, прочтения. И когда в нашем, искони рабочем крае повсеместно заглушили рабочие гудки, у меня возникло такое чувство, будто бы их тоже украли. Да не вернешь, как в книге.

Чувство это не покидает меня и поныне. Нет-нет, да и взрывается из глубины естества. И понимаю вроде бы современный подход к вредным шумам и звукам, которые влияют-

де на человека с худшей стороны, а поделаться с собой ничего не могу.

И когда по утрам слышу в Донецке единственный, да и то робкий, заводской гудок, по всей видимости, все на том же когдашнем Юзовском металлургическом заводе, с которого, как принято официально считать, и зарождалась шахтерская столица, душа моя неизменно вздрагивает, обрадованно воспринимая его как давний, пусть и попранный, однако все еще находящийся во мне отзвук, вечеровой призыв к трудам праведным, дабы облегчить и свою участь, и участь родных и близких, и посылить с земляками достойную будущность отчего края.

2000

ДУМА О ПАМЯТНИКАХ ТРУДА

Каких только памятников не понаставлено на земле! В родных пределах и по чужим далям.

И кому только не поставлено! И людям, и зверям, и птицам...

Вдоль проселков и шумных автомобильных магистралей, перехлестнувших стремительно весь Донецкий край с севера на юг и с востока на запад, замерли над деревянными срубами колодцев с доброй, питьевой водой чугунные аисты и журавли — как символы верности отчему краю. Ведь эти перелетные птицы по весне неизменно возвращаются в места своих извечных гнездовий и после трудного далекого, долговременного перелета, в котором набивают на крыльях кровавые мозоли, одолев неимоверное пространство над горами, морями и океанами, они при виде родной земли оглашают лазурное, осиянное вешним солнцем поднебесье победно-торжествующими криками и радостным курлыканьем. Будто напоминают нам, что там, где они не раз вынужденно побывали, да и на всем земном шаре, ничего милее, ничего отраднее нет, нежели отчий край. Всякий раз так и подмывает подпеть им:

Не нужен мне берег турецкий

И Африка мне не нужна...

И всякий раз неотступно выплывают и выплывают из памяти строки Павла Беспощадного, посвященные журавлям:

*Над копрами журавли курлычут,
Отлетает утренний туман...
Кто их — солнце или ветер — кличет
На гнездовье из далеких стран?
Точно тушью, четко нарисован
Треугольник в небе голубом.
Сколько их осталось у Ростова,
Сколько их протрубит над Донцом?
Длинношеих, шустрых, быстроногих
Часовых тревожных камышей,
Сколько их отстало по дороге
У порога родины моей?..
Победили все они заслоны,
Вынесли жестокие ветра...
Потому я дружеским поклоном
Встретил их, крылатых, у копра.
Нет дорожке родины любимой
Человеку, птице и траве.
С этой силой дали победимы,
Выше травы, краше человек...
Точно тушью, четко нарисован
Треугольник в небе голубом.
Сколько их родится у Ростова,
Сколько оперится над Донцом,
Чтобы вновь курлыкать над копрами
И летать за дальние поля,
Чтоб единоборствовать с ветрами
За тебя, любимая земля!*

Стоят в разных странах — примером, в Италии, Японии — и памятники безымянным собакам, поразивших людей своей нечеловеческой преданностью... А в России — собаке Павлова, благодаря которой ученый на основе созданного им метода условных рефлексов открыл для человечества вторую сигнальную систему в высшей нервной деятельности человека.

И, конечно же, памятники видным ученым, писателям, художникам, композиторам, артистам, героям, даже персонажам необычайно популярных книг.

Но более всего их поставлено правителям: фараоном — в виде египетских пирамид, императорам, монархам, вождям, генсекам, президентам — золотых, бронзовых, гранитных, железобетонных... Вроде противотанковыми надолбами утыкан ими весь земной шар!

Не минула сия то ли греховная, то ли невольно обманная участь и Донецкий край. Подобными памятниками — сначала Сталину, потом Ленину — были заставлены, как, впрочем, и в других отечественных уголках, почти что все главные площади во всех городах, лучшие проспекты, парки и скверы, вплоть до оживленных лесных тропинок в пионерских лагерях либо в Придонцове, либо в Великоанадолье, точно так же, как и на песчаном жарком побережье Азовского моря...

Их то сносили, рушили до основания, то устанавливали и восстанавливали, то снова крушили остервенело... Как если бы хотели отрешиться от собственной памяти, от того, что вольно или подсознательно деяли на земле отцов и прадедов. В зависимости от того или иного социального веяния и последующего, как бы внезапного, прозрения нашего.

Что поделаешь, подвержены, подвержены все ж мы, смертные, почти суеверному идолопоклонству еще с дохристианской поры — потому как всячески втраплялось в нашу сущность великими мира сего.

Вот тебе и «живая летопись истории», эти вождистские скульптурные и архитектурные сооружения! Известно, не вечные письмена, пережившие века, не бессмертное слово, не песни народные, которые из человеческих уст, из сердца, из души и памяти не вырubiшь никаким топором, пока жив человек.

Благо, в нашем Донецком крае, искони трудовом, все же предпочтение отдано истинному покорителю времени, подлинному творцу его — рабочему человеку.

Вряд ли найдется где-нибудь еще во всем мире такая земля как Донбасс, где бы столько было памятников труда. Труда, который, если верить Дарвину, и сделал человека настоящим человеком — *Homo sapiens!*

Может потому, что в нашем отродясь рабочем крае этот труд был не просто напряжением физических сил, третьими сменами и седьмым соленым потом, а был, по выражению Горького, возвышен до высоты искусства.

Оттого и хранится в Кадиевке отбойный молоток Алексея Стаханова, а в Горловке — лампа Никиты Изотова, в Славянске — паровоз Петра Кривоноса, а в Мариуполе — марте-новская печь Макара Мазая, а в Старобешевском районе — трактор Паши Ангелиной «Универсал», похожий на кузнечика из-за тонких и высоких задних колес и низких передних.

А сколько не персональных, а как бы обобщающих памятников, памятных знаков, стел! Они символизируют породненный труд многих людей. И названия у них не двусмысленные: это и «Слава труду» в Луганске, посвященный первому построенному здесь в 1900 году паровозу; и «Труженикам Луганщины», воздвигнутому в ознаменование преодоления небывалой разрухи после гражданской войны; и «Сын Донбасса», что поставлен у трассы Луганск—Краснодон близ Молодогвардейска и знаменующий собой открытие в здешней местности новых богатых залежей коксующихся углей; и «Слава шахтерскому труду» — в виде шахтера во весь богатый рост, с глыбой угля на вытянутой вперед ладоне, поставленному в Донецке при слиянии широких улиц, ведущих из аэропорта и железнодорожного вокзала — вроде бы для приветствия гостей, прибывающих в шахтерскую столицу.

Последний памятник, разумеется, не сравнишь со знаменитой Статуей Свободы, установленной в Америке на берегу океана. Ибо сооружен был в строгих рамках соцреализма. И не является, как она, символом свободы и защиты прав человека. У него иная задача — показать тем, кто впервые приезжает в Донецкий край, чем богата наша земля в первую очередь и какому труду, наиглавнейшему, наитруднейшему,

воздастся у нас должное почтение. Шахтерскому! И самим шахтерам, добывающим в подземных глубинах свое, шахтерское солнце.

Есть на нашей земле и памятники, косвенно говорящие о шахтерском труде. Это — терриконы, отвалы пустой, ненужной породы.

И хотя с нынешних экологических забот мы и озеленяем их, и раскурочиваем и перевозим в эрозивные яры, все же, как не менялось бы отношение к ним с насущных задач и опасений из-за вредности, какую могут они приносить, тем не менее они придают особый облик Донецкому краю.

Вот как опозитизировал их в своих лирических этюдах писатель-донбассовец Леонид Жариков:

«Величаво и гордо стоят терриконы. Над ними плывут облака, точно сама вечность проходит над ними.

Что-то поэтическое есть в задумчивом и мудром облике терриконов. Сколько здесь человеческого труда! Не высчитать, не измерить! Они насыпаны не одним поколением шахтеров. По камню, по глыбе складывались они. Многие уже старые, с морщинистыми заросшими бурьяном склонами, со снятыми рельсами, горбатые от времени. Тут же красуются новые, только рождающиеся, они еще не выше одноэтажных зданий.

Горы шахтерские — близкие, туманные, пепельно-серые, крутоверхие, красновато-бурые, продолговатые, осевшие, словно гигантские шлемы. Летом — обожженные палящим солнцем. Зимой — заснеженные, а если ветер сдует снег с вершины, то кажется, будто горы стоят по пояс в сугробах. Особенно красивы терриконы утром: издали бледно-сиреневые, лиловые. Ночью — сплошь в дрожащих огоньках, точно гора внутри раскалена и огонь пробивается то здесь, то там.

Многие терриконы стоят в донецкой степи не меньше века. Они видели войны и вьюги, иссушающий зной и грозные, как наводнение, ливни. Они окутаны голубоватыми дымками, словно легендами. Низкий поклон им, вечным памятникам нелегкому шахтерскому труду!»

А еще ведь в Донецком крае немало именных полей, своеобразно увековечивших память о тех или иных сельских тружениках, жизнь положивших на то, чтобы земля наша была родючей, не оскудела и чтобы родники в ней не иссякли. И Давыдово поле на Луганщине, и Антоново — на Донетчине... На них, свято оберегаемых, посвящают молодежь в хлеборобы. словно передают им эстафету оратаев от далеких предков, которые жили по совести и в каждодневных трудах праведных возделывали отчую ниву — как житницу всего рода.

Для нашего края нередко характерна такая картина: стоят старые сивые терриконы в степи, а меж ними колосится пшеница, придавая окрестному пейзажу рабоче-крестьянский вид.

Вообще в Донбассе и пейзаж, с его терриконами и заводскими трубами, с его рукотворными лесами и морями — сам по себе уже является памятником труда.

«Тем и дорог моему сердцу донецкий пейзаж, что создан он человеческими руками, — писал Борис Горбатов. — Да, природа обидела, обидела мой родной край, не дала ему ни вольных рек, ни зеленых лесов, ни медвяных трав. Но человек не захотел помириться на скудных дарах природы. Он сам стал богом и создал в степи и леса, и реки, и горы. Оттого в Донбассе не говорят «роща», а говорят «посадка», не говорят «озеро», а говорят «водоем». Даже самый большой и самый красивый лес здесь — Велико-Анадольский — весь насажен руками человека...

Вся степь и живет, и дышит трудом человека. Она вся опоясана электрическими огнями, все небо — в кудрявых облаках фабричного пара, и нежный голубоватый дым, волнуясь, подымается из сотен труб, сложенных руками человека.

Да, не травой, не медовым клевером пахнет сейчас донецкая степь — крепким человеческим потом. Ну что ж! Хороший запах! Слава, слава Человеку Труда, его могучим рукам, его неукротимому сердцу!»

Горбатов был верным сыном Донбасса, самозабвенно влюбленным в отчий край, беззаветно преданным ему в каждом своем слове, какое посвящал родной стороне.

И нам, кто полной мерой разделяет его сыновние чувства по отношению к Донбассу, стоит лишь с внутренним ликованием и гордостью присоединиться к этому восторгу писателя-земляка. Пусть и упустившему из виду, что Донецкий край все-таки богат и на заповедные уголки природы, издревле хранящих многовековую первозданность, — Хомутовскую степь, Каменные могилы, Торские озера, Святые горы, и что не все естественные леса на северном отроге Донецкого кряжа были повыврублены солеварами, и что река былинная Северский Донец все еще многоводна, многоструйна... Как и Азовское море, ласковое и теплое, таящее в шуме волн эхо славной и горькой минувшины бывшего Дикого Поля, которое оно омывало с юга. Писатель хотел сказать то, что зародилось в тот момент в его сердце. О донецком пейзаже — как о Памятнике Труд.

Памятники рабочим людям, памятные знаки и стелы, терриконы, поля, символизирующие труд, его атрибуты — все это памятники труда, свойственные Донбассу, как никакой другой стороне света. Да и сам Донбасс в миру есть уникальный памятник этого созидательного труда! С его неповторимыми наземными и подземными горизонтами, скрытыми богатейшими пластами полезных ископаемых в его недрах и вскрытыми духовными пластами в душе их добытчика — трудового человека, неузнаваемо преобразившего Донецкий край.

Быть причастным к нему не только по земляческому признаку, а непосредственно словом своим и своим делом — все едино, что соавторствовать в сотворении трудовым людом славы и величия всего Донбасса. И обрести великий смысл в житейском повседневном устремлении.

Осознание этой причастности, этого соучастия крылатит душу и придает физических сил.

Не подведи, судьба!

ДУМА О ЗЕМЛЯКАХ

Землячество! Сколько бы ни думал о сути этого извечного понятия, столько раз и волнуясь подспудно.

Ну откуда, откуда в нем такая всевластная и неистребимая сила? Как зов крови!

Наверняка она черпается из глубины прадавних родовых живительных родников. А еще из неиссякаемых ключей доброй воды, которой были вспоены в отчей земле и пращурь наши, и мой прапрадед с прадедом и дедом, и мой отец с матерью. Ибо чувствую, что привязанность и к роду своему, и к родной земле живет во мне смалу в неразделимом единстве.

Не однажды испытал и на себе, что значит землячиться — называться в земляки, дружить как с земляком — и с теми, кто, как и ты, родился в одной и той же местности, и с теми, кто лишь какое-то время обрелся в твоём крае, но для которого он тоже стал сродственным, — зная обо всех этих чувствах не понаслышке, все равно не устаю удивляться и поражаться всемогущности полученной отродясь тяги к отчему краю и к его людям, то ли коренным жителям, то ли выходцам из других земель, но так или иначе связавшим свою судьбу с ним.

Могучее, неистребимое чувство!

Хотя не сразу, далеко не сразу осознал неоднократно слышанное от бывалых людей, что нет силы выше землячества!

Как трудно было взять в толк и другое: «На чужбине и поляк с русским землячится».

Ведь каких только ссор и распрей, и войн не было между Россией и Польшей, без конца посягавшей на ее немеренные, необъятные благодатные просторы. Как, впрочем, и по отдельности Украины-Руси. А поди ж ты, сила землячества ставилась даже превыше всего этого. Знать, и впрямь она неборима и могущественна, как никакая другая, свойственная человеку от пуповины.

Со временем ощутив ее и в себе самом, уже совершенно по-иному относишься к этим давно знакомым понятиям — землячиться, землячество, земляк.

Из преклонения пред ними хочется обособить их и написать с заглавной буквы:

Землячиться! Землячество! Земляк! Или — Земляки!

И еще по-нашенски, попросту — ласковое Земеля!

И все они, как производное, — от Земли родной! Наверное, потерять эти ощущения, это чувство — все равно, что остаться круглым сиротой.

Любая пядь земли в подлунном мире, в том числе и твоей отчины, из которой ты сделал первый шаг в широкий свет, остается безвестной до тех пор, пока ее не откроет, не обживет, не преобразит себе и соотечественникам во благо и не прославит в ближайшей округе, а то и по всем дальним далям своими неутомимыми радениями, своим подвижническими деяниями и талантом человек.

Так случилось и с Донбассом. Его всемирный авторитет тоже сложился благодаря людям, нашим землякам.

Быть бы ему по-прежнему необжитой степью, Диким Полем или по географическому определению просто Донецким кряжем, да и то без собственного имени, если бы не первопоселенцы, не первооткрыватели его подземных кладов и не перводобытчики горючего камня, соли, железных руд и ртути, редких глин и камня строительного и если бы не первопроходцы в отечественной науке и литературе, впервые осмыслившие невиданные богатства земли донецкой и рассказавшие об этом крае всему человечеству; если бы не художники, запечатлевшие на своих полотнах и в скульптуре и явившие миру и его неповторимый облик, и тех, кто этот облик наравне с природой сотворил, да и преобразил на свой лад, изо дня в день неусыпно торя новые пути в познании его тайн и богатств, осваивая их и множа трудовую славу этого преимущественно рабочего края; и если бы не соловьиные певцы, поведавшие по чужим и чужестранным городам и весям о бессмертной душе шахтерской отчины.

Это сейчас он такой, наш Донбасс, что одно его имя — уже как визитная карточка! Оно вроде бы даже опрокидывает

устоявшееся понятие: «Не место красит человека, а человек место». Куда там! Он, он, Донбасс, нынче красит каждого-всякого человека, связавшего с ним свою жизнь.

Стоит лишь заикнуться где-либо, что ты донбассовец, как тут же тебе, еще не ведая о твоих личных достоинствах, выкажут почтительное внимание, окажут радушный прием, скажут приветливые слова, а вдобавок еще и одарят приятственной улыбкой.

Что и говорить, велика притягательная сила и мощь земли по имени Донбасс!

И все же создали это имя люди, наши земляки. За многие десятилетия, а то и столетия до нас.

Донецкому краю повезло на великих земляков. Не каждая страна в Европе или на ином каком континенте может похвастаться таким их числом, целым созвездием мировых имен, как нынче принято уподоблять людей звездам, дабы подчеркнуть ихнюю высоту.

Перво-наперво, классик украинской песни, автор давно ставших народными «Дивлюсь я на небо» и «Взяв би я бандуру...» — Михаил Николаевич Петренко, который родился в Славянске в 1817 году. Его слова, положенные на музыку, со временем как бы отринулись от него самого и зажили в народе своей независимой жизнью. Зачастую их исполняют, не упоминая об авторе. Но в этом и завидная судьба поэта — он стал неотъемлемой частицей души своего народа и будет жить с ним вечно.

Более того, песню «Дивлюсь я на небе» поют и россияне, в собственном, похожем, народном переводе, на свадьбах или других празднествах:

*Гляжу я на небо
И думку гадаю:
Чаму я не сокол?
Чаму не летаю?
Чаму ты мне, Боже,
Да крыльев не дал?
Я землю б спокинул
И в небо слетал.*

Эту песню в подлинном звучании слышал и весь мир. И не просто со сцены, а из Космоса. Пел ее там космонавт Павел

Попович. Было это в августе 1962 года. Впоследствии он писал в Славянск, на родину поэта, местным краеведам: «На Донецкой земле родился прекрасный поэт М. Н. Петренко, автор стихов и песен, исполненных радости, жизни, любования природой. Я люблю его произведения, особенно песню «Дивлюсь я на небо...», которая стала народной и которая волнует своей глубокой искренностью, философскими размышлениями о Вселенной, о бесконечности. Исполняя ее, словно обретаешь крылья, и возникает желание быть полезным людям и Отчизне».

Сюда же прислали свои письма Олесь Гончар и Анатолий Соловьяненко. С высокой оценкой творческого наследия нашего земляка и благодарностью за память о нем. Ведь долгие годы мало кто знал, где родился Михаил Петренко и где его могила. Не осталось даже фотографии поэта-песенника.

Благо стихотворения Михаила Петренко оказались и адресными:

*Ось-ось Слов'янськ!
Моя родина,
Забилось серденько в грудях...
Слов'янськ, Слов'янськ!
Як гарно ти
По річці Тору, по рівнині
Розкинув пишнії садки...*

В другом стихотворении, рассказывающем о кручине некоей Грицихи, которая молится и о сыне, ушедшем с казаками в степь воевать татарина злого, и о муже, «що попався вражим ляхам при лихий годині», и о дочери, отправившейся молиться в Святогорский монастырь, поминается и Самара — «в степу, за Самар'ю, кура піднялася», и более близкие ему места на северных отрогах Донецкого кряжа, что за несколько десятков километров от Славянска:

*Одпустила її з братом
В далеку дорогу,
Аж на Донець в Святі гори,
Помолитись Богу...*

Адресна и песня его «Ходить хвиля по Осколу».

И потому краеведам, литературоведам и историкам в конце концов удалось установить, что родился он в Славянске, а похоронен в Лебедине Сумской области. Умер в чине коллежского асессора. И что на хуторе Лихвине у него гостил в 1859 году Тарас Шевченко во время своего последнего пребывания в Украине.

Во-вторых, это художник Архип Иванович Куинджи, уроженец Мариуполя. Его предки-греки были переселены в Приазовье из Крыма по велению Екатерины II под конец XVIII века. А он родился в 1842 году.

Его полотна дышат поэзией родной ему природы! Конечно же, впечатления детства и юности, проведенных на берегах и Азовского моря, и в особенности реки Кальмиус, которая протекает через город, прежде чем впасть в морские воды, послужили художнику первоначальной основой для создания таких выдающихся, всемирно известных художественных полотен как «Украинская ночь» или «Лунная ночь на Днепре».

Они, как и все творчество художника, отличаются смелыми, не применявшимися до него, эффектами освещения, обозначенные его братьями-передвижниками как «свет Куинджи».

Чтоб там ни писали об этих полотнах, но, хочешь не хочешь, а все-таки угадывается в них, помимо Днепра, и донецкий Кальмиус, с его крутыми берегами и окрестной степью приазовской, над которыми столь пронзительно, столь ярко сияют в почти что черном в летнюю пору небе и звезды, и луна. И такая же лунная дорожка протягивается по его водной глади. И тишина стоит до небес. Собственно, слияние в одном образе этих двух украинских рек — и есть Украина!

С того же Азовского побережья, а точнее с Кривой косы, родом и полярный исследователь Георгий Яковлевич Седов, 1877 года рождения. В 1912 году он организовал к Северному полюсу экспедицию на судне «Святой Фока».

Из-за трудной ледовой обстановки ему довелось дважды зазимовать в пути — сначала на Новой Земле, потом на Земле Франца-Иосифа. Видя, что судну дальше не пробиться по торосистому льду, Седов решил достигнуть полюса на санной упряжке. Будучи тяжело больным, уже привязанным к саням,

чтоб не свалиться от ветра, он все же понуждал двух матросов, сопровождавших его, двигаться по направлению к вершине земли, пока и не остановилось сердце...

Позже имя Седова было присвоено одному из суден арктического флота, купленному русским правительством в Англии спустя два года после гибели прославленного полярника. Но и этому «Георгию Седову», как и самому Седову, выпала в итоге горькая участь. Совершив более-менее удачную Карскую экспедицию к устьям Оби и Енисея, он был в октябре 1937 года затерт льдами в море Лаптевых, у острова Бельковского, и до января 1940 года — 812 дней! — дрейфовал в высоких широтах Арктики. Вполне возможно, что и вблизи бесследно затерявшейся на одном из тамошних островков могилы Седова.

В туманы и дождь, в снежные бури, когда мгlistое небо соединялось с непроходимыми торосами, корабль «Георгий Седов», влекомый могучими неуправляемыми льдинами, мог, пожалуй, показаться случайным очевидцам Летучим Голландцем. Будто призрак самого Георгия Седова. Седова, который перед смертью, 17 февраля 1914 года, обращая мыслью к родным и близким, записал в дорожном дневнике неверной, ослабевшей донельзя рукой свои последние слова — как последний вздох увековечил в то первое утро нарождающегося полярного дня: «Увидели выше гор впервые милое, родное солнце. Ах, как оно красиво и хорошо! При виде его в нас весь мир перевернулся. Привет тебе, чудеснейшее чудо природы. Посвети нашим близким на родине...»

Думается, в этом «перевернутом мире» промелькнули и картинки детства, приазовские, а слова «на родине» означали в те роковые минуты и отчий край, донецкий. Потому что так, скорее всего, и бывает, когда настает пора прощаться навеки с миром сущим, — миг озаряется молниеносной памятью все прошлое, начиная с первых осознанных лет до последнего часа.

В своей судьбе Георгий Седов словно оттолкнулся от родного азовского берега — кривокосского! — и навечно ушел в бессмертное плавание по бездонным океанам человеческой истории.

Тешу себя надеждой, что последующие молодые поколения, поражаясь его подвигу, восхищаясь им и немея пред ним, как перед «безумством храбрых», непременно будут дознаваться, откуда же родом этот легендарный человек, а заодно и открывать для себя неведомый, быть может, до того Донецкий край, обращать на него взоры с благодарностью за сына, какого он подарил всему миру.

Таким же великим сыном нашего края, ставшим сыном и всей планеты Земля, является и композитор Сергей Сергеевич Прокофьев.

Он родился в селе Сонцовке, затерянном в донецкой степи при слиянии речек Соленькой и Шурова ручья, что неподалеку от нынешнего Красноармейска. И прожил здесь с 1891 по 1910 год, пока не умер отец и овдовевшая мать не покинула этих мест навсегда, уехав в Петербург.

Позднее Сергей Сергеевич в своих воспоминаниях писал о донецком родном селе: «В начале XX ст., то есть когда мне было лет десять-пятнадцать, Сонцовка представляла собою большое село с населением в тысячу душ. Пять улиц, некоторые до двух километров длиной, раскинулись пауком от центра в разные стороны. На пригорке стояла Свято-Петропавловская церковь, основанная в 1840 году, на другом склоне — школа. Было два сада, в обоих — баня, пасека, малинник и огород с искусственным орошением. И все-таки это был еще захолустный угол: железная дорога — в двадцати пяти километрах, врач и больница — в двадцати трех, почта — в восьми и работала дважды в неделю, шоссе отсутствовало, интеллигентные соседи тоже».

Добавим, что отец композитора, Сергей Алексеевич, ученый-агроном по образованию, был управляющим Сонцовским имением. И немало сделал для того, чтобы здешняя сельская жизнь оживилась с помощью завезенных им земледельческих машин — косилок, жнеек, паровых молотилок.

Нынче это уже и вовсе оцивилизованный уголок донецкой земли. Правда, село Сонцовку по поветрию двадцатых годов переименовали на Красное. Тогда все поклонялись этому цветку, как огню.

К 100-летию со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева в селе была отчуждена мемориальная зона и открыт музей композитора, воссоздана порушенная в начале двадцатых XX века Свято-Петропавловская церковь. И сюда теперь не стыдно возить гостей из-за рубежа. А ко всему и Донецкую областную филармонию с уникальным органом нарекли именем великого земляка.

Всего каких-нибудь десять лет тому назад было воздано должное ему. Действительно, в своем отечестве пророков нет! Подозреваю, что сия забывчивость только нам, славянам, присуща. Ей-право.

Хотя и не удивительно: у нас в стране предпочтение отдавалось физическому труду. Причем каждому, казалось бы, известно было непреложное: не одухотворенные культурой промышленность и экономика обречены в конечном счете...

Да к тому же и Прокофьев долгое время находился в опале за свое новаторство в отечественной музыке, поиски и эксперименты, на «ура» воспринимаемые во всем мире, только не у нас дома. Творчество Прокофьева, ученика Римского-Корсакова и Лядова, перехлестнуло и запреты доморощенные, и границы, сделалось образцом для подражания далеко за рубежами его родины.

Только беглое перечисление сотворенного им способно поразить и смутить любой ум: да неужто все это было под силу одному человеку?!

Прокофьев создал 8 опер! Среди них — «Любовь к трем апельсинам», «Война и мир»...

И 7 балетов! Таких как «Ромео и Джульета», «Золушка», «Сказ о каменном цветке»...

И 7 симфоний!

И 14 сонат!

И кантату «Александр Невский», и ораторию «На страже мира», и сюиту «Зимний костер»!

И написал музыку к популярным в свое время кинофильмам «Александр Невский», «Иван Грозный» и многим другим.

Сработал за несколько жизней! При этом прожив всего шестьдесят два года, а творческих лет — и того меньше.

Но как живо, как памятно рожденное его душой! Оно бессмертно!

Тем самым обессмертил он и свой отчий край.

Прирастала слава Донбасса трудами и Казака Луганского, выдающегося лексикографа, этнографа и писателя Владимира Ивановича Даля, родившегося в 1801 году в рабочем поселке Луганский Завод, ныне Луганск. Ведь эти земли тоже объемлет Большой Донбасс. А значит и Даль был нашим коренным земляком.

Всю жизнь он собирал народные сказки, песни, пословицы, поговорки, прибаутки. Более 30 тысяч включил в свой первый сборник!

А над «Толковым словарем живого великорусского языка» трудился свыше 50 лет! Труд этот останется в веках. Без него мало кто из приверженцев изящной словесности, едва он вышел в 1863–1866 годах, обходился, обходится и вряд ли обойдется в будущем. Содержит он около 200 000 слов. В том числе и южно-русского говора, то есть нашенского, донбасского. За словарь Владимир Иванович был удостоен Ломоносовской премии Академии Наук и звания почетного академика. Под конец XX века благодарные потомки-астрономы Крымской обсерватории назовут в его честь и малую планету во Вселенной — Далия.

От себя, как от бывшего врача, с особым чувством глубочайшего почтения добавлю: Даль, родившийся в семье врача и сам получивший в Дерптском университете изначально врачебное образование, неотлучно находился у постели смертельно раненного на дуэли Пушкина, с которым был дружен. И поминутно вел запись о его изменявшемся к худшему состоянии. Эти записи он назвал Скорбным листом. От него, от этого «Скорбного листа», и пошли всем хорошо известные нынче «больничные листы».

Учитывая, что Владимир Иванович Даль приятельствовал не только с Пушкиным, а и с Крыловым, Гоголем, Языковым, Гребинкою, был хорошо знаком с Шевченко, поддерживал творческие отношения с Квиткою-Основяненко, русским филологом, палеографом и этнографом Срезневским и украинским ученым-энциклопедистом Максимовичем, автором пер-

вой в Украине фундаментальной «Истории древней русской словесности» и трех сборников украинских народных песен, дум, изданных в России и оказавших огромное влияние и на Пушкина, и на Шевченко, — учитывая все это, нетрудно предположить — да и правомочно! — что, ведя разговоры об истории Киевской Руси, Даль поминал и отчий край, когдашнее Дикое Поле, а в фольклоре усматривал выявление национального духа своих соотечественников, южан, как тогда называли жителей нашего края.

В среде творческой интеллигенции по-другому и не могло быть. И потому говорю об этом без малейшей натяжки. С позиций, скажем, пресловутого «квасного патриотизма». Напротив — с убежденностью. Да и творчество всех, с кем общался Владимир Иванович Даль, кому заронил хотя бы несколько слов о своей отчине, так или иначе, а подтверждают такое убеждение.

А уж когда заходила речь о «Слове о полку Игореве» и «Битве на реке Калка», будь то в отдельных изданиях или летописных изложениях, тут они все до единого вместе с Далем обращали мысленный взор к нашей, по тем временам еще дикой степи. И ни для кого из них не проходило бесследно такое причащение...

Как не должно остаться бесплодным и наше причастие к таким землякам как Владимир Иванович Даль.

Не менее ярким и по-хорошему вероломным было вхождение в отечественную культуру, в русскую классику, в частности, во второй половине XIX века и другого нашего земляка Всеволода Михайловича Гаршина, известного писателя, несмотря на то, что его творческая жизнь была недолгой и так трагически оборвалась — находясь на пределе душевного, умопомрачительного срыва, он бросился в лестничный пролет...

Очевидно, все же сказались бесконечные размолвки отца с матерью, свидетелем, а часто и ответчиком, и источником которых он был по своему малолетству и из-за каприза взрослых — родители то и дело делили его меж собой либо на два, либо на три месяца.

Родился Всеволод Гаршин в поместье бабушки Акимовой — Приятная Долина Бахмутского уезда — в 1855 году. Затем его перевезли на Старобельщину, а оттуда — в Петербург. И хотя он обмолвился в «Петербургских письмах» о том, что «я не петербуржец по рождению, но жил в Петербурге с раннего детства...», все-таки дух отчины, степей бывшего Дикого Поля вошли в него буквально с молоком матери. И — навсегда.

Об этом свидетельствует описание степи близ Старобельска в рассказе «Медведи», который и начинается, хоть и завуалировано, но вполне ясно для краеведов: «На степной речке Рохле приютился город Бельск...»:

«Прямо на восток тянется безграничная, слегка поднимающаяся степь, то желтая от сенокосов, на которых густо разросся негодный молочай, то зеленеющая хлебами, то лилово-черная от поднятой недавно целины, то серебристо-серая от ковыля. Отсюда она кажется ровною, и только привычный глаз рассмотрит на ней едва уловимые линии отлогих, невидимых, глубоких лощин и оврагов, да кое-где виднеется небольшим возвышением старый, распаханый и вросший в землю курган, уже без каменной бабы, которая, может быть, украшает в качестве скифского памятника двор Харьковского университета, а может быть, увезена каким-нибудь мужиком и заложена в стенку загона для скотины».

Этому живописанию предшествует строчка о берегах степной речки: «... некоторые из них белеют своими обнаженными от почвы меловыми вершинами...»

Да, это наша степь, это наши меловые кручи! Их нельзя спутать ни с какими другими. Ибо водили рукой мастера художественного слова не одно вдохновение, а и любовь к отчей земле.

Однако в сердце своем унес писатель из детства не только картины первозданной природы, оно сумело запомнить и быт, нравы, социальные расслоения в провинциальном городке.

В очерке «Подлинная история Энского земского собрания» угадывается тот же Старобельск, потому-то в рукописи, дабы читатели в точности не определили, о каком городе

написано, редактор газеты «Молва» А. А. Жемчужников предложил молодому Гаршину заменить первоначальное «Буржумское земство» на «Энское». Но каким сарказмом дышит этот очерк!

Вот для примера короткий отрывок:

«Буфет берется приступом. Рюмки водки и бутерброды исчезают с невероятной быстротой; под влиянием винных паров языки представителей нужд и потребностей населения делаются еще развязнее. Какой-то оптимист, с рюмкой водки в одной руке и с куском балыка на вилке в другой, ликует и восторженно разглагольствует:

— Вот, господа, как наш-то уезд себя знать дает! Мужскую прогимназию открыли, женскую откроем! Письма по почте земской посылать будем! Железную дорогу выстроим! Вот как у нас!

Водка и балык исчезают.

— Вы бы прежде позаботились о мерах против голода, — грустно говорит какой-то маленький человечек — не земец.

Когда я впервые читал эти строки, я лишь ухмыльнулся — столь далеким показалось описываемое. А сейчас перечитал и вздрогнул: «Будто о сегодняшнем дне! И о современных витиях из госучреждений!»

В том и сила настоящего искусства, что оно, повествуя, допустим, о давешнем безвременье, способно высветить и сегодняшнее, поскольку не стареет, не подвластно времени.

Подтверждением тому — глубоко психологические, социально заостренные, сострадательные по отношению к людям рассказы Всеволода Гаршина: «Красный цветок», «Трус», «Ночь», «Сигнал», «Медведи», «Из воспоминаний рядового Иванова», «Надежда Николаевна»; сказки: «Лягушка-путешественница» и «Сказка о жабе и розе»; очерки, статьи о живописи, стихотворения...

Что тут еще добавить?

В 1877 он пошел добровольцем на русско-турецкую войну, был ранен под Аясларом, ныне Светлен, где ему поставлен памятник как национальному герою Болгарии. Так что Гаршин, русский писатель, еще и породнил народы Болгарии, России и Украины, откуда он был родом, а стало быть и Донбасс сроднил с ними своим ратным подвигом.

В 2000 году в Лондоне издан объемистый труд, посвященный творчеству Всеволода Гаршина. В него вошли работы не только зарубежных литературоведов и критиков, а и наших, донбасских.

Во второй половине XIX века маленькое село на донецкой земле Нескучное Мариупольского уезда Екатеринославской губернии тогдашней Новороссии, как называлась по тем временам южная, прилегающая к Черному и Азовскому морям территория Украины, приковывало к себе внимание видных прогрессивных умов того времени. Здесь, в родовом имении матери, родился и затем, после учебы в петербургском Александровском лицее, жил и работал видный просветитель, педагог и методист, выдающийся деятель народного образования Николай Александрович Корф.

Основоположник педагогической науки и народной школы в России Константин Дмитриевич Ушинский, чья деятельность оказала огромное влияние на развитие педагогики и в других славянских странах, писал Корфу, своему последователю:

«Читая каждую Вашу статью, чувствуешь, что Вы говорите о деле, в котором сами вращаетесь и которому отдалились бескорыстно и прямодушно. О, если бы Вас можно было помножить на число губерний, не говоря уже уездов, через 10 лет Россия была бы уже другая. Но Вы и так делаете много только одним своим примером: и имя Ваше будит не одно сонное земство».

Велика оценка нашего земляка! Но и заслуга его не меньше.

Корф открыл в окрестных селах, таких как Камар, Улак-лы, Майорское, Времьевка, Богатырь, Больше-Янисоль, Андреевка и многих других, более 40 школ. Издал несколько учебников и пособий для учителей: «Руководство по обучению грамоте по звуковому способу», «Русская начальная школа», «Наш друг», явившихся неоценимым подспорьем для школьного обучения. А в помощь самообразованию учителей ежегодно составлял и издавал «Отчеты Александровского уездного училищного совета», который он одно время возглавлял, а потом — и «Отчет члена Мариуполь-

ского уездного училищного совета», куда он был избран впоследствии. Собственно, это был последний его отчет. В 1883 году, окончательно подорвав здоровье неусыпным трудом, общественной деятельностью, Николай Александрович скончался.

В память о нем в 1895 году в Нескучном, которое перешло по завещанию Корфа сначала к дочери Марии, а потом — Екатерине, была построена начальная школа. На ее открытие, заметим попутно, приезжала видный деятель народного образования, тоже последовательница Ушинского и соратница Корфа, Христина Даниловна Алчевская, работы коей высоко ценили Лев Толстой, Антон Чехов, Владимир Короленко, Максим Горький, Иван Франко, Леся Украинка...

Школу построил виднейший театральный деятель, режиссер, драматург и писатель Владимир Иванович Немирович-Данченко вместе со своей женой, дочерью Корфа, Екатериной Николаевной.

С 1887 года и по 1917 год, пока отчий дом Екатерина Николаевна и Владимир Иванович не передали в дар крестьянским детям Нескучного под школу, они почти каждое лето приезжали сюда и подолгу жилали. Отсюда Владимир Иванович слал письма Льву Толстому, Антону Чехову, Константину Станиславскому, Максиму Горькому. Сюда же приходили и ответы. Шла подготовка к репертуарной реформе.

В Нескучном Немирович-Данченко много и плодотворно работал. Здесь он переделал и завершил роман «Мимо жизни», издававшийся после под названием «Мгла», начал роман «Старый дом», или «Мертвая ткань», повесть «Губернская ревизия», о которой высоко отозвался Чехов: «По тонкости, по чистоте отделки и во всех смыслах это лучшая из всех ваших вещей, какие я знаю...»

Много разъезжая по Екатеринославской губернии, накапливая впечатления от увиденной жизни на донецкой земле, а затем уединяясь в уютном доме, окруженном старым садом и изгибом тихой речки Мокрые Ялы, Владимир Иванович на собранном материале писал свои произведения. Это и рассказ «Отдых», и очерк «Образцовая школа», и повесть «В степи»,

и комедия «Новое дело», и так, к сожалению, и не законченный роман «Пекло».

В 1877 году неподалеку от Макеевки (Ханженково) родился видный кинопредприниматель и кинодеятель, создатель российского кинематографа Александр Алексеевич Ханженков. Памятник ему взялся создать всемирно известный скульптор Зураб Церетели.

И еще об одном незаурядном земляке, родившемся в XIX веке на нашей земле, а именно — 3 января 1868 года в слободе Торская Алексеевка (ныне село Октябрьское Красноармейского района Донецкой области), хочу хотя бы вкратце помянуть — об известном украинском писателе Николае Федоровиче Чернявском.

С его именем связано издание первой художественной книги в Донбассе. В 1898 году в Бахмуте, где Чернявский преподавал пение в бурсе, которую и сам раньше, до поступления в Екатеринославскую духовную семинарию, закончил, он издает на украинском языке свой сборник «Донецкие сонеты» («Донецькі сонети»). О чем была эта книга — первая донецкая ласточка! — можно судить по строкам из сонета, который называется «В Донецком крае» («В Донецькім краї»):

*Ревуть гудки. Дими стовпами
Повзуть за вітром по степу.
А там під степом, у склепу
Шахтар зомлілими руками
Б'є камінь, вугілля добува,
У землю вік свій зарива.*

Глубокое сочувствие к насущным проблемам трудового люда Донецкого края в ту пору присуще всей книге.

Он писал и прозу. И уже в 1927–1931 годах выходят его произведения в десяти томах.

Да прогрессивного, озабоченного нуждами простых рабочих писателя в 1937 злосчастном году репрессировали. В лагере он и умер в 1946. А реабилитировали лишь посмертно — в шестидесятые годы.

Горькая участь! Тем дороже нам, его землякам, его доброе имя. И этими скупыми строчками воздадим ему скромную дань.

Все названне выше земляки пеклись о духовности наше-го края. Если хорошо покопаться в архивах и краеведческой литературе, вполне возможно, что еще найдутся призабытые имена. И благодарным потомкам, не утратившим любопытства и чувства землячества, разыскать их будет в радость и не без пользы для национального самосознания. Извлекая из забвения имена великих земляков, мы и сами возрождаемся духовно.

Как, скажем, случилось с «открытием» видного украинского ученого, писателя, общественного и политического деятеля Никиты Ефимовича Шаповала, который родился 7 июля 1882 года в селе Серебрянка Бахмутского уезда.

В своей автобиографии он писал:

«Мій батько (Юхим Олексійович) навчався грамоті на військовій службі. Брав участь у русько-турецькій війні (1876–77 рр.). Мати (Наталя Яківна) неграмотна.

...В голодні роки 1891–92 було страшно і сумно. Тоді батько переїхав за 60–70 верст од Сріблянки у Долинівку, біля шахт. А я жив із бабою у Сріблянці.

...Це літо (1892 р.) ходив на поденну роботу (полов хліба) по 15 коп. у день, потім сортував кокс на шахті (за три версти) по 20 коп., потім чистили парові котли (по 25 коп. за день).

...Зиму 1894–95 рр. батько працював на шахті, а Дорош і я на щоденній роботі: вибирали породу з вугілля. 1896 р. був «за хлопця» в конторі при шахті, за 3 рублів в місяць. З найбільших вражень цього часу: проводка електричного світла, яку вів монтер-німець Клюге...

Незабутнє враження зробив на мене селянський революційний рух 1902 року. Я ще тоді хотів відправитися у район розрухів, але повстання селян було задушене зразу...

«Програма» у нас була соціалістів-революціонерів. Щоб перевірити «правильність» світогляду, Мицок їздив до Києва на побачення зі студентом-демократом Винниченком. Повернувшись, розповів свої враження, і ми вирішили, що наша програма краща... був вражений що хтось з його родини говорив по-російськи. З того часу в мене повсталала хвиля національно-загострених почуттів честі, і так дійшов до думки «мстити за Шевченка»...

В 1908 году выходит в свет первый сборник поэзии Никиты Шаповала «Сини віри» («Сыны веры»), в 1910 — «Самотність» («Одиночество»).

В 1917 году он избирался членом Центральной Рады Украинской народной Республики, назначался министром.

Впоследствии был вынужден эмигрировать.

Он тосковал по отчей земле, даже находясь в Украине. И потому, наверное, часто подписывался под своими произведениями псевдонимом — М. Сріблянський.

В таком забвении находился до недавнего времени и знаток древнерусской и мировой старины, философ Юрий Петрович Миролубов, который родился 30 июня 1892 году в Бахмуте. Он очутился в эмиграции из-за того, что во время гражданской войны служил в рядах вооруженных сил Центральной рады, а потом Добровольческой армии генерала Деникина...

Одной из важнейших заслуг Миролубова является обработка и подготовка к публикации так называемой «Влесовой книги» — о происхождении, истории, быте и обычаях стародавних славян, написанной древнерусскими буквами на деревянных дощечках.

За границей вдова философа издала восемь книг его: «Русский языческий фольклор», «Русская мифология», «Славяно-русский фольклор» и другие.

Недавно в России издан двухтомник под общим названием «Сакральное Руси».

В предисловии вдова написала: «Наконец-то он (Миролубов) станет известен на горячо любимой родине. Всю свою жизнь Юрий Петрович жил и работал для нее».

Думается, под словом «родина» наверняка имелась в виду и малая родина философа — отчий Донецкий край, с родным ему Бахмутом.

А в Славянске родился известный живописец Петр Петрович Кончаловский. Будущий тесть советского писателя Сергея Михалкова и дедушка видных кинорежиссеров Андруна (Андрея) Кончаловского-Михалкова и Никиты Михалкова. Кстати, имение Михалковых было в Амвросиевке на донецкой земле.

Ну как такими земляками не гордиться? Как не воздать им должное?!

К духовному становлению Донбасса так или иначе причастны и те, кто временно жил на его территории, работал и мужал вместе с донбассовцами.

Видный украинский композитор Николай Дмитриевич Ленточевич начинал свою творческую деятельность на стыке XIX и XX веков учителем пения в рабочем поселке Гришине, ныне — Красноармейск.

Не менее известный украинский писатель и педагог Степан Васильевич Васильченко (по настоящей фамилии — Панасенко), гонимый за революционные воззрения и подталкиваемый желанием «бурхливого життя», оказался на Шербиновских рудниках (нынче это Дзержинск), учительствовал там. Но в 1905 году за участие в рабочих демонстрациях и сочувствие к ним был арестован и брошен в Бахмутскую тюрьму, где просидел более полутора лет.

В селе Алексеевке на Луганщине, в школе известного деятеля народного образования Христины Даниловны Алчевской работал учителем в 1887–1893 годах писатель, собиратель фольклора, автор четырехтомного «Словаря української мови» Борис Дмитриевич Гринченко...

Уверен, при усердных поисках откроются и еще какие-нибудь имена, узнав которые, только ахнем: «Да как же мы не ведали о них?!» Или: «Да как же мы могли забыть их?!»

И далее, огорчаясь, будем сетовать: почему, мол, не дознались на протяжении стольких лет? Неужто память отшибло или не достало обыкновенной привязанности к отчей стороне, ее прошлому? Ведь познавая прошлое родной земли, рода своего, познаешь и самого себя, не так ли?

Хотелось бы впредь избежать подобных огорчений и сожалений, равных запоздалому покаянию.

В разных энциклопедических словарях и книгах по краеведению наши великие земляки называются по-разному: то русскими, то украинскими деятелями искусства и науки, исследователями...

В то время, как, допустим, Михаил Пришвин в своих дневниках на этот счет высказал оригинальное суждение, как

бы обезоруживающее все попытки «перетянуть одеяло на себя».

Он записал эту мысль в таком виде:

«Когда личность в своем высшем развитии выходит за границы своего национального происхождения, то ведь это нация цепляется за нее и венчает «национальным» поэтом, артистом, ученым или что там еще. Но личность сама по себе освобождается от этих уз. Шекспир становится похожим на русского, Толстой — на англичанина, Моцарт, Чайковский, Бетховен... Да, мы, люди, в творчестве своем — как вода: каждый ручеек стремится преодолеть косность условий своего происхождения и уйти в океан».

По большому счету, все, возможно, так и обстоит. Но трудно представить Гоголя без Миргорода и Украины, а Льва Толстого — без Ясной Поляны и России! Без земли, с которой они, взяв ее энергию и народный дух, стартовали в человеческий космос Вселенной. Точно так же, думаю, обстоит дело и с нашими великими земляками.

Поминутно ловлю себя на том, что рука порывается написать «мы» вместо собственного «я». Должно быть, подспудно хочется о выдающихся земляках говорить и от имени других людей, проживающих на донецкой земле и породненных узами землячества. Вроде не я сам вызвался поведать о них, а мои современники доверили мне сию ответственную миссию. Иной раз даже робость подкатывает к сердцу сквозным холодком. Да и не удивительно: такие недосыгаемые для простых смертных вершины, такие потрясающие имена мирового значения! И все они, как и ты, причастны к Донбассу впрямую. Только они уже возвысили его на земном шаре, подобно отдельному континенту. Ты же — лишь у подножия его.

Тем не менее, когда пишу от собственного имени о Донбассе и донбассовцах, во мне все равно многоголосо постоянно прорывается это самое «мы» земляческое, и я чувствую, что не одинок ни в ответственности, ни в гордости, ни в признании в любви к нашим знаменитым предшественникам. Как и по отношению ко всему отчему краю.

Причисляя к землякам и тех, кто не родился на нашей земле, а все же так или иначе связал с нею свою судьбу, свои поиски и открытия, кто посвятил ей и ее людям свои духовные творения и тем самым возвысил дух нашего края и поведал о нем миру, доведется волей-неволей снова вернуться в прошлое, когда едва-едва зарождалось промышленное, индустриальное могущество сегодняшнего Донбасса.

Принято считать, что Антон Павлович Чехов был одним из первооткрывателей в русской литературе Донецкого угольного бассейна — как страны огня. Действительно, его рассказ «Русский уголь» опубликован еще в 1884 году — задолго до многих других художественных произведений о нашем крае, в которых рассказывалось о том новом, что появилось в нем с открытием и разработкой его подземных кладов.

Позже, специально попутешествовав по землям Войска Донского, проехав по Донецкой железной дороге до Славянска и побывав в Святых горах, Чехов, считая этот край родным, поскольку был уроженцем Таганрога, напишет и «Перекати-поле», и «Печенега», и «В родном углу», и самое лирическое свое произведение «Степь», которые в совокупности являются ярким живописным словесным портретом Донбасса того времени.

Вслед за Чеховым «страну огня» будут открывать многие видные писатели прошлого.

И Николай Елпидифорович Каронин-Петропавловский своими «Очерками Донецкого бассейна», и Викентий Викентьевич Вересаев очерками «Подземное царство», рассказом «На мертвой дороге» и повестью «Без дороги», которые, собственно, и ввели его в большую литературу. И Николай Александрович Рубакин своим рассказом «Среди шахтеров». И Александр Иванович Куприн — очерками «Рельсопрокатный завод», «Юзовский завод», «В главной шахте», «В огне», повестью «Молох». И Алексей Иванович Свирский — циклом рассказов о каторжном тогдашнем труде шахтеров, их беспросветной нужде «Под землей». И Александр Серафимович Серафимович — очерками и рассказами «Мариупольские картинки», «Маленький шахтер», «На заводе», «Семишкара» и другими. И Сергей Николаевич Сергеев-Ценский — пове-

стью «Наклонная Елена». И Константин Георгиевич Паустовский — ранними очерками «Приазовье», главой «Гостиница «Великобритания» из автобиографической повести «Беспкойная юность». И Александр Александрович Блок — стихотворением «Новая Америка». И Владимир Маяковский — более двадцатью произведениями, тематически связанными с Донецким краем, в том числе и «Сказкой для шахтера-друга про шахтерки, чуни и каменный уголь»...

Так исподволь эстафета классиков передалась из XIX века в XX век. Но тут у Донбасса уже появляются, помимо ранее упоминаемого Миколы Чернявского, свои летописцы, сугубо донбасские, если можно так выразиться, потому что их произведения, многих из них, тоже стали своеобразной классикой — украинской, русской и греческой литератур.

В 1909 году учитель Спиридон Федосеевич Черкасенко, работавший несколько лет в Юзовке на Лидиевских рудниках, издает свои зарисовки из шахтерской жизни «На шахте». Прежде они публиковались отдельно в разных киевских изданиях. Затем выпускает в свет книгу о детях и для детей «Маленький горбун и другие рассказы», рассказы для взрослых «Они победили», стихи, тоже посвященные подневольному труду и быту шахтеров Донбасса. Поэт, прозаик, драматург Спиридон Черкасенко оставил заметный след в украинской литературе первой половины XX века. Свой творческий и житейский путь он, к сожалению, закончил в эмиграции.

В 1921 году стремительно входит в украинскую литературу и становится ее хрестоматийным классиком уроженец Дебальцева Владимир Николаевич Сосюра. Он сразу издает две книги — «Поезії» и «Червона зима». То есть «Поэзии» и «Красная зима». Стихи и поэма. Столько и так влюбленно о Донетчине до него никто не писал.

А в 1930 году появляется сначала в Бахмуте, а потом переиздается в Москве под редакцией Эдуарда Багрицкого «Каменная книга» русского поэта, прошедшего, начиная с подросткового возраста, почти все шахтные профессии, Павла Григорьевича Беспощадного. В русской литературе он стал основоположником шахтерской поэтической традиции.

Входят во всесоюзную литературу один за другим коренные донбассовцы: Григорий Баглюк, Борис Горбатов, Юрий Черный-Диденко, Савва Божко, Леонид Жариков. А также те, кто навсегда связал свою жизнь и творчество с Донбассом: Илья Гонимов, Павло Байдебура... Русские и украинцы, захваченные общим устремлением — воспеть Донбасс XX века! Когда, по словам Беспощадного, один человек «будет, будто шутя, коногонить».

Песни же Михаила Голодного, родившегося в Бахмуте и затем переехавшего с родителями в Екатеринослав, такие как «Песня о Щорсе» и «Матрос Железняк», стали популярными не для одного поколения, они сражались вместе с испанскими республиканцами против фашизма, в первых боях с этой «коричневой чумой» XX века в Европе.

В эти же годы печатается и поэт греков Приазовья Георгий Антонович Костоправ. По злой иронии судьбы его книга с жизнеутверждающим названием «Здравствуй, жизнь!» стала последней прижизненной для него — в 1937 он был репрессирован и умер в лагерях в 1944 году.

О тех, кто жил в Донбассе и писал о нем, находя в этом и вдохновение, и долг свой сыновний отдавая, и кто живет и поныне на донецкой земле, я более подробно рассказал в книге «Слово о Донецком крае».

Сейчас же не могу не вспомнить о режиссере из Мариуполя Леониде Лукове. Одним из наиболее значительных фильмов его был «Я люблю», снятый по повести нашего земляка, макеевчанина Александра Остаповича Авдеенко. Повесть была опубликована в 1933 году и посвящалась рабочим Донбасса. Фильм снят в 1936 году. Затем Луков снимает фильм «Большая жизнь», в котором рассказывает о молодых шахтерах нашего края. Сценарий для него написал известный советский писатель Павел Нилин. В нем снимались видные актеры — Марк Бернес, Борис Андреев, Петр Алейников. Из этого же фильма выпорхнула и популярная до сих пор песня Бориса Ласкина «Спят курганы темные» с припевом: «Вышел в степь донецкую парень молодой»...

В самый раз помянуть о собирателях донбасского фольклора, который питал и питает творчество многих писателей.

Первую публикацию песен донецких шахтеров сделал еще в 1889 году писатель-демократ Глеб Иванович Успенский в газете «Русские ведомости». В XX веке эту работу продолжили Пясковский, Ковешников, Ионов, Тимофеев...

Из XIX века и начала XX века донес до нас живописные свидетельства тогдашней жизни и работы шахтеров великий художник Николай Алексеевич Касаткин, один из самобытных, ярких, крупнейших представителей когорты передвижников. О его полотнах — «Углекопы. Смена», «Сбор угля бедными на выработанной шахте», «Шахтерки», «Шахтер-тягальщик» и других — высоко отзывался Илья Ефимович Репин: «Мир фабричный, трудовой, со своими идилиями радостей, со своими тюрьмой, сумой, с адскими шахтами, железными решетками и пр. пр. — никогда не забудутся. Картины Касаткина так прекрасны и душевны!»

Да и сам Репин, уроженец Харьковской губернии, как он уточнял в своей книге «Далекое близкое»: «В украинском военном поселении, в городе Чугуеве, в пригородной слободе Осиновке, на улице Калмыцкой...» — оставил нам среди множества гениальных полотен и связанные с Украиной: «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» — а стало быть и с Диким нашенским Полем, на котором разыгрывались нередко битвы запорожских казаков с турками и татарами, — и «Вид Святогорского монастыря на Донце».

Кстати, со Святыми Горами связаны имена и Федора Тютчева, написавшего стихотворение «Святые горы», и Василия Ивановича Немировича-Данченко, родного брата Владимира Ивановича, скончавшегося в эмиграции и оттого долго замалчивавшегося, — он написал самую обстоятельную документальную книгу «Святые горы», и Ивана Алексеевича Бунина, запечатлевшего этот заповедный уголок земли донецкой в одноименном рассказе... А на горе, что возвышается над всей здешней округой высится уникальный памятник большевику-донбассовцу Артему, созданный видным украинским скульптором, кинорежиссером, драматургом и сценаристом Иваном Петровичем Кавалеридзе в стиле кубизма...

Тут же, в монастырской усыпальнице знаменитого рода Иловайских, покоится прах Ивана Григорьевича Иловайско-

го, крупнейшего донецкого, а точнее макеевского предпринимателя XIX века, который пожертвовал для Покровской церкви Святогорского монастыря самый большой колокол.

Звучат, звучат нынче колокола над Святыми горами, созывая паломников отовсюду, из разных далей, в древнейшую в нашем крае и, к счастью, возрожденную после многолетних надругательств обитель, тем самым являя захожему люду неповторимый облик заповедной донецкой природы, а заодно и всего Донбасса.

Собственно, с предпринимательства незабвенного Иловайского можно было бы начать рассказ и о земляках, которые в XX веке самопожертвенным, подвижническим трудом непосредственно творили индустриальную мощь Донбасса и возвысили его в глазах всего мира.

Но ведь до этой поры были и Евграф Павлович Ковалевский, разведавший недра и составивший первую геологическую карту Донецкого кряжа, дав ему при этом и имя собственное, и академик Григорий Петрович Гельмерсен, автор первых пластовых карт месторождений угля, и Леонид Иванович Лутугин, автор обзорной карты Донецкого бассейна, удостоенной в Турине золотой медали.

Были бахмутский управитель соляных промыслов Никита Веприйский и надзиратель крепости, капитан Семен Чирков, был Григорий Григорьевич Капустин, которые впервые открыли уголь на бывшем Диком Поле: первые в украинской его стороне, второй — в российской.

Был и выдающийся ученый Дмитрий Иванович Менделеев, несколько раз приезжавший в наш край в 1887–1888 годах и изложивший результаты обследований в докладе министру государственных имуществ: «О мерах для развития донецкой каменноугольной промышленности», а также выпустивший книгу «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца».

Был Виктор Егорович Графф, насадивший Великоанадольский лес и положивший начало степному лесоразведению в кряжистом, не так уж и богатому на воду крае. А еще — его последователь Василий Васильевич Докучаев.

Были также Самуил Соломонович Поляков, предприниматель, строитель донецких веток Курско-Харьковско-Азовской

железной дороги, и горный инженер Петр Николаевич Горлов, внедривший впервые в Донбассе на крутопадающих пластах Корсунской копи № 1, или Первого рудника, потолок-уступный способ выемки угля, и Джон Юз, соорудивший на берегах Кальмиуса жизненно действующий металлургический завод, и кузнец этого завода Алексей Иванович Мерцалов, который выковал из куска рельса ажурную чудо-пальму, сработав ее под стать тульскому «левше» из известного лесковского рассказа — она заняла поначалу достойное место на промышленных тогдашних выставках и в Нижнем Новгороде, и в Париже, а после была перевезена в Санкт-Петербург и установлена в музее Горного института. Сейчас ее прообраз стоит и в Донецке, более того — венчает герб Донецкой области. А также стараниями международного фестиваля «Золотой Скиф» их копии установлены в Киеве и Москве, где обосновались крупные донбасские землячества...

И выдающиеся металлурги-ученые Михаил Константинович Курако и Иван Павлович Бардин, работавшие помногу лет на заводах в Мариуполе, Юзовке, Краматорске, Енакиево и внесшие немало новшеств в доменное производство и интенсификацию металлургических процессов. И рыцарь долга Николай Николаевич Черницын, заведующей первой в России Макеевской горноспасательной станцией. Спасая горняков Горловского Первого рудника, он погиб сам.

Был и Никита Сергеевич Хрущев, проработавший на шахтах и заводах Донбасса двадцать лет в начале XX века; возглавив великое государство Советов, он с рабочей смелостью разоблачил культ личности Сталина, довлевшей над каждым из нас...

Был и маршал Советского Союза, легендарный командарм Климентий Ефремович Ворошилов, бывший рабочий Луганского паровозостроительного завода...

Был и председатель КГБ СССР Владимир Ефимович Семичастный...

Были и жертвы ГУЛАГа уже в наше, «мирное» время — правозащитник Олекса Тихий и поэт Василь Стус...

И репрессированные Микола Руденко и Василь Захарченко...

И был божьей милостью механик-самоучка из Первомай-ки Алексей Иванович Бахмутский — создатель первого в мире угольного комбайна...

Непосредственную же трудовую славу Донбасса в XX веке вершили поистине великие земляки: забойщики угольных шахт Алексей Стаханов и Никита Изотов, металлург Макар Мазай, машинист паровоза Петр Кривонос, трактористка Паша Ангелина.

Их героический труд вылился в стахановское движение, охватившее, точно бурное весеннее половодье, все необъятные просторы тогдашней страны Советов. А родилось оно в тридцатые годы первой половины XX века на донецкой земле благодаря усилиям каждого из этих подвижников.

О них обо всех можно было бы сказать словами Горького, адресованными Изотову: они возвысили свой труд до высоты искусства!

Мы еще не раз будем мысленно возвращаться к ним, беря в пример их жизнь яркую и ориентироваться по ним, как по звездам, в сегодняшнем зыбком, подернутом маревом неразберихи дальнейшем пути. Ведь они радели не только ради личных выгод, а скорее — начисто забывали о них, чуть ли не кладя живот заради общего блага земляков своих, то есть нас, наследников их трудового подвига.

Мировая слава нынешнего Донбасса приращивалась в недавнем прошлом и приращивается сейчас выходцами из земли донецкой: маршалами Иваном Пересыпкиным и Кириллом Москаленко, генерал-полковником, героем Советского Союза Иваном Людниковым и юными молодогвардейцами во главе с Иваном Туркеничем, испытателем первых реактивных самолетов Григория Бахчиванджи и летчиком-космонавтом Георгием Береговым, народными артистами СССР Николаем Гриценко, Юрием Богатиковым, первоклассными солистами Киевской оперы Михаилом Гришко и Анатолием Соловьяненко, опальным литературоведом и критиком, ныне академиком Национальной Академии Наук Украины, Героем Украины Иваном Дзубой с его крамольной по тем, застойным, временам книгой «Интернационализм или русификация?», народным артистом Украины, актером

кино и режиссером Леонидом Быковым с его фильмами «В бой идут одни старики» и «Аты-баты, шли солдаты», ставшими классикой украинского кинематографа, известным кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств РСФСР Ларисой Шепитько, актрисой кино, народной артисткой РСФСР Майей Булгаковой, народным артистом России и Украины Иосифом Кобзоном, мастерами мирового балета, народными артистами Украины Вадимом Писаревым и Инной Дорофеевой, композитором, заслуженным деятелем искусств Украины Иваном Карабицем, всемирно известным еще со времен второй мировой войны фотожурналистом Евгением Халдеем, скульптором, народным художником УССР Василием Полоником, народными артистами Украины, солистами Донецкого академического театра оперы и балета Валентином Землянским, Николаем Момотом, актером театра и кино Владимиром Талашко, популярным эстрадным артистом Евгением Мартыновым с его — нашим! — по-родственному, по-домашнему теплым «Отчим домом», Олимпийским чемпионом, десятикратным чемпионом и 35-кратным рекордсменом мира по прыжкам с шестом, Героем Украины Сергеем Бубкой и народным художником Украины, скульптором Николаем Ясиненко, создавшем в Донецке всемирно известному легкоатлету-земляку памятник, как бы символизирующий всю спортивную доблесть Донбасса, и совсем еще молодым Международным гроссмейстером, ставшим в прошлом году чемпионом мира по шахматам Русланом Пономаревым...

Приращивалась и приращивается мировая слава Донбасса и научной деятельностью известного профессора-биолога Федора Щепотьева, вырастившего несколько новых видов грецких орехов, и полярником, капитаном атомоходов, Героем Социалистического Труда Анатолием Ламеховым, и крупным ученым, академиком НАН Украины Владимиром Шевченко, известным исследователем по истории этимологии, лексике и фразеологии русского и украинского языков, профессором Евгением Отиным, своими трудами стершего немало «белых пятен» на топонимической карте Донецкого края, и профессором по истории и краеведению Романом Ляхом, талантливыми профессорами-медиками академиком

Академии медицинских наук, Героем Украины Григорием Бондарем и действительным членом Нью-Йоркской Академии наук Владимиром Гусаком, и народным учителем СССР, перевернувшим отечественную педагогику, в чем-то законелую, с ног на голову, кавалером международного ордена «Николая Чудотворца» Виктором Шаталовым, народным артистом СССР Юрием Гуляевым и соловьем Донбасса, народной артисткой Украины Алиной Коробко, и лауреатами Государственной премии Украины имени Т. Шевченко поэтами Николаем Рыбалко и Леонидом Талалаем, прозаиком Владиславом Титовым, потерявшем в шахте, спасая товарищей, обе руки и затем написавшем, зажав зубами карандаш, проникновенную повесть «Все м смертям назло», которая обошла весь мир в переводах на самые разные языки, и поэтами-песенниками Михаилом Матусовским и Михаилом Пляцковским, выходцами из Донбасса, и альпинистом, мастером спорта Международного класса Михаилом Туркевичем, покорившим в ночное время Эверест, и гимнасткой, Олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Лилией Подкопаевой...

Их имена у всех на слуху! А сделанное ими — неотъемлемая часть нашего общего ратного и мирного дела и нашего духа, духовности нашей, и, наконец, всеобщей культуры всего Донбасса.

Великие имена! Великие земляки!

Ощущая подспудно и осозная явственно свое землячество с ними, вновь и вновь преисполняюсь неумного ликования и гордости, будто и сам вместе с ними, с их величием возвышаюсь в повседневных трудах своих. Почти физически чувствую, как радуется душа, обретая вдохновение, полученное от деяний великих предшественников и современников, моих земляков.

Но и ответственностью полньюсь! Дабы не уронить их чести, их высокого имени. А равно и возвышенного ими до звездной высоты авторитета отчей земли — Донбасса. Ни мыслью недостойной, ни поступком непотребным, ни каким случайно сорвавшимся с языка или с кончика пера неправедным словом.

Точно так же и перед потомками, идущими по-землячески каждому из нас, донбассовцев, на смену.

Жизнь прожить, говорят, — не поле перейти.

Даже не Дикое Поле, добавлю от себя, находясь в постоянных раздумьях о его диком прошлом и его многовековой преобразующей нови.

Дай же, Бог, до последнего шага не утратить святое чувство своей земляческой причастности к Донбассу, ко всем дорогим моему сердцу землякам!

2001

ДУМА О ПЕСНЯХ ОТЧЕГО КРАЯ

Покидая отчий дом и уходя в большой, неведомый покуда, но притягательно заманчивый мир, каждый из нас непременно уносит с собой самое дорогое, незабвенное — материнскую колыбельную. И хранит ее в глубине сердца до последнего своего часа.

А когда настает пора прощаться навеки с этим до жути прекрасным, яростным миром, узнанным и познанным зачастую на собственную же беду, она сама по себе выныривает из тебя, теплится на остывающих устах, словно бы в последний, самый что ни на есть распоследний раз напоминая, чей ты и откудова родом.

Бают, в песнях сокрыта душа человеческая. Потому как нарождаются-де они именно в душе. То ли при радостях и горестях, веселии и бедах, то ли в невыносимой разлуке с родными и близкими, в тоске по отчему порогу, родне и родимому краю, то ли из-за неразделенной любви к суженому или единственной на всем белом свете избраннице по-молодому слепого, пылкого сердца.

А и правда! Недаром ведь люди издавна считают, что в песне печальной человек изливает душу, ровно выплакивается. Или высказывается во всеуслышание, делится с окружающими его людьми, а то и природой, наболевшим и тем облегчает душу. Еще и приговаривает потом со вздохом: «Точно камень с души своротил».

Ежели твои родовые корни были глубоки и крепки и твой род от века певуч, то потаенная генетическая память, вечно живая, неизбежная, неизменно подбрасывает тебе по временам еще и родовые песни, какие закодированы в тебе от роду-племени навечно. По ним, сызмалу связывающим тебя с отчиной, можно, при желании, доподлинно восстановить и воочию представить давно прошедшую минувшину не только одного твоего рода, не только родной земли, где спокон веку обретались твои предки и ты сам, а и всего твоего народа, всей родины. Будь то Украина, Россия или Белоруссия...

Не знаю, как обстоит дело у других народов, в иных народностях и племенах, а у нас, славян, так уж повелось с незапамятных времен, что в песнях люди и впрямь рассказывают больше о трагической и героической одновременно, бесславной и славной многовековой отечественной истории, нежели о личном, хотя и последнее, как правило, нерасторжимо с общим.

Любопытное предание записал известный собиратель народного фольклора Яков Новицкий во второй половине XIX века в Екатеринославской губернии, в которую входили и наши, донецкие земли, о том, откуда взялись песни.

По этому преданию, песни — они с Синего моря, Сурожского. То бишь Азовского. Люди еще недоработали панщину, а Мусий и давай выводить их из Египетки. Первыми пошли евреи и цыгане, за ними — другие какие-то люди. Передние вышли, а задних море залило. Они живут в Синем море, складывают песни, списывают их на камни и бросают нам на берег.

Один человек из нашей слободы служил матросом в Маринополе (Мариуполе. — *И. К.*). Так вот, говорит, пьют горилку бурлаки, а на камень поглядывают. Пьют и поглядывают, а потом давай петь бурлацких.

Наши люди сложить песен не смыслят. А кроме морских людей, песни о своем образе жизни складали еще запорожцы, да и те вымерли. Их песни самые лучшие!

Ну, тут явно ощущается отголосок библейской легенды о том, как пророк Моисей вывел евреев из египетского плена. Однако ж до чего причудливо сплетена она с отечественными

реалиями! И с бурлаками, неженатыми, бездомными бродягами, которые собирались в артели-ватаги и рыбалили в наших краях на Азовском море, и с Мариуполем, давним морским портом на его побережье, и с запорожскими казаками, которые и вправду оставили по себе несметное число песен, ставшими украинскими народными думами об их победных походах и неудачах.

Для чего, спрашивается, породнена была та легенда и эта бывальщина? Чтобы придать отечественной истории еще большую значимость, перенести ее истоки в ветхозаветную глубину?

И зачем понадобилось столь несправедливое и обидное самоуничужение, будто «наши люди сложить песен не смыслят»? О каких людях идет речь? Ведь и бурлаки в предании, хоть и посматривают на камень, а поют-то все же бурлацкие песни, то есть свои, да и запорожцы, оказывается, гораздо к песенному сотворчеству — «їх пісні найкращі!» Может, потому что записано было предание в слободе Аулы, с явно нездешним, не славянским названием? Но теперь уж не дознаться: время унесло предысторию, осталось лишь бытующее и поныне предание, в котором слились вымысел и правда воедино. И будит воображение потомков, не дает уснуть памяти.

В песнях донецкой стороны левобережной Украины повествуется и о чумаках, этих вечных странниках степных дорог, их доле-недоле, и о когдашней казачьей вольнице, об отчаянно-отважных оборонительных сражениях запорожских казаков с ляхами, с турками и Крымским ханством, посягавшими на вольные славянские земли и без конца терзавшими своими опустошительными набегами города и села Руси-Украины, донимавшими и Московское государство, прокладывая в нетронутой траве-мураве Дикого Поля пыльные сакмы-шляхи.

Натерпелись лиха-беды чумаки в тех рискованных, долговременных поездках по битым пустынным степным дорогам-шляхам. В теплую погоду они спали на земле, а небом укрывались. А бывало, и морозы заставляли в пути, и снегом заметало, и дожди наваливались, как проклятье небес. Ко

всему подстерегали, кроме татар кочевых и разбойников, еще и недуги, падеж скота, волки...

Дома же их месяцами ждали-выглядывали и жена, и малые дети.

*«Ой, чумаче, чумаче,
Чом не сієш, не ореш?
Чом не сієш, не ореш
І не рано з Криму йдеш?
Чом не рано з Криму йдеш
І чумаків не ведеш?»
«Хоть веду я, та не всі,
А й одного немає.
А й одного немає
Товариша вірного.
Товариша вірного,
Брата й мого рідного.
Остався він й у Криму
Сіль важити на вагу.
І зірвалась стелина,
Сіль голову розбила...»*

В другой песне вроде бы продолжение этой истории:

*Да вдарили зразу в дзвони уво всі —
Се ж по тому чумакові, що ходив по сіль.
Ой, йшли воли та в вісьмерику,
Задзвонили в усі дзвони по тім чумаку.
Ревнули воли у новім ярмі,
Поховали чумаченька в чужій стороні.
Ревнули воли, степом ідучи,
Поховали чумаченька, з Криму везучи.*

Столько жалости и печали изливалось в тех песнях чумацких! Но одновременно пелось и о лихой, а то и разливой удали чумаков. О корчме попутной, в которой они нередко запиивали. Да так, что и волов пропивали. Тогда полный крах и ему самому, и его семье.

Зная обо всех этих и других бедах, какие подстерегали чумаков, матери и отговаривали своих дочек выходить за них замуж. Наушали:

*Чумақ ярма нариває
Та в Крим по сіль виїжджає.
Та в Крим по сіль виїжджає,
Жінку вдома покидає...*

Жену, которая, по их же насмешке, «драним горшком воду носить, а в сусідів солі просить»:

*Ей, сусіди-голубочки,
Дайте солі два дрібочки!
Дайте солі два дрібочки
Та навчайте свої дочки,
Щоб по ночам не ходили,
Щоб чумаків не любили.
За чумаком добре жити,
Що ні спекти, ні зварити,
Що ні спекти, ні зварити,
Нічим борщу посолити.
Нема хліба ні кусочка,
Нема солі ні дрібочка,
А в коморі ні мучини,
А в колисці дві дитини!*

Из тех же горемычных, печальных в большинстве своем песен-дум встает воочию беда куда пострашнее, всем бедам беда, которая преследовала чумаков в безлюдной степи, — это жестокие наскоки иноверческих кочевников.

*Ой, з-за Дону, з-за ріки
Виходили чумаки,
Чорноморські козаки,
Не доходя Чорного Яру, становилися,
Сірих волів розпрягали,
Без опаски спать лягали.
Де не взялася орда —
Порубала чумака.
Порубала, посікла
І у полон заняла.*

Натерпелись лиха-беды чумаки в своем дорожном житье-бытье по самую завязь — до непродукту, как говорится.

Естественно, и в песни выплескивали эту горечь. Оттого они по большей части и невыносимо грустны, хотя и с украинской врожденной мягкостью:

*Текли річки невеличкі, тече вода стиха —
Набралися чумаченьки з татарвою лиха.*

Кочевники были общей бедой и для запорожских казаков, чьи вольности простирались по донецким степям далеко на восток и север.

А поскольку и бурлачество, и чумачество, и казачество в Украине были изначально как бы единого истока и испокон веку вольными, то и любые посягательства на такую вольность, как и на свободу всех жителей тогдашней Руси-Украины, вызывали отчаянное сопротивление специально вооружившихся для этого праведного дела людей — казаков. Поначалу они собирались в Киеве, Каневе, Черкассах, а потом, теснимы поляками, литовцами, русскими и шведами, опустились по Днепру ниже его каменных, неприступных для судоходства порогов и там, «за порогами» укрепились, основав Запорожскую Сечь. Ну, слово «сечь» и переводить не надо — оно само за себя говорит.

Как и чумаки, запорожцы тоже хватили лиха по самый край.

*Зажурилась Україна,
Бо нічим прожити,
Витоптала орда кіньми
Маленькі діти,
Котрі молодії —
У полон забрато...*

А о беде, какую несла им Польша шляхетская, пелось так:

*Ой, то ляхи — вражі сини —
Вкраїну зрубали,
Течуть річки кривавії
Темними лугами...*

Украинские исторические песни, как правило, сюжетны и адресны. По ним легко узнать, где, когда, кем и что деялось в Украине. И про атаманов Сирко, Дорошенко и Калнышевского, и про Максима Зализняка, и про Семена Паляя, и про

Устима Кармалюка, и про Ивана Гонту, порешившего своих детей, рожденных полячкой, и про гетманов Ивана Мазепу и Богдана Хмельницкого...

Калейдоскоп отечественной истории, то печальной, со слезой даже, то мужественной и необоримой, так и высверкивает в словах тех песен! А еще ведь и русские песни о народных повстанцах Емельяне Пугачеве, Степане Разине, Кондратии Булавине...

Нам же, донбассовцам, особо дорого упоминания в них нашего края степного о ту пору.

Легендарная Саур-могила прямо увенчана венком из этих народных дум, их около трех десятков наберется.

*Ой, під Савур-могилою,
На Савранському полю,
Сталась січня славних*

козаченьків

*З татарвою лихою...
Попереду Морозенко,
Як на герці, гуляє,
Козацькою шабелькою поле
Татарвою устилає...*

Немало полегло и казаков, а татар втрое больше. Да схватили Морозенко... Ни о пощаде он не просил, ни о помиловании, а только о том, чтоб вывели на Саур-могилу и дали в последний раз взглянуть ему на милую Украину. Враги выполнили его предсмертную просьбу, но...

*Вони його не різали
Й на часті не рвали —
Вони з нього, молодого,
Живцем серце видирали.
Поставили Морозенка
На Савур-могилу:
«Дивись тепер, Морозенку,
На свою Вкраїну».*

Поминается об этой могиле в песнях о Супруне, с той же печальной участью. Хотя битва на этот раз была уже с турками. И вроде бы в иных пределах, но историки не отыскали на картах других саур-могил, кроме донецкой.

А уж в думе о побеге трех братьев из города Азова из турецкой неволи в христианский мир к устью запорожской речки Самары, мимо Саур-могилы, на которой остался на веки вечные самый младший из них, ибо не было у него коня, как у старшего и среднего братьев, — в этой думе уж точно проложен путь по траве-мураве или по проторенному чумацкому шляху мимо нашей Саур-могилы, по нашим тогда диким степям:

*Як із землі турецької,
Та з віри басурманської,
Із города із Озова не пили-тумани вставали:
Тікало три братіки рідненькі...
Два — кінних, третій — піший-піхотинець...*

Оставили братья меньшего помирать на Саур-могиле, а сами, добираясь к родному дому, стали терзаться, что ж отцу-матери говорить. Если сказать правду, проклянут... Так оно и случилось, поскольку «середульший», с более мягким сердцем, сознался во всем. Думалось, если подберут меньшего, то не уйдут от турецкой погони, не вынесут кони их груза, но и так, оставив его на верную смерть, тоже не обрели ни воли, ни доли, ни желанного покоя — хоть руки накладывай на себя.

Более трагичной, более психологичной думы не знаю, чем эта.

Вообще такой же болью и мукой исполнены и песни о неволе, о галерах, о вдовьей доле, и об освободительной войне крестьян с помещиками, и о грянувшем разгроме Запорожской Сечи царицей Екатериной II, после чего:

*Ой, царице, вража мати,
Що ж ти наробила,
Край наш рідний, степ широкий
Та й занастила.*

И о последующей революции, и грянувшей вслед за ней гражданской войне, когда шел брат на брата, и об войнах — империалистической, когда вторглись в Украину австрийцы и немцы, и о Великой Отечественной, когда Украина оказалась под оккупантом, об угоне на подневольную работу в Германию молодежи...

Господи, как же грустны, невыразимо печальны эти песни! От них сердце будто кровью обливается.

К вышеназванным, хоть чумацким, хоть казацким, впрямую примыкают и многие песни о любви и неласковом, по воле родителей, замужестве, о сиротстве...

Однако из песни, как говорится, слова не выкинешь. А тем более, из родной истории, костоломно прокатившейся по судьбам твоих предков.

И все же необорим дух у моего народа! Соблюдая песенную обрядность и при сватанье, и во время свадеб, проявляя сметку и находчивость, кручинясь нехватками, неурожаями, голодом, он все же верил в удачу, в то, что хуже смерти ничего уж не будет. И можно только позавидовать их силе духа. Что я и делаю, едва заслышу в застолье:

*И пить будем,
И гулять будем.
А смерть придет —
Помирать будем!*

Быть может, ни в каких других песнях, в сравнении со славянскими, не поется столько о великотеperнии и страданиях. Даже такая форма коротких песенок-частушек возникла как страдания, отродясь свойственным нашей душе:

*Я страдала, страдать буду,
Я страданья не забуду!*

И чем объяснить все, не знаю. Натура ли у нас такая? Планида ль, как молвится, выпала горемычная нашим предкам и затем передалась через многие поколения и нам? Свыше ль предначертано? Но за что? В чем мы провинились перед Богом?

Нет ответа во мне. А только знаю, что вытерпел народ мой столько всякого, что и в далеких потомках это каким-то образом, неровен час, да аукнется, не может не аукнуться. Такое долготерпение к житейской и социальной несправедливости целого народа вряд ли останется бесследным.

Зато какое веселье наступало по слободам и хуторам в нашем крае под Рождество, под Старый Новый год — на Меланку, на Масленицу! С песнями и вечерю носили в

Святой вечер, и посевали утром первого дня наступившего новогодья, и Василька встречали:

*Меланка ходила,
Василька водила...*

Какое это было удовольствие и радость гурьбой бродить по заснеженному хутору, от хаты к хате, гулко стучать ногами у скрипучих на морозе калиток, заглядывать в бело-цветисто заиндевшие окна да озорно припевать либо щедривочки, либо колядки! Эхма, не повернуть, ни за что не воротить и не повернуть вспять ни того возраста, ни той удали и заливчатства, порой будто бы и стеснительного, но все-таки настойчиво-требовательного под скрытой смешинкой:

*Щедрівочка щедрувала,
До віконця припадала:
— Чи ти, тітко, наварила,
Чи ти, тітко, напекла?
Неси мені до вікна.*

А то и со смешливой угрозой:

*Не дадите пирога —
Возьму волю за рога,
А кобылку — за чупринку
Да выведу на могилку,
Сюда — рог, тудя — рог,
Дайте, дядька, пирог!*

Это уже колядки, которые начинались примерно так:

*Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, п'ятака...*

Звенят поутру заиндевелые окошки, в которые ты, зайдя в хату, сыпанул каким-нибудь зерном, а лучше всего — кукурузой, чтоб громче было, эхо прянуло по углам в сутемени предрассветной, и голос твой торжествен, многозначущ, словно ты сам уже взрослый сеятель — орадай! — и, желая хозяевам, чтоб уродились и жито, и пшеница, и горох, чечевица и всякая пашница, и себе самому того же сулишь:

*Щоб всього було доволі
І в коморі, і на полі.*

*Сію, сію, посіваю,
З Новим роком
Поздоровляю!*

Эти веселые, озорные детские припевки уносим мы с собой в долгий житейский путь, который начинается сразу же за отчим порогом, уносим наравне с колыбельной напевкой матери:

*Прилетіли гулі
Та сіли на люлі.
Стали думать і гадать:
Чим дитину годувать?
Чи кашкою, чи медком,
Чи солодким яблучком?
А ви ж, гулі, не гудіть:
Спить дитина — не збудіть.*

Сладкое воркование голубей, сладкий беспечный сон! Век бы ему длиться!

Из материнской колыбельной, из рождественских песенок-щедривок и припевок на Меланку и поутру на Новый год, веселых напевов и озорных частушек во время Масленицы, из жалобных, разрывающих душу причитаний над усопшими отцом и ненькой, из всего устного народного украинского творчества родилось и песенное творчество классика украинской песни, нашего земляка Михаила Петренко.

Сказалось, безусловно, на нем и глубинно-народное творчество Тараса Шевченко, с которым Петренко был в добрых отношениях, — одно время Кобзарь даже гостил у него в Лебедине, где тот работал уездным стряпчим и надзирателем уездного училища. А познакомились, по «Шевченковскому словарю», на хуторе Лохвин.

Вряд ли найдется человек и в нашей, донецкой стороне, и в чужих землях, который ни разу в жизни не слышал бы его песни, возникшей на основе стихотворения «Небо». Родившись в его душе, спорхнув с его уст, оно, положенное на музыку, обратилось в народную песенную музу и, обретя крылья, воспарило до самого неба над всей землей, нашло

отзвук во многих душах и умах, порывавшихся разгадать тайны мироздания, тайны Вселенной.

Когда стихи молодого Михаила Петренко впервые были опубликованы в альманахе «Сніп», а потом и в одном из выпусков «Южного русского сборника», известный на то время украинский поэт, фольклорист и издатель Амвросий Метлинский написал русскому профессору Измаилу Ивановичу Срезневскому, занимавшемуся украинской литературой, народной поэзией, этнографией, следующее: «...здесь появился поэт истинный, не ровня нам, студент бедный, без роду-племени, такой себе Петренко». Альманах вышел в 1841 году, когда Михаилу было 24 года. А в «Сборнике» уже было опубликовано 16 стихотворений Михаила Петренко, на то время ему исполнилось, соответственно, 31.

С тех пор и стало стихотворение «Небо» народной песней. И в публикациях, и в исполнениях ее много раз переименовывали — каждый на свой лад, она что называется «обкатывалась» в горле поющих и под пером публикаторов, редакторов и цензоров. Но основы своей не утратила. И все-таки хочется привести ее в первоизданном виде — для памяти молодым землякам выдающегося поэта-песенника. Вот он, этот вариант:

*Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокіл? Чому не літаю?
Чому мені, Боже, ти крилець не дав?
Я б землю покинув і в небо злітав.
Далеко за хмари, подальше од світу,
Шукать собі долі, на горі привіту,
І ласки у зірок, у сонця прохати,
У світі їх яснім себе показати.
Бо долі ще змалку здаюсь я нелюбий,
Я наймит у неї, хлопцюга прибудний,
Чужий я у долі, чужий у людей:
Хіба ж хто кохає нерідних дітей?
Кохуюся з лихом, привіту не знаю
І гірко, і марно свій вік коротаю,
І в горі спізнав я, що тільки одна —
Далекеє небо — моя сторона.*

*І на світі гірко, як стане ще гірше,
Я очі на небо — мені й веселіше!
Я в думці забуду, що я сирота,
І думка далеко, високо літа.
Так дайте ж бо крилля, орлячого крилля,
Я землю покину і на новосілля
Орлом бистрокрилим у небо польну
І в хмарах від світу навек утону!*

Эта песня бессмертна! Пока будут жить на земле люди, пока над ними будет лазурью или темной синевой течь вечные, загадочные небеса, до тех пор она будет связывать человека земного с Космосом, неизъяснимо волновать его, навевать размышления о беспредельности мироздания, о вечности и короткой по отдельности человеческой жизни.

Небо, естественно, принадлежит Вселенной и Земле, всем землянам. А стало быть, оно интернационально. И все-таки хочется думать, что именно небо Донецкого края, небо Украйны — с Чумацким Шляхом и Чумацким Возом — вдохновило Михаила Петренко на эту бессмертную песню.

Оно и вправду особое, наше небо. Помнится, возвращался я из Заполярья, где плавал с ледаколыщиками и где был Полярный день, и вдруг — после Курска — наступила украинская ночь, которой я не видел несколько месяцев. На земле цвели подсолнухи, трещали сверчки, а в густой синеве неба проклюнулись яркие звезды, протянулся с севера на юг Млечный путь, то бишь Чумацкий шлях, и стали незаметно вращаться вокруг Полярной звезды, как на приколе-стожаре, Волосожары, образуя совокупно Чумацкий Воз, вовсю замерцали созвездия, будто подавали какие-то тайные сигналы или казали путь в отчую сторону.

От охватившего меня тогда волнения я так и не уснул до рассвета, все глядел через окно на наружный мир, который задолго до подъезда к Донецкому кряжу уже казался родным и близким — сродни отчему краю.

И сейчас горжусь, что этот край, с чумаками, с казаками и слепыми кобзарями, с когдашними набегамы татар и сечи с ними на бывшем Диком Поле, близ Саур-могилы, и Северский Донец с притоками Осолом и Тором вдохновляли

Михаила Петренко, вошли сутью в его поэзию, в такие песни как «Взяв би я бандуру, та й заграв, що знав» и «Ходить хвиля по Осколу, аж на берег скаче».

Песни, какие родились сугубо в трудовом Донецком крае, имеют еще и свой отличный, особый аромат — аромат труда.

В тех из них, какие впервые записал и обнародовал в 1869 году Глеб Успенский, преимущественно говорится о работе — в шахтах, на рудниках и заводах. Пусть и о тяжком, каторжном, а все-таки о труде, которым кормился рабочий люд.

*Шахтер рубит, шахтер бьет,
Под землю ход ведет.
Шахтер радости не видит,
С горя песенки поет.
Шахтер в шахту опустил,
С белым светом распростился.
До свиданья, белый свет,
Я вернусь или нет.*

Всего два куплета из песни «До свиданья, белый свет!» А в них угадывается вся жизнь шахтерская в ту пору. О той же горькой участи поется и в «Песне забойщиков», и в знаменитой, дожившей до нашего времени — ее поют горняки на современных шахтах, когда случаются аварии и гибнут побратимы, — «Песне о коногоне»:

*А коногона молодого
Несут с разбитой головой...*

И о кабаке, понятно. О том, где шахтер, несмотря на усердие, тщетно пытавшийся выбиться из нужды, топил в стакане свои невеселые думы:

*И, выпив с досады к родимой отчизне,
Хорошим словечком он всех помянет.*

Шахтерские песни обретают, если можно так выразиться, «паспортную» принадлежность по профессиям: «Песня сачночника», «Песня о шахтерках», «Песня котлочиста», та же «Песня забойщиков» и та же «Песня о коногоне». Заодно в русскую культуру из украинских народных песен проникают и обозначение их как дум, и сюжетность, и, конечно, лиризм, при котором сплетается с личной судьбой судьба многих,

попавших в подземелье, углекопов — «Дума углекопа», например.

В XX веке, продолжая начатое Глебом Успенским, донецкий писатель Алексей Ионов собрал, составил и издал книгу рабочего фольклора «Песни и сказы Донбасса». В нее же вошли, помимо песен, сказов, пословиц и поговорок, более семисот частушек и страданий, этих коротких, в четыре, а то и в две строки, рифмованных песенок из народной поэзии. Подумать только, свыше семисот! Да писатель подвиг совершил, записав и оставив потомкам эти то грустные, то лихие и хлесткие, крылатые порой, как присловья, несущие нередко отпечаток времени и места событий, — эти бесценные свидетельства того, о чем думали предки, что их заботило, как трудились и любили... Словом, душу предков сберег для нас.

Их можно с удовольствием цитировать без всяких комментариев. Они сами за себя говорят:

*Давай, детка, страдаем
Мы по новой моде:
Ты у шахте на сто пять,
А я — на породе.*

*Все подрядчики, как черти,
Шкуру тянут с нас живых,
Но они дождутся смерти
От шахтеров удалых.*

*Как в Юзовке стоит дом
С высокой трубою.
Наказал меня Господь
Несчастной судьбою.*

*А в Горловке есть кукушка,
Ездит задом наперед.
А в Горловке девок много —
Никто замуж не берет.*

*Я вчера сказала Васе:
«Давай садики садить,
Чтобы в угольном Донбассе
Было весело нам жить».*

*Небо сине, небо сине,
Звездочка упала.
Я откатчицей была,
Инженером стала.*

*По фамилии Изотов,
А зовут Никитой.
Никого на весь Донбасс
Нету знаменитей.*

*Уголь на-гора даем,
Жизнь мы строим заново
И по старым нормам бьем
Методом Стаханова.*

*На свиданье звал на домну
Горновой, да ночка темна.
Чтобы мне идти светлей,
Чугуна побольше лей!*

*Вот настали времена —
Наши девки шофера!
Здесь уж нечего дивиться,
Надо трактором гордиться.*

*По-культурному живу:
Ем с тарелки вилочкой.
Нынче будем молотить
Новой молотилочкой.*

И трудом, и любовью, и новым временем дышат эти частушки. Тем, чем жили люди, которые их слагали. И ты вроде опрокидываешься всем естеством в те времена, становишься соучастником и свидетелем.

Песни же, как правило, являют собой еще и чью-то судьбу, историю его жизни. В особенности, если они идут от украинских народных дум.

В связи с этой мыслью приведу все-таки хотя бы один комментарий из книги Алексея Васильевича Ионова:

«Песня про Дейнегу». Посвящена памяти учителя Прохора Семеновича Дейнеги, погибшего в декабре 1905 года, во время Горловского восстания, в бою с драгунами.

П. С. Дейнега преподавал в школе шахтерского поселка Гришино (ныне гор. Красноармейск в Донбассе) математику и и одновременно заведовал школой. Как рассказывает пенсионерка, жительница Красноармейска М. Холдогина (Обухова), в той же школе работал учителем пения Николай Дмитриевич Леонтович, ставший впоследствии видным украинским композитором. Он дружил с Дейнегой.

В дни революционного подъема в Донбассе Прохор Дейнега возглавил в поселке Гришино боевую рабочую дружину. По зову восставших шахтеров Горловки и металлистов Енакиево, поднявшихся с оружием в руках на борьбу с царским самодержавием, дружина во главе с Дейнегой прибыла в Горловку и вступила в бой с драгунами.

Получив весть о гибели Прохора Дейнеги, Н. Д. Леонтович сказал ученикам:

— Такому человеку надо создать вечный памятник. А что может быть более вечным, чем песня? Песня — бессмертна!

Он тут же сыграл на скрипке мелодию будущей песни и пригласил учеников сообща сочинить ее текст...»

Позже первоначальные слова изменялись теми, кто ее пел в Юзовке, Горловке, Краматорске, добавлялись новые, она обкатывалась в народе, как обкатывается при распевке в начале мая в горле у соловья его завораживающие всех нас со временем неподражаемые трели. Только в человеческом обиходе песню сотворяло множество людей. Участвовали в сотворчестве, тем самым единаясь меж собой даже заочно. В этом еще одна особенность народной песни, кроме ее долгожительств. А может, она потому-то и становится долгожителем, что передается из уст в уста, от одного поколения к другому, от старшего — младшему? Обретая, в конце концов, то бессмертие, о котором сказал композитор, наш земляк.

Бессмертное дело незабвенного Ионова, слава Богу, продолжил и успешно продолжает известный донецкий фольклорист и ученый Петр Тимофеев.

Край Донецкий! Для каждого, кто родился здесь, вырос или связал с тобой судьбу свою, ты и есть тот отчий дом, о котором столько сложено песен, частушек-страданий, плачей-причитаний над покидающими этот мир навеки родными и близкими. В них и твоя, и наша жизнь воспеты в душевной совокупности, до нераз двоимости. И благо для тех, которым посчастливилось не покинуть тебя, не забиться в чужие дали навсегда, и для тех, которым повезло вернуться в отчие пределы. Изнылась бы душа в ностальгическом надрыве!

Одни исторические события сменялись другими в Донецком крае, менялась жизнь шахтеров, соледобытчиков, металлургов, химиков, машиностроителей, рыбаков... Иными становились и песни, рассказывающие об этих переменах как в облике края, так и в самом человеке, ибо выказывали душу в сокровенном.

И тут первым делом следует назвать песню Бориса Ласкина «Спят курганы темные...» И не только назвать, а привести ее полностью — ведь в ней поведал автор о целом поколении горняков в мирные, предвоенные годы. К тому же она стала, считай, народной.

*Спят курганы темные,
Солнцем опаленные,
И туманы белые
Ходят чередой...
Через рощи шумные
И поля зеленые
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.*

*Там, на шахте угольной
Паренька заметили,
Руку дружбы подали,
Повели с собой.
Девушки пригожие
Тихой песней встретили,
И в забой отправился
Парень молодой.*

*Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу жаркую,
На дела хорошие
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.*

Музыку к ней написал Никита Богословский.

В этой песне завидное единство и слов, и мелодии. Ее поют и в праздники, и в будни. Как своеобразный гимн Донбасса! Только по-народному напевный, берущий за душу.

И нашего земляка Михаила Матусовского никак нельзя не припомнить с его песней «Шахтерский характер» — она у всех на слуху постоянно:

*Когда мы идем после смены,
Степную дорогой пыля,
Дороже еще и милее
Нам кажется эта земля.
Мы долго любимся солнцем,
Глаза прикрывая рукой, —
Такие сердца у шахтеров,
Шахтерский характер такой.*

С ее главным выводом:

*Шахтеры живут под землю,
Чтоб было светло на земле.*

И, конечно же, поэта Николая Доризо, его лирическую, в которой «душа красоте той верна»:

*Давно не бывал я в Донбассе,
Тянуло в родные края,
Туда, где доньине осталась в запасе
Шахтерская юность моя...*

Так же, как и песню Андрея Лядова:

*В светлом небе донецком голубиную стаю
Догоняет степной ветерок.
Пусть им вслед улетает эта песня простая,
Песня трудных шахтерских дорог.
Что ты знаешь о солнце,
если в шахте ты не был...*

И популярную веселую песню Сергея Воскресенко «Шахтарочка»:

*Я шахтарочка сама —
Звуть мене Маруся.
В мене чорних брів нема,
Та я й не журюся...*

Будто венком бессмертия увит Донецкий край песнями, какие сложили его сыновья-поэты!

И тот же Владимир Сосюра с песней-признанием в любви к нему «Донеччино моя, моя ти батьківщино», и тот же Павел Беспощадный с не менее пронзительной по чувству «Донецкой степной», и Владимир Демидов с его «Травами детства», и Виктор Шутов с его «Городом синих терриконов», и Николай Рыбалко с его «Я жил в такие времена...», и Евгений Мартынов с его «Отчим домом», и Михаил Пляцковский с его «Откуда я родом?..», «Под крышей дома твоего» и многими другими песнями...

Свои особые, не похожие друг на друга ветки-песни вплели в этот венок Владимир Труханов и Григорий Кривда, Николай Анциферов и Анатолий Кравченко, Станислав Жуковский и Борис Белаш, Виктор Руденко и Донат Патрича.... На русском, украинском, греческом языках. Этакий интернациональный венок бессмертия сотворили!

Вновь и вновь мысленно возвращаюсь к песне о казаке Морозенко, положившем жизнь на Саур-могиле за независимость нашего края, а равно и всей Украины:

*Вся ти еси, Україно,
Славою покрита,
Тяжким горем та сльозами,
Та кров'ю полита.
І поки над білим світом
Світить сонце буде —
Твої думи, твої пісні
Не забудуть люди.*

Не забудутся песни и Донецкого края, где родилась эта дума народная о Морозенко. Им уготована вечность!

Бог ведает, как там на небеси, в Господних небесных пределах с вечной жизнью отлетевших якобы туда людских

душ, в том числе и душ наших предков, кровных и некровных, а уж на земле-то нашей отчей они точно останутся бессмертными — в вечно живых песнях, в которых они сохранились и будут передаваться из поколения в поколение, как их прообраз и суть. Во веки веков! Помогая потомкам и жить, и трудиться во благо родного края.

2001

ДУМА О ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ

Во время последней Отечественной войны наш земляк, известный русский писатель Борис Горбатов в своих знаменитых «Письмах к товарищу» доверительно и страстно признавался в любви к малой родине:

«Родина! Большое слово... Но для каждого человека Родина начинается в том селении и в той хате, где он родился. Для нас с тобой — за Днепром, на руднике, в Донбассе. Там наши хаты, под седым очеретом — и твоя, и моя. Там прошумела наша веселая юность — и моя, и твоя. Там степь бескрайна, и небо сурово, и нет на земле парней лучше, чем донбасские парни, и заката красивей, чем закат над копром, и запаха роднее, чем горький, до сладости горький запах угля и дыма. Там мы родились под дымным небом, под глеевой горой; там до сих пор звенит серебряной листвою тополь, под которым ты целовал свою первую девушку; там мы плескались с тобой, товарищ, в мелком рудничном ставке, и никто меня не уверит, что в море купаться лучше. Но и спорить об этом не буду ни с одесситом, ни с севастопольцем. Каждому — свое».

Воистину у каждого своя отчина и каждый по-своему выражает к ней свою любовь. И спорить тут нечего.

Но одно дело как бы со стороны глядеть на нее, тосковать по ней и восторгаться ею. А другое — постоянно жить в отчем крае, не отстраняясь ни от его славы, ни от его нужд и насущных проблем. Край, в котором есть и черная земля —

уголь, и белая — соль, и железная — железные руды. И не просто наличествуют, а усиленно разрабатываются...

В послевоенные годы, когда Донбасс возродился, его, как и всю страну, захватила гигантомания в постройке заводов, шахт, разработке карьеров, машиностроении, портовых грузооборотов, ловле рыбы в Азовском море, освоении приречных лугов пашнями...

И вот уж, почти что сразу после перестройки, последующего распада Советского Союза и обретения в составе Украины независимости, а заодно и перехода на рыночную экономику, его, гиганта современной индустрии, сначала исподволь, а потом и всюю залихорадило — и сверху, и в добычных недрах, что называется в самом нутре.

Надо думать, перестарались во многом. Шахты из-за их количественного перепроизводства, да к тому же без должного технического переоснащения, а в результате — нерентабельности добываемого угля, доводится выборочно закрывать вовсе либо ставить на так называемую «консервацию». И столь огромные заводы для более-менее успешной работы нам вроде бы ни к чему. И землю вспахали там, где не нужно было, ибо подзахирели тут же и малые реки, и родники с доброй водой. И Азовское море оскудело на рыбу без должного, опережающего лов, воспроизводства малька. И заповедные уголки природы очутились под угрозой перерождения оттого, что в окрестностях ихних безоглядно хозяйствовались крестьяне. И небо закоптили трубы без дымоулавливателей, а вода в искусственных ставках и речушках попортилась отходами химкомбинатов, потому как, то ли по забывчивости и неоглядности, то ли по хитромудрию, дабы любым способом экономить лишнюю копейку, вовремя не соорудили очистных сооружений. Но известно, что скупой платит вдвое больше.

В конце концов все стало в такой остроте, и не только у нас — во всей державе! — что на государственном уровне была создана управленческая служба по экологической безопасности и природным ресурсам. Украина теперь с мольбой взывает к промышленным регионам, чтобы каждый их житель почувствовал себя истинным хозяином на отчей земле, не

варягом, которому все нипочем, которому лишь бы день до вечера, которому только прокукарекать, а там пусть и не светает...

Возродить же патриотизм в человеке, подутраченный в сегодняшней рыночной суете, в борьбе за выживание и ежедневное пропитание, не так-то просто. Никакие воззвания, никакие лозунги, никакие призывы и напоминания тут не помогут — они просто бессильны что-либо сделать из-за своей отталкивающей схоластики.

Любовь к малой родине нужно заронять смалу.

Если, допустим, какой-нибудь мудрый дед возьмет своего внука за руку и поведет в соседнюю балку, и там совместно с ним отроет хотя бы один заиленный родник, выпустит на волю веселый ручеек, это дитя уже будет любить свою отчину, как саму Родину.

Или отец и мать покажут мальцу погибших в посадках птиц от удобрений, которые бездумно сыпали на поля в немеряных количествах, да объяснят, отчего погибли и воробьи, и сороки, и синицы, и дикие голуби, и скворцы, о которых ребятишки пеклись и в зиму, сооружая кормушки и подсыпая в них зерно, и загодя мастерили для них скворечники, — вот тогда и зародится в подрастающем поколении патриотизм как ответственное — не только умилительное и восторженное! — чувство.

Или старший брат и сестра, допустим, обратят его внимание на то, как из городских прудов, куда сброшены вредные стоки, в смертельном страхе выбираются чувствительные, как ни странно, к человеческой нечести, раки и карабкаются на прибрежные пеньки, надеясь спастись от гибели, какую учинил им человек своей неразумной хозяйственной деятельностью.

Или растолкуют в школе, отчего участились взрывы на шахтах, поведают горькую правду, не ссылаясь на сказовые козни подземного властелина Шубина. А еще и деревце посадить в память о каждом погибшем шахтере. Ну хотя бы вместо тех, которые повсеместно вырубаются в донбасских городах шустрыми предпринимателями для постройки своих скорых на выручку магазинов и магазинчиков, баров и пицц-

церий, шикарных с виду, но не доступных карману простолюдина макдональдовских заманушек...

Приучая, точнее — научая детей поначалу воспринимать все это в образах и картинках, а потом и осознавать эту пестроту жизни на родной земле и тем самым зарождать в подрастающем поколении корневую привязанность к отчему краю, точно к самой Родине, лишь при этом условии, на мой взгляд, можно рассчитывать, что из них не вырастут Иваны, не помнящие родства.

Составлять многоветвистые родовые древа, чем заняты нынче и краеведы, и учителя со своими учениками по школам, — дело стоящее, памятликое, привязывающее к предкам, а стало быть, и к тому, чем они занимались на прадедовской земле, к их ремеслам, их выборочным родовым пристрастиям и песням.

Однако подкрепить все эти познания чем-то конкретным в отчих пределах, скажем, тем же возрожденным родником, — все равно, что проследить обратную неразрывную связь понятий Родина — народ — род — родник.

Возрождение патриота в каждом донбассовце — это и будет подлинным возрождением Украины в нашем крае, в Донбассе, охваченным нынче лихорадкой новой экономической политики, какую уже доводилось переживать в первой четверти XX столетия, — с ее частным предпринимательством, арендами, натуроплатой, рынком рабочей силы, безработицей, неизбежным теневым бизнесом и расслоением населения на очень богатых и очень бедных... Выбраться из всего этого бедлама наверняка поможет и чувство патриотизма, боль за каждого земляка, за весь Донбасс, долг и совесть перед ним как перед землей, заповеданной предками и дарованной Богом.

Усовеститься бы любому из нас до глубины души, оглянуться на прошлое, в котором было столько горя и радостей, опомниться и покаяться, если в чем-либо отступили от библейских заповедей бессмертных и от того, что заказывали предки, весь твой род как народ, Родина.

Век каждого смертного короток. И выстраивать свой житейский путь между харчевней и отхожим местом, считать это

счастьем — великое заблуждение. Оно, может, и сытое, и крутое, как теперь говорят, однако противно Богу, не богоугодное, сиречь убожеское.

Прозреть все это, как если бы обрести спасение, прозрев и собственную сущность, — не в этом ли настоящее счастье?

Будем же добиваться его, именно такого! И помыслами, и трудами своими.

И не когда-нибудь, и не где-нибудь. А прямо сегодня, сейчас же. И в первую очередь — на малой родине. И непременно — с врожденной и возрожденной любовью к ней.

2001

ДУМА О БОЛЬШОМ ДОНБАССЕ

Отчий край, сторона родная, земля, нареченная Донбас-сом, из самой глубокой глубины сердца добываю самые сокровенные слова признания в любви к тебе. Но какой бы магической силой не обладало слово с прадавних, ветхозаветных библейских времен, каких красок, звуков и энергии не несло бы оно в себе на протяжении многих и многих тысячелетий человеческой истории, все равно, боюсь, не способно в полной мере выразить всю проникновенность сыновнего чувства.

Образ Донбасса настолько многолик, многомерен и многокрасочен, настолько величественен, что и впрямь непросто воздать ему должное обыденными словами.

В нем причудливо единятся, казалось бы, несочитаемые виды: первозданные, от сотворения мира, ландшафты и сотворенные руками человека пейзажи; на его равнинной территории высятся древние курганы-могилы и сходные с ними шахтные терриконы пустой породы; первозданная, заповедная степь соседствует с возделанными полями, естественные леса с рукотворными, рощицы и березовые колки с лесополосами, реки с искусственными каналами, природные озера со ставками, запруженными людьми; есть в нем портовое и пляжное море и поднятая над его уровнем края

жистая суша в виде кристаллических возвышенностей, как и весь кряж, есть неповторимые, редчайшие в мире белые меловые горы и соленые озера, множество буераков, забытых терном, дикими грушами и яблонями, оврагов с крутоярами и балок с родниками доброй воды в них, привольных долин и сухменных водоразделов; а по окоему маячат вперемежку каменные бабы, свидетельницы незапамятной старины, и современные заводские трубы; он растет ввысь высотными домами и так же многоэтажно уходит вглубь подземными горными выработками и галереями соляных рудников; по величине же и по многомиллионному многонациональному народонаселению под стать любой европейской державе.

А вечерами, едва падут сумерки на донбасские города и поселки, вершины копров преуспевающих шахт возгораются звездами шахтерской доблести, и вот уж весь Донбасс, словно бы перемигиваясь ими и роднясь с небесными светилами, выглядит неким обособленным созвездием, а то и целой планетой — со своим звездным небом, своими наземными и сокрытыми под землей горизонтами, со своей отдельной орбитой во Вселенной.

Его, такого, светящегося как бы сигнальными огнями, поэты сравнивают еще и с гигантским кораблем, плывущим в бездонной украинской степи своим нелегким, но верно выбранным курсом — вперед, в благополучное грядущее каждого донбассовца! Как тут не повторить привычного для мореплавателей пожелания: «Счастливого плавания. Так держать!»?

Быть может, именно поэтическому слову больше всего под силу воспеть и восславить Донбасс, его могущество, а заодно передать и наше сокровенное отношение к нему.

Верный сын земли донецкой, ее соловей, украинский поэт Владимир Сосюра сознавался:

*Донеччино моя, моя ти батьківщино,
Тобі любов моя і всі мої чуття!
Я до твоїх грудей приникнув, як дитина,
Щоб знов набратись сил для пісні і життя.*

Другой же донбассовец, выходец из шахтерской семьи, да и сам оттрубивший немало годков под землей, русский поэт

Павел Беспощадный, состоя в душевной переключке со своим земляком и собратом по перу, в лихую военную годину, когда Донбасс был оккупирован фашистами, а он, будучи больным, находился в эвакуации в Средней Азии и исходил невыразимой тоской по родному краю:

*Мне Донбасс здесь вечно снится,
Я в бреду его зову:
Пронесись хоть синей птицей
Над кибиткой, где живу.*

И, утверждая своей поэзией непокоренность Донбасса, давал своеобразную клятву:

*И нет земли прекрасней, вдохновенней,
Где все творцом-народом создано.
Донбасс никто не ставил на колени,
И никому поставить не дано!*

Какими только высокими эпитетами ни награждали Донбасс!

И Всесоюзной кочегаркой. С искренним, по-сыновнему восторженным обращением к ней Бориса Горбатова:

«Да и как не любить ее, нашу родную Всесоюзную кочегарку, этот могучий край угля и металла, край, где каждый метр преображенной земли, каждый камень, каждый новый куст, каждый новый дом, каждая заводская труба, сами недра земли — все, все поет славу труду, славу Человеку Труда — Творцу и Хозяину».

И Центром угольной промышленности. И индустриальным, или стальным сердцем Украины. И землей героев.

А сам уголь — хлебом промышленности! Донедавна, почти весь XX век это ленинское определение не сходило с наших уст. И не потому лишь, что принадлежало оно вождю пролетариата, а, главным образом, из-за того, что сказано это было о Донбассе, его значении и роли в отечественной истории, которую нам, сыновьям унаследованной донецкой отчины, нынче переписывать негоже. Уточнять же ради справедливости и торжества истины — святое дело! Но заради перелицовки фактов в угоду новым веяниям быстротекущего, взвихренного времени — все-таки грех брать на себя перед потомками, которым многое при нашей перетасовке будет

невдомек. И никто нам за это не скажет спасибо. А может, и осудит, и не простит...

Пласты угля, главенствующего ископаемого в Донецком крае, были названы и Черными Великанами. По определению Менделеева. Образно, ничего не скажешь! Но ученый подметил в нем и то, что порой ускользает от правителей и поныне:

«Близко время, когда узнают, что каменно-угольные запасы, как и вообще ископаемые, должны быть не частною, а общегосударственною собственностью... потому что в угле спрятана также энергия страны, как и в ее войске...»

Вот какая сила сокрыта в этих Черных Великанах, а значит — и во всем Донбассе!

Оттого-то наш край чаще всего и назывался — Шахтерским, Шахтерской стороной. Либо Шахтерской отчиной. Либо Терриконным краем, коль скоро последние, терриконы, возникали на поверхности земли в прямой зависимости от добытого под землей угля.

Еще в середине XIX века харьковский профессор Никифор Дмитриевич Борисяк предрекал:

«...горное дело на Юге не только вызовет к жизни богатства, непроизводительные заключенные в недрах его почвы, но послужит также развитию в здешнем населении предприимчивости, труда, умственных и нравственных, благотворных усилий, чего не может развить одно сельское хозяйство; оно будет проводником здоровой, развивающейся цивилизации».

Провидческими оказались предсказания его! Да еще при нашей-то почве, к которой вполне можно отнести чеховские слова: «Почва такая хорошая, что если посадить в землю оглоблю, то через год вырастет таранас».

Так оно и случилось. Но не само по себе, разумеется, долговременное и невероятное усилие нескольких поколений потребовалось для этого. С многотерпеливым преодолением постоянных нехваток... А нам, нынешним жителям Донбасса, многое досталось навроде готовеньких плодов. Пусть и не райских, а все ж — готовых!

Истоки сегодняшнего могущества Донбасса кроются в немислимой дали схлынувших веков.

Именовалась его территория по-разному: и Киммерийской землей, и Скифской, и Сарматской, и Половецкой, и Диким Полем — в зависимости от племен, которые либо кочевали по ней, либо жили оседло, либо опустошали ее своими набегами. И — Казачьими Вольностями, когда поселились здесь сечевики из Запорожской Сечи в Кальмиусской и Самарской паланках. Пока не обрела она географическое имя — Донецкий кряж, а потом уж, с открытием полезных ископаемых в ее глубинах, и Донецкий бассейн, то есть Донбасс, и наконец — Большой Донбасс.

Чего только не деялось на этой его глухотоманной по тем временам территории!

Об этом рассказывает в древних преданиях и легендах, в начальной летописи Киевской Руси «Повести временных лет», в «Слове о полку Игореве», Киево-Печерском патерике, Ипатьевской летописи, в «Повести об Азовском осадном сидении» и «Повести о битве на Калке» из Тверской летописи о монголо-татарском нашествии...

Отшумели, стихли, улеглись ветры трагической и славной минувшины нашего края, отлетели и сгнули в далеком прошлом гортанные вскрики кочевников, высокое, до самого неба, забитого взорванной копытами пылью, ржаные их летучих коней, бесследным эхом укатились туда же свист половецких каленых стрел и железный звяк щитов и пик русичей, звон сабель запорожских казаков, оборонявших впоследствии этот край от турок, татар и ногайцев, навсегда замер скрип тяжелых чумацких возов, добравшихся поначалу в Крым, а потом на Тор и в Бахмут за солью, отгремели и последующие войны со взрывами снарядов и бомб, винтовочных выстрелов и автоматных очередей, земля донецкая слышала стоны раненых и последние вздохи убиенных, чьи могилы срослись с прадавними курганами-могилами и вразброс погорбили донецкую степь бескрайнюю...

Прокатилась по территории будущего Донбасса вся минувшая история, будто кошмарный сон.

И только мирный, созидательный труд рабочего люда был ему на пользу.

Первоискатели нашли здесь строительный камень, соль, а потом и уголь, железные руды, ртуть, редкие глины... И Донецкий край зажил совершенно иной жизнью.

Понятие Большой Донбасс зародилось в конце XVIII века.

Сперва Иван Бригонцов, считай наш земляк, — горный инженер из Екатеринослава, автор первого научного труда о каменном угле в Донецком бассейне, засвидетельствовал:

«Край Екатеринославской губернии и вновь открытой Вознесенской по своему малолесью ощутят преважные пользы от открытия в первой из них в разных местах каменных угольев.

Они там находятся в весьма изобильном количестве, в Донецком уезде в местах: селе Белом, Ольховой, Николаевке... Также в Бахмутском уезде в Третьей Роте, где уже добыто несколько тысяч пудов каменного угля отвалом и отправлено через Таганрог морями Азовским и Черным в Херсон и Николаев...»

Затем видный геолог прошлого Леонид Иванович Лутугин, впервые составивший геологический разрез угленосной толщи Донбасса, установивший ее мощность, число угольных пластов и прослоек, обозначил первоначальные очертания нынешнего Большого Донбасса:

«Наиболее крупным каменноугольным бассейном европейской России является Донецкий бассейн. Под этим именем следует понимать всю ту площадь Юга России, где развиты осадки каменноугольного возраста прибрежно-морского типа с подчиненными пластами каменного угля. Подобные отложения выступают на поверхность в южной части Харьковской губ., в восточной части Екатеринославской губ. и в западной части Области войска Донского».

Особенно оживился Донецкий край после прокладки по Донецкому краю столь необходимой для сбыта угля Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, когда отпала необходимость использовать для перевозок добытого «земляного угля» медлительных в своем продвижении чумаков.

К тому времени неудачные попытки построить более-менее прибыльные металлургические заводы и в Луганске, и в Лисичанске, и близ Никитовки, на Корсуни наконец-то завершились успехом — англичанин Джон Хьюз возвел зароботавший всюю завод на Кальмиусе.

Для доменного строительства начали использовать огнеупорные часовяровские глины. Заработал и ртутный рудник в Горловке, вдобавок к Первому, угольному, и макиевские шахты...

Словом, к концу XIX века Донецкий бассейн стронулся в своем развитии так, что вскоре опередил многие промышленные регионы, сходные с ним, не только в царской империи.

Канадский историк украинского происхождения Орест Субтельный в своей книге «Украина: история» утверждает — и не без основания! — что за «годы угольной лихорадки», именно с 1870 по 1900 год, Донбасс, наряду с набиравшим силу Криворожьем, сыграл существенную роль в индустриализации и модернизации всей Украины, стал самой быстрорастущей промышленной областью Юга тогдашней российской имперской державы, «а может быть и мира» всего.

В «Энциклопедическом словаре», издания 1963 года, о Донецком каменноугольном бассейне сказано следующее:

«Донбасс — важнейший угольный бассейн в Европейской части СССР. Расположен главным образом в Луганской и Донецкой областях УССР и Ростовской области РСФСР. Добыча начата в конце 18 века. Добываются ценные коксующиеся, антрацитовые и другие виды угля. Общие геологические запасы угля до глубины 1800 метров исчисляются в 240,62 миллиардов тонн (1957). Добыча в 1961 году составила 186 109 тысяч тонн. Геологические исследования и разведка к Северу, Востоку, Югу и Западу от границ старого Донецкого каменноугольного бассейна выявляют все новые угленосные площади (Большой Донбасс). Новые угольные месторождения разведаны в Днепропетровской области, к Северу от Луганска, к Югу от Донецка и других районах. Трудоемкие работы по добыче угля механизированы. Донецкий каменноугольный бассейн — один из крупнейших индустриальных центров СССР с высокоразвитой черной металлургией, машиностроением, химической и другими отраслями промышленности, мощными электростанциями, широко разветвленной сетью железных дорог. Донбасс является также районом развитого многоотраслевого сельского хозяйства».

Ну, теперь уж не только разведаны, а и добываются угли и в западной стороне, чуть ли не у самого Днепра — в Павлограде, и в восточной, едва ли не у самого Дона — в Шахтах и Новошахтинске, и в южной, почитай в Приазовской степи — в Угледаре, да и в северной стороне — вплоть до Северского Донца.

И границы Большого Донбасса раздвинулись во все стороны света, вобрав в себя и бывшие казачьи вольности Кальмиусской и Самарской паланок Запорожской Сечи, и земли Области Войска Донского, из-за которых когда-то были раздоры между запорожскими и донскими казаками, прежде единившимся в борьбе против турок и татар, да и царевых войск во время крестьянского и казачьего восстаний... Отныне Большой Донбасс географически единит независимые государства — Россию и Украину. И связывает общими заботами. И роднит добрососедством. Так что выполняет еще и дипломатические, и политические функции — важнейшую миссию по содружеству двух великих славянских народов, украинского и русского.

Кануло в лету дикое прошлое нашего края! В XX веке он и впрямь напоминал огромный муравейник: в нем строились и обновлялись Бахмутские и Славянские соляные заводы, содовые и керамические, добывалась огнеупорная глина в Часов-Яре, уходили вглубь земли угольные шахты в разведанных месторождениях и ртутные рудники, возводились металлоплавильные заводы в Енакиево, Макеевке, Мариуполе, Горловке, машиностроительные — в Краматорске, Дружковке, Ясиноватой, Юзовке, стекольные — в Константиновке, коксовые — в Авдеевке, трубные — в Харцызске, доломитные — в Гольме, химические заводы во многих городах, как и по выжигу кирпича для доменных печей, разрабатывались новые пласты угля в Снежном и Шахтерске, Доброполье, Красноармейске, Селидово и Угледаре, вскрывались железные и другие руды в открытых карьерах Докучаевска, высаживались леса и лесополосы, возделывались поля и поднималась целина первыми тракторами, из Мариупольского порта корабли везли народно-хозяйственные грузы в разные страны всего мира, а у себя дома, ко всему, строились жилые дома, школы, дворцы культуры и стадионы...

О, то были и вправду «шаги саженьи» Донбасса! Большого Донбасса!

Как далеко шагнул бы он, не помешай ему разруха после гражданской войны, не помешай голодомор тридцатых и репрессии последующих, когда одно за другим фабриковались судебные дела о «врагах народа», готовящих якобы взрывы и всякие диверсии в шахтах, не помешай Великая Отечественная война с гитлеровскими захватчиками, когда доводилось, скрепя сердце, подавив слезу, затапливать шахты и взрывать заводы — все, что было с такими трудами буквально выпестовано, взлелеяно собственными же руками, — затапливать и взрывать, дабы ничто не работало на врага, не помешай и наступившие вслед за победой над фашистской Германией сплошная разруха и голод...

Не будь всех этих препон! Да и последовавших за ними, уже в современной болезненной лихорадке при смене одного социального строя другим.

Не будь, не будь, не будь...

Большой Донбасс, сторона родная, отчий край!

Не убавилось любви к тебе ни во славе, ни в горестях твоих, ни в сегодняшних поисках выхода из нелегкого, порой кажущегося тупиковым, состояния. Любви и веры в то, что ты выпростаешься, восстанешь из-под обвально обрушившегося на тебя безвременья.

Любы неизменно и твои степи бескрайние, и курганы, холмы, буераки, леса, реки, море и меловые горы!

Как по-прежнему любы и дороги дополняющие твой и без того неповторимый пейзаж заводские трубы по горизонту, увитые сизыми дымками, будто зацепившимися облачками, и шахты твои с копрами, на которых по вечерам зажигаются земные звезды — звезды шахтерской славы и доблести, и ухоженные поля, над которыми с вешней хлопотливой поры и до урожайной осени виснет жаворонок, воспевающий из поднебесья обозримый им труд земледельца.

Когда-то коренной донбассовец, поэт милостью Божьей Николай Анциферов сетовал:

*О Донбассе пишут в географиях,
Что Донбасс — край угля и металла.*

*Верно. Но для полной биографии
Это очень сухо, очень мало.
Кажется, есть песня о Донбассе,
Терриконы и копры воспеты.
Верно, есть такие. Я согласен,
Только это — внешние приметы.
Ну, а где же люди? Их не видно.
Потому мне горько и обидно...*

И сетовал не беспричинно. Чего греха таить, воздавали, воздавали неумную дань большей частью внешним приметам. В то время, как следовало копать глубже, добираться до природных кладов не в одном кряже, а и в людях, прежде всего в людях.

Слов нет, неповторим твой облик, Большой Донбасс! И величествен!

И все же думается, что главный твой клад, подлинное твое величие — в людях. Людях, сотворивших тебя таковым, каков ты есть нынешний, и продолжающих творить твой недостаток и славу сегодня и для завтрашнего дня. В каждом донбассовце, который живет и трудится по совести, полученной от предков и от Бога.

Спаси и сохрани их всех. И каждого в отдельности.
Во имя твое, Донбасс!

2001

ДУМА О СЕМИДОРОЖКАХ

В старину, должно быть, не один путник задумывался, дойдя до Семидорожек: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — невесту потеряешь, а прямо пойдешь...»

Наверняка они удачи никому не сулили.

Бог знает когда бывал я на этих старинных горловских семи дорогах. И вот снова стою пред ними, невольно задумавшись об их прошлом и настоящем, а равно и всего отчего края. Как если бы и мне выпало выбирать, куда же дальше

идти, чтоб попасть на единственно верную и надежную житейскую стезю и не утратить на ней ни веры, ни надежды, ни любви, а повезет — так и личное счастье обрести.

В старопрежние, давным-давно минувшие времена в этих пределах необжитого Дикого Поля, по водоразделам пустынного, тогда еще неведомого Донецкого края пролегало, перехлестываясь меж собой, множество древних путей-дорог: Кальмиусский шлях, отпочковавшийся у Конских Вод от Муравского, по которому татары совершали опустошительные набеги вглубь Руси, и Ханская сакма, которой из Крыма тайком добирался ордынский правитель в Астрахань, к своим прадавним соплеменникам; Бахмутский шлях и Чумацкие шляхи, коими торговые люди-чумаки доставляли на огромных возах-мажах поначалу крымскую, а затем и бахмутскую, и торскую соль либо в Московское государство, либо на Дон и Волгу в обмен на вяленую рыбу; Царская дорога, коей царь Петр Первый не однажды возвращался с Азовских походов, воюя турка, вторгшегося в славянские земли, и Кружные пути-манивцы, проложенные в безлюдной, дикой степи в обход торным шляхам-сакмам украинскими казаками-«черкасами» из Бахмутской сторожи, что располагалась на левом берегу Северского Донца; Донские дороги, протоптанные донскими станичниками, и Запорожские, выбитые конными сторожевыми дозорами Кальмиусской и Самарской паланок на их, искони казачьих, вольностях, — и те и другие были малоприметны для басурманского, вражьего ока.

Стародавние, все они со временем смылись с лика земного дождями и паводковыми водами, выветрились под суховеями, поросли быльем.

Остались только на ветхих картах бывшего Дикого Поля.
И в отечественной истории.

Да еще — в памяти народной.

Нынешние же Семидорожки, представляется мне, незримо вобрали в себя всю давнишнюю предысторию Донецкого края, все эти шляхи, торные дороги, сакмы иноверцев и копытные тропы нашенских сторожевиков, символически сохранив до сей поры первообразную их суть, но и неузнаваемо преобразив ее.

И неважно, что само название — Семидорожки, со счастливым божеским числом, — возникло лишь в начале прошлого века, когда в здешних местах новопоселенцы затеялись возводить азотно-туковый завод, на который якобы и вели о ту пору семь разных дорог из различных поселений — из ближних рабочих поселков, в одночасье, точно грибы, выросших окрест стройки, и из дальних, еще старожитных сел и хуторов.

Неважно потому, что в Семидорожках, этом исконно донбасском перепутье, нынче мне видится некий символ небесного Провиденья, изначально подсказавшего нашим предкам-землякам наиглавнейшие пути-дороги как по кражистой донецкой земле, так и по жизни.

На северо-восток от меня простирается Поклонский лес. В нем тихо пошумливают вековые дубы, листья их все еще держатся, не опали, несмотря на конец осени, хотя сделались медно-червонными и над могучными кронами уже проносятся стремительными косяками первый ярко-белый снег.

Чуть правее леса к югу напряженно гудит в редкой снежной замети автотрасса Горловка—Енакиево — по ней наперегонки несутся такси, движутся пассажирские автобусы, спешат самосвалы и грузовые автомашины, которых где-то, по всей видимости, ждут с деловым нетерпением.

Исподволь Семидорожки припорошило искристым пушком, и на земле стало ничего не видеть в точности. Но я умозрительно прокладываю-длю сокрытые белизной утопанные дорожки во все стороны Донецкого края и нахожу в этом отраду.

Куда бы я, допустим, ни направился от Семидорожек в нашем крае, непременно приду к радушным землякам. Или к старожилам, предки которых, далекие и близкие, обживали здесь некогда дикую степь, осваивали несметные подземные клады Донецкого края, попервах и впрямь схожего с пустыней в безводных местах, и на протяжении трех, если не более, веков, от поколения к поколению, своим неистовым трудом, надрывая жилы, сотворяли могущественный промышленный Донецкий бассейн, да и сами старожилы не менее усердствовали в XX веке. Или приду к их молодым и памятливым потомкам, которые сегодня, не покладая рук, не

отчаиваясь и не сетуя на очередные преходящие трудности в Украине, вооружившись современной новейшей техникой, заполучив себе в помощь компьютеры и интернет, с теми же, унаследованными от предков, упорством и сметкой продолжают славное дело предшественников по переустройству шахтерской отчины на благо каждого донбассовца, а значит во благо и славу всего Донбасса.

Ежели я пошел бы сперва направо, то никакого «коня» не потерял бы, как упреждалось в старую старину надписями на придорожных диких камнях. Напротив, нашел бы. И не одного — целый табун, обузданный енакиевскими угледобытчиками. Причем, в одну упряжку в виде электровоза, доставляющего горняков в забои, а добытый ими уголь к стволу и — на-гора.

В Енакиево и металлургов повидеаю, о которых в свое время выдающийся ученый Иван Павлович Бардин писал: «На фоне общего развала и разрухи Енакиевский завод был единственным из всех южных заводов, который буквально чудом за время гражданской войны ни на один день не останавливал своего производства. Но что это была за работа! Дымилась одна, реже две домны, да и для них постоянно не хватало пищи. Печи жили на голодном пайке, на последней тонне угля и руды, заводская касса была пуста, рабочим нечем было платить за работу».

Тем не менее, 7 ноября 1921 года из Донбасса ушел в Москву как отчет о работе енакиевских трударей черной металлургии, исторически памятный «коммунистический вексель» за подписью директора-распорядителя Югостали Межлаука Ивана Ивановича:

«...поставить... с петровских (енакиевских. — *И. К.*), макевских и юзовских заводов Югостали 6 000 000 пудов чугуна, 4 000 000 пудов катаного металла, а всего 10 000 000 пудов черного металла».

И дальше, продвигаясь вправо на восток, я попал бы к шахтерским, торезским и снежнянским добытчикам подземного солнца-антрацита. Вышел бы и к легендарной, овейной украинскими народными думами и легендами Саур-могиле, за которой, как за высотой 277,9, в последнюю Отечествен-

ную войну пролегал знаменитый, под стать Сталинградскому, Миус-фронт и где крестьянские поля погорбились могилами советских солдат, освобождавших от немецко-фашистских захватчиков Донбасс летом и осенью 1943 года. Теперь там, на Саур-могиле, высится памятник погибшим воинам, а в полях трудятся хлеборобы, бережно храня могильные холмы павших соотечественников.

Заberi я чуток севернее этого направления, повстречаю лесников, оберегающих в Грабовом урочище реликтовые, невиданные и диковинные в наших краях заросли граба, забредшего сюда с Карпат и оставшегося со времен межледникового периода, который был тут около ста тысячи лет тому назад; оберегают сотрудники тутошних лесничеств и не менее прадавние дубовые и ясеневые леса в Леонтьево-Байракском урочище.

А отклонись я от выбранного пути немного на юг — невольгю окажусь среди ученых-ботаников первозданной, нетронутой плугом испокон веков Хомутовской заповедной степи. Вскоре за нею выйду к Кривокосскому лиману, с пестрым, разноголосым миром непуганых птиц, каких редко где встретишь в другом птичьем пристанище. Ну и, конечно же, на Кривую Косу попаду, к азовским рыбакам, в ненастные путины добывающим для нашего стола рыбные продукты, но и озабоченным тем, что Азовское море, благополучная экологическая система коего формировалась в течение примерно двух миллионов лет и вдруг, за каких-то нескольких последних десятилетий, обвалью порушилась иждивенческой деятельностью безбожного сиюминутного человека, — что море, их древний и безотказный кормилец, страшно оскудело на запасы осетровых, из-за чего доводится и лов на ту или иную породу периодически запрещать, и в лихорадочной суете, дабы поскорее восстановить нарушенный баланс, воспроизводить тех или иных мальков.

Пойди же я от Семидорожек сразу налево, тоже ничем бы не рисковал, как гласило старое поверье о перепутьях. Ибо обязательно попал бы в объятия самых дорогих земляков-горловчан, среди которых меня посещали и любовь, и вдохновение, и удача на первых порах врачевания по окончании

Киевского медицинского института. Столько здесь осталось необласканных товаров, столько верных товарищей!

Повстречал бы там, помимо коллег, прежде всего горняков прославленной шахты «Кочегарка», в прошлом Первого рудника, а изначально Корсунской копи № 1, с которой, собственно, и зачалась Горловка. И машиностроителей, выпускающих угледобывающую технику со «штангой» Бахмутского, донбасского самородка, создателя первого в мире угольного комбайна, и шахтеров Ртутного рудника, извлекающих из опасных глубин киноварь — «драконову кровь», без коей ни одно ртутное производство немыслимо. Прошелся по улицам знатных людей города — забойщика «Кочегарки» Никиты Изотова и поэта Павла Беспощадного. Постоял бы у памятников Горлову и Изотову, повспоминал молодость свою, прошедшую под сенью здешних кленов и каштанов, а то и примерил бы в уме собственные молодые годы с ихними, не боясь ужаснуться явной несопоставимости — им, поди, было куда труднее выбирать житейский путь, ведь каждый из них был первопроходцем в своем деле! Да и обозначили себя в отечественной истории края неповторимостью деяний. Не зря же им и памятники воздвигнуты. И какие! А ведь что вторая половина XIX века, что первая XX, когда они преуспевали на нашей земле, были далеко не из легких. Хотя и последующее время обрушило на долю моего поколения не меньшую тяжесть: насильственный голодомор тридцатых вслед за сплошной коллективизацией, Вторую мировую войну, с последовавшей по ее окончании разрухой, а затем и голодным, до людоедства, сорок шестым годом. Выпало всякого-разного. И мы хлебнули через край! Как и выбрались-выплыли, непонятно.

А потом бы я спрямил путь на северо-запад, попутно завернул к железнодорожникам крупнейшей и старейшей станции Никитовка. Вот где новоявленное перепутье! Тут скрещиваются магистрали, ведущие из Донбасса во все стороны света. И без каких-либо перепутных упреждений! Окромья, разумеется, сигнальных огней — красных и зеленых светофоров. Они-то подскажут, можно тебе двигаться в том или ином направлении, нет ли, но дорогу ты волен выбирать

самолично и безбоязненно. Хочешь — в Москву кати, в бывшую столицу СССР, хочешь — в Киев, столицу независимой Украины, или в центр Белоруссии — Минск, или на Ростов и Кавказ, к пляжному побережью Черного моря, под тамошние экзотические пальмы, или в столицу шахтерского края Донецк и в Мариуполь, приютивший греков — переселенцев из Крыма — бог весть когда.

Далее на пути мне повстречаются константиновские стекловары, освоившие выпуск редчайшей тары — бутылок для шампанского, машиностроители Дружковки, а близ Алексеево-Дружковки снова поражусь окаменелым миллионы лет тому назад, еще в каменноугольный период, деревьям — араукариям; чуть погодя попаду к ново-краматорским машиностроителям, выпускающим уникальные роторные экскаваторы на продажу за рубеж, кузнечные прессы и станки, участвующим уже в космических программах; по правую сторону от меня, если чуть-чуть сбочу, окажутся часовяровцы, разрабатывающие залежи огнеупорных глин, без которых не может обойтись ни одно доменное чугуноварение.

Сверни я несколько западнее — очутюсь в той стороне, где в межречьях Тора, Быка, Волчьих Вод и Самары пролегал когда-то по Дикому Полю бесконечный, горестный Муравский шлях и где струится донныне целебная вода Золотого Колодезя, названного так, по легенде, еще Петром Первым. Прошагай дальше — и попаду к шахтерам Доброполя, Красноармейска, Селидово.

Выбери же я путь от Семидорожек прямехонько на север, то перво-наперво угожу к химикам концерна «Стирол», увенчавших себя всемирной славой, поскольку их продукция — самая разнообразнейшая, вплоть до лекарств! — отвечает наиболее строгим стандартам, какие существуют на сегодняшний день во всем мире,

На этом пути и вправду недолго голову потерять! Только не в прямом смысле, а от удивления.

Продвигаясь далее в северную сторону Донецкого края, я продолжал бы удивляться искусству высококлассных специалистов артемовского завода шампанских вин, колдующих в оборудованных и оснащенных по-современному выработанных

ных подземных гипсовых штольнях при постоянной круглогодичной температуре от +12 до +15 градусов по Цельсию. А также умению соледобытчиков Соледара. После — и славянских солеваров. Точно так же, как и тех, кто производит соду, делает высококачественные славянские карандаши, снабжает сельское хозяйство удобрениями, выпускает керамические всевозможные изделия, в том числе и изоляционные чаши для высоковольтных опор...

Побывал бы, естественно, и на знаменитых с далеких времен Торских семи соленых озерах, давно уж ставших известным бальнеологическим курортом.

И прямя дальше избранный у Семидорожек путь, попал бы в Маяцкое лесничество, где еще в XVII веке изначально строилась крепостца для обороны от кочевников торских солепромыслов. А затем добрался бы и в Святые горы на Донце, воспетом безымянным Бояном в «Слове о полку Игореве», с возрожденной в них старейшей святой обителью — Святогорским монастырем и помогшим ей в этом возрождении Святогорским заповедником. Все это теперь входит в огромный Национальный Святогорский парк Украины.

Повернись же я близ Семидорожек круто на юг и двинься в том направлении, о коем в перепутных поверьях вовсе не упоминается, а лишь безвыходным намеком, как бы иносказательно, подсказывается, что лучше всего повернуть обратно, если не хочешь потерять ни коня, ни невесты, ни головы, — я первым бы делом встретил ясиноватских машиностроителей, создающих самоходные угледобывающие комплексы и породопроходческие струги, аналогов коим еще надо поискать, да, пожалуй, не сыщешь.

И опять же — железнодорожников-регулирующих небывалого допрежде на Донецком кряже стального перепутья, на этот раз узловой станции Ясиноватая, на которой развязывается великое множество сталепутеводных узлов и через которую тянутся стальные нити опять-таки в любую сторону света. Уж она-то — всем перепутьям перепутье!

Отсюда, будь на то твоя охота, можно попасть, что называется, на край света!

Только об отчине своей, о родном Донбассе, не ровен час, не забудь в чужой стороне. Без него, поверь на слово, — все едино, что без пуповины. Не успеешь оглянуться, как в безродное, без роду-племени, неприкаянное перекаати-поле обратишься... Хошь не хошь, а на поверку, как говорят в Украине, в дурни пошьешься — сам же себя самого и одурачишь в конечном пути, то есть в конечном итоге.

Сверни слегка в западную сторону — и попаду к авдеевским коксохимикам, без чьего кокса ни одно сталеплавление немислимо.

А к востоку — к макеевским шахтерам и металлургам, к харцызским трубникам и канатчикам, трубы и канаты которых пользуются огромным спросом не только в странах СНГ — Содружества Независимых Государств, возникшего после распада Советского Союза. Над ними со скрытой завистью подшучивают: мол, «протрубили» по всему Божьему свету, по всем материкам и континентам, а канатами, скрученными из стали, пока работал со времени пуска их завод, можно-де обвить весь земной шар. Но в каждой шутке, понятно, кроется доля правды.

Прямь я путь прямо на юг, поначалу бы отыскал в зарослях Яковлевского леса Капитоновскую криницу, из которой берет исток главная река южного отрога Донецкого кряжа, текущая через Донецк и пролежавшая в былые времена некоей границей между землями Войска Донского и Запорожской Сечи, — Кальмиус. Дончане и посейчас все еще называют левобережье Кальмиуса Донской стороной.

За Путиловским лесом откроется гигант угольной промышленности Донбасса — шахта им. А. Ф. Засядько, горняки которой за почитай полувековую ее историю добыли свыше семидесяти миллионов тонн угля.

У международного выставочного центра «Экспо-Донбасс», на площади перед ним, полюбуюсь натуральной копией-памятником той пальмы, которую выковал в конце XIX века кузнец, украинский «левша» Алексей Мерцалов на Юзовском металлургическом заводе специально для Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде, а точнее — для ее Малороссийского павильона. Высочайшее мастеровое искусство! Оригинал «пальмы Мерцалова» находится в Санкт-Петербурге, в

музею Горного института. А подобные копии отправлены в Киев и Москву. Оттуда же препожалованы памятники-символы — Архангел Михаил и Царь-пушка. Пальма Мерцалова как шедевр мирового прикладного искусства стала главным элементом герба Донецкой области — символом исторически обоснованного творческого и технического потенциала.

Вот краткое описание его:

«Центральное место в гербе Донецкой области занимает «Пальма Мерцалова». Основными цветами являются: золотой — символ богатства, справедливости и великодушия, черный — символ богатства недр, лазурный — символ красоты и величия, зеленый — символ надежды, радости, изобилия, развитого сельского хозяйства. Корона подчеркивает то, что герб является областным. Дубовые листья — символ величия и надежности».

Коллективным автором герба является рекламное агентство фирма «Кардинал».

Кстати замечу, что и флаг Донецкой области под стать гербу: «Верхнее поле голубого цвета с восходящим солнцем символизирует восток Украины, нижнее поле черного цвета символизирует уголь, землю, ночное Азовское море, с золотыми (желтыми) бликами».

Автором флага явилась на конкурсной основе жительница Донецка Нина Григорьевна Щербак.

Все бы ничего. На рисунке он хорошо смотрится, а вот на полотнище первым делом бросается в глаза чернота. Уж больно много ее! И выглядит она траурно. Не думаю, чтоб и эта, порой трагическая сторона разработки угольных недр имела подспудно автором в виду. Иначе бы его никто и в праздники не решался вывешивать.

Добавь понизу светлую полоску — символ донецкой соли, которой Донбасс снабжает население Украины на девяносто процентов, глядишь, она бы вписалась органично, а заодно и черноты поубавила. Не лишне, пожалуй, было бы и огненную полоску ниже светлой пустить — как символ расплавленного металла, особой гордости нашего края.

Всего, конечно, не учтешь, чем богат Донецкий краж и чем славятся его люди. И тем не менее.

Далее, следуя по улице Артема, которая, как живительная артерия, пронизывает весь Донецк от его великолепного, оригинальной, отличительной архитектуры, железнодорожного вокзала до северной проходной бывшего Юзовского, а ныне Донецкого металлургического завода, я с почтением замру у прижизненного памятника Герою Украины, всемирно известному легкоатлету Сергею Бубке и волей-неволей помяну минутой молчания автора памятника, из скромности оставшегося как бы в тени своего творения, народного художника Украины, скульптора Николая Ясиненко, моего «сурового» друга, совсем недавно, совершенно неожиданно и безвременно ушедшего из жизни — надорвалось сердце в непосильных каждодневных творческих и физических одновременно трудах... А он по-другому и работать не мог — работал на износ... В самый раз и ему самому поставить памятник! Да пока некому... И недосуг... Мы-то привыкли подо-о-о-лгу раскачиваться...

Не узнать центральной городской улицы имени Артема! От первоначального облика Первой линии, как ее называли в бытность Юза, и следа не осталось. На всем ее протяжении — магазины и магазинчики с мраморной облицовкой, потому как частные, пиццерии, кафетерии, сигаретные киоски, бистро с гамбургерами, пластмассовые столики выставлены на широкие тротуары, всюду броские витрины, уютные троллейбусные остановки с прозрачной защитой от дождя и ветра, со скамейками удобными. Ну, чисто тебе европейская улица! Бывал в семи странах Европы, так что могу ручаться за это впечатление.

Но по-прежнему самыми значимыми являются и мэрия, и областные библиотеки — для взрослых и для детей, кинотеатр имени Т. Шевченко, театр оперы и балета, музыкально-драматический украинский театр, главпочтамт, здание Донецкой консерватории. Они, вместе взятые, словно бы одухотворяют новоявленные «торговые ряды» областного значения, хотя по вывескам судя — у нас сплошь иноземщина, своих-то — либо украинских, либо русских, либо греческих — маловато. Неужто родовой памяти не хватило? И дороговизна кругом... А так вроде бы все путем.

Не нашлось, правда, в центре места для кукольного театра — он приютился на когдашнем Макшоссе, а много дальше — Ботанический сад, который заматерел со дня открытия в Донецке филиала Украинской Национальной Академии Наук: и новые породы деревьев вывел, и терриконы озеленяет, и науку-ботанику, само собой, двигает вперед, к новым открытиям в извечном растительном мире.

Сразу за Ботаническим садом — давний пивоваренный завод, увековечивший народ, населявший донецкую землю еще до нашей эры, — сарматов. Пиво так и называется: «Сармат». И ты, сглатывая утоляющую жажду влагу, считай походя приобщаешься и к истории родного края.

Отклонись я от южного направления вправо, узрю цирк «Космос», известный всему миру гастрольными представлениями, а потом и к любимой футбольной команде «Шахтер» заверну, поздравлю с завоеванием Кубка Украины в нынешнем году. И пожелаю удачи! Ведь ей теперь и продвигать, и отстаивать во всей Европе не только свой престиж, а и имидж всего Донбасса. Побольше вам мячей, земляки, в черно-оранжевых футболках! И неизменно — в чужие ворота!

Дальше на запад пройди я, окажусь в окружении Кураховских энергетиков, неусыпными вахтами которых в свое время восхищался и писал о них.

Оставив позади донецкие преуспевающие заводы — металлургический, высоковольтных опор и холодильников «Норд», тоже уславленные, — комбинат текстильщиков, Национальный университет, многочисленных друзей в актерской среде и помеж художников, композиторов, писателей, ученых, двинусь я, будто скатываясь, по ниспадающему к Приазовской низменности южному отрогу Донецкого кряжа и попаду к докучаевским и новотроицким разработчикам открытых карьеров с полезными ископаемыми, забреду, чтоб передохнуть, в Великоанадольский лес, созданный подвижником степного лесоразведения Виктором Егоровичем Граффом, потерявшем на нашей земле малолетнюю дочь в тогдашних, малоприспособленных для нормального быта, полевых условиях и надорвавшем прежде времени собственные силы, постою у его памятника, поразмышляю в лесном храме,

который он создал, о его судьбе и в который раз восхищусь его подвигом во имя науки и во имя Донбасса. Царствия Небесного ему, коль земной его срок был так труден и обидно короток.

А там недалеко в радости путь и до Каменных Моги. Надышусь чистейшим воздухом на их вершинах, окунусь памятью в древнейшую историю, оставшуюся в древнерусских летописях и давней украинской литературе... Странное это ощущение, пребывать одновременно в начале первого и в начале третьего тысячелетий нашей эры. Право же. Точно ты бессмертен!

Миновав Азовскую Дачу, дойду до мариупольских металлургов и моряков, которые ежесуточно отчаливают из Мариупольского, самого крупного на Азовском море, порта и бороздят все, какие ни на есть, океаны и моря своими танкерами и сухогрузами — с тем, что производится в Донбассе, и с тем, чего ему не хватает об эту пору, что позарез нужно ему, дабы круглосуточно билось его могучее индустриальное сердце. И без сбоев, в надлежащем современном прогрессу ритме.

И конечно же, всюду, куда бы ни направил свои стопы от Семидорожек, всенепременно встречу по-деловому бойких и сметливых предпринимателей, новонарожденных бизнесменов, которые способны прозревать грядущее края, перемены в нем и умело лавировать между рифами сегодняшнего бурно-беспорядочного рынка, постепенно становясь заправдешней бизнес-элитой края, а не скопидомами, рвачами, ловкими и хваткими на руку, как бывало не раз на нашей свежей памяти.

Словом, куда бы я ни пошел от Семидорожек по Донецкому краю, в каком направлении — хоть направо, хоть налево, хоть прямо, а то и повернул вовсе обратно! — повсюду во что бы то ни стало приду к землякам — людям, которые преобразовывают отчую землю, используя по-разумному богатства подземные Донецкого края, и создают все необходимое, жизненно важное для желанного достойного бытия человека-труженика. И тем самым, выбрав тот или иной путь, заодно приобщусь и к их непростым делам, труду самозабвенному и

к их сложным судьбам, в которых неизменно соседствуют и радости, и горести. Как если бы и сам разделю их участь.

Предсказуемо и вместе с тем неизменно изменился лик Донецкого края. Как и его суть.

Великий создатель периодического закона химических элементов Дмитрий Иванович Менделеев, совершивший несколько поездок в Донецкий бассейн, начиная с 1887 года, в конце XIX века, побывав у нас в последний раз, записал в блокноте: «Недавняя пустыня ожила. Успех полный. Возможность доказана делом».

Эти же слова начертаны ныне и на гербе Донецкой области.

Возможности были и есть. Необходимо лишь неустанно доказывать их в повседневных трудах и поиске. Это сейчас каждому честному донбассовцу понятно.

И вот уже Международный фестиваль «Золотой скиф», который становится немаловажной и доброй традицией и который, увековечивая прадавних наших предков, обретавшихся в здешних краях за пять и более веков до Рождения Христова, — скифов, взяв их своим символом, и который инициировал немало славных, существенных начинаний в Донбассе, стремясь продвинуть его имидж далеко за границы Украины, выходит в 2001 году с новой стратегией: от «Золотого Скифа» — к «Золотому сечению»!

В красочном журнале, посвященном закрытию фестиваля и деловому приему Донецкой области, на котором обычно собираются претенденты на соискание награды «Золотой Скиф», политическая и промышленная элита региона, консулы и послы зарубежных стран, об этой задумке написано буквально следующее:

«Донбасс является уникальным местом, отвечающим всем параметрам «золотого сечения». Наш регион равноудален от всех ведущих центров Европы и Азии, Востока и Запада, Севера и Юга. Это один из крупнейших центров Украины, и не только промышленных, в регионе успешно развиваются наука, культура, образование. Донбасс имеет все основания стать одним из центров Содружества Независимых Государств. Здесь могли бы разместиться форумы, симпозиумы,

совещания по актуальным экономическим, социальным, культурным и политическим проблемам».

И экологическим в обязательном порядке, добавлю я.

Похоже, есть намерение вернуть пространству Дикого Поля былую, почти что забытую его «додикопольскую» роль как места, где в давние времена, по заверениям некоторых краеведов-историков, проводилось, на этом вот евроазиатском перепутье, немало всевозможных ярмарок и куда по бесчисленным путям-дорогам стекался торговый люд Европы и Азии. Так ли было на самом деле, нет, историки разошлись во мнениях. Но мне хочется верить, что да, именно так.

Дай Бог, возродить канувшую в Лету традицию! То-то было бы оживление в нашем крае и беспременное улучшение жизни в нем.

Перед умозрительным взором вмиг предстают вереницы тогдашних караванов, направляющихся самыми разными дорогами, с самыми разными товарами сюда, на вольное, просторное, никем покуда не занятое и беспрепятственное степное раздолье, ограниченное протяженностью от Днепра до Дона, исхлестанное большими и малыми путями без дорожных указателей на диких камнях с неперменным суеверным упреждением: «Направо пойдешь... налево пойдешь... А прямо...»

И ранней весной, и летом, и осенью. Из года в год, из века в век.

О, то было, верно, поистине великое перепутье в пределах нашей отчины!

Да не оттуда ли взяли прообразное начало и мои современные Семидорожки?!

Как ни прикидывай, как ни вороши старину, а догадка сия все-таки имеет под собой почву. И думается, не только в воображении и предположениях. А и в натуральном виде. Если, конечно, брать во внимание нашенскую, кряжисто-степную отчую землю, на которой скрещивались причудливо и так же замысловато, прихотливо и затейливо расходились европейские и азиатские путные дорожки и тропы, учитывать все ее тогдашние выгоды — вольное, ничейное пространство и близкое море Азовское, с выходом в Черное и далее,

судоходные реки, охватывающие ее с трех сторон, — Днепр, Дон и Донец. Хотя и сомнение берет: как же в дикой степи проводились торги и ярмарки? Или она в то время была не такой уж и дикой? Однако сей факт зафиксирован печатно. Отчего же и не поверить в него? И не взять за пример для теперешней жизни.

И конные, и пешие пути — они, как и пути жизни, крученные-верченые, путаные-перепутанные, все же сулили удачу, если человек шел путем правды, путем праведника. Это только пути Божьи, пути Провиденья неисповедимы. Но то, надо думать, в небесах, а на земле, выбери их верно, приведут тебя к искомому. А впрочем, и в небе у каждой планеты своя орбита, свой путь, и они редко когда губительно сталкиваются меж собой. В отличие от людей, чьи перекрестные житейские орбиты, чьи пути-перепутья нередко кровенели от вражды, завершались смертоубийством.

И в первом, и во втором случаях принято считать, что на все есть воля Господня. Неужто от нас ничего не зависит? Ни выбор пути-дороги, ни житейские удачи и неудачи, ни согласие в мире людском, где тоже у каждого должна быть своя обособленная, никого, ничьих интересов не умаляющая «орбита», раз уж он преодолел какие-никакие житейские перепутья и вышел на прямоезжую дорогу. И все так же люди будут сталкиваться меж собой в раздорах, стычках и войнах?

Оставим этот риторический вопрос на перепутье философии, социологии и науки о биологической сущности Гомо Сапиенс. Им виднее, должно.

Хотя в связи с вышесказанным можно с душевной глубокой радостью и открытой гордостью отметить, что Донбасс как исконная, неотъемлемая часть Украины с давних пор и по сию пору предоставлял и предоставляет прибежище многим народам, привечал и обогревал на украинской земле и русских, и белорусов, и греков, и татар, кавказцев и прибалтийцев, молдаван и болгар, сербов и хорват... Свыше ста национальностей проживают в нем! И для большинства из них он стал второй родиной.

Но уникальность восточного рубежа, как и западного — Закарпаття, не столько в этом, сколько в том, что все они

живут в мире и согласии промежду собой, без этнических ссор и раздоров, исповедывая притом каждый свое, сугубо национальное. Подшутить, правда, у нас могут над какой-нибудь вьезшейся неприятной национальной чертой, инородно, вызывающе выпирающей на общем фоне мира и согласия, однако ж незлобиво, скорее ради потешки, либо смешливого намека на те или иные черты в натуре, недостатки, а то и пороки, по отношению к которым у насмешников возникает неприятие, ибо они мешают человеку вжиться безболезненно в единую, многонациональную семью.

А так — живут дружно!

Не об этом ли времени мечтал и говорил гений русского народа Александр Пушкин, «когда народы, распри позабыв, в великую семью объединятся»?

И не о той же «семье великой», «семье вольной, новой» исходила тоской многострадальная душа украинского народного кобзаря Тараса Шевченко? Сводить его «думку» к одному лишь желанному освобождению от царизма, высвобождению Украины из-под гнета Российской империи путем кровопролития — «поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю, окропіте», было бы неким умалением, суживанием масштабности мышления гениального поэта, которое простиралось в «усі світи» и касалось «усіх народів».

Многонациональный Донбасс отроду исповедывает дружбу, равенство, братство.

И это отрадно и видеть, и чувствовать, и осознать. Как величайшее благо!

Выражая это ликование, ничуть не опасаясь, что буду обвинен в ностальгии по Советскому Союзу. Действительно, он дал многое каждому из нас, приучил к социальной защите и справедливости на равных началах, за небольшим исключением, которое составляли партаппаратчики. Но его вожди и так называемые приближенные учинили своим разноплеменным, разноязычным народам, соединившимся под их призывом якобы для скорейшего достижения всеобщего блага, какое, вообще-то, вряд ли мыслимо когда-либо из-за неистребимой, неизбывной биологической сущности людей, —

учинили вопиющее попрание прав человека, охраняемых мировым сообществом, как святая святых, свели мнения всех и каждого до «однозначности», «единогласия», а в итоге — до обывдения и оскотинения повального. Потому как такими народными массами, однородными, обезличенными, напоминающими стадо, куда легче управлять. Был бы лишь самовластный погонич, то бишь пастух! И хлыст похлеще да полютее! Поддашь хорошенько — сами побегут по обозначенным красными вехами тропам и дорогам, даже не вздумают противиться и гадать, куда же им удобнее всего идти, какой путь выбрать, чтоб не потерять ни одного, ни другого, ни третьего... А ко всему еще и весь XX век оказался закровавленным кровью соотечественников...

Нет, возврата к прошлому в прежнем виде, думается, уж никогда не будет. Ни насильственных голодоморов, ни репрессий безвинных людей и страшного клейма «враг народа», ни расстрелов и гулагов нечеловеческих, как и высылка целых народов с праотцовой земли в неласковый, губительный зачастую приют на чужой земле, — всего этого не забыть вовек!

И я говорю о мире человеческом вообще, прообраз коего утвердился в Донбассе, в его национальном перепутье. Оно есть! Реально! Эти политики, измышляющие, куда бы направить людей, пребывают в некоем виртуальном мире и обызывают нас нацменьшинствами уничижительно, тем самым попирая национальное достоинство каждого...

Пока пребывал я в этих раздумьях об отчей земле, умозрительно прокладывая-для покрытые снежком пути-дороги по Донецкому краю от горловских старинных семи дорог, на Семидорожки пали ранние предзимние сумерки.

Снег вскоре перестал, и небо прояснилось, ярко вызвездилось. В нем будто земные огни отразились, разом вспыхнувшие и на копрах соседних преуспевающих шахт, и в ближних и дальних поселках, во всех городах, даже скрытых с виду и выказывающих себя лишь лучами, отраженными в вышине, всюду зажженного света.

Ба, сколько звезд засияло! Ярких, с легкой голубизной. И ярче всех — вечерняя. А вслед за первыми и Млечный путь протянулся в сторону Крыма, и впрямь земной Чумацкий

шлях, проложенный в незапамятные времена нашими предками-чумаками по Дикому Полю, то есть по отчей земле, и обозначенный звездчатыми крупницами просыпанной соли. И Большая Медведица появилась, которая вкупе с Полярной звездой и составляет известные спокон веков Стожары, а по-украински Волосожары, или Чумацкий Воз.

В семи звездах Чумацкого Воза я помимо всякой воли, а лишь подталкиваемый неясным душевным побуждением, стал высматривать небесное отражение Семидорожек. И от этого наваждения не удалось избавиться. Да и не хотелось...

Среди мириада звезд по невидимым путям-орбитам блуждали и чьи-то счастливые. Их было сонмище!

Но всякому ли каждому суждено их отыскать? А ведь они, говорят, путеводны!

Как понять, что при таком высоком научно-техническом прогрессе на переломе второго и третьего тысячелетий объявилось столько беспризорных детей, нищих, бомжей, наркоманов, алкоголиков, больных туберкулезом и СПИДом?

Что они, по воле злого рока обделены счастливыми звездами? И в этом причина ошибочно выбранного ими жизненного пути. Или даже натурально пошли не той дорогой и забились не в те края, куда в мечтательной юности намеревались изначально попасть?

Все вышеназванные человеческие беды легче всего объяснить одними социальными катаклизмами.

Они ровно бы исподволь нарастали на протяжении всего XX века, отмеченного в истории человечества небывалым прогрессом, но, вместе с тем, и войнами, унесшими жизни больше, нежели все остальные, вместе взятые, за всю историю человечества, и бесцеремонным вторжением разумного вроде бы человека в окружающий его мир, что не могло остаться безнаказанным, — надвинулось глобальное потепление в атмосфере планеты Земля, а с ним — и погибельные засухи грянули, наводнения, тайфуны и смерчи, всплески давно забытых болезней — холеры, тифа, малярии, чумы, проказы, с лика Земли в одночасье слизывают землетрясения десятки тысяч людей и их жилища, будто взбесившиеся вирусы без конца мутируют, приспособляясь к новейшим

лекарствам, кои нипочем им, и несут людям неслыханные доселе, зачастую неизлечимые недуги... Повальное злоупотребление курением и алкоголем с малых лет, как то же нарушение экологии, в большинстве своем равное жуткой Чернобыльской катастрофе, оборачиваются сбоями в генофонде наций — дети нарождаются все более и более хилыми, пожизненно малоустойчивыми... Так ведь недолго и выродиться?

Нам же кажется, что все беды не постепенно, соответственно нашему поведению, выросли, а обрушились на нас навроде стихийного бедствия. Да, скорее, у нас любви существенно поубавилось! И друг к другу, и к месту, где обретаемся, к своей отчине, малой и большой родине. Может, стихийные-то бедствия как раз и случаются оттого, что в людских массах положительные эмоции заменились по преимуществу отрицательными, и эта всеобщая отрицательная энергия сдвинула их ко злу и ненависти, а затем, не вмещааясь в них, ушла, как электрический заряд, в землю и потрясла ее. И продолжает потрясать! И раз, и два, и три... Нескончаемо, все с возрастающей силой!

Вот уж поистине: «Пойдешь направо... пойдешь налево... а прямо пойдешь...»

Недаром же XX век, независимо от его научных и технических достижений, в человеческом понятии назван безумным.

Он, слава Богу, остался позади. Но мы в нем жили, и он отдаленными признаками сохранится в нас до конца дней — со своими варварскими атрибутами и неладами, безумно, не по-человечески одичалыми скособочиваниями. Неистребимо пребудет в каждом из нас, как бы мы ни силились в лихорадочной спешке отряхнуться от него.

Более того, его пагубные последствия пожинать доведется не нам одним, покуда живущим детям XX века, а и нашим детям, нашим внукам, и... На весь XXI век, наверное, хватит этой неудооваримой прошлой поживы!

Куда же нам всем, очутившимся на вершине минувшего века предначертанием судьбы, на сквозном перепутье тысячелетий, — куда нам идти дальше? Как выбрать единственно

верную и надежную дорогу? И по какой устремить свой ход? Идти ли направо, налево или прямо держать путь... Чтоб поскорее исправить перекос во всем, что ни наделали в недавней минувшине, по-разумному и спешно спрямить общий земной путь человечества, отыскать правильную путь-дорогу, которая привела бы всех и каждого в отдельности ко всеобщему взаимопониманию и столь необходимым для нормального существования земным благам...

Не отваживаюсь и загадывать! Чтоб не сглазить.

Находясь в этих перепутных размышлениях, я по-прежнему невольно выискивал в звездном, пронзительной синевы небе и отражение Семидорожек.

А почему бы и нет? Число-то в них Божеское! Значит, сам Бог велел им тоже отразиться в его небесах. И не просто так, а совокупным символом многих судеб донбассовцев, избравших праведный путь по донецкой земле. Недаром же вон там и наш украинский Чумацкий Шлях, и наш по-отечески близкий Чумацкий Воз...

Забирай повыше! Отчего не назвать какое-нибудь созвездие Семидорожками? А то и Донбассом?! Ведь Семидорожки — одно из его жизненно важных, главнейших трудовых перепутий. Хотя Донбассу больше бы по рангу подошла малая планета.

«Малость» эта условная, ничуть не умалит Донбасс. Ибо, как заверяют авторитетно ученые мужи, малые планеты будут использоваться в недалеком будущем вместо космических лабораторий и маяков, промежуточных станций для межпланетных сообщений.

Подумать только, как были бы мы счастливы, обретя возможность путешествовать во Вселенной, попасть в небесных просторах, скажем, на планеты с родными для нас названиями — Семидорожки и Донбасс! В этих планетах сам Космос берег бы память о нашей отчине, донецкой земле с ее вечерними и ночными огнями-звездами, и людях, преобразовавших Дикое Поле в могучий край по имени Донбасс. Берег, сколь ни существуй мирозданье.

А добрый початок этому уже есть. Благодаря усердию и поисковым стараниям работников Крымской обсерватории

на исходе XX века на космических перепутьях появилась планета Далия, названная в честь нашего земляка Казака Луганского, автора четырехтомного Толкового словаря великорусского живого языка Владимира Ивановича Даля.

О том, что это название дышит Донбассом, а стало быть, и всей Украиной, говорит хотя бы такой, вроде бы малозначительный случайный эпизод. В Нижнем Новгороде, куда заехал опальный Тарас Григорьевич Шевченко после долголетней ссылки «во солдаты» в пустынные пески Арала, он навестил Даля и сделала такую дневниковую запись: «... одна из его дочерей села за фортепьяно и принялась меня угощать малороссийскими песнями». Владимир Иванович и в свой словарь ввел немало южно-русских говоров из близких ему отродясь, с колыбельки и колыбельных напевов, отчих донбасских мест.

Горит, горит именная планета, призывно мигая всему миру, видная отовсюду! Светит и нам отраженным светом души великого земляка малая планета Далия, словно кажет путь и зовет туда, в собратья, и весь Донбасс.

Крымские астрономы уже переместили туда, в небо, половину карты всей Украины: есть там малые планеты под земными именами — и Киев, и Одесса, и Севастополь, и Полтава, и Сумы (Сумана), и Херсон, и Таврида, и Крым (Крimea), и Диканька, и даже Гениченск...

Нет только Донбасса! Неотъемлемой части Украины, ее исконной восточной стороны, отмеченной в отечественной истории и походом князя Игоря в дикую Половецкую степь, его горестным сражением с половцами на реке Каялы, протекавшей где-то в наших степных пределах и ставшей символом славянской беды, как и река Калка, на которой была не менее плачевная битва с татаро-монголами разобщенных междоусобицами киевских и галицких князей в содружестве с ростовским князем Васильком и русскими богатырями во главе с Алешей Поповичем. И прежними победными походами Святослава Игоревича против хазар, Ярослава Мудрого — против печенегов, Владимира Мономаха — против тех же неверных половцев, которые, напуганные им, страшали его именем и своих детей...

Донбасса, подарившего миру, кроме непревзойденного лингвиста Даля, еще и знаменитого путешественника-полярника, ученого Георгия Седова, всемирно признанных мастеров высокого искусства — художника Архипа Куинджи и композитора-новатора Сергея Прокофьева, первосоловья украинской народной песни Михаила Петренко, с его завораживающим «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю...», и классика русской литературы Всеволода Гаршина, «шахтерского герцога» Анатолия Соловьяненко и лирического украинского поэта — органа, созданного природой исключительно для поэзии, — Владимира Сосюру...

Донбасса, на чьем трудовом небосклоне возшло сразу, в одно временное пространство столько трудовых звезд, каких сроду не видывал ни один рабочий край в мире! Это и Никита Изотов, и Алексей Стаханов, и Макар Мазай, и Петр Кривонос, и Паша Ангелина...

Всех не счесть, чьи имена возшли высоко над всем миром и засияли, будто звезды!

Донбасс, который, наконец, стал в XX веке многосильным, многомошным, многонадежным индустриальным сердцем Украины.

Наподобие древнего богатыря, он буквально вытащил на своем горбу-кряже неньку Украину из ветхозаветной сельщины, которая, попутно замечу, долгое время и на всей украинской литературе не очень-то хорошо, как-то однобоко, что ли, сказывалась, из окраинного, «малороссийского» вынужденного провинциализма, укрепил ее основы своим прочным металлом, чтобы она как можно быстрее выбралась из-под вечных соломенных и камышовых застрех и чтобы ее ход по выбранному ею независимому историческому пути был более уверенным по сравнению с тем временем, когда ни шатко, ни валко двигалась она на прадавних, схоже, глинобитных, саманных ходулях... И обогрившего ее своим что называется нутряным теплом, осветившего от края до края ее светом своим, высеченным из подземного, шахтерского солнца, добытого и выданного на-гора неутомимыми, отважными солнцерубами, наконец, подавшего к ее столу, хозяйскому и гостевому, вдобавок к

пышному караваю, соль своей земли с приветным поклоном: «Хлеб да соль!»

Будь все это ведомо крымчанам-астрологам в полной осведомленности, они бы, полагаю, не преминули назвать какую-нибудь из стоящих малых планет сим гордым для всей Украины именем — Донбасс. Припустим — Донбассия.

Кстати, по-украински в простонародье наш край эдак и называют. Оно уже и в украинскую поэзию вошло, это поименованье. Осталось за малым...

Велико, неимоверно велико усилие богатырского Донбасса — сына во славу своей сивой и вечно молодой матери, своей милой неньки Украины!

И потому верится, что недолг тот час, когда и во Вселенной, на перемещенной туда, в космическое пространство, с его непознанными до конца путями и перепутьями, «карте» Украины непременно появится планета с крепким по-земному и по-звездному славным именем — Донбасс.

Дон-ба-ссия... Звучит! И по-украински не хуже — Донбасія! Дон-ба-сія... Даже вроде бы чуть-чуть нежнее. Ей-право!

Немного усилий, еще чуть-чуть прибавить в темпах, ну самую малость, и Донбасс подымется из безвременья, встанет во весь рост, расправит во всю ширь трудовые плечи и, глядишь, достанет макушкой, увенчанной земными звездами, а попросту рукотворными огнями-звездами небесного купола, врастет в него, величественно и гордо. И по достоинству! Несмотря на непроходящие временные трудности, на естественные и искусственные препоны, несмотря на болючие, невосполнимые потери человеческих жизней на новых коварных перепутьях глубоко под землю, на подземных горизонтах и шахтных полях, как на полях брани...

Кто знает, возможно, где-то рядом с ним, с отцом своим Донбассом, отыщется во Вселенной местечко и для, казалось бы, малоприметных на донецкой земле, но столь значимых для всего трудового Донбасса, — и чисто символически, и, конечно же, исторически, да, почитай, и по-Божески, — для этих самых горловских перепутных семи дорог — Семидорожек, стоя у которых, я мысленным зором молниеносно окинул почти что весь отчий край.

Эта надежда не беспочвенна. Донбасс и без того сегодня полнится светом звезд мировой величины. Тут ежегодно зажигаются и «звезды мирового шеста», и «звезды мирового балета», и «звезды мировой эстрады», и «звезды бизнес-элиты» под вековечной сенью воскресшего из небытия прародного Золотого Скифа.

Нет-нет да и поблескивают в нем то тут, то там прежние «звезды трудовой славы и доблести»...

Так почему бы и Семидорожкам, и самому Донбассу не стать звездами-планетами?

И сиять, сиять на звездном небосводе веки вечные! Оповещать мир о трудах своих и высоком духе своем. И быть светоносным неиссякаемо, осиянным светом земной любви, которая, как известно, пребудет вовеки.

Пусть же и впредь не оскудеют твои глубины, Донбасс. И не падут взятые тобой высоты.

Быть посему!

2001

СОДЕРЖАНИЕ

ДУМЫ О ДИКОМ ПОЛЕ

ДУМА О ДИКОМ ПОЛЕ	5
ДУМА О ПРАЩУРАХ	6
ДУМА О РЕКЕ СЛАВЯНСКОЙ БЕДЫ	13
ДУМА О БИТВЕ НА КАЛКЕ	23
ДУМА О КАМЕННЫХ МОГИЛАХ	33
ДУМА О КРИВОЙ КОСЕ	41
ДУМА О ХОМУТОВСКОЙ СТЕПИ	59
ДУМА О ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКОМ ЛЕСЕ	76
ДУМА О САУР-МОГИЛЕ	86
ДУМА О СВЯТЫХ ГОРАХ	91
ДУМА О ТОРСКИХ ОЗЕРАХ	99
ДУМА О ЗОЛОТОМ КОЛОДЯЗЕ	108
ДУМА О СУХОДОЛЕ	122
ДУМА О ДОБРОЙ ВОДЕ	130
ДУМА О ЧУМАЦКОМ ШЛЯХЕ	136

ДУМЫ О ДОНЕЦКОМ КРЯЖЕ

ДУМА О ДОНЕЦКОМ КРЯЖЕ	141
ДУМА О ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯХ	145
ДУМА О СОЛИ	181
ДУМА О КАМЕННОМ УГЛЕ	226
ДУМА О ПЕРВОМ РУДНИКЕ	273
ДУМА О ШАХТЕРСКОМ КОНЕ	321
ДУМА О ПОДЗЕМНЫХ ГОРИЗОНТАХ	352
ДУМА О САМОРОДКАХ	361
ДУМА О РАБОЧЕМ ГУДКЕ	376
ДУМА О ПАМЯТНИКАХ ТРУДА	386
ДУМА О ЗЕМЛЯКАХ	393
ДУМА О ПЕСНЯХ ОТЧЕГО КРАЯ	421
ДУМА О ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ	441
ДУМА О БОЛЬШОМ ДОНБАССЕ	445
ДУМА О СЕМИДОРОЖКАХ	454

Літературно-художнє видання

Костиря Іван Сергійович
ДУМИ ПРО ДОНБАС

(російською мовою)

Відповідальний за випуск *О. І. Соловйов*

Редактор *М. М. Марченко*

Коректор *І. О. Нікодімова*

Підписано до друку 14.12.2006.

Формат 60x84¹/₁₆. Друк офсетний. Папір офсетний.

Гарнітура NewtonС. Обл.-вид. арк. 32,1.

Ум. друк. арк. 27,9. Тираж 5000 прим. Вид. № 8. Зам. № 2924.

ПП «ЦСО»

Україна, 83048, м. Донецьк, просп. Тітова, 15, офіс 107.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців, виготовників
і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 1760 від 22.04.2004 р.

Надруковано у АТЗТ «Видавництво «Донеччина».
83054, Донецьк, Київський проспект, 48.